

# НОВЫЙ МИР

5-6

---

МОСКВА

1942

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1942 г.

№ 5—6

Год издания XIX

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. М. МОЛОТОВ — Доклад в Верховном Совете СССР 18 июня 1942 года	3
Мargarita Алигер — Стихотворения	10
Арк. Первенцев — Испытание, роман (Окончание.)	14
В. Ильенков — Любовь, рассказ	112
Юрий Герман — Би хэппи, повесть	115
Н. Рыленков — Два стихотворения	139
Петр Скосырев — Фархад	140
А. Софронов — Шкатулка, рассказ	194
-----	
И. Ленин — Год отечественной войны и международная обстановка	198
-----	
В. Кирпотин — Роман о Чингиз-хане, о судьбах государств и культур	235
Я. Ниедре — О латышской литературе	243
-----	

## БИБЛИОГРАФИЯ

В. Щ. — Великий писатель Украины	249
Н. Гусев — Удачная книжка	251
Вл. Афанасьев — Нереализованные возможности	252
Н. Замошкин — Первые опыты	253
Вера Ильина — Из записок военного корреспондента	255



# Ратификация „Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны“

*Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел  
тов. В. М. МОЛОТОВА в Верховном Совете СССР  
18 июня 1942 года*

Товарищи депутаты!

— Правительство признало необходимым представить Верховному Совету на рассмотрение и ратификацию англо-советский Договор, заключенный 26 мая в Лондоне. Это сделано в виду важного политического значения этого Договора. Договор укрепляет сложившиеся между Советским Союзом и Великобританией дружественные отношения и взаимную военную помощь в борьбе с гитлеровской Германией и превращает эти отношения в прочный союз. Договор определяет также общую линию наших действий вместе с Англией в послевоенный период. Всем своим содержанием Договор подчеркивает его большое политическое значение не только в развитии англо-советских отношений, но и в дальнейшем развитии всей совокупности международных отношений в Европе.

Англо-советский Договор, как и результаты переговоров, которые мне, по поручению Советского Правительства, пришлось вести в Лондоне и в Вашингтоне, свидетельствуют о серьезном укреплении дружественных отношений между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Для народов Советского Союза, которым приходится нести главную тяжесть борьбы с гитлеровской Германией, это имеет тем большее значение, чем больше это ускоряет нашу победу над германскими захватчиками. Договор, как и другие результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне, должны ускорить разгром гитлеровской Германии и ее сообщников по агрессии в Европе и, вместе с тем, послужат надежной базой для дальнейшего развития дружественных отношений между СССР и Великобританией, а также между обеими странами и Соединенными Штатами Америки. Договор и достигнутая как между Советским Союзом и Англией, так и между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки договоренность по ряду важнейших вопросов нынешней войны и о совместной работе после войны означают укрепление боевого содружества всех свободлюбивых народов, возглавляемых в наше время Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами.



Я напомним события, которые предшествовали заключению англо-советского Договора 26 мая и которые явились главными этапами в развитии новых, дружественных отношений между Советским Союзом и Великобританией.

Известно, что уже в день нападения Германии на Советский Союз — 22 июня прошлого года — Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль выступил с твердым заявлением, что Англия окажет помощь Советскому Союзу в войне с германскими захватчиками, так как английский народ считает разгром гитлеровской Германии общей задачей с народами Советского Союза. **(Аплодисменты.)** Последовавшие после этого переговоры с английским послом в Москве г. Криппсом, в которых тов. Сталин принял самое активное участие, привели к подписанию известного англо-советского соглашения 12 июля 1941 года. В этом соглашении правительства СССР и Великобритании взаимно обязались оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии, а также не вести переговоров и не заключать ни перемирия, ни мира, кроме как с обоюдного согласия.

Это соглашение сорвало планы Гитлера на разъединение его противников и гитлеровские расчеты на борьбу в одиночку с каждым из них. 12 июля прошлого года произошёл поворот в развитии англо-советских отношений. Тогда было положено начало дружбы и боевого сотрудничества между нашими странами в борьбе с общим заклятым врагом и в интересах великого будущего наших народов.

Следующим этапом развития англо-советских, а вместе с тем, и советско-американских отношений, была известная конференция трех держав в Москве при участии представителя Великобритании г. Бивербрука и представителя США г. Гарримана, закончившая свои работы 1 октября прошлого года. На этой конференции был выработан план военных поставок в Советский Союз из Англии и Соединенных Штатов. В результате этого танки, самолеты и другое вооружение, а также такие дефицитные материалы, как алюминий, никель, каучук и другие, стали поступать в Советский Союз в соответствии с крупной программой поставок, выработанной на Московской конференции.

Мы должны, конечно, помнить, что доставка вооружения и материалов в Советский Союз представляла и представляет не малые трудности. Занимающиеся разбоем и пиратством в Атлантическом океане германские военные корабли, германские подводные лодки и самолеты делают постоянные налеты на суда, транспортирующие это вооружение в Советский Союз. Ряд судов с грузами для СССР, несмотря на конвоирование их военно-морскими силами наших союзников, погибли на пути к Мурманску и Архангельску. Тем не менее, поставки вооружения и материалов из США и Англии не только не сократились, а усилились за последние месяцы. Эти поставки являются необходимым и важным дополнением к тому вооружению и снабжению, которое Красная Армия получает в своей подавляющей массе из наших внутренних ресурсов. Мы считали и считаем необходимым заботиться об увеличении и улучшении этих поставок как теперь, так и в дальнейшем. Надо также признать, что осуществление этих поставок сыграло и будет играть в дальнейшем важную роль в укреплении дружественных отношений между СССР, Англией и США.

Новым важным моментом в развитии англо-советских отношений был приезд в Москву в декабре месяце прошлого года Министра Иностранных Дел Великобритании г. Идена и плодотворные переговоры,

которые с ним велись тов. Сталиным при моем участии. Эти переговоры получили свое дальнейшее развитие в последующем. При этом через некоторое время выяснилось, что переговоры обещают привести к определенным положительным результатам.

Тогда в апреле месяце последовало предложение Британского Правительства о том, чтобы Советское Правительство направило меня в Лондон для завершения этих переговоров и для обсуждения соответствующего проекта Договора.

В это же время Президент Соединенных Штатов Америки обратился к тов. Сталину с предложением направить меня в Вашингтон для переговоров по важным военно-политическим вопросам, имеющим неотложный характер.

Как вам известно, моя поездка, вместе с группой ближайших сотрудников, состоялась, и я имел продолжительные дружественные беседы как в Лондоне с г. Черчиллем, г. Иденом и другими деятелями Британского Правительства, так и в Вашингтоне с г. Рузвельтом, г. Гопкинсом, г. Хэллом и другими руководящими представителями США. В этих переговорах в Лондоне участвовал советский посол т. Майский и в Вашингтоне — советский посол т. Литвинов. Кроме того, в обсуждении военно-стратегических вопросов близкое участие принимали начальники всех военных штабов Великобритании и Соединенных Штатов, а также соответствующие советские военные представители.

В результате успешных переговоров, в Лондоне 26 мая был подписан «Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».

Договор состоит из двух частей: первая часть содержит две статьи, определяющие взаимоотношения СССР и Великобритании на период войны с гитлеровской Германией, а вторая часть содержит статьи, определяющие взаимоотношения обеих стран в послевоенный период.

Что касается первой части Договора, то можно сказать, что она в основном повторяет содержание известного англо-советского соглашения от 12 июля прошлого года, превращая это соглашение в формальный Договор. Уточняя прошлогоднее соглашение, эта часть Договора говорит об оказании друг другу военной и другой помощи и поддержки не только против Германии, но и против «всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе».

Вторая часть Договора является сравнительно новой. Значение этой части Договора заключается, прежде всего, в том, что здесь впервые устанавливаются основные принципы дружественного сотрудничества СССР и Великобритании после войны. Предусматривается также сотрудничество обеих стран с другими объединенными нациями при заключении мира и в послевоенный период, при чем это сотрудничество мыслится в соответствии с основными положениями известной Атлантической хартии, к которой в свое время присоединился и СССР. Не может быть сомнения, что такого рода соглашение имеет большое значение для всего будущего развития Европы.

Обе страны пришли к соглашению совместно работать после восстановления мира «в целях организации безопасности и экономического процветания в Европе». В Договоре говорится, что обе страны «будут принимать во внимание интересы объединенных наций в осуществлении

указанных целей и будут также действовать в соответствии с двумя принципами — не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств». Эти принципы Договора находятся в полном соответствии с известным заявлением главы Правительства СССР тов. Сталина 6 ноября прошлого года:

«У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли речь о народах и территориях Европы, или о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана».

Подчеркивая отсутствие стремления к территориальным приобретениям для самих себя и невмешательство во внутренние дела других государств, Советский Союз и Великобритания провозглашают дружественные принципы своей политики в отношении всех свободолюбивых народов и, вместе с тем, указывают на коренное отличие их политики, от агрессивной политики гитлеровской Германии, которая воюет за захват территорий других народов и за их порабощение. В этой связи следует напомнить слова тов. Сталина о целях нашей отечественной освободительной войны против фашистских захватчиков, обращенные еще 3-го июля прошлого года к народам Советского Союза:

«Наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера». (Аплодисменты.)

В соответствии с указанными выше целями и принципами Договора, в нем заявляется, что оба правительства стремятся «объединиться с другими единомышленными государствами в принятии предложений об общих действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и сопротивления агрессии», а также к тому, чтобы после окончания войны «сделать невозможным повторение агрессии и нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе».

Обе страны также договорились, чтобы в случае, если одна из них в послевоенный период снова подвергнется нападению со стороны Германии или другого агрессивного государства, то другая сторона «сразу же окажет договаривающейся стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, всякую военную и другую помощь и содействие, лежащие в ее власти». Ясность и категоричность этого взаимного обязательства представляют большое значение для наших стран, стремящихся к тому, чтобы обеспечить прочный мир после победоносного окончания этой войны.

Всем, далее, понятна важность того, что оба правительства договорились, чтобы все указанные обязательства, относящиеся к послевоенному периоду, действовали в течение длительного срока. При этом предусмотрен 20-летний срок и возможность его продления.

Спрашивают еще, не заключено ли кроме опубликованного Договора каких-либо секретных соглашений между СССР и Великобританией? Со всей ответственностью я должен заявить, что такие предположения не имеют под собой никакого основания, что никаких секретных англо-советских соглашений не имеется, как не имеется и никаких секретных советско-американских соглашений.

После всего сказанного нельзя не присоединиться к словам г. Идена в его речи при подписании Договора:

«Никогда еще в истории наших двух стран наша ассоциация не была столь тесной. Никогда наши взаимные обязательства в отношении будущего не были столь совершенными. Это, безусловно, является счастливым предзнаменованием».

Договор встретил сочувственный отклик как в СССР, так и в Англии. В широких народных массах обеих стран укрепление дружбы и сотрудничества в борьбе с германско-фашистскими захватчиками, насильниками, угнетателями получило горячее одобрение и поддержку. Соединенные Штаты Америки, которые были своевременно информированы о ходе переговоров и заключении Договора, а также другие свободолюбивые страны, испытывавшие гнет и кровавое насилие гитлеровских орд, или находящиеся под такой угрозой, с одобрением встретили наш Договор с Англией. В лагере же наших врагов, в лагере германских фашистов и их сообщников, Договор вызвал растерянность и злобное шипение. Лагерь наших врагов оказался застигнутым врасплох. Тем сильнее Договор будет служить нашему правому, справедливому, освободительному делу. **(Продолжительные аплодисменты.)**

При всей важности вопросов, которым посвящен Договор и которым было уделено большое внимание в лондонских переговорах, эти переговоры, как вам известно, не ограничивались только указанными вопросами. В Лондоне, как и в Вашингтоне, обсуждались и другие важные вопросы. Дело идет главным образом о вопросах, теснейшим образом связанных с актуальными проблемами нашей войны против гитлеровской Германии.

Проблемам второго фронта в Европе, естественно, было уделено серьезное внимание как при переговорах в Лондоне, так и в Вашингтоне. О результатах этих переговоров в одинаковой форме говорят как англо-советское, так и советско-американское коммюнике. В обоих коммюнике заявляется, что при переговорах была достигнута «полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». **(Продолжительные аплодисменты.)** Такое заявление имеет большое значение для народов Советского Союза, так как создание второго фронта в Европе создаст непреодолимые трудности для гитлеровских армий на нашем фронте. Будем надеяться, что наш общий враг скоро почувствует на своей спине результаты все возрастающего военного сотрудничества трех великих держав. **(Бурные, продолжительные аплодисменты.)**

Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего улучшения и увеличения военных поставок Советскому Союзу из Соединенных Штатов и Англии. И в этом отношении можно засвидетельствовать положительные результаты. Со второй половины текущего года военные поставки и снабжение для СССР со стороны союзников будут увеличены и ускорены. **(Аплодисменты.)** Это видно, прежде всего, по увеличивающимся размерам поставок из США. Как известно, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в сумме 1 миллиарда долларов для оплаты военных поставок в Советский Союз. В новой программе поставок Соединенные Штаты Америки определяют общую их сумму в размере 3 миллиардов долларов. **(Аплодисменты.)** Таким образом, мы имеем дальнейший существенный рост в отношении военно-экономической помощи Советскому Союзу со стороны Соединенных Штатов Америки, а также согласие Англии на дальнейшее улучшение военных поставок.

В связи с этим надо признать важнейшее значение подписанного в Вашингтоне 11 июня с. г. «Соглашения между Правительствами Сою-



за Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», по примеру такого же соглашения между США и Англией. Это Соглашение имеет предварительный характер и предусматривает только основы будущего Соглашения между двумя правительствами по этому вопросу. Значение этого советско-американского Соглашения в том, что оно не только исходит из признания факта установившегося боевого сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в нынешней войне против гитлеровской Германии, но и устанавливает согласованность действий между обеими странами в послевоенный период. Соглашение означает договоренность между СССР и США в вопросе об улучшении международных отношений после войны в интересах прочности мира. Поэтому вашингтонское Соглашение имеет большое значение как для Соединенных Штатов и Советского Союза, так и для других народов.

Наконец, в Вашингтоне, как и в Лондоне, обсуждались также все основные проблемы сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в деле обеспечения мира и безопасности для свободлюбивых народов после войны. И в этом, как и в других основных вопросах наших взаимоотношений, стороны с удовлетворением отмечали взаимное понимание и единство взглядов.

Считаю необходимым заявить, что в отношении меня, как представителя СССР, были проявлены сердечность и исключительное гостеприимство как в Лондоне, так и в Вашингтоне. Особо я должен упомянуть о личном внимании и активнейшем участии в беседах Президента США г. Рузвельта и британского Премьер-Министра г. Черчилля, которым я выражаю свою искреннюю признательность. **(Продолжительные аплодисменты.)**

Во всем этом мы видим укрепление международных позиций Советского Союза. Новыми и новыми фактами подтверждаются слова тов. Сталина в первомайском приказе:

«Что касается международных связей нашей родины, то они окрепли и выросли в последнее время, как никогда. Против немецкого империализма объединились все свободлюбивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу. Героическая борьба, которую ведут народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободлюбивых стран смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. **(Аплодисменты.)** Среди этих свободлюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь против немецко-фашистских захватчиков». **(Аплодисменты.)**

Договор, как и результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне в целом, свидетельствуют о том, что узы дружбы и союза между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки крепнут и становятся все теснее. В этом мы видим международное признание силы и достигнутых успехов Красной Армии в борьбе с заклятым врагом всех свободлюбивых народов, в борьбе с Гитлером и его кровавыми приспешниками. В этом мы видим также подтверждение правильности внешней политики нашего правительства, которое неуклонно заботится об укреплении дружественных отношений с Вели-

кобританией и Соединенными Штатами Америки, а также со всеми другими свободолюбивыми народами — в интересах ускорения разгрома гитлеровских орд и изгнания их из пределов нашей страны и во имя торжества дела всех свободолюбивых народов, объединенных в борьбе за свое существование и счастливое будущее. **(Продолжительные аплодисменты.)**

Договор с Англией, а также результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне, укрепляют нашу уверенность, уверенность Красной Армии и всего советского народа, в том, что объединенные силы противников гитлеровской армии растут и сплавиваются все больше. Они укрепляют нашу уверенность в том, что близится разгром германских захватчиков, что теперь наша победа над разбойничьим германским империализмом будет значительно ускорена. **(Аплодисменты.)** Крепнущая Красная Армия, несокрушимый советский тыл и растущая военная помощь наших союзников разобьют все и всякие планы немецко-фашистских захватчиков. Наши силы крепнут, наша уверенность в победе сильна, как никогда. **(Аплодисменты.)**

По поручению правительства я обращаюсь к Верховному Совету с предложением ратифицировать представленный Договор, как полностью отвечающий интересам советского народа. **(Продолжительные аплодисменты.)**

Под великим знаменем Ленина — Сталина мы ведем нашу героическую освободительную борьбу с германским фашизмом. Под великим знаменем Ленина — Сталина мы доведем эту борьбу до победоносного конца, до торжества дела нашей родины и всех свободолюбивых народов. **(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, возгласы — «Да здравствует товарищ Сталин!»)**

---

# Стихотворения

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## ЧУЖОЕ ГОРЕ

Ранние сумерки.

Шаркая глухо,  
тенью под стенкой проходит старуха,  
плещется в ведрах живая вода.  
В этом селе побывала беда.

Как ворвалась она?

Днем или ночью?

Ржавая, как она шла напролом?  
Хочешь увидеть ее воочию?  
Вот замерла она там за углом.

Ранние сумерки тусклы и хмуры.  
Как на ветру не устанут стоять  
две человеческие фигуры,  
женщина с девочкой,  
дочка и мать?

Как их настигла случайная поза  
и почему они замерли в ней,  
словно избавленные из мороза,  
из оглушительной  
скорби своей?

Что там стряслось?

Погорела ли хата  
или добро растащили враги?  
Мужа убили, замучили брата?  
Старшая,

мать,

подскажи,

помоги.

Что ж ты молчишь?  
 Или, вправду, не надо  
 словом кромсать эту хрупкую тишь?  
 Возле поваленного палисада  
 стой, как стоишь,  
 и молчи, как молчишь,  
 ветру лицо подставляя рябое,  
 край полущубка в руках теребя.

Горе чужое,  
 как быть мне с тобою?  
 Где мне местечко найти для тебя?

Как бы мне сердце раздвинуть пошире,  
 чтоб беспорядочно в нем поместить  
 все, чем я только волнуема в мире,  
 все, что дано мне беречь и любить.

Горсточку счастья  
 и гору страданья,  
 музыку,  
 грозы,  
 дороги,  
 друзей,  
 и предрассветную дрожь ожидания  
 скрытых за облаком завтрашних дней.

Все это выживет вместе со мною,  
 сколько положено.  
 Я берегу  
 трудное чувство,  
 как подступы к бою,  
 огнеупорную злобу  
 к врагу.

Женщину эту не надо тревожить.  
 Короток будет нехитрый рассказ.  
 Ненависть воина надо помножить  
 на пустоту и тоску ее глаз.

Надо запомнить фигурку девчонки,  
 рано умеющей горько молчать,  
 дрожь ее худенькой, синей ручки,  
 словно навек обнимающей мать.



## ВЕСНА В ЛЕНИНГРАДЕ

## I

Нева замерзала тогда,  
когда немцы пошли в наступление,  
и всю зиму стонала вода  
под невысказанной тяжестью льда,  
в слепоте, глухоте и томленьи.

— Как там город любимый живет? —  
тосковала вода и не знала,  
устояла ли,

дожил ли...

И вот,  
под напором разгневанных вод  
проломился измученный лед,  
и Нева Ленинград увидела.

Ленинград, Ленинград, Ленинград!  
Да прославится хлеб его черствый  
и безмолвье ослепших громад,  
и дыханье крутых баррикад,  
и людей непрощающий взгляд,  
и сердец возмужавших упорство.

Все как прежде:

мосты над Невой,  
тетивую натянутой туго,  
и у штаба боец-часовой,  
и балтийца бушлат боевой,  
и шальная весенняя вьюга.

И опять отразился в воде,  
на высоком ветру не сгорая,  
тот костер, разожженный везде,  
опаленных в борьбе и в труде,  
знаменитых знамен Первомая.

Будь спокойна, родная вода!  
Не падет ленинградская слава.  
Мы стоим, как стояли всегда.  
И Нева покатила тогда,  
широко, как в былые года,  
успокоенно и величаво.

## II

В теченье этой медленной зимы,  
круша ее железные потемки,  
— Мы не уступим. Каменные мы, —  
ты говорила голосом негромким.

И, наконец, изнемогла зима,  
открылись заводоченные дали.

Чернеют разбомбленные дома, —  
они мертвы, они не устояли.  
А мы с тобой выходим на мосты  
и под крылом торжественного мая  
волнуешься и радуешься ты,  
причины до конца не понимая.  
А мы с тобой на облачко глядим,  
и ветер нам глаза и губы студит.  
А мы с тобой негромко говорим  
о том, что было и о том, что будет.  
Мы вырвались из этой длинной тьмы,  
прошли через заслоны огневые.  
Ты говорила:

— Каменные мы. —

Нет,

мы сильнее камня,

мы — живые.

## III

Там, где Нева в седой гранит одета,  
стоят угрюмо, вод не шевеля,  
подобные двум песням недопетым,  
два недостроенных военных корабля.

Умолк металл и замерла работа,  
но в неподвижных контурах живет  
изогнутая линия полета,  
крылатое стремление вперед.

Стальную грудь, стремящуюся к морю,  
неумолимый сдерживает трос,  
и на закате не играет зорю  
от ветра отвернувшийся матрос.

И по ветрам тоскующие снасти  
и борт, томящийся по глубине,  
все наше недостроенное счастье  
пронзительно напоминает мне.

А по весенней набережной мимо  
балтийские проходят моряки,  
вдыхают запах дегтя, моря, дыма,  
упрямые сжимают кулаки.

Их никакой тоске не успокоить,  
им ни в каком огне не догореть.  
Они хотят все корабли достроить,  
все песни недопетые допеть.

Им можно нанести любые раны,  
но их нельзя согнуть и победить.

Переживем и бури, и туманы,  
и жизнь вернется, и взметнутся краны,  
и наше счастье выйдет в океаны,  
взяв курс на Запад.

Так тому и быть.

#### IV

Вот опять обстрел артиллерийский.  
Это где стреляют, милый друг?  
Рвущийся, однообразно близкий,  
в облака закутавшийся звук.

Но не свист летящего металла  
вслед за ним,

не грома мертвых тел...

Что-то вдруг светло затрепетало, —  
теплый дождь на город налетел.

И его беспечная прохлада  
так щедра и сладостна была,  
опаленный камень Ленинграда  
свежестью забытой обдала.

И смущенно признавались люди,  
утерев невольную слезу,  
что за грохот вражеских орудий  
приняли весеннюю грозу.

Дождик льет, а мы с тобою дома.  
Чай заварен, — вот и славно нам...  
Позабывтый мирный грохот грома...  
Молоточки капель по камням.

Можно камень раздробить на части,  
раскрошить железо и свинец,  
но нельзя украсть минуту счастья  
у людских выносливых сердец.

Мир, глотнувший копоти и дыма,  
над твоею злобой и добром  
непреклонно и неотвратимо  
катится весенний первый гром.

*Ленинград—Москва.*

*Май 1942*

# Испытание

АРК. ПЕРВЕНЦЕВ

Роман\*

★

## ГЛАВА VII •

Фронт приближался. Заводы вывозились с правобережья. Эшелоны проходили мимо города. С платформ, наспех заваленных станками, слитками цветного металла и другими материалами и оборудованием, соскакивали запыленные, обгорелые и исхудавшие люди.

Составы тащили паровозы, приписанные к депо станции, где уже были немцы. Паровозы-беженцы везли сотни вагонов, иногда спрягались по два и тащили все на Восток.

Машинисты протирали паклей усталые и как бы оскорбленные лица и неохотно отвечали на вопросы. Они ели хлеб, еще испеченный в печах, оставленных немцам, замешанный на воде, которую они пили с детства, и горек был этот хлеб... но никто не жаловался... Люди посуrowели и замкнулись в своих чувствах.

— Вернемся еще...

— Недолго поцарствует...

— Успели вывезти завод, али только с пятого на десятое?

— До шпльинта, — отвечали рабочие.

— А корпуса, стены?

— А что в стенах толку... А какие с толком — взорвали...

— Сами взорвали?

— А то дядю попросим?

— Жалко, небось.

— Эх... что говорить... Понимать надо...

На заводе не совсем представляли себе угрозу непосредственной опасности.

Из Москвы поступило первое предупреждение. Оно исходило от Государственного Комитета Обороны. Ничто не должно быть оставлено противнику, в случае вынужденного отхода нужно всё вывезти. Стационарные агрегаты должны быть уничтожены.

Завод работал напряженно. День и ночь собирали самолеты, облетывали их, комплектовали полки и отправляли фронту.

Неужели все нужно вырвать с корнем, бросить на платформы и везти в неизвестное? Партийная организация собралась ночью. Коммунисты пришли из цехов — выслушали информацию Шевкопляса, Рамоdana и Дубенко и ушли снова в цеха.

Мастер Хоменко, высокий и сутуловатый человек, с умными и печальными глазами, задержался:

— А я не уйду со своего завода, — сказал он.

— У немцев хочешь остаться? — спросил Шевкопляс.

— Не уйду с завода, — повторил он убежденно.

Хоменко, не глядя ни на кого, ушел.

— Задержал бы, Рамоdan. Партбилет на стол! — вскипел Шевкопляс.

— Поручите мне, — сказал Рамоdan, нахмутив брови, — поговорю с Хоменко... Итак, предупреждение ясно. Надо подготовить рабочих.

— Рабочих всех вывезить? — спросил Белан.

\* Окончание. Начало см. «Новый мир». № 3—4, 1942 г.

— Кадровых рабочих всех, — ответил Дубенко.

— Не сумеем, — безнадежно махнув рукой, сказал Белан, — трудно.

— Трудно, это еще не невозможно.

— Я транспортник, мне понятно, сколько нужно колес, чтобы поднять всех. Наверное, каждый поедет со всем своим семейством, со старыми и малыми, с барахлом.

— Вывозить всех. Семейства бросать не будем.

Для того, чтобы эвакуировать завод, требовалось около тысячи вагонов. Один пресс, недавно полученный из-за границы, краса и гордость старика Дубенко, требовал сорок платформ. Для демонтажа прессы необходимы сильные подъемники, в свое время отправленные в Москву. Деррики, находившиеся на заводе, были маломощны. Дубенко предложил считать пресс неподвижным агрегатом, то-есть подлежащим взрыву в случае отхода. На него строго поглядел Рамодан и отложил этот вопрос до точного выяснения. Рамодану хотелось вывезти все, «до шпльнта» — это стало признаком настоящей работы. Ночью соединились с Москвой и попросили указаний относительно демонтажа прессы. Краны прислать не могли. Предложили взорвать — если не будет возможности вывезти. Богдан решил не говорить отцу о принятом решении, но отец узнал об этом от других.

— Решили отрубать заводу руки, — сказал он, увидев Богдана, — вместо чемоданов, что все понаготовили, лучше пресс вытянуть. Непорядок...

— Тронем с места, не довезем, развалим.

— И тронем, и довезем, и не развалим.

— Займешься, отец?

— Займусь, — пообещал старик, — чего же не заняться... Разве уж так кисло приходится, Богдан? — старик снизил голос до шопота.

— Профилактика.

— Вам виднее...

Отец отошел, и Богдан заметил в нем ту же скорбь, какую он видел у Хоменко. Трудно и непривычно рабо-

чему. Привыкший созидать, он не мог смириться с разрушением.

Танковое сражение, небывалое в истории по количеству вступивших в сражение машин, происходило на перевале старой границы государства. Тысячи танков бросились друг на друга, стреляли, скипалась броня, люди пел- «Интернационал» и бросали гранаты, заклинивались башни, подрывались гусеницы. Скрежетало железо на горячих полях Украины и Белоруссии. Там сражался и сын Рамодана. Рамодан ждал конца сражения и страдал. Привезли раненых из-под Новоград-Вольнска. Танки противника прорвались, но победа купилась огромной ценой. Раненые танкисты, обросшие коркой грязи и порохового дыма, говорили о сражении тихо, со стиснутыми зубами. На марлевых повязках просачивалась кровь, страдания физически усугублялись страданиями душевными.

Еще никто не знал тогда, что значение этого сражения выше громких побед, что тысячи уничтоженных германских танков значили больше, чем оставление нами обгорелой, исковерканной металлом земли.

Танкистов перевязывали, поили молоком и фруктовыми сиропами, давали спелую вишню и гезли дальше.

От них Рамодан узнал о своем Петьке. Он храбро сражался, был тяжело ранен и, кажется, его успели вывезти... Лейтенант с ранеными ногами знал Петра Рамодана и, скупно похвалив его, заснул.

Рамодан вышел из госпиталя твердыми шагами, сел в машину и поехал к Дубенко, в их семью. Рамодан остался теперь совершенно одиноким. Жена с меньшим сыном незадолго до войны поехала на границу, в гости к сестре, и тоже пропала.

— Петька-то мой... я с ним почти и не простился, — сказал Рамодан Вале, — такой маленький и щупленький паренек У него всегда было плохо с носоглоткой. Потом взяли в армию и вылечили... Теперь ранили... тяжело ранили...

— Ранили — вылечат, — утешала Валя, — вывезут в госпиталь, выйдут.

— Конечно, вылечат, Валя. А я ду-



маю, разве что не вылетят? Вот и жена пропала, ни слуху, ни духу.

— Где-нибудь едет, не успела сообщить.

— Конечно, едет где-нибудь. Не могла же она остаться у немца.

Рамодан пил чай, ел вареники с вишней, которые так вкусно готовила Анна Андреевна, но вдруг, оставив чашку, сидел в какой-то пустой задумчивости, уставясь глазами в одну точку. Потом встряхивался, застегивал пуговицы гимнастерки, крутил головой, улыбался.

— На то она и голова человечья, чтобы в нее ползли всякие ненужные мысли. Что там пишет Тимиш?

Танюша быстро приносила письма, перевязанные красной ленточкой, вынимала последнее письмо из конверта, покрытого печатью военной цензуры и номерами воинской части, и читала. Некоторые фразы пропускала, вспыхивала — они касались только ее.

— «Танюша, — читала она, — враг очень силен и опасен. Я боюсь, что многие не понимают этого простого факта. Нам не стыдно уходить — потому что мы уходим с боями, о которых, конечно, ты не имеешь никакого представления. Современная война громкая. Она состоит из взрывов, свиста и такой пулеметной стрельбы, что кажется, за одну минуту будут выпущены все патроны, имеющиеся в запасе армии... Еще в первый день войны, когда подвезжал наш вшелон к фронту, и кругом такие поля и лесочки — я услышал глухую отдаленную канонаду. Как не вязалась она с прекрасной природой украинского июня. Мы ехали и еще не понимали, что такое война. Ты же знаешь своего вояку. Но потом мы поняли войну. Вот только сегодня над нами прошло четырнадцать немецких бомбардировщиков. Они сбросили на нашу колонну больше сотни бомб. Они валили везде, и самое главное, мы отступали и не могли ничего сделать. Потом на небе появился один наш истребитель. Нам думалось, что может сделать один истребитель против четырнадцати страшных и черных машин, которые летали над нами и поливали из пулеметов и пушек. Но истребитель бросился на них, как молодой пе-

тух, сразу же запалил одного, потом сшиб другого и остальные бросились врассыпную. Ястребок гонялся за ними по всему небу, пока не вышел бензин. Я никогда не забуду того летчика, после мы узнали — это был герой Степан Супрун. Мы приветствовали его, поднимали винтовки. Но он вряд ли видел нашу радость, хотя на прощанье прошел над нами и помахал крыльями... Мы отходим под лавиной огня, Танюша, и вероятно, я какой-то бронированный — ничто меня не берет, или, может быть, пуля знает, что у меня есть ты и хорошая дочка, хай вы будете здоровы...» — дальше мне, — сказала Танюша, краснея от волнения и гордости за своего мужа.

— Там он ничего не пишет о танкистах? — спросил Рамодан.

— Нет... ничего...

— Вероятно, он не встречал танкистов, а то написал бы и о них, как о Степане Супруне... как же, знаю я Супруна. Воин... чего и говорить...

— Вот он пишет о встрече с братом, с Николаем.

— Ну, прочитай об этой встрече, — согласился тихо Рамодан.

— «На-днях я увидел нашего Николая. Он тоже отводит свой корпус. Надо сказать, что когда я решил поцеловаться с генералом, мне стало немного не по себе. Шут с ним, что он мой брат. Но теперь я только лейтенант, а он — какой начальник. Притом он чистый, а я грязный и похож на чучело. Николай работает в полной форме. Кавалеристы его едут с песнями. В полках я видел оркестры. У Николая есть все, даже танки»...

— Он видел, наконец-то, танки! — воскликнул Рамодан. — Вот бродяга.

— Там не могло быть Пети, — сказала Валя.

— Я знаю, что не могло быть, — но видел танки. Это здорово.

— «Надо сказать, мы вздохнули свободно и немного повеселели, взглянув на кавалеристов. Даже выправочку сделали и тоже рванули песню. И знаешь какую? Ту, что спивали мы с тобой в Ирпене. «Ой ты, Галя!» Вышло, как надо... Хай думает, что хочет, Гитлер. А мы спиваем, как на Ирпене... «Галю, Галю».

— Хорошую песню они заспывали, — сказал Рамодан, — значит, не так им страшно. Ничего, пообвыкнут, обомнут, оботрут, и все потом пойдет на лад... а народ надо понимать... Еще кое-кто ходит вразвалку...

### ГЛАВА VIII

Многие и в городе, и на заводе не верили в возможность воздушного нападения. Фронт проходил далеко, к линии фронта тянулась мощная сеть противовоздушной обороны, концентрическими кругами охватывающая крупные индустриальные центры Украины.

В небо были нацелены сотни зенитных орудий, пулеметов, звукоулавливателей. Проекторы уже с неделю прощупывали каждую точку, пронесившуюся над городом, и только достаточно ознакомившись с ней, отпускали ее. У каждого дома дежурили жильцы и дворники. Милиционеры получили стальные шлемы, прогивгазы и винтовки. Дежурные команды ПВО еще шуточно оценивали свою будущую работу спасителей города от пожаров. Молодежь выходила на дежурство и, пользуясь темнотой, тихо шепталась, и иногда громкий поцелуй тревожил душу какого-нибудь ответственного дежурного, обследовавшего свои посты.

Майор Лоб предупреждал всех, что воздушный океан велик, а авиация — самый неуловимый род оружия и глупо было бы думать, что противник не попытается бросить на город, питающий фронт, свои бомбардировочные эскадрильи.

— Если мы сейчас уверим рабочих, что налет невозможен, — говорил он, — а на нас посыпятся апельсины, скажут — что же вы трепались...

Майор Лоб посоветовал сделать подолом несколько фальшивых корпусов из фанеры, вернее, положить на землю несколько крыш, поставить трубы и даже кое-где пустить свет. Он приехал из города со специалистами по маскировке, и Дубенко, выделив бригаду в сто пятьдесят человек, быстро построил фальшивый завод, в пяти километрах от на-

стоящего. Майор, задумывая какую-то новую хитрость, вывез в другое место, к берегу реки, пятнадцать тонн мазутных отходов, отработанной обтирочной пакли и других легко воспламеняющихся отходов. Он никому не раскрывал смысла своей хитрости, но Рамодан, конечно, знал, что замышляет боевой майор Лоб, всё еще вынужденный ждать своего настоящего воздушного дела.

Во дворе завода и на аэродроме заложили глубокие траншеи и покрыли их от осколков бревнами в два наката и сверху завалили метровым слоем глины.

По плану предполагалось построить железобетонные бомбоубежища, но цемента нехватало и сооружение бомбоубежищ отложили. К тому же завод должен был работать, несмотря на воздушные нападения, и только во время непосредственной опасности часть рабочих должна была удаляться из цехов.

Дубенко впервые имел дело с подготовкой объекта к противовоздушной обороне и поэтому не представлял себе, как могут рабочие работать, если начнется воздушная атака. Не побегут ли? Не вызовет ли решение о прекращении работы во время тревоги настроения подавленности и даже паники? Коммунисты провели работу в цехах, и рабочие приняли вполне спокойно те требования, которые к ним предъявляли. Они серьезно подходили к делу и втягивались в войну по-настоящему, без излишней суеты.

Богдану почти не приходилось бывать дома. Перевооружение самолета подходило к концу. Броневые листы, которыми нужно было обшивать штурмовики, были закалены и испытаны на полигоне. Бронебойная немецкая пуля оставляла на броне только небольшой белевкий след, как будто в металл ткнули мелом. Артиллерийские снаряды зенитного германского автомата, которыми были в основном вооружены противовоздушные мотокolonны прикрытия немецких танковых дивизий, делали небольшие вмятины в броне, которые можно было выправлять легко, с небольшим нагревом. Поскольку штурмовик должен все же испытать не-

мало таких ударов, для облегчения ремонта придумали ставить броневые листы на особые замки. Конечно, не убрали и пушки. Все осталось на месте, только добавили новое грозное оружие, о котором тихо шептались на заводе. Работа проходила в спешных темпах, и «всенощные», как называли рабочие бессменную работу, становились обычным явлением. Можно было видеть разбросанных по заводу кучками спящих рабочих, прикрывшихся принесенными из дому одеялами или чехлами от самолетов и моторов. Подремав немного, рабочие вскакивали, бежали под душ и снова становились на работу. Жены, особенно из рабочего поселка индивидуальных домов, расположенного возле реки, приносили своим мужьям и братьям пищу, которой так много было тогда на Украине. Сказочно урожайный год был на Украине, да и по слухам — во всем Союзе.

Шевкопляс, приехавший с плена городского комитета партии, сказал Богдану, что средняя цифра урожая зерновых культур по Украине равна двадцати шести центнерам, свеклы — двумстам пятидесяти центнерам. Но будет ли собран этот урожай?

Над главным трактом, проходившим в трех километрах южнее жилых корпусов, уже третий день не опускалось облако пыли. И, когда ветер дул с юга, пыль относил к заводу, и все было покрыто серой пеленой. По тракту третий день двигались обозы беженцев. Это были первые колонны гужевого транспорта, успевшие дойти сюда с правобережья Днепра, а возможно, из Бессарабии и западных украинских областей. Рабочие выходили на обочину тракта и молча наблюдали это переселение. Если вначале проходили только автомобильные колонны, обычно на разболтанных машинах, не пригодных к фронтовому использованию, то теперь ехали на лошадях, волах, даже на коровах. На возах везли разный домашний скерб, поверх которого сидели запыленные дети и старухи, укрывавшие лица от солнца и пыли платками и рваными полушалками. Хворостинами гнали коров, подталкивали обессиленных телят, гнали

овец, коз. На измученных лицах людей было написано какое-то трагическое безразличие, и только при разговорах, в коротких словах и блеске глаз, спрятанных под пыльными бровями, угадывалась ненависть.

Везли раненых — детей, стариков, женщин. Они поднимали забинтованные головы и рассказывали о беспощадной подлости вторгшегося врага. Немцы расстреливали с воздуха отходившие обозы беженцев. Многие матери уже успели потерять детей, и теперь они шли, понурив головы, или сидели на возах, охватив головы руками. Бесконечная скорбь витала над людьми, выброшенными ветром войны... но над скорбью расправляла могучие свои крылья народная ненависть...

А туда, к линии фронта, двигались моторизованные колонны армии. Мчались одна за другой грузовые машины, обычно уже не новенькие, а простые, облезлые, полученные в порядке мобилизации автотранспорта. На грузовиках, плотно друг к другу, сидели красноармейцы, ошестинившиеся штыками или ажурными стволами автоматов. Красноармейцы смотрели на беженцев, они видели этих близких им людей, и каждый узнавал в опечаленных людях своих матерей, отцов, детей. Красноармейцы не пели, они только смотрели на левую сторону шоссе, где по гужевому пыльному тракту тек поток бездомных людей. На коротких привалах бойцы подходили к беженцам, и на груди этих парней женщины выплакивали свое горе. Красноармейцы клялись отомстить врагу, но делали это скупно, без лишнего фраз:

— Подожди, гад...

Стиснув зубы, бойцы вскакивали на машины, стучали по кабинам: «Давай скорей... швидче...» Шоферы не нуждались в понуканиях товарищей. Они тоже стискивали зубы и с места рвали полным ходом. Сколько седых волос на висках, сколько морщин появилось в то тяжелое время у молодежи, призванной родиной для отпора! Но это была благородная седина преданных ей сынов, это были почетные морщины...

Дубенко, наблюдавший вместе с Шезкоплясом картину великого переселения, думал также и о своей семье. Вот так, склонив сонную голову на узел, покашливая и вытирая ребром ладони потрескавшиеся губы, будет сидеть его мать. Его жена будет идти рядом с повозкой и ничего не видеть перед собой, кроме скрипящих колес впереди идущей телеги, и пыльной, размолотой колесами колеи. А может быть, она будет рыдать, как вон та женщина на высоком возу, потерявшая сынишку, расстрелянного германским истребителем на днепровской переправе... Будет рыдать и биться о деревянные корыта и бадейки, набитые тряпьем и другим имуществом... А сынишка его!..

Богдан тихо сказал Шезкоплясу:

— Я, пожалуй, съезжу домой, Иван Иванович.

Шезкопляс посмотрел на Дубенко и кивнул головой:

— Заночуй дома, Богдан Петрович. Мы сегодня ночью без тебя обойдемся. Как раз дежурит сегодня Рамадан, покалякаем с ним ночью...

Дубенко попросил шофера взять побыстрее, и тот, любивший езду «с ветерком», мигом домчал его до дому. Богдан, не обращая внимания на боль в ноге, торопливо взбежал по лестнице и позвонил. Ему казалось, что он больше никогда не увидит своих, и, когда он увидел улыбающееся лицо жены, он долго целовал ее.

— Что с тобой? — сказала Валя, когда он выпустил ее из своих объятий.

— Мне почему-то померещилось, что я еду в пустой дом, что я никого из вас не застаю, что вы бредете куда-то туда, по пыли, за возами...

— Ты получил какие-нибудь известия, Богдан?

— О, нет... Я видел страшное. По дорогам потекли беженцы... беженцы с Украины... Как это тяжело, Валюнька. Где Алеша? Мама дома? Как Танюша?

— Все хорошо. Алеша бегает на улице. Мама легла вздремнуть. Танюша пишет письмо Тимишу. Это ее единственное утешение. Ты будешь обедать?

— Пожалуй, буду. Хотя я не так

давно пообедал на заводе... Вот что, Валюнька, нам надо обсудить кое-какие семейные вопросы...

Богдан прилег на диван, принял удобное положение, чтобы успокоить ногу, закинул руку за голову. В комнате уютно и прохладно. Тяжелые портьеры почти полностью прикрыты, и поэтому до слуха его не достигал уличный шум и не мешал свет. Солнце и горячая пыль преследовали его, и только сейчас отпустили. Перед ним сидела любимая им женщина, с которой вот уже десять лет он делит и радости, и печали. Он знал, что, придя домой, он найдет всегда поддержку и понимание, и, если нужно, утешение. Сколько тревог входило вместе с ним в этот дом, но всегда они рассеивались в семье, и отсюда он уходил всегда бодрый, способный к дальнейшей работе.

— Как ты смотришь на то, если всем вам придется уехать из города, Валя?

Она посмотрела на него и, подавив внезапно вспыхнувшую тревогу, спросила:

— А ты останешься один?

— Останусь один.

— Как же ты останешься один, с твоей ногой...

— Я буду лечиться... ну и вылечусь когда-нибудь, но вечно же...

Валя покачала головой.

— Ты не будешь лечиться, Богдан. Сколько раз ты был на процедуре? Помоему, только два раза...

— Три раза. Но однажды я не застал сестру, которая должна была сделать мне диатермию.

— Разве положение настолько безнадежно? — спросила она, изучая его своими черными, затуманенными глазами, в которых напрасно хотела подавить тревогу.

— Положение не безнадежно, но нужно выезжать заранее. Из города уже отправляют женщин и детей. Сегодня отбыли первые эшелоны...

— Но мы можем выехать в любое время на машине.

— Нет.

— Почему?

— Я не могу сопровождать вас в любое время. И притом мы не знаем, бу-



дет ли к тому времени возможность выехать на машине. Немцы расстреливают машины, расстреливают и бомбят шоссе, дороги...

— Я не уеду от тебя, Богдан.

— Нет, ты должна уехать...

— Я не брошу тебя одного.

— Но ведь сейчас очень опасно.

— Все равно. Я не брошу тебя одного.

Богдана начинало раздражать ее упрямство. Раздражение готово уже было перейти в нервную вспышку, но усилием воли он сдержался и привлек к себе ее худенькое, гибкое тело. Она уткнулась лицом в его грудь и зарыдала. Богдан не ожидал этого и, поглаживая ее вздрагивающие плечи, говорил что-то невнятное и невразумительное, как обычно бывает в такие минуты.

Она подняла заплаканные глаза, покосила губу, попыталась улыбнуться, но потом снова зарыдала.

— Что с тобой, Вальонька?

— Я боюсь потерять тебя, Богдан... боюсь... такое время, что нельзя развединяться. Как развединились, так и все... полная разлука. Я не хочу терять тебя... сколько я пережила сейчас, не видя тебя. Ты даже запретил мне беспокоить тебя звонками... Ты здесь далеко от меня, но если мы разведемся...

— Но в городе оставаться опасно.

— Я хочу переживать опасности вместе с тобой. Все равно без тебя у меня нет жизни. Если я потеряю тебя...

— А как же быть с Алешей? Начнутся воздушные тревоги, налеты.

— Я буду ходить в убежище с Алешей. Все будем ходить: мама, Танюша с девочкой... все... мы даже тюфячки такие начали с мамой шить, чтобы ходить с ними в убежище...

— Если бы ты посмотрела сегодня беженцев, ты бы так не рассуждала, Вальонька.

Она посмотрела на него с некоторым удивлением:

— Но ты хочешь нас сделать беженцами.

— Вот тебе и женская логика.

— Почему женская? — Валя отерла глаза, и на лице ее появилась улыбка. — Ты насмотрелся беженцев и хочешь нас

сделать такими же. Для чего мы должны уезжать? Ты коммунист...

— Безрассудность никогда не была отличительной чертой коммунистов. Но... вообще... как хочешь...

— Останемся, останемся!

Валя вскочила и закружилась по комнате.

— Мама, Танюша, мы остаемся!

Они ужинали всей семьей, поговорили о многом и, конечно, прежде всего о войне. Танюша всплакнула — кстати сказать, она была сторонницей эвакуации. Пережив воздушные налеты, она стремилась как можно дальше уйти вместе со своим ребенком от ужасов войны. Но мнение свое она высказывала осторожно, не стараясь вмешиваться в решение, категорически принятое Валею. Над городом опускался хороший летний вечер. Сумерки, бродившие по улицам, влились в комнату. Лица всех побледнели и стали туманны. Решили зажечь свет, но для этого нужно было опустить светомаскировочные шторы. Но тогда стало бы душно. Отдернув портьеры, раскрыли окна, вышли на балкон, обвитый повителем и уставленный цветами. Внизу деловито шумела улица, кричали мальчишки, и среди них особенно пронзительно раздавался голос Алешки. Отец перегнулся через перила балкона, покричал сыну, тот, заметив отца, бросился к входным дверям и уже через минуту, сналету вскочив на колени Богдана, припал к нему разгоряченным своим лицом.

Так хорошо и знакомо было дома. Все было попрежнему, и казалось, что идущие где-то далеко кровавые сражения совершенно не тронули их семью...

## ГЛАВА IX

Сирены воздушной тревоги завывали в десять часов. Противный звук, повторенный тысячами репродукторов, моментально вывел из домов и улиц всех, кому не положено принимать удар неприятельских бомбардировщиков.

Рамодан позвонил Богдану — машина была выслана, и ему нужно было явиться на завод. Богдан отвел семью в бомбоубежище, приспособленное из обычно-

го подвала в их доме. Подвал дополнительно укреплен был добавочным креплением — стойками из толстого бруса, подпиравшими бетонированный потолок, устроены запасные выходы и наружные полуокна, отдушины защиты досками и заложены мешками с песком. По стенам и между стекол поставлены топчаны, у входа в беспорядке свалены ломы, кирпичи, лопаты и топоры. Когда Богдан устраивал мать и Алешу, дежурный в фуражке речного пароходства с белым чехлом громкогласно объявил всем, что, если «навредит бомба» и подвал завалится, пострадавшим надлежит «откапываться на волю» вот этим инструментом. Заявление дежурного, сделанное в угрожающих и довольно похоронных тонах, нагнало на многих женщин страх, и они менее жизнерадостно начали присматриваться к подвалу, ощупывать брусья, поглядывать на серый потолок и перешептываться. В подвал со смехом спустились несколько молодых людей в белых брюках и рубашках-апах. Дежурный пожурил их за смех и заявил, что, «ежели упадет на их объект больше бомб, чем полагается», он вызовет их для поддержки. Пришли несколько старушек, принесших с собой подушки, хлеб, огурцы и воду в бутылках. Казалось, они всю жизнь прятались в бомбоубежищах — настолько предусмотрительно деловитым было их поведение. На топчан к семейству Дубенко подсел молодой паренек без фуражки и пояса, в форме техника-интенданта. Он, не глядя ни на кого, немного стесняясь, уместил рядом с собой миловидную блондинку. Ее знал Дубенко, она работала в каком-то тресте, жила в их доме, повыше этажом, и при встречах с Богданом бросала на него зовущие взгляды. Техник-интендант, очевидно, пришел к ней в гости, но, будучи захвачен тревогой, должен был спуститься в подвал. Он сидел, схватившись за щеку, явно симулируя сильную зубную боль, — ему не хотелось лезть на крышу для борьбы с зажигательными бомбами в этом, чужом ему, доме. Девушка вызывающе оглядела Богдана. Богдан, часто замечавший на себе откровенные взгляды женщин, сегодня

расценил это по-особому: жизнь шла, и никто не мог остановить ее непреложных законов. Он приветливо кивнул блондинке, как знакомой, и она, покраснев до корней волос, невнятно прошептала: «Здравствуйте, товарищ Дубенко».

— Береги себя, — сказала ему на прощанье Валя.

— Не волнуйтесь, — успокоил Богдан.

Ему не хотелось оставлять семью, но его ждали на заводе. Мать сидела, наружно спокойная, и держала на руках заснувшую внучку. Алеша прикорнул возле бабушки. Танюша волновалась, но старалась не проявлять своего волнения. В этом она походила на мать.

Дубенко поднялся по каменной и сырой лестнице и вышел во двор. На постах стояли дежурные с противогазами, брезентовыми перчатками, с сосредоточенными и серьезными лицами. Дежурный, служащий речного флота, снял с фуражки белый чехол и засунул его в карман. Все смотрели на небо, по которому плыли редкие кучки облаков, мигали звезды и где-то далеко вспыхивали и гасли холодные искры — стреляли орудия зенитных батарей, расположенных за чертой города. Отдаленный гул долетал уже до слуха. Это было начало большой и мужественной борьбы так называемых мирных жителей города с воздушными нападениями противника. Люди, стоявшие возле темных стен и глядевшие в небо, люди, стоявшие на черных крышах, охватившие обеими руками дымовые трубы, девушки-санитарки, прикорнувшие с носилками в подъездах, отныне вступали непосредственно в войну и пока еще не сознавали этого. Всем казалось, что вот-вот прозвучит отбой и, потягиваясь от усталости и ночной сырости, они разойдутся по домам, чтобы утром бежать на настоящую работу...

Дубенко вышел из ворот, машины не было. Он посмотрел на часы. С момента объявления тревоги прошло всего десять минут. Орудийная стрельба приближалась. Вступали новые батареи, разбросанные по всему городу и по окраинам. Резкие звуки зенитных орудий и

разрывы снарядов не прекращались. Дубенко прислушался и уловил приближающийся гул мотора. Его опытное ухо определило по звуку шум хорошо работающих многосильных моторов. На город шли «юнкерсы».

Зенитные батареи покрыли небо клубящимися разрывами снарядов и вспышками. Огонь велся в несколько наслоений. Казалось, совершенно невозможно продраться сквозь этот огненный вихрь. Но моторы неумолимо гудели. Вспыхнули лучи прожекторов. Рассекая темноту, они впились в небо и принялись шарить в каждой тучке. Лучи сходились и по двое-трое бежали по небу, потом гасли и снова вспыхивали в разных местах. Невдалеке, с крыши дома, закашляла автоматическая пушка. И, наконец, в воздух, навстречу усиливающемуся гулу моторов, полетели трассирующие пули, оставляя красный пунктирный след, заработали пулеметы. Раздался свист, точно взмах гигантского стального хлыста, затем грохот, и вспыхнул яркий корончатый смерч, рванувшийся кверху. Богдана рвануло и сшибло с ног взрывной волной огромной силы, продувшей всю улицу. Он упал на тротуар. Со звоном, похожим на выстрелы, лопнули стекла, и осколки понеслись вниз, как пули. Богдан инстинктивно прикрыл лицо ладонями и, немного оглушенный, поднялся на ноги. Опустив руки, увидел на них острые порезы и кровь. Зенитный огонь и взрывы бомб, казалось, шатали дома от фундамента до крыши. Впереди, за черной промадой соседнего дома, круто поднимались быстрые волны дыма, из-за крыши, контурно очерченной задним освещением, выпрыгнули острые языки огня. На лицо упали крупинки гари. Сразу посветлело. Так же быстро и просторно польхнуло слева, в том районе, где находился спирто-водочный завод. В горле запершило. Во дворе кричал хриплый голос дежурного: «Клещами ее... в воду ее... песком...»

Его заглушал гул разнобойных голов, прорывающихся, как прибой, сквозь артиллерийскую канонаду. Доносились отдельные выкрики: «Не подступай!»

«В нос шибает» «Бери ее... клещами...» «За хвост ее...» «Горит, брызгает, чорт».

К Дубенко, прислонившемуся к косяку дома, подбежали три девушки с носилками. В одной из них он неожиданно узнал блондинку.

— Вы не ранены? — спросили девушки хором.

— Нет, — ответил Богдан, — благодарю вас.

— Насчет нашего убежища не волнуйтесь, Богдан Петрович, — сказала блондинка, — там даже шума не слышно. Только немного трясет.

В соседнем переулке призывно засвистел милиционер. Девушки побежали туда, стуча каблучками по асфальту.

— Почему нет машины? — зло подумал Дубенко. Он снова посмотрел на часы. На стекле была размазана кровь. Он стер ее рукавом. С момента объявления тревоги прошло всего двадцать семь минут. Дубенко стоял ближе к карнизу, и возле него изредка падали осколки. По улице проехали пожарная команда, два мотоциклиста с автоматами за спинами, прошагал взвод истребительного батальона. Из ворот вышли дворник и дежурный в фуражке речного флота. Они возбужденно продолжали неоконченный разговор.

— Ведь я кричу тебе: песком ее, песком, клещами, в воду. А ты топчешься возле да около, — тоном начальнического упрека говорил дежурный.

— Не подступит сразу. В нос шибает, стерва, — оправдывался дворник, но не так, чтобы рьяно, а с чувством достоинства.

— Надо ее клещами и в воду. Защипит, забульчит, не бойся.

— Я и не боялся. Я ее потом, проклятую, клещами. Бульчала и шипела, стерва... Только почему я сразу не кинул ее в воду — ведь не всяку можно в воду.

— Тогда песком.

— Каку можно песком, каку нельзя песком.

— Всякую можно песком. Они одинаковые.

— Не согласный с этим. Чего ему смысл кидать одинаковые бомбы. Немец

тоже хитер. Всю Европу обвоевал... это нам-то впервой... — дворник подошел к Дубенко, присмотрелся, узнал. — Это наш, Богдан Петрович. У ево пропуск на всю ночь. Машину дожидаетесь, Богдан Петрович?

— Дожидаюсь машину.

— Может и не прийти. По всему видеть, он бомбы кладет везде. Тю, чорт, опять гудет... До петухов взялся, что ли...

Подошла машина. Шофер довольно несвязно принялся объяснять Дубенко причину запоздания. Раздосадованный ожиданием, Дубенко оттолкнул шофера на правое сиденье и без гудков и света помчался к заводу. Ему что-то кричали вслед патрули, но он не остановился; на выезде, когда он пролетел контрольно-пропускной пункт, его догнал мотоциклист-сержант, задержал, проверил пропуск и отпустил только после того, как Дубенко горячо доказал сержанту причину спешки.

Город, освещенный заревами пожара, остался позади. Перед Дубенко лежала отполированная линия шоссе, обсаженная молодыми тополями. Богдан видел, как на ветровом стекле играли багряные блики, и он не хотел смотреть никуда, а только на эту узкую полоску шоссе, несущегося перед ним, как лезвие кинжала. Он пролетел железнодорожный виадук, мост через реку и тогда поднял глаза. Горел завод. Пламя поднималось на большой площади, черный дым высоко стоял в небе, и над этим местом — его слух до боли обострился — летали немецкие бомбовозы со своим характерным гулом.

— Канава, товарищ Дубенко! — закричал шофер.

Машину подкинуло, трянуло так, что Богдан ударился о ребровину крепления, но руль, ловко схваченный заостренными руками, не был вырван. Дубенко летел вперед. Зарево, приближающееся с каждой минутой, выжгло из сознания всякую опасность автомобильной катастрофы. Посеревший шофер ежесекундно пытался перехватить руль у Дубенко, но всякий раз его руки ловили только воздух. Дубенко свернул с шоссе и летел напрямик, по полям, за-

сеянным клещевиной и свеклой. Кусты стегали по кузову, шипели под покрывками, сочные гроздья клещевины взлетали на капот, но моментально уносились прочь, сдуваемые ветром.

Вот снова дорога. Рабочий поселок! Беленькие коттеджи, курчавые деревья, телефонные столбы, острый и частый забор из штакетника... Машина выскочила из поселка и подлетела к реке. Завизжали тормоза... Богдан выскочил наружу, и шофер наконец-то схватил горячий руль.

Богдан, перескакивая бурьяны и продираясь сквозь кустарники, очутился на берегу. Черная река, рассвеченная крапинками огня, текла у его ног. Горело на той стороне, и там же рвались бомбы. Богдан зачерпнул воды, плеснул себе в лицо. Струйки прорвались за воротник, потекли по разгоряченному телу. Он оглянулся. Да... это рабочий поселок... так называемый «Поселок белых коттеджей»... на северо-востоке от него должен быть завод. Горело же в юго-западной стороне от поселка. Какие же объекты так яростно бомбили немецкие бомбардировщики? Богдан вернулся к машине, подтолкнул шофера, чтобы снова сесть на его место, но тот не посунулся. Тогда Дубенко обошел машину и сел рядом с ним.

— Что же там горит? — спросил он, снимая кепку, — что?

— Всякий хабур-чабур, товарищ Дубенко.

— Как это хабур-чабур? — вскипел Дубенко, думая, что шофер издевается над ним.

— Мы тоже до сегодняшнего дня ничего не знали. А выходит, майор Лоб вместе с нашим секретарем Рамоданом перехитрили немца...

— Что вы плетете!

— Богдан Петрович, да разве вы-то не знаете... Мазут горит там, пакля старая... как только первый немец сбросил бомбы, так и подожгли. Потом уже все немцы шли туда, на пламень, и клали бомбы одну за одной... Сюда ехали, клал он бомбы, и отсюда ехали, клал он бомбы. В пять волн прошли самолеты. Видать, штук полсотни, навдак меньше...

— И, когда мы сюда ехали, вы все это знали?

— А как же.

— Чего же вы мне ничего не сказали?

— Хотел сказать... да вы разве послушали бы. Вцепились в баранку и прете... разве вы ехали? Честное слово, Богдан Петрович.

— Выходит, завод цел?

— Цел.

Богдан откинулся на спинку сиденья и тихо сказал:

— Тогда везите на завод...

## ГЛАВА X

Хитрость майора Лоба удалась. Дубенко, Шевкопляс, Рамодан, Тургаев ездили на место пожара и насчитали восемьдесят шесть воронок от бомб разного калибра. Лоб спрыгивал в воронки и кричал оттуда: «Давай лестницу, лезу из механического цеха» или «Давай лестницу, никак не вылезу из цеха сборки, гидравлики и шасси!» Все понимали под безобидными шутками майора, что, упави гостинцы на завод, вряд ли сейчас пришлось бы беспокоиться о предстоящей эвакуации.

Утром к городу прилетал разведочный «хейнкель», его сшибли наши истребители. Вторые два разведчика были сбиты огнем зенитной артиллерии. Вместе с пятью «юнкерсами», сбитыми в первую ночь налета, зенитчики сшибли уже семь самолетов. В сводке германского командования один из южных заводов, производящий грозные для них штурмовики, был разрушен. Через два дня налет на город был повторен, но район завода не бомбился. Чтобы окончательно убедить противника, Рамодан, по предложению центра, произвел маскировку завода «на разрушение». Летавший над заводом наш разведчик привез фотоснимки, показывающие обугленные стены корпусов, изъеденный воронками аэродром и черные, как бы сгоревшие, жилые дома.

Эвакуация семей проводилась в обязательном порядке. Но некоторые не хотели уезжать. Страшно и незнакомо было бросать насиженные места, остав-

лять мужчин и бросаться в неизвестное. Приходилось иногда принуждать к эвакуации.

Автобусы, обычно доставлявшие рабочих, проживающих в городе, подъезжали к жилому кварталу, останавливались у подъездов. В автобусы весело садились дети, и печально — женщины. Они везли с собой свой скарб, набитый в чемоданы и связанный в узлы. Некоторые предусмотрительно захватывали теплые шарфы, валенки, шубы. Таких было немного. Кто же думал зимовать в чужих местах... Но над великим трактом попрежнему курилась пыль. Снималась с потревоженных гнездозий не только вся правобережная Украина, но уже стали на колеса левобережные области.

Но если не так было трудно поднять семьи, жившие в казенных квартирах, то гораздо труднее оказалось тронуть с места семьи белых коттеджей. Более тысячи семейств рабочих и инженерно-технического персонала жили в живописных домиках на берегу реки. Поселок был детищем Дубенко. Побывав в Америке на заводах «Дуглас», «Кертисс-Райт» и «Консолидэйтет», Дубенко привез оттуда это новшество.

В короткий срок вырос поселок. Постройкой этих коттеджей начиналась рабочая оседлость. Люди заводили свои огороды, скотину, сады, виноградники и закреплялись на предприятии. Были семьи, имевшие в своем составе по три-четыре человека, работающих на заводе. Обычно утром щебенковая дорога, посыпанная песком, оживала. Мимо светлозеленых молодых тополей и полей клешевины, гречи и подсолнуха мчались автомобили, мотоциклы, велосипедисты. Они перегоняли друг друга, люди озорно кричали и как бы гордились друг перед другом своим достатком и хорошей жизнью. Обычно это были лучшие стхановцы, примерные мастера, талантливые инженеры. Самоотверженный труд их хорошо оплачивался и, как говсрил Рамодан, для рабочего класса уже наступил золотой период его жизни. Когда нужно было поднимать людей на выполнение какого-либо срочного и

важного задания, всегда можно было в первую очередь опереться на жителей белых коттеджей. Они любили свой завод и не хотели чем-либо опозорить его славу.

Но вот пришло грозное время, жители белых коттеджей не хотели покидать свои дома. Заправилой молчаливого сопротивления поселчан оказался Хоменко. Рамадан вызвал Хоменко и беседовал с ним не менее двух часов. Из парткома они вышли оба с покрасневшими веками.

— Не могу принимать никаких мер к Хоменко, — сказал Рамадан Шевкопляс, — наш он человек, настоящий...

— А какую он бучу поднял? — горячился Шевкопляс. — Через твоего настоящего человека все индивидуальники ни с места. Хоть аммоналом их взрывай. Так? А как немец подопрет, что я с ними буду делать? Так? Я буду завод спасать, а не их рухлядь, понял? Выгнать из партии нужно Хоменко, вот что... с треском выгнать. Так?

— Нет, не так, — сказал Рамадан, — сейчас каждый боец на учете. Выгнать Хоменко легче всего. Но это потеря коммуниста, бойца, нашего человека...

— Чорт его знает, — отмахнулся Шевкопляс, — ничего не поймешь. Хоменко не хочет уезжать — плохо, а вот Белан все уши мне протурчал — тикать хочет в Ташкент. Тоже плохо. Так?

— «Тикать» в Ташкент? Что же ты сравниваешь его с Хоменко?

— А может, нас в Ташкент и повезут с заводом? Ты откуда знаешь.

— Ведь мы подобрали дублирующую площадку на Урале. Еще до войны ее выбрал Дубенко.

— Площадку вон Дубенко выбрал и в Грузии, а, оказалось, туда других дублеров всунули. — Шевкопляс застегнул китель на все пуговицы. — А пока суть да дело, Рамадан, поедем на аэродромы, поглядим. Сегодня отстрел этих новых пушек. Чорт их знает, поставили такие страшилища. Боюсь, обратим в дым и наши машины...

Окончательную доводку и облет самолетов теперь проводили не на главном аэродроме, как раньше, а на трех запасных площадках, рассредоточенных при-

мерно в 15—20 километрах одна от другой. Там же, в палатках, разбитых в лесках, ожидали самолетов фронтные летчики и военные представители. Прямо «горяченькими» машины гнали к фронту, где они проходили боевое испытание.

В палатке испытателей Шевкопляс встретил Дубенко. Он сидел среди летчиков, пил пиво. На дощатом столике, стоявшем посередине палатки, большая чашка с крупными раками. Две девушки-буфетчицы, подъехавшие на развозном автомобиле, подали из термосов украинский борщ, лангет и комлот из свежей вишни. Летчики шутили с девушками, приглашали за стол, те краснели, стазывались и, забрав грязную посуду, уехали прибрежной полевой к другой площадке, где также их ждали. Шевкопляса и Рамадана испытатели встретили радушно. Разговор шел об испытании модернизированного штурмовика. Шевкопляс сообразил, что Дубенко в товарищеской обстановке узнает у летчиков все то, что необходимо для окончательной доделки машины. Дубенко полагался, кроме официальных актов, еще и на интуитивное чутье летчиков, тем более, почти все они были старыми воздушными волками и к мнению их следовало прислушиваться.

— По-моему, — говорил летчик подполковник Романченко, — машина классная. Мне тоже казалось вначале, что броневое покрытие затяжелит конструкцию. Признаюсь, и сидел на нее с нехотой опаской. Ведь какого только чорта на нее ни напихали. Крепость! Пошел осторожно...

— Знаем Романченка, — сказал Шевкопляс, наливая пива. — Видать, твой дед престокавшу на базар возил, чтоб не расплескался.

— Не только дед, — улыбнулся Романченко, — отец возил. Тележного скрипа бсылся, а вот сынок на твоих громобоях летает, Шевкопляс...

— Ну, ну, говори... продолжай...

— Пошел осторожно. Хорошо слушает, прибавил газку—ничего себе... Заложил небольшой виражик — познакомился. Дал площадку — слушает... Но, когда пошел на бреющем, скажу вам,

самому стало за немца страшно. Прет этакое чудище, огня вагон. Зашел на полигон и как жажну по танковым макетам, ведь чуть ли не из рельсов их понаделали, только дым внизу. Все покарежило... Если таких невозмутимых машин послать к фронту тысячи две... — Романченко принялся за рака, старательно обсасывая лапки и искусно раздвывая шейку.

— Если две тысячи, — подморгнул Шевкопляс, — тогда что?

— Не пошлешь же! — сказал Романченко.

— А если пошлем?

— Ну, что ж. Придется заказывать панихиду кой-каким бронетанковым немецким генералам...

— А машина не проваливается? — спросил Дубенко.

— При потере скорости?

— Да.

— Представьте, нет ощущения. Такой громобой, а планирует превосходно...

— Ну, доволен, директор?

Шевкопляс похлопал Романченка по плечу.

— Я это все раньше тебя знал, дорогой... Так?

— На то ты и директор, — раньше нас все знать. Кто же тебе сказал?

— Из Москвы прислали вырезки из германской газеты.

Вышли из палатки. Перед ними лежало поле. Не так еще давно на нем колосилась пшеница. Теперь, недозревшую, ее скосили на сено, поле утрамбовали катками, но так, чтобы это было не очень заметно с воздуха. На опушке рощицы, прикрытые ветвями клена, стояли три самолета. Возле них возились техники и мотористы.

Враг должен быть остановлен, сломлен и прогнан. Ощущение этой необходимости какой-то физической тяжестью давило не только на Богдана, но и на Шевкопляса, на Рамодана, на всех рабочих.

## ГЛАВА XI

Еще вчера здесь красовался «Поселок белых коттеджей». Ведь в этом году впервые здесь должны были снять урожай бумажного ранета и южного бело-

слива, привезенных из кубанских питомников Максима Трунова. Женщины в клеенчатых передниках поливали газоны и клумбы и, узнав Дубенко, приветливо махали ему платками. Деги играли в большевиков и фашистов, атакуя кусты смородины, желтой акации, растущих у заборов. И только желтые холмы глины поверх вырытых во дворах щелей напоминали о войне... Но сегодня...

Дубенко смотрел на картину небывалого разрушения. Побеленные мелом и крытые цветной черепицей, коттеджи либо догорали, либо были полуразрушены взрывной волной. Три немецких пикирующих бомбардировщика, сбитые с боевого курса зенитным артиллерийским огнем, прошли над поселком... Они напали уж на рассвете, после того как освободили бортовые кассеты зажигательных бомб и сбросили фугаски, они зашли на второй круг, расстреливая из пулеметов и пушек выскочивших из домов и щелей людей. Никакой ошибки тут не могло быть... гитлеровцы уничтожали мирных людей. Они хотели напугать и подавить волю к сопротивлению.

Халаты врачей и санитаров запятнаны кровью и выпачканы сажей сгоревших жилищ. Санитарные автомобили отвозили в город раненых и убитых.

Пожарные в мокрых и задеревяневших, как латы, спецовках перетаскивали брезентовые шланги. Из медных стволов карабинов били плотные струи. Кое-где еще вспыхивали и резво разбегались лапчатые зеленые и красные огоньки. Ленивый дым и пар поднимались от обуглившегося дерева строений. На реке жирными кругами — сажа, черные доски. Всюду разбитая и размолотая черепица. Заборы выгнаны, помяты. Листья плодовых деревьев пожухли, клумбы затоптаны, завалены обгорелыми бревнами. По цветам ходили и ездили. Кому нужны сейчас они...

Мозг еще не мог сразу освоиться с этим. Но кулаки сжимались инстинктивно и сердце закипало огромной и неистребимой злобой... Люди еще вчера верили в свою безопасность, они не хотели уезжать, покидать беленькие сте-

ны, клумбы, яблоня. Они не допускали мысли, что враг мог быть так жесток.

— Сто девятнадцать, — сказал Рамодан, просмотрев длинный список жертв, — что же это такое, а? Девяносто восемь — женщины и дети!

Вокруг них собралась группа рабочих и инженеров завода — жителей поселка, все усталые, мокрые, грязные. Они тушили пожары, кое-что удалось отстоять, но не столько, чтобы хоть капля радости могла упасть в их сердца. В глазах жителей поселка Дубенко прочитал то же, что в глазах Рамодана, — не растерянность или испуг, а ненависть.

На грузовике прибыла саперная команда. На углу, возле беленького здания почты, лежала неразорвавшаяся бомба. Саперы быстро, как будто всю жизнь этим занимались, окружили воронку кольями, натянули канат и принялись копать землю вокруг, чтобы подойти к бомбе. Кто-то сказал им, что бомба, очевидно, замедленного действия, нужно обложить место падения мешками с песком и ожидать взрыва.

— Пустое дело, — сказал веселый паренек, выкидывая землю, — психотерапия.

Он смачно и с очевидным удовольствием произнес это слово. Лопата цокнула о металл.

— Кажись, добрались, товарищи... Ого... часа на три хватит ковыряться.

— Какой вес? — спросил старичок из толпы.

— А тебе зачем, папаша? В аптеке что ль служишь?

— Мое учреждение вон рядом, — старичок указал на домик почты, — почтальоном я с самого первого дня войны.

Сапер снял пилотку, отставив лопату, посмотрел. Со здания почты исчезла черепичная крыша; изломаны перекрытия, вылетели рамы. Телеграфный столб, расщепленный у основания, валялся на земле, наверху на железные рогадки густую косму проводов. Возле лежали разбитые изоляторы, электрочасы. Сапер взмахом головы откинул со лба чубчик, поплевал на ладони:

— Весит бомба двести пятьдесят. Кабы лопнула, не нашел бы, почитай, свое-

го учреждения... Иди, отец, вставляй стекла, собирай канцелярию.

Дубенко и Рамодан направились к инженеру Лаврову. Его домик мало пострадал, вылетели двери, рамы, перекосило потолки, в комнатах валялось стекло, бумажки. Жена Лаврова навзрыд рыдала, держа в руках какую-то мультипликацию, которую на мелкие кусочки изорвало силой взрыва. Лавров стоял у окна, держа в руках молоток и гвозди. Он был растерян и, казалось, еще ничего не понимал. Кивнув головой вошедшим, сказал:

— Как в Бресте! Я уже испытал такое двадцать второго июня! Раму. вырвало с корнем...

— На работе поговорим, — сказал Дубенко, — зайдите.

Лавров вскочил, замахал молотком:

— Сейчас не пойду я на работу.

— Ты что, — жена отложила мультипликацию, подошла к мужу, — разве так можно разговаривать? Так нельзя с людьми сейчас разговаривать... простите его...

— Я не могу, — упавшим голосом произнес Лавров, — я не могу... У меня не выдерживают нервы... Я сам вставлял эти стекла, сам штукатурил стены, сам строгал полы... Вы должны понимать, а если вы не понимаете...

— Пойдем, — сказал Дубенко Рамодану, — он успокоится.

Жена проводила их через веранду, усыпанную битым стеклом; по пути подняла разбитую тарелку, куклу в пестреньком платице и еще какую-то тряпку.

— Ведь далеко от нас упала бомба, говорят, угодила к Хоменко. И подумать только, какая волна...

Рамодан посмотрел на Дубенко.

— Пойдемте проведаем Хоменко, — обратился он к Лавровой. — Хоменко сам не пострадал?

— Он был на работе. Но семья... Они спрятались, но щель недалеко от дома. Их сдавило землей... Жену и двух девочек... — Лаврова прикусила губу, отвернулась.

...Хоменко сидел на подножке грузовика, опустив голову и смотря в одну точку. Лицо его посерело и как-то вы-



тянулось. С колен свисали кисти рук, покрытые ссадинами и кровоподтеками. На шее, сухой и морщинистой, кровоточила небольшая рваная ранка, белый, но почерневший от гари воротничок промок кровью. Когда с ним поздоровались, он поднял глаза, посмотрел на подошедших и с секунду как будто припоминал, что это за люди. Потом на лице промелькнуло выражение, похожее на благодарность, конвульсивно дрогнули губы.

— Ничего не поделаешь, — сказал Рамодан, подсаживаясь к нему, — у меня тоже... жена, сынишка...

— Да, — сказал Хоменко, шевельнув рукой, — знаю.

— Петьку моего ранили, слышал?

— Слышал...

— Будем вместе переживать горе, Хоменко.

— Нет, — Хоменко покачал головой, — нет... каждому свое...

— Что у тебя? — Рамодан указал на затылок. — Ранили?

Хоменко пощупал пальцем и потом все тем же невидящим взглядом долго смотрел на руку, вымазанную в крови.

— Пустое, — сказал он, еле разжимая челюсти, — пустое... сколько времени?

— Вы можете сегодня не выходить на работу, товарищ Хоменко, — сказал Богдан.

— Нет... я пойду... пойду...

Впереди, за речкой, за линией леса курился дымок — черный, узкий, точно нарисованный на голубом небосклоне. Хоменко кивнул в ту сторону головой.

— Говорят, Романченко сбил... Вон там валяется «юнкерс»... если только правда, руки поцелую Романченку...

— Собственно говоря, не мое дело заниматься этим мусором, — сказал Романченко, — но нужно было так случиться, что угадал я оказаться в воздухе, когда налетела эта шпана. Пришлось провести испытание нашей машинки на таком дьяволе, — он указал на остатки немецкого самолета.

— Ты его ловко шарахнул, — похвалил Шевкопляс, с интересом профессионала рассматривая фирменный знак

«юнкерса» — дюралевую пластину, оторванную Романченко, — выпуск 12 июня 1941 года. — За десять дней до войны испекли и... ты его уже спек в свою очередь, Романченко. Разреши мне фирму эту на память оставить, потомству. Так?

— Оставляй, пожалуй, не жалко. У меня еще есть трофеи. Знатные бандюги попались.

Романченко выбросил на траву четыре железных креста, два грубых нарукавных знака «За Нарвик»: на них выдавлены виньетки из перекрещенных якоря, пропеллера и тевтонской розы с длинным стеблем.

— Знатные... — сказал Шевкопляс, поднимая с земли ордена.

— А вот еще, — Романченко показал два золотых кольца с фамильными печатками и бумажник, набитый документами, оккупационными марками, карточками на хлеб и на получение летного пайка — из крупы, гречи и сгущенного молока. — Там еще всякая мерзость в карманах была, будь они трижды рыжи, не хотелось пачкаться. Из штаба ПВО приедут, составят опись.

— Где же они сами — твои трофейные?

— Там лежат рядышком, в холодке. Думали, парашюты выручат — не прошло. Разыскали трупы на поле, колхознички помогли.

Германские летчики, спокойно уничтожившие мирный поселок, не были для Романченка солдатами, заслуживающими уважения. И он не гордился своей победой. Романченко, всегда гордо носивший свои два ордена «Красного Знамени», брезгливо толкал ногой ордена и значки, которыми были увешаны сраженные им враги. Военские награды, обычно выдаваемые за отвагу и честную храбрость, были заработаны поступками, не достойными солдата.

Немцев сложили рядышком в тени кленов. Возле них стоял бородатый и молчаливый колхозник лет пятидесяти с дробовиком в руках.

Немецкий летчик — длинноногий майор в кожаных сапогах с замком «молния», остекляевшие серые глаза, притрушенные по ресницам землей —

лежал посредине. Лоб его был проломлен, вероятно, при падении, на полусевшем черепе заpekлась кровь. Желтоватые, с сильной проседью, волосы слиплись в косички. Майор лежал важно, начальнически строго сжав губы, и возле него — люди его экипажа, в памятных и окровавленных мундирах.

Хвостовое оперение «юнкерса», с огромной свастикой, поднималось над ними. Было что-то роковое в этом усеченном, скрученном кресте.

— Смотрю и не испытываю обычной человеческой жалости, — тихо сказал Дубенко, — мне кажется, у них нет ни семьи, ни отцов, ни матерей... Плохо служить в таком войске.

— Падаль, — сказал Шевкопляс, — сколько слез принесли людям... Завидую Романченку, устроил им свой трибунал!

## ГЛАВА XII

Дубенко долго держал в объятиях только-что ввалившегося Николая Трунова. Неужели этот перекрещенный ремнями человек, с зелеными фронтовыми петлицами, на которых крапинками такие же зеленые звездочки генерала, его старый друг Колька? Запыленные сапоги, матовые шпоры, с особым фасоном носимые Николаем, серебряная шашка — подарок старика Трунова, бинокль, который так мешал объятию.

— Ну, отпусти, чертило, — попросился Николай, — а Валя писала, что болен, что греет тебя день и ночь утюгами. Было кости сломал.

— Рад тебе, рад, Николай. Давно не видел, скучал страшно. А тут ты первый близкий друг фронтовик, с которым можно поговорить откровенно, напрямки...

— А что ты хочешь говорить напрямки, — улыбнулся Николай, — знаю... знаю... по глазам вижу...

Трунов снял пояс, ремни, полевую сумку, оружие. На столике, где обычно Анна Андреевна держала семейные альбомы, лежали короткий автомат с заряженным магазином и две ручные гранаты.

— Ты что-то больно весел, Николай, — сказал Богдан, присаживаясь возле друга.

— Почему больно весел? Ну, вот опять пристанешь с разговорами. Давай-ка лучше организуй ванну, хорошее полотенце, я люблю мохнатое. Представь себе, я уже двадцать дней не мылся.

— Можно было искупаться в речке где-нибудь.

— Э, ты, брат, отстал от жизни. При нашей войне некогда сейчас генералу в речках купаться. Немцы столько понасовали везде своего «шелкового сброда», что приходится купаться с опаской. Видишь, приходится с собой возить ППШ, бомбы. Когда это видано в войнах прошлого, чтобы генерал таскал оружие рядового бойца. А вот приходится.

— А их генералы?

— Тоже ходят с опаской. Партизаны, партизаны... Война пошла на всю глупину, Богдан. Вот бы сейчас по ту сторону перекинуть моего старика. Там везде идет слух про Максима Трунова. Представь себе, когда узнали, что командует Трунов, шли ко мне его соратники, думали, Максим. Смотрели на меня и отходили...

— Разочарованные...

— Очевидно.

— В сражениях-то был хотя?

— Больше, чем полагается, Богданчик. Ничего, справляемся. Кстати, мне нужен хороший пилот, чтобы подбросить туда радиостанции, немного патронов и кое-какие указания. У тебя, как у самолетчика, вероятно, есть хорошие парни этой квалификации?

— Найдем. Придется снова посылать майора Лоба.

— Фамилия подходящая. Сразу видно, лихой. А теперь еще больше возможностей проявить себя. Поле деятельности для военного человека широченное. Вот уж когда в самом деле у каждого солдата в походном ранце может обнаружиться маршалский жезл... Но ты думаешь меня купать или нет?

— Ванна готова, — сказала вошедшая Клаша.

Трунов потрепал ее по щеке.

— Спасибо, дорогая Клаша. Только ты меня и спасаешь...

— Белье тоже приготовила, Николай Максимович, — сказала Клаша, зардевшись от похвалы, — еще ваше оставалось. Я постирала.

— Вот это забота об усталом бойце... Придешь, Богдан, спину мне потрешь. Давно спину не терли...

Трунов ушел. Вскоре приехала Валя, которой позвонил Богдан. Она была в госпитале, где дежурила. От нее пахло иодсформом, спиртом и еще какими-то запахами, свойственными только больнице. Валя поцеловала Богдана, осмотрела комнату. Попробовала осторожно пальцем матовый ствол автомата.

— Ничего, Николай?

— Как ничего?

— Не ранен?

— Нет.

— Тяжело смотреть на раненых. Такие молодцы... — Валя задумалась. — Посмотрела сегодня на этих мальчиков... Ты знаешь, Богдан... Я плакала... Вот какая из меня сестра... Не правда ли, Богдан? Плохая у тебя жена.

— Это естественное чувство. Защита родины — суровая необходимость, а не праздник чувств. Как-то глупо я выражаюсь. Противно выражаюсь, Валюнька. Но мозг настолько скован цифрами, и... самолетами, что иногда, когда хочется выразить свои мысли в другой области, — не находишь слов. Узкий специалист, чорт побери... а тут еще эта проклятая старческая боль...

— Опять болит?

— Опять? Эх ты, сестра милосердная! Она у меня не перестает. Иногда хочется пойти к хирургу и попросить оттяпать ее по самое бедро.

Вошла Клаша.

— Богдан Петрович, пора в ванную..

— Зачем в ванную? — не понимая, спросил Богдан.

— Вы разве забыли, Николай Максимович просил.

— Забыл... Побегу спину тереть генералу. А ты приготовь нам после трудов праведных что-либо из спиртного. Коньячку можно для Николая, ему по-

лагается, а нам все же «Абрау-Рислинг»... Только одну бутылочку. Через час я должен быть на заводе.

Николай фыркал под душем. Он тер подмышками, хлопал себя по сильным загорелым бокам ладонями, тряс головой. Это был прежний Колька, озорной и веселый.

Богдан намыллил мочалку так, что хлопьями падала пена, и принялся натирать спину генералу. Николай вначале терпел, а потом принялся выгибаться, уклоняясь от мочалки, которая ходила по его телу, как рашпиль.

— Ну, довольно, приятель... все... — он повернул свое смеющееся лицо, — коньячку приготовил?

— Будьте уверены.

Прибежавший с улицы Алеша очарованный стоял возле оружия и мундира Трунова. Как приятно все казалось мальчишескому сердцу. Когда появился свежий и пахнущий духами Трунов, в отцовской пижаме, Алеша даже сделал шаг назад. Он не узнал дядю Николая. Но когда тот, раскрыв объятия, поманил его к себе, стремительно бросился ему на шею. Поцеловав в нос и щеки, Алеша сделал движение плечами, чтобы освободиться, и, спрыгнув на пол, сказал:

— Дядя Коля, а мне что привез?

— Тебе привез орден.

Николай вытащил из бокового кармана гимнастерки железный крест первой степени и подал мальчику.

Алеша заложил руки за спину, покачал головой.

— Ну, бери...

— Нет...

— Почему нет?

— Я уже пионер.

— Ну так что ж?

— Это фашистский... я знаю...

— Вот тебе и молодая смена, — удивился Трунов, — с них толк будет. Эти повоюют...

— Да что вы еще восемь лет думаете воевать? — спросила Анна Андреевна. — Не дай бог... Неужели это не последняя?

— По-моему, нет... — Трунов обратился к Богдану: — Ты почему же своих не отправляешь?

— Не хотели.

— Как так не хотели? Время военное — приказать нужно.

— Пойди прикажи...

— И прикажу. С сегодняшнего дня я начальник гарнизона вашего города. Надеюсь, это до вас доходит? Приказы-ваю немедленно эвакуироваться...

— Неужели так серьезно наше положение? — спросила Валя. — Мы все же думали, что наш город не будет сдан.

— И мы так думаем. Но на войне главное — предусмотрительность. Всегда надо заглядывать вперед. Короче говоря, придется вам завтра собираться в путь-дорогу и послезавтра, как крайний срок, чтобы вас уже в городе не было.

— Куда же нам ехать? — спросила Анна Андреевна.

— По-моему, на Волгу или в Сибирь.

— Туда не поедет, — твердо сказала Танюша, — Тимиш не рекомендует.

— Тимиш пока только лейтенант, Танюша, а его старший брат как никак генерал. Его распоряжение я могу отменить.

— А если на Кубань, — сказала Таня, — к Максиму Степановичу?

— Возможно, это дело. Но старик беспокойный. Вряд ли он усидит на месте...

— Я не уеду, — твердо сказала Валя.

— Почему так?

Трунов посмотрел на нее улыбающимися глазами.

— Не хочу бросать Богдана.

— Богдан малютка?

— Не малютка, но я должна за ним смотреть.

— Вопрос явно дискуссионный, — Трунов налил рюмку, выпил, — вернемся к нему после того, как расколочим немца. Как говорил бравый солдат Швейк приятелю Водичке: «Встретимся после войны в шесть часов и поговорим»... А отправляться нужно. Богдану нельзя сковывать себя семьей. Предстоят большие испытания. Богдан тоже солдат. Армия во время войны должна быть холостой... Пред-

ставьте себе, я замучился в своем корпусе с одними письмами. Ведь, кажется, некогда писать, так нет, пишут ребята и бойцы, и командиры ежедневно. Где ни приткнется, сейчас из-за пазухи бумагу и карандаш и уже строчит. И что можно писать каждый день? Не понимаю... Вот тебя, Танюшка, часто бомбардирует письмами Тимиш?

— Уже пятый день не получала, — на глазах ее навернулись крупные детские слезы.

— Вот видишь, к чему приучил жену Тимиш. Пять дней нет письма, уже в слезы, а если бы писал в месяц раз, все было бы нормально.

— А по-моему, ты перехватил, Николай.

— Но это же по-моему. У меня свое мнение. Я его еще не все высказал. А вот мой комиссар радуется, когда писем много пишут. Говорит, бойцы меньше об опасности думают. Со-знаюсь, он прав. Но сейчас война и семьи при себе не всегда нужно держать. Да и невозможно. А вообще трогательно. Начнет вспоминать жену, вот таких карапузов, — Николай ущипнул Ларочку за щечку.

— Ты бы посмотрел, сколько детей вчера уничтожили немцы в поселке белых коттеджей. Если солдат будет всегда помнить свою семью и знать, что в случае поражения так будет с его детьми, я думаю, не хуже будет от этого их генералу.

— Убедили, — Николай поднялся, посмотрел на часы, — много побил детей в поселке?

— Девяносто восемь женщин и детей.

— Сволочи, — процедил сквозь зубы Николай, и на лицо его легло новое выражение, не похожее на прежнее шутовское. — А как рабочие? Не испугались?

— Поклялись на цеховых митингах работать еще лучше. Какие были трогательные и суровые выступления.

— Немцы не поняли одного в этой войне. С каждым днем наш народ будет все больше и больше нагреваться, а их — все больше и больше остывать.

Русского человека тяжело накалить, но когда уже накалили, остужать приходится чрезвычайно долго... Завтра начнем рыть дополнительные противотанковые рвы вокруг города, Богдан. Надо укреплять город.

Никслай оглядел всех, увидел потускневшие лица Анны Андреевны, Тани и улыбнулся.

— Война... ничего не поделаешь...

Пришел адъютант, лихо щелкнул шпорами, передал Трунову большой пакет, усыпанный печатями. Пакет, очевидно, был из Москвы. Трунов вскрыл его, там лежала небольшая бумажка, и она не соответствовала этому большому конверту и огромным сургучным печатям.

— Машина внизу?

— Так точно, товарищ генерал-майор, — снова щелк шпор.

— Комиссар в штабе?

— В штабе, товарищ генерал-майор.

— Ожидайте внизу, я сейчас спущусь.

Когда за адъютантом закрылась дверь, Трунов твердо сказал:

— Богдан, завтра же чтобы семь здесь не было.

— Хорошо, Николай.

— Вы еще не получили приказания вывозить завод?

— Первое предупреждение было.

— Пусть сегодня ко мне в девятнадцать часов заедут Шевкопляс и Рамодан. Я постараюсь устроить вам платформы... Завод нужно начинать вывозить, Богдан.

— Но мы только наладили серийный выпуск.

— Сегодня состоится решение тройки. Я поехал...

Решительные слова Трунова действовали на всех удручающе. Как-то так случилось, что все молча разошлись по комнатам и стало слышно, как захлопали крышки чемоданов. К квартире подошла война...

А вечером, когда Богдан на заводе готовил план демонтажа оборудования, возле дома, где жили Дубенко, остановился забрызганный грязью и укрытый засохшими ветвями автомобиль. Знать, издали мчалось длинное механическое

тело «эписа»: в грязи были не только кузов и колеса, но и крыша, и стекла. Помятые крылья, привязанный шпагатом бачок с бензином и маслом на багажнике, лопата, парусиновое ведро и даже воронка из оцинкованного железа тоже были залеплены грязью.

Автомобиль произвел неблагоприятное впечатление на дворника и постового милиционера. Они подошли к нему с двух сторон и чего-то ожидали. Отряхиваясь и ворча, из передней кабинки вылез грузный мужчина, с широченными плечами, хищным носом и крепкой шеей атлета. Толстовка из серой парусины была настолько вымазана грязью и автомобилем, что стала черной. Широкополая соломенная шляпа, разорванная у тульи, так что один край ее свисал на плечо, дополняла облик вновь приехавшего человека. На ноги одеты обычные тапочки со стоптанным задником, болтались плохо подвязанные штрипки кавалерийских потертых брюк. И только отличный пояс золотой чеканки, производства великолепных аварских мастеров, и маузер в отполированной годами кобуре, повешенный через плечо на ремне, украшенном кавказским ажурным набором, заставляли призадуматься, прежде чем потребовать от него документы. Милиционера подтолкнул дворник, и тот, взяв подковырек, попросил предъявить паспорт, права водителя и командировку.

Приехавший с изумлением поднял свои синие глаза на милиционера и, похлопав его по плечу так, что тот съехался, сказал добродушно:

— Ты что, Максима Трунова не знаешь?

Но, видно, милиционер плохо знал историю. Он не знал Максима Трунова, что несколько обидело приехавшего.

Милиционер, нахмурившись, проверял документы странного человека. Все было в порядке: паспорт, командировка, но не было одного — прав водителя.

— Ты что же, думаешь, голубь, — сказал Трунов, пряча в карман документы, — я буду с собой таскать всю канцелярию...

Он полез в машину, где находился разобранный и чудом втиснутый мото-

цикл марки «Индиан» и лежала корзина с белосливом, тут же валялись дыни-скороспелки, побитые и помятые, видно, их здорово болтало в дороге. Трунов вытащил из-под колес мотоцикла такой же помятый френч, тряхнул им и набросил на плечи. Милиционер вытянулся и козырнул. На френче, один возле другого, три ордена «Красного Знамени» и медаль двадцатилетия РККА.

— Ты чего глядишь так, голубь?

— Вы тот самый Трунов?

— Тот самый, голубь. Тот самый. Признал, наконец. На-ка дыню. Сковырни это гнильцо и съешь. Здесь у вас еще нет такого добра. Да вы и не умеете их растить. Куда вам, городским хохлам...

Он сунул милиционеру дыню и пошел в подъезд. Находу бросил:

— Поглядите за машиной. А то у вас здесь разом раскулачат. За сливами сейчас пришло...

### ГЛАВА XIII

Поджидая сына, Максим Трунов переделался в военный костюм, натянул сапоги, которые ему становились несколько тесноваты — почему-то отекали ноги. Широкий, могучий и какой-то встревоженный, он нетерпеливо поглядывал на двери, в которых должен появиться сын. Он был обрадован, что Николай не видел его в костюме «аргентинца», прямо с дороги, но теперь он немного сердился, что вот приехал отец, и Николай, узнав о приезде, не прибежал сразу, как должен был бы сделать, по его мнению, хороший сын. Чтобы как-то убить время, он сходил во двор, помыл машину, смазал ходовые точки и собрал мотоцикл, но завести не сумел. Что-то испортилось в «Индиане», и он решил рассмотреть «это хозяйство» у Богдана, познания которого в механике он очень ценил. Отсутствия Богдана он извинил, но сам позвонил на завод и попросил не задерживать на работе старика Дубенко, с которым он хотел покалякать. Так получилось, что приезд его в этот раз не явился боль-

шим праздником, как обычно. Правда — война. Максим понимал это большое слово, знал, что люди заняты по горло, но одновременно он считал войну не таким уж сложным делом, чтобы ради нее забывать родителей, радости и вообще правильную жизнь. Сейчас происходила война необычная, в душе много тревоги, но поддаваться этим тревожным сомнениям тоже нужно было с осторожностью. Еще третьего июля, услышав по радио голос Сталина, он понял — опасность, надвинувшаяся на родину, огромная, нельзя никому остаться в стороне от начавшейся борьбы. В голосе Иосифа Виссарионовича, которого он знал еще по гражданской войне, он чувствовал решимость человека, ответственного за судьбы родины. Третье июля вошло в сознание Трунова, как поворотный этап в его собственной жизни. Сталин призывал весь народ к отпору врагу. Тогда Трунов признал себя мобилизованным по долгу сердца. Вскоре, добившись от Центрального Комитета выезда на Украину, Трунов немедленно сел в автомобиль и, делая короткие остановки, только для заправки горючим, маслом и водой, докатил до города, где была обусловлена встреча. Проезжая по Кубани, Донщине, Донбассу, он встречал знакомых — теперь уже поседевших людей, бывших его соратников и подчиненных, они говорили с ним и все горели желанием пойти на врага.

И вот сын, наконец, перед ним. Максим со скрытым удовольствием оглядел его, но виду не подал.

— Может быть, оторвал тебя от дела, товарищ генерал? — спросил отец несколько обиженным голосом.

— Прости меня, — тепло сказал Николай, — пришлось принимать кое-какие решения. Совершенно невозможно было вырваться. Вот и сейчас, побеседуем и должен снова туда, в штаб... совещание...

— Есть ли смысл в ваших совещаниях, Николай? Помню, мы меньше всего совещались в городах и хатах, а выходили в чистую степь, на высокие травы. Там и мысли просторней, и врага как-то видней...

— Выйдем и мы, отец, в чистую степь на высокие травы.

— Когда? — Трунов прошелся по комнате большими шагами. — Нужно торопиться. Что же вы думаете, это женин брат в гости приехал на масленицу?

— Никто так не думает, отец, — со вздохом и, очевидно, начиная уже тяготиться разговором, ответил Трунов, — все знаем...

— Перед немцем нельзя труса праздновать. Как только ему раз спину покажешь, так и насыдет на тебя, как копчик на зайца. Били мы немца, дважды били. Знаю я все его повадки, весь характер. Строем идет — силен, как строй разбил — все пошло у него кувырком. Нашего брата брось одного, чертеет все больше и больше. А немец в одиночку — воробей... Немец за спиной гонится, а от груди падает... понял, голубь? Грудью его нужно встречать.

— Встречаем, отец. Армия отходит, но спину не показывает. Принимает противника и огнем, и штыком. Над каждым рубежом курганы немецких трупов.

— И долго еще будет так?

— Сколько прикажут.

— А если прикажут остановиться?

— Остановимся.

— И ни с места?

— Как же ни с места, отец. Пойдем вперед... Или отвык воевать?

Отец сел и долго и упорно смотрел перед собой. Сын тронул его за руку повыше локтя и ощутил будто стальные мускулы. Можно было позавидовать этой кряжистой и могучей фигуре почти шестидесятилетнего человека. Таких высекали из камня древние и поклонялись, как божеству.

— Я понимаю тебя, отец, — тихо сказал Николай, присаживаясь рядом.

— Понимаешь? — он поднял глаза.

— Да... Много непонятого, но происходит оно от незнания. Тяжелое и страшное испытание выпало на нашу долю, но сопротивление не сломлено, отец. Дух армии не подорван. Я повезу, если хочешь, по полкам тебя, поговори с бойцами. Они много сражались, прошли с боями от Прута, но дух стал еще креп-

че, отец. Нельзя победить такое войско...

— Ямполь проходили?

— Проходили.

— Помнит кто-нибудь там Максима Трунова?

— Помнят, отец. Спрашивали...

— Не брешь?

— Нет. Спрашивали тебя... многие думали, ты командуешь корпусом.

— А село Попелюхи?

— Проходили. Тоже спрашивали, отец.

— А Джулинку?

— Проходили... Там приходил записываться к нам в дивизию партизан... Не вспомню его фамилию, такой высокий, сутуловатый и усы почти до плечей свисают.

— А на шее шишка?

— Вот насчет шишки не помню, отец. Но по правой щеке сабельный шрам приметил.

Трунов вскочил и так ударил сына по плечу, что тот даже присел он невыносимой боли.

— Что ты дерешься, отец!

— Да как тебя не бить... Ведь то приходил к тебе командир эскадрона Прокопий Семидуб. Я ж про него тебе сто раз рассказывал. Жив, значит, еще Семидуб.

— Верно, Семидуб, — припомнил сын, — он еще узнал на мне твою шапку.

— Ну как не узнает Семидуб, — Трунов ударил кулаком по столу. — А в Умани был?

— Ну как же, отец.

— Там такой народ, что с ним можно до Ламанша переть... Никогда они с немцем не помирятся, Николай. Вы бы гукнули к себе тот народ.

— Вот и гукни, — Николай с хитрой улыбкой посмотрел на отца, — могу устроить.

— Не брешь, — отец приник к уху сына, — поднять там такую партизанщину, чтобы небу жарко стало.

— Партизанщину не нужно, а партизанское движение не плохо было бы. Кстати, я сегодня говорил с командующим фронтом, он тебя хорошо знает, не возражает.

— Уже продал отца, а? — пожурил отец шутиливо. — Эх, вы...

— Не согласен?

— Ты что? Насмехаешься? Через тридцать минут готов седлать своего «Индиана» и катать до самого фронта и через фронт.

— На «Индиане» ты туда не докажишь, отец. Партизаны теперь организованные. Мы с ними имеем связь, они выполняют наши боевые задания. Отправим тебя на самолете, отец.

— Не дури, сыну. Я не голубь. Вы еще заставите меня прыгать на парашюте. У меня ноги для таких прогулок не приспособлены.

— С парашютом тебе, пожалуй, прыгать не придется. Доставят культурно. Кстати, повезешь с собой две радиостанции, патроны, а инструкции, может быть, даже сегодня ночью получишь в штабе. Твою кандидатуру мы телеграфно согласуем с верховным командованием.

— Неужели с Иосифом Виссарионовичем?

— Возможно.

— И он узнает, что снова Максим Трунов пошел в бой?

— Ну, это он узнает безусловно...

— Вот тебе и советские генералы! — восхищенно сказал Трунов.

Николай уехал в штаб, а Максим долго еще шагал по комнате своими широкими шагами. Решение, принятое сыном, не было неожиданностью для Трунова, но, видно, сказывались два десятилетия мирной и привычной жизни... старик волновался. И волновался не потому, что было страшно пускаться в опасное предприятие, не потому, что пугала смерть... нет — единственная мысль сверлила его мозг и заставляла ходить и ходить по комнате до одурения: «Сможет ли он поднять людей, и не останется ли он в одиночестве?» Но постепенно стирались в памяти прожитые года, моложе и ухватистой представлялся он сам себе, чернели седины у боевых его друзей, раскиданных по знакомым ему, как собственная ладонь, селам и городам правобережной Украины. Уже прежним парубком выглядел Семидуб из Джулинки, который пришел-таки по старой

памяти к его сыну, уже щупала острая память Максима все балочки и перелески, где можно устроить и засаду, и небольшую каверзу, да почему бы и не заправский бой проклятому врагу...

И когда, осторожно приоткрыв дверь, заглянул старик Дубенко, Максим схватил его, втащил в комнату и принялся тискать его в своих медвежьих лапах.

— Что ты, Максим, — сказал Петро Дубенко, — чуть не вытряхнул с меня всю душу.

В сравнении с Максимом Петр Дубенко выглядел и старше, и тщедушнее, хотя вообще он был и достаточно высоким ростом, и не такого уж слабого телосложения.

— Партизанить еду, Петр. Соберу ватагу, покуражусь еще над немцем.

— Да, немца нужно проучить. Слышал, небось, как он наш рабочий поселок... сто девятнадцать человек... Что они ему сделали? Войей с солдатами, а то с бабами, детшками. Сшиб Романченко одного. Четыре прохвата на нем присохли. Никто шапки не снял перед покойниками, не люди — зверюги, Максим. Как с этим поселком мой Богдан носился! Приехал когда из Америки, никому житья не давал. Сделать так, чтобы было лучше, чем в Америке. И сделал... Хотя я в Америке не был... Народ только жить начал, только в форму вошел, и вот. Налетели, сожгли, закидали бомбами, надругались...

— Выпущу я из них кровь и за ваших сто девятнадцать, Петро, — сказал с некоторой торжественностью Максим. — А вдруг откажут мне туда... Откажут — сам переберусь. Потом перед партией оправдаюсь, если буду жив. Ну, расскажи, Петро, как там в твоей «кузнице»?

— Скоро все начнем вырывать с корнями. Куда-то подальше перекидывают. Придется переезжать пока с Украины, Максим. Откровенно сказать — тебе завидую.

— А старуху куда? Аннушку свою? С собой возьмешь?

— Не знаю, Максим. Мы еще прокатимся с заводом. Его на два эшелона не погрузишь. Я не был давно дома, не знаю, как решили с семьей.

— Богдан что говорил?



— Сегодня вызывал меня к телефону. Как будто Николай советует отправить завтра же.

— Насчет семьи... по-моему... чего тут думать. Завтра же направим их на Кубань. Прямо в мой дом пускай и катают. Сейчас же дам телеграмму своему заместителю — он все обтяпает.

Позвонили. Трунов снял трубку и, чувствуя, что не может сдержать волнения, нарочито долго раскручивал шнур, ворчал. Дубенко остановился в выжидательной позе. Звонил Николай. Он сказал всего два слова: «Поздравляю, отец».

Максим положил трубку на рычаг, и на лице его появилась довольная улыбка.

— Ну, что ж, Петро, поздравляй нового красноармейца... Пригодились и наши старые кости. Не такие уж мы никудышные.

... Рано утром Максим растолкал отца и сына Дубенко, заставил их быстро одеться и, сам сев за руль, помчался в направлении завода.

Богдан чувствовал прохладу утра, ежился, Максим приоткрыл все окна в машине и не хотел закрывать. Отец сидел рядом с Труновым, положив руку ему за спину. Они о чем-то говорили. Иногда Максим поворачивался, и Богдан видел его волевое лицо, острые глаза, блестящие сегодня особенно помолодому. Трунов великолепно водил машину. Как автомобилист Богдан никогда не мог достигнуть столь виртуозной легкости, блестящей ориентировки в разных профилях дорог, какими обладал старик Трунов. Вот он сделал крутой, но совершенно плавный поворот, выпрыгнул на проселок и помчал по направлению белых коттеджей. По поселку Трунов проехал медленно. Отец пытался ему что-то рассказывать, указывая пальцем, но Трунов остановил его и молчаливо смотрел из-под нависших бровей на руины поселка. Улица уже была прибрана, воронки засыпаны, кое-где восстановлены заборы, обугленные доски и бревна стасканы в кучи, но следы разрушения виднелись повсюду и их никак не могли замести трудолюбивые человеческие руки.

Трунов, выехав из поселка с южной стороны, понесся над берегом реки, по узкой грунтовой дороге, поросшей лебедой. Перевалив мост, Максим еще несколько километров ехал параллельно главному тракту, изредка бросая хмурые взгляды на облако пыли, курившееся во всю длину шоссе.

— Поглядим тут, — сказал Трунов. Он остановил машину и, разминая затекшие ноги, прошелся немного, вернул, постукал баллоны носком сапога и только тогда, уперев кулаки в бока, осмотрел картину, представившуюся его взору.

— Вот тут, в восемнадцатом, мы держали немцев на восемь суток. Удобное место. Возвышенность, на ней мы стоим, и внизу равнина! Хорошо для обороны, ой, как гадко для наступления! Где-то тут лежал и ты со своим австрийским карабином. Помнишь, Петро?

— Помню, — ответил старик Дубенко, — как же не помнить такого дела. Тут, если пошукать, то, пожалуй, и разыскать можно ту ямку, где приходилось ховаться от пуль и осколков.

— Не найти той ямки, — сказал Трунов. — Степи были какие! А теперь? Все запахано. Даже вон те могильники запахали. Что бы оставить курганы! И сколько на тех могилах уродится подсолнуха или пшеницы?

— Для трактора лучше, — заметил старик Дубенко, — кабы пахать конями аль волами, разве стали бы трогать курганы. Обминули бы, и все. Не стали бы мучить худобу...

Внизу, перед ними, лежала плодородная равнина. Солнце побежало своими лучами по созревающим полям пшеницы и «суржи». Невдалеке, выделяясь зеленым квадратом, стояли подсолнухи. Они повернули к солнцу свои золотые короны, на сочных шероховатых стволах играла роса. Заверещал жаворонок, упал. Где-то раздался тонкий голосок перепелки, с характерным призывом: «пить пойдем — пить пойдем». Воздух был напоен теми щедрыми запахами, которые отдают растения от богатства своего, от переполнения соками...

Богдан наблюдал за Труновым с лю-

большеством. Что чувствует сейчас этот человек, приехавший со своим другом на место давних боев, о которых сейчас уже сложили легенды? Трунов скрестил руки на груди и стоял, облитый лучами солнца, точно изваянный из камня, и видел Богдан, как упала на лицо старого вагажка большая тоска.

Влево, полосой от западного до восточного края, вдоль линии горизонта поднималась пыль.

— Там уходят? — спросил Трунов, ни к кому не обращаясь.

— Да, — ответил Богдан.

— Проедем к тракту, — сказал Трунов, — нам тоже приходилось отходить по нему. Так уж положено, что не миновать того большого шляха, ни при отходе, ни при наступлении... А то кто еще жалует сюда?

К ним подъезжал зеленый автомобиль. За ним, примерно метрах в ста, мчались, ныряя в ухабах, грузовики с красноармейцами. Из автомобиля на траву выскочил Николай Трунов.

— Отец! — удивленно воскликнул он. — А мне сказали, что ты на заводе.

— Буду и на заводе, — ответил Трунов, — вот взбудоражил Петра и Богдана, таскаю их за собой. Им вот-вот на работу нужно, а я их таскаю. А ты чего, Николай, прискакал?

— Рекогносцировка, отец. Надо посмотреть местность.

— Гостечков где встретить?

— Вот именно. Кстати, и твоего совета можно спросить. Пока подъедет командующий, кое-что и обмозгуем.

— Чего тут много мозговать. Заставляй рыть окопы, по всей этой кромке. Обстрел что надо... Тут поставь пулеметы, всю равнину просечешь. Когда-то восемь дней держали эту линию, против того же немца.

— Немного не против того, отец. У этого много танков.

— Ну, насчет танков я не мастер, товарищ генерал.

Генерал осмотрел в бинокль равнину, что-то сказал подошедшему адъютанту, тот вынул карту, разложил ее на траве, привалив по краям камешками. Грузовики с красноармейцами остановились. К генералу подошел командир саперного

батальона — небольшого роста капитан, приложил руку к козырьку и остановился невдалеке от Николая Трунова, искоса поглядывая на грудь Максима, украшенную орденами.

— Мой отец, — сказал генерал.

Капитан почтительно представился.

Николай опустил карандаш, которым он что-то черкал по карте, и тоном окончательно принятого решения приказал:

— Товарищ капитан, противотанковый ров протянем там, — он ребром ладони провел условную линию по кромке плоскогорья. — Соответственно наметьте схему расположения минных полей, надолб и огневых точек.

Николай посмотрел на отца.

— Да... Рабочую силу, кроме наших бойцов, выделяет город. Завтра сюда придет сто тысяч человек. Сегодня же надо будет найти лопаты, кирки, приготовить тачки. Лопаты поможет сделать Богдан Петрович Дубенко.

Когда командир батальона отошел, Николай, взяв под руки Петра и Богдана Дубенко, сказал:

— Надо помочь лопатами и тачками. Мне кажется, на вашем заводе можно это сделать за одну ночь. Рабочие помогут внеурочно.

— Сто тысяч невозможно, — заметил Петро Дубенко, — надо несколько вагонов листа, штампы приготовить, не знаю как...

— Ну, разве нужно все сто тысяч? Многие принесут свои лопаты. Откроем склады. Лопат нужно будет дабавить на первый случай тысяча двадцать...

— Померекаем, — согласился Петро, — поднимем народ. Только мне уже пора на работу... Вам-то, начальству, можно гулять...

— Вы можете поехать машиной. Саперы остаются, машины уходят за материалами.

Старик уехал.

Максим шел в самой гуще отходивших машин, возов и пеших людей, измученных горем изгнания. Старик расспрашивал о поведении немцев, искал знакомых, спрашивал о Джулинке, Попелюхе, Смеле, Чигирине, Умани.

Были люди и оттуда, и они рассказывали печальные вести, от которых закипало сердце старого вояки.

Беженцы рассказывали Максиму о мучениях, которым подвергли людей вторгнувшиеся орды. Каждая семья уже имела покойника, которого не успела даже оплакать. Шел Трунов в толпе людей и только слушал, и слушал. Потом сказал «довольно», остановился на бугре и долго стоял, опустив голову, как будто он был виновником страданий родного народа.

Двигались запыленные стада, подгоняемые мальчишками; босые черные ноги их ступали по колючке и горячей земле. Через плечи этих малышей висели сумки с хлебом и одежкой, захваченной из дому. Мальчишки останавливались, когда по шоссе проезжали колонны пехоты, подбрасываемой на Запад в жерло войны. Бичи свисали с их худеньких, почерневших от солнца плеч, и ребята, помахивая руками, кричали красноармейцам только три слова: «Дяди, бейте их!» Как будто они сговорились...

Пшеница, подсолнухи и греча, примерно на километр от шоссе, были смяты, затоптаны и превращены в пыль.

— Да что ж это такое, — наконец вымолвил Максим, в упор смотря на сына, — да что же это с народом сделали?

— Гитлер сделал, ты хочешь сказать, отец? Да?

Трунов молчал. Играли желваки на его щеках. Садилась пыль на лицо, на брови, на обнаженную голову. Он не смахивал эту пыль. Словно пепел Класаса, развеванный вихрем, опускался на голову Уленшпигеля-геца. Потом Максим поднял свои стальные глаза.

— Да... Гитлер... Так сказали и те, несчастные... Гитлер... Такое собачье имя и... вот...

Какой-то человек, в соломенной шляпе, с кнутом в руках и растерзанных опорках, слез с буланой худой кобыленки и, бросив повод второму всаднику, пареньку лет семнадцати, приблизился к Трунову. Постояв в отдалении, точно узнавая, человек вдруг закричал диким голосом, который мог быть принят

одновременно за выражение гнева и радости.

— Максим Степанович!.. Максим Степанович!

Человек бросился к Трунову, но, не добежав одного шага, остановился, снял шляпу.

— Максим Степанович...

Человек все еще продолжал глядеть на Трунова с каким-то умилением радости, но присутствие важных военных заставило его сдержаться. Человек кружил шляпу в руках и не решался сделать последнего шага.

Трунов взгляделся в незнакомца и вдруг заорал:

— Прокопий! Семидуб! Ах ты, голубь!

Максим расцеловал своего старого сподвижника.

— Максим Степанович, — счастливый от нахлынувших чувств, бормотал Семидуб, — как увидел я вас, глазам не верю... Гоню это скотину, гляжу по сторонам, ведь тут же мы воевали... и такие у меня сумные думки пошли. Вспоминаю вас, Максим Степанович, а потом гляжу и бачу: стоит наш командир Максим Трунов, самолично, на этом кургашке. Помню и этот кургашек... Тру очи, мабуть, думаю, примерщилось! Нет. Стоит сам Максим Трунов, и вокруг его военные, и нехватает там только Прокопия Семидуба... Стоит наш командир, и все такой же, как был. Вроде вчера расстались...

Голос Семидуба осекся, он отвернулся, сбил слезу с ресниц и снова восхищенно, с какой-то наивной преданностью, уставился на своего бывшего командира.

— Ну где там «вроде вчера расстались», — сказал Трунов, приосаниваясь. — Постарел я, Прокопий. Постарел. И ты, вижу, пошел на убыль...

— Не глядите на меня так, Максим Степанович. Сами знаете, где Джулинка. От самой нее коров гоню, хай бы они повыздыхали. А тут еще в Днепрпетровщине подкинули сотни три худобы. Вроде повысили в должности!.. Максим Степанович, да разве мое дело

жоров гонять? — горькие нотки обиды слышались в голосе Семидуба. — Вышел я из дому в новых чоботах, и поглядите, что с них стало. Стал, как босьяк тот. Вышел из дому в новой рубашке, остались одни клочья. Это тут полегчало, а то по всему саше немцы ходят, или бомбами или с пулеметов поливают. Только и знал, что в канавах лежал. Обтрепался, обносился. Стал похож на старца. Кабы придумали мне другое дело — бросил бы тех коров. Ведь их доить нужно. Как пригоняю в район, так и бегаяю, как заяц, баб шукаю, доярок. Где приготовят, а где и нет. Сорвал горло, на всех брешешь... Спаси ты меня, Максим Степанович, от такого сраму...

— А где усы твои, Прокопий? — спросил Трунов, с сожалением разглядывая старого соратника.

— Обкорнал я их, Степанович, — Семидуб прикрыл рот ладошкой, точно застеснявшись, — усы были хороши для рубаки, а для пастуха только одни наmeshки.

— А кто с тобой, верхом?

— Сынок, Максим Степанович. Илько... А старуху я похоронил. Еще в тридцать девятом. Счастье ее, что до этого года не дожила.

Семидуб быстро повернулся к Николаю Трунову, вытянул свои грубые растрескавшиеся кисти рук по швам и спросил:

— Помните, товарищ генерал, я подходил к вам в Джулинке?

— Как же, помню, товарищ Семидуб. Отцу даже рассказал.

— Вот за это спасибо, товарищ генерал.

Максим отвел сына в сторону, и неизвестно о чем они толковали. Потом старый Трунов сказал Семидубу:

— Где приваливать будешь со своей худобой?

— Кажись, в Стодольском районе... рядом... Тут и вода, и доярки подыдут. Телеграмму давали.

— Тогда садись ко мне в машину, довезу я тебя до Стодола, и найду тебе заместителя. Передашь ему свою худобу

под расписку по описи. А тебя и Илька беру с собой...

— Куда?

— Да, может быть, в ту же Джулинку.

— Что ты, Максим Степанович. Да в Джулинке немцы.

— Может, боишься с ними повстречаться?

— Понял, — лицо Семидуба просияло, — понятно, Максим Степанович. Согласен вертаться в Джулинку...

И снова заметил Богдан, как необыкновенно помолодел и прекрасно раскрылся этот человек. Оправился Семидуб, оглядел себя как-то с плеча до плеча, подтянул рваный пояс, сдвинул набекрень прязную шляпу. И уже не осталось в нем ничего от недавнего прижатого вида. И походка у него стала другая, и опорки, так стеснявшие его и заставлявшие переживать свое «падение», вдруг защелкали по земле, как щегольские сапоги джигита, и даже шрам, протянувшийся от драгунской сабли по правой щеке, приобрел прежнее значение — печать отваги и доблести...

Так поднимались из пыли сердца воинов по всей нашей земле в те страшные дни...

... Ночью на станцию железной дороги Богдан отвез Анну Андреевну, Танюшу с дочкой и сынишку Алешу. Вокзал был переполнен, в поезд посадили с большим трудом. Валя оставалась с Богданом. За Алешей взялась присмотреть мать — ей доверили они своего единственного сына. Максим Трунов нашел главного кондуктора и, указав на семью, приказал: «Доставить до места назначения в целостности и сохранности».

Тысячи людей расставались в эту ночь друг с другом. Тысячи семейств раскалывались топором войны на две, три, четыре части. По всей стране миллионы людей расходились по разным дорогам и, казалось, не видно было даже проблеска того рассвета, когда семьи снова соберутся вместе к большому столу.

... В три часа ноль-ноль минут, как принято это было говорить на аэро-

дроме, огромный и мокрый от росы «дуглас» ушел в небо. За штурвалом сидел спокойный майор Лоб, специалист по всяким рискованным полетам. Майор шел над линией фронта, вспыхивающей зарницами танковых боев, артиллерийских дуэлей, пехотных атак. Дождь бил по бледным плоскостям самолета и срывался с них.

К окну прикинул впервые летевший на самолете Прокопий Семидуб.

— А скоро ли Джулинка, Максим Степанович? — спросил он.

— Спи, Прокопий, — ворчал Трунов, опуская нос в воротник пальто, — какая там Джулинка. Еще не достали и Днепра. Какой ты швидкий... Илько не выпал случаем?

— Ни... Илько, мабуть, спит... что ему...

— Спи и ты, Прокопий...

Снизу стреляли. «Дуглас» проходил над Уманью.

#### ГЛАВА XIV

— Ты могла бы остаться попрежнему в госпитале, — сказал Богдан жене, — тоже работа.

— Я хочу идти вместе с ними, Богдан, — с неожиданной для нее твердостью сказала Валя, — мне хочется принести свою долю.

— Но ты не совсем здорова, Валюша.

— Какие пустяки. Я совершенно здорова, Богдан. Во всяком случае многие женщины, которые роют укрепления, гораздо слабее меня.

Она надела старые туфли на низком каблучке, серенькую юбочку, голову повязала красной косынкой, используя для этого Алешин пионерский галстук. Клава поджидала хозяйку. Она еще не верила, что ее хозяйка пойдет вместе с ней и будет рыть окопы, отбрасывать землю, работать тяжелой лопатой. Но хозяйка собралась, связала в узелок продукты, пошла вместе с ней на улицу.

— Может быть, вы бы остались, —

сказала неуверенно Клава, — я бы и за вас поработала...

— Вот, у тебя есть союзник! — с улыбкой сказала Валя Богдану.

— Ну, что же, работай, моя девочка. Я тебя довезу на машине за город.

— Нет. Сборный пункт нашего района во дворе райкома. Я отправлюсь вместе со всеми.

Она помахала ему рукой на повороте. Как похожа она была сейчас на ту, с которой впервые познакомился Богдан в комсомольской ячейке. Красный платочек на голове, туфли на низком каблучке, знакомое покачивание бедер и плеч. Оставшись с ним, она захотела разделить все трудности, которые упали на его плечи и на плечи города. Она делала правильно, и Богдан был доволен ее поведением. К ней тоже вернулась ее ранняя юность. И, вероятно, она тоже чувствовала себя сейчас лучше. Ведь последние годы она не служила, скучала, поджидала его с работы, кормила его, ухаживала. Подошли года, в партию она не вступила. У нее остался только муж, и все. Это не могло удовлетворить ее. Теперь она расцвела, загорела, поправилась. Никто не мог бы дать ей сейчас тридцать лет, — чем отличалась она от девятнадцатилетней Клавы? Может, только больше морщинок у глаз...

Прошло две недели со дня отлета Максима Трунова. Пока никаких сведений о нем не поступало. Может быть, погиб уже старик, а может, собираются около него пеший и конный и снова гремит имя старого Максима-Труна далеко по правобережной Украине. Сводки упоминали о действиях партизан. Но в целях военной конспирации фамилии не назывались.

Завод работал со все большей и большей нагрузкой. Мобилизационные запасы материалов иссякали, и все чаще приходили поезда из Донбасса и с Востока, привозя необходимые металлы. Поступал американский дюраль — большие листы, звенящие и блестящие, как стекло.

Рабочие суровели. Богдан замечал это и по своему отцу. Все основные кадры были переведены на казарменное положение, но отцу, как мастеру и имеющему возможность в любую минуту попасть на предприятие на машине сына, было разрешено ночевать дома. Отец отказался от привилегии, хотя усиленная работа заметно отражалась на нем: глубже провалились глаза, наершились и поседели брови и усы, тоньше стала шея. Отец через день писал письма — либо Тимишу, успокаивая его и обещая не покладать рук для разгрома гитлеровской банды, либо на Кубань — женщинам. Письма на Кубань содержали практические советы: старик беспокоился о зиме, советовал, как достать топливо, керосин, заготовить арбузы, помидоры, картофель и лук. Он скучал о семье, и Богдан ловил иногда на себе его теплые и задумчивые взгляды.

Докладывая сыну об изготовлении и отправке очередных десяти тысяч штыковых лопат, обещанных генералу Трунову, отец спросил:

— Как с ногой, Богдан?

— Хорошо.

— А как будто прихрамываешь?

— Показалось, отец.

— Дай бог, чтобы показалось. А то рецепт новый узнал...

— Какой же это? Четыре капли воды на стакан водки?!

— Горилка никогда не повредит в меру, — сказал отец, — а рецепт верный. Хоменко в прошлом году вылечился. Денатурат, нашатырный спирт, камфара, иод, и все в бутылку. Пропорции у меня записаны.

Он вытащил из своего кармашка мастера, где были натыканы карандаши и измерительный инструмент, засаленную бумажку, сложенную вчетверо.

— Все как рукой снимет, отец?

— Надо верить в средство. Тогда может. Попросишь Валюшку, пускай на ночь натрет покрепче.

— Валюшка пошла рыть укрепления.

— Ишь ты, — приподнимая брови, похвалил отец, — молодец девка. Не

зря я ее люблю. Ну, тогда захвати меня сегодня до дому, так и быть нажарю этим снадобьем твою ногу. Кстати, голову помою... вода горячая идет?

— Идет, отец... Как штампуются гранаты?

— Простая механика. По правде сказать, когда ты заказ в цеха пустил, была неуверенность. Вроде не наше дело, да и незнакомое. Мелочь. Мы все к большим машинам приобвыкли. А такую штуковину вроде и в пальцах потеряешь. А теперь пошло гладко.

Ящики с наштампованными деталями гранат катили на вагонетках в сборочный цех. Там гранаты собирали и потом, на грузовиках, отправляли в город, на зарядку. И гранаты, и лопаты в мирное время показались бы оскорбительным ассортиментом для такого завода, но сейчас люди занимались производством их с таким же уважением и увлечением, как выпуском самолетов.

Страна перестраивалась на военную ногу. Постепенно выходили из строя заводы западных областей, их либо взрывали, либо ставили на колеса и двигали в глубь страны. Но фронт требовал оружия. Гранаты и мины начали делать не только крупные предприятия, но и небольшие мастерские, изготовлявшие кровати, ножи и вилки, игрушки и пуговицы.

В семь часов вечера к Богдану зашел Шевкопляс, с телеграммой в руках. Народный комиссар предлагал приступить к демонтажу завода в три очереди, без прекращения выпуска продукции до самого последнего часа. Теперь нужно было так распределить заделы, чтобы снятие оборудования не отразилось на сборке самолетов. Завод вывозился на Урал, на площадку, в свое время осмотренную Дубенко, туда же нужно было отправлять, тоже очередями, рабочую силу и инженерно-технический персонал.

Все ждали этого, но сейчас, когда телеграмма побывала в руках Дубенко и потом снова перешла в руки Шевкопляса, они поняли, какое испытание приготовила им судьба. Приотворив дверь и мягко, на цыпочках, пройдя по ковру-

опустился в кресло Рамодан. Он уже знал о телеграмме и молча посматривал то на директора, то на Богдана. Так ведут люди себя за дверью умирающего больного, дорогого им всем.

— Запомним этот день, — сказал Шевкопляс, — не все строить и строить по плану, надо и ломать по плану, в три очереди. Так?

— Демонтировать, — поправил Рамодан тихо.

— Демонтировать, — потухая, согласился Шевкопляс и поднялся с кресла, — в древние времена тоже делали набег на Россию, но тогда сниматься было легче. Вскочил на коня, второго в заводу, и пошел. Ну, хижинки сгорят — не страшно. Лишь бы оружие при себе бряцало... Так? А теперь...

— Заводы перевозим, — сказал Дубенко, — поставим на новых местах.

— В теории... Так?

— Может быть, и в практике, Иван Иванович.

— Не может быть, а так точно, — сказал Рамодан, и на лицо его опустилась прежняя решительность, — а дней приходится много запоминать. Не вредно. Вот я думал, никогда не забуду двадцать второго июня, потом пришел второй день. Петька уехал на танке, потом бой под Новоград-Волынском, потом день, когда заняли местечко, где жинка с Колькой, потом ранили Петьку, потом на город налетели, потом белые коттеджи, потом рвы начали копать, и подошел сегодняшний день...

— Ну, что же, — возразил Дубенко. — Кажется, что и не разогнешься, такой гирей дни эти на плечи давят. Но нет... Разгибашься, идешь, работаешь и чувствуешь, как ноги все крепче становятся. Вот какая природа человеческая, товарищи. Понял, Шевкопляс?

Шевкопляс отмахнулся.

— Что вы меня агитируете? Хотелось вот со своими близкими друзьями отзести душу. Ведь и котел лопнуть может, когда в нем пару все больше и больше... Надо выпускать понемногу... Близкие

мы стали за наши двадцать три года, родные... Так?

— Так, — сказал Рамодан, — когда-нибудь соберемся вечером, в шесть часов после войны, как говорил бравый солдат Швейк своему другу Водичке, — и поговорим.

— Не понял ты меня, Рамодан, — обиженно сказал Шевкопляс.

— Понял все. Может быть, впервые тебя понял по-хорошему, по-настоящему. Без официальщины... А теперь нужно начинать работать, всей нашей семье. Прикажи Белану обеспечить транспортом. Вагонов нужно много. Учти, что не только нам одним они нужны. Двадцать предприятий с города трогается. Чтобы были наряды. Хотя наряды что — чтобы эшелоны были...

— Будут, — сказал Шевкопляс, — ты только людьми займись. Не всякого легко тронуть с места. Вспомни Хоменко.

— Хоменко теперь пронется, научен. После смены соберу на пятнадцать минут.

— Как, Богдан Петрович, с оборудованием?

— Расчет уже сделан. Снимем первую очередь за три часа. Только вагоны вот... Белана, Белана нужно накрутить.

— Накручу Белана, — сказал Шевкопляс, — он резвый мужик.

... Небольшие тучки бежали по небу. Дул порывами сухой ветер. Дубенко выехал из ворот вместе с отцом и помчался по шоссе к «Поселку белых коттеджей». Он направлялся в город, но по пути хотел прихватить Валю.

По кромке возвышенности, по неровной линии, намеченной в свое время генералом Труновым, протянулся глубокий противотанковый ров, усиленный рельсовыми надолбами, бревнами, вбитыми наискосок, дерево-земляными укреплениями в глубине обороны.

Десятки тысяч горожан, в подавляющем большинстве женщины, завершали колоссальную работу. Когда-нибудь эти почетные морщины русской земли будут служить наглядным пособием для из-

учения истории спасения отчизны, но сегодня люди работали, не задумываясь еще над величием своего труда.

Женщины докапывали ров, устраивали блиндажи и гнезда для пулеметов, противотанковых пушек, минометов. Тысячи лопат сверкали на изломанной линии рва. Пестрые юбки, блузки, косынки и платки. Ров тянулся, точно черный огромный надрез на сверкающем золотом поле и светлозеленых отрогах возвышенности.

Дубенко, разыскивая Валу, ехал над кромкой. Ехать было неудобно. Попадались много ям, холмов, свежесброшенной земли, рельсов, бревен, мотков колючей проволоки, ежей—скрепленных и сваренных железных брусов, о которые должны были изломаться гусеницы вражеских танков.

Пришлось остановить машину у колонны автомобилей, доставивших очередную партию тачек. Богдан попросил присмотреть за машиной шофера в синей спецовке с русыми кудрями и пошел с отцом. На стыке двух участков они увидели столб с фанерной досочкой и надписью «Ленинский район». С этим районом отправилась Валя. Вот и она. Богдан придержал отца за штабелем брусьев.

— Понаблюдаем ее в работе...

Валя набрасывала глину на перекрытие блиндажа. Рядом с ней работали две женщины. Одна из них — пригородная колхозница, босая, с подоткнутыми юбками, обнажившими ноги со вздувшимися синими жилами, вторая — худенькая интеллигентная женщина, в туфлях на каучуке и заграничной шелковой кофточке. Крестьянка, почти не сходя с места, методично бросала землю на бревно, изредка подтрунивая над женщиной в заграничной кофточке. Та не отвечала, но всякий раз улыбалась ее шуткам, частенько передыхала, облокотившись на лопату и рассматривая белые ладони, очевидно, покрытые волдырями. К Вале приблизился коренастый сержант, из саперов, выбритый, подтянутый. Он что-то сказал ей, взял у нее лопату и принялся вскидывать

землю быстрыми и привычными движениями. Отдавая лопату Вале, он прикоснулся к ее руке и громко сказал: «Работаешь, девушка, классно...» Отойдя на минуту в сторону, сапер снова очутился возле Вали, закурил, поставил ноги на бревно и поглядывал на нее.

Богдан направился к жене, помахая шляпой.

Заметив их, Валя кивнула головой и продолжала работать. Когда они подошли ближе, она улыбнулась, отряхнула с юбки пыль и озорным жестом откинула прядь волос, упавших на лоб.

— Ну, чего вы приехали? Здесь не любят чистых.

Она смотрела на безукоризненный костюм мужа, вишневые туфли, шелковую сорочку, шляпу, которую он небрежно держал в руках.

— Ишь ты, какая, — удивился Богдан, — один день поработала и уже отрекаешься. Что же, мне надо было предварительно выпачкаться?

— Поплывать в луже, — Валя засмеялась.

— Я грязный, Вальша, — сказал отец, — мне-то, пожалуй, можно при вас находиться. Да, кроме того, чей привезли инструмент? Мой... Лопатки, тачки... А без инструмента и блохи не убьешь...

— Приехали за тобой, — заявил Богдан, — вероятно, скоро отбой.

Валя искоса поглядела на сержанта, тронула руку мужа осторожно, одним пальцем.

— Поезжайте сами. Я пешком приду...

— Поедем, Валька, — Богдан полубнял ее.

— Нельзя, — она освободилась, — кругом жены красноармейцев, жены ушедших на войну. Не хочу быть исключением.

— Извини, не додумал... Но собирайся. Ты так без чулок и отправилась?

— За нами приехали автомашины, — сказала Валя, подойдя ближе. — Они привезли вторую смену и должны были



отвезти нас. Но мы согласились вернуться домой пешком, а машины захватят зерно, его намолотили комбайнами и сложили в поле. Если я поеду с тобой, будет стыдно перед товарищами.

Богдан не смог возразить ничего.

— Тогда поедем одни, отец,—сказал он.

— Поедем, Богдан. — Старик приник к уху невестки: — Молодец, девка. А я думал, как ты стала губы красить да носить эту самую прическу, испортилась. Все до поры до времени, Валюшка.

В пути отец сказал Богдану:

— Перед смертью все равные. А ведь не вступи в бой все до единого, придет до всех смерть. Валюшка твоя не хочет от остальных выделяться. Правильно делает. — Старик немного помолчал. — А все же с главным прессом пока неважно, Богдан.

— Почему?

— Машина! Не подступись. Придется оставить.

— Взорвем пресс!

— Что ты! — испуганно подскочил отец. — Такой пресс... Сколько тысяч золотом отдано американцам?

— А вот придется взрывать в случае чего.

— Беда... — отец смотрел перед собой, — просто беда... Надо поднатузиться. Вывозить пресс. А ежели — шахты?

— И шахты взорвем.

— А Днепровскую? Помнишь, ездили на открытие. По дну ходили реки, а потом вода, вода закипела... бревна поплыли, дороги всплыли пыльные, вместе с конским навозом, с сеном.

— Тоже.

Старик вобрал голову в плечи и замолчал.

— Чего ты, отец? — спросил Богдан, уже влетая в город.

— Долго прожил я... лучше бы раньше в труну. Сколько строили, лелеяли!

— Снова построим.

— Я-то не увижу... не доживу...

## ГЛАВА XV.

Шевкопляса срочно вызвали в Москву. Он улетел на «У-2» с Романченком. На следующий день Шевкопляс позвонил Дубенко. То, что сообщил он, было совершенной неожиданностью. Его посылали на юг, в Сарабуз. Исполнилось заветное желание Шевкопляса, которое он лелеял с начала войны: его возвращали в авиацию родного Чема.

— Это он сам устроил, — сказал Рамодан, выслушав Дубенко, — это он нам, помнишь его выражение, «вставил фитиль в оглоблю». То-то он уже две недели беспокоился, нет ли ему пакета из Наркомата Военно-Морского Флота.

Ночью к прямому проводу вызвали Рамодана, и ночью же он появился в квартире Дубенко.

— Не выдержал, лично приехал с поздравлением, Богдане. Придется тебе принимать завод.

— Как так, Рамодан?

— Очень просто. Говори спасибо Иван Ивановичу Шевкоплясу. Приехал с тобой посоветоваться. По-моему, нужно будет рекомендовать наркому главным инженером Тургаева.

— Все совершенно неожиданно, — сказал Дубенко, — ну и Шевкопляс!

— Ругать его подождем, Богдане, — вступился за Шевкопляса Рамодан, — может, такая обстановка на Юге, что и в самом деле необходим там такой воздушный бродяга, как наш директор. А здесь мы как-нибудь сами сумеем смотать удочки...

Шевкопляс вернулся из Москвы с видом победителя. Выскочив из кабинки самолета, он прошел к себе, потряхивая снятым с головы шлемом и козыряя встречавшим его.

Когда Богдан зашел к нему, Шевкопляс похлопал его по плечу.

— Пока ты будешь и за главного инженера. Тургаев пусть занимается своим делом. Кажется, он там что-то начинает мерекать с новой машиной, заложите опытную, и пойдет Тургаев главным конструктором.

— Как-то без тебя скучно будет, Иван Иванович.

— Вот это другой разговор, браток, — Шевкопляс подсел к Дубенко, — тебя наверху уважают. Мнения очень высокого. Мне тебя и рекомендовать не пришлось — сразу решили. Так получилось, что вроде я и не нужен. Здесь меня держали вроде в санатории для подкрепления здоровья! Так?

— Напрасно приbedняешься, Иван Иванович.

— Может, и напрасно. Ведь пришлось же поработать Шевкоплясу?

— Пришлось.

— Без дураков только?

— Иван Иванович, — Богдан укоризненно покачал головой, — я сейчас и не представляю, как мы будем без тебя.

— Повернетесь, Богдане! Только прошу, не разваливайте всего. Побеседовал я в Москве с настоящими людьми. Серьезно все понимают, трагедий не разыгрывают. Промышленность эвакуируется по плану. Все расписано. Ну, правда, не аптека, ты сам понимаешь, но дело обходится без паники. Самолеты нужно давать. Так? Как только на новое место приткнетесь, сразу же должно все завертеться. Не мы первые, не мы последние. А пока суть да дело, нужно будет, дорогой директор завода, подготовить для энской авиачасти, согласно общего договора, пятнадцать машинок...

Шевкопляс вытасил из бокового жармана наряд, разгладил его пальцами и передал Дубенко.

— Сам понимаешь, браток, надо уважить если не старику Шевкоплясу, так уж Чефу... Хороший флот, чорт задеря, ведь не проспал он двадцать второе июня... Так?

Через три дня на аэродром пришли два «пэаса». Из самолетов, вымазанных черным, белым и зеленым, вывалилась веселая гурьба моряков-летчиков, штурманов и стрелков. Их торжественно встретил Шевкопляс у новых, приготовленных для Чефа, самолетов. Моряки разошлись по машинам, и глаза их зажглись той ненасытной жадностью, которая отличает пилотов, получающих новую технику...

## ГЛАВА XVI

«Наш батальон прошел вблизи Золотых ворот, и я смотрел на эти древние серые камни с чувством обиды. В эти ворота вошел Хмельницкий, принесший славу нашему оружию и посрамивший врага. Мы оставили Желтые Воды, Житомир, Новоград-Волынский и входили в Киев.

Киев! Мой старый дидуган Киев! Сыновьи слезы текут по щекам моим, покрытым копотью сражений. Хочется упасть и целовать землю твою, Киев... Батальон идет, и должен идти в ногу с ним лейтенант Тимиш Труноз. Мой родной дидуган. Как исковыряли тебя, изгрызли. Заставим споткнуться врага у твоего порога. Не узнаю счастливых и радостных лиц твоих, которые я покинул так недавно.

Меня отпустил командир на сорок минут, и я бегу по Крещатику, поднимаюсь, запыхавшись и вытирая пот, к Сенному базару, спешу в тихий Кияновский проулок. Вот и дом наш, где жили мы немного, но хорошо с моей Танюхой, где родилась моя дочка, где обнимала она меня своими пухлыми ручонками. Вбегаю по лестнице и останавливаюсь у дверей. Я знаю, что здесь нет семьи моей, что пуста моя комната, но, видно, в каждом человеке живет надежда на чудо. А может, они здесь? О, дай мне такое счастье перед новыми тяжкими испытаниями. Я стучу... Не открывают. Я стучу громко. Выходит моя квартирная хозяйка. Она часто была сварлива и несправедлива к Танюше, а сейчас она узнала меня и упала мне на шею. Она тоже мать, и ее сын тоже на фронте. Она рыдала на плече моем, а я смотрел, не откроется ли дверь и не раздастся ли знакомый радостный крик: «Тимиш!». Нет... Дверь закрыта, и, постояв в раздумье, я взломал легко ее и вошел. На полу валялись бумажки, и на столе лежало письмо, написанное рукой Танюши. Я схватил письмо, разорвал конверт и прочитал несколько строк. Танюша предчувствовала, что я буду снова проходить через Киев. Я поцеловал этот милый клочок бумаги и спрятал его на своей

груди. Оно поможет мне в тех тяжелых испытаниях, которые выпадут на мою долю. Я не помню, как вышел из комнаты, спустился вниз и шаги мои простучали по шербатым камням мостовой.

Неужели судьба будет так жестока и не соединит нас навеки? Неужели я паду, не прижав еще раз к груди свое счастье? Ведь только начиналась жизнь и ушла... Нет, не ушла... Я ошупываю оружие, которое доверила мне моя родина для защиты Киева, седого Днепра. Слез нет на моих глазах. Они высохли разом... Батальон переходит Днепр, я остаиваюсь на левом берегу и плачу крепко, крепко, но так, чтобы слез моих не видел мой взвод, который уже уважает меня и считает чуть-ли не ветераном.

Страх перед немцем давно ушел, усталость скрывается, и я верю — крепнет в войске дух, который в конце концов принесет нам победу. А пока... горит ридна Украина, пылают хаты и поля, топчет землю железо, улетают птицы.»

Валя читала «щоденник» Тимиша, присланный для Танюши, и слезы, одна за одной, капали из ее глаз. В этих листках, написанных на линованной бумаге, вырванной из ученической тетради, излилось горе и надежды человеческой души.

— Надо переслать Танюше, — сказала Валя, — неужели он не получил еще ее новый адрес?

— Дневник Тимиша я перешлю сегодня же, — согласился Богдан, — майор Лоб везет запасные части в Ейск. Он опустит письмо в Ейске, а оттуда оно мигом дойдет к Танюше... Кстати, тебя может захватить майор на Кубань.

Валя вытерла платочком глаза, отрицательно покачала головой.

— Я не оставляю тебя одного в такое время.

— Но со мной оставаться опасно.

— Раз будешь ты переносить опасности, буду и я с тобой разделять их. Все равно я не проживу и одного дня без тебя, Богдан.

— Но нужно подумать о сыне... Об Алеше...

— Не будь так жесток, Богдан.

— Я не хотел тебе говорить, Валя, но ты вынуждаешь меня... Согласно приказа, я должен остаться в городе до самого последнего момента... существование завода.

— Я останусь с тобой.

— Повторяю, мы оба будем подвергаться огромной опасности. Может быть, не все будет гладко. Немцы зачастую сбрасывают авиадесантные части, отрезают пути отхода. Может быть, придется выходить из окружения... Ты свяжешь меня. Я вынужден буду делить обязанности между долгом и тобой.

— Если бы Шевкопляс не ушел на фронт, и ты оставался главным инженером, было бы по-другому. Ты выехал бы с первыми эшелонами...

— Но теперь я не могу выехать первыми эшелонами. Я директор завода. Я должен быть примером для всех остальных, а тут капитан корабля все время держит на мостике свою супругу...

— Ты начинаешь обижать меня...

Она замолчала и сидела, держа на коленях листочки дневника Тимиша. Готовое сорваться возражение потухло в душе.

— Я согласна, Богдан, — сказала вдруг Валя, — прости меня.

— Спасибо.

Богдан взял ее за руки, листочки дневника упали на пол. Богдан откинул ее голову и крепко поцеловал вначале губы, потом щеки, лоб. Она принимала его поцелуи, прикрыв глаза и прижимаясь всем телом.

— Как хорошо с тобой, Богдан. Вероятно, я большая эгоистка. Мне стыдно своего счастья. Вероятно, когда-нибудь я поплачусь за это... Надо собрать письмо Тимиша.

Они нагнулись, собрали листки, подобрали по страничкам и потом, сидя рядом, перечитали вновь все.

— Какой хороший человек Тимиш, — сказал Богдан, — часто я завидую ему, его доле война... Там проще понимаешь события, там все понятней. Есть грусть, тревоги, но его письма чистые, настоя-

щие и, главное, мобилизующие дух... Прости, Валюнька, я как-то говорю слишком выпендренно. Завтра ты уедешь в Москву. Железную дорогу изредка бомбят, но будем надеяться, все сойдет благополучно.

— Я не боюсь бомбежки. Привыкла... Тяжело покидать тебя, родной. Боюсь, что теперь наша семья разобьется уже на четыре части. Папа едет с эшелонам?

— С последним. — Он держал ее руки и ощущал мозоли на ее ладонях. — Закончили укрепления?

— Почти. Вчера туда уже пришла пехота и спешенные кавалеристы Николая. Они привезли орудия, пулеметы. Обживают блиндажи. Езжай, Богдан. Я хочу повидать сегодня Николая. Прощусь с ним.

... Шел дождь. Низкое небо нависло над городом. Струйки стекали по асфальту мостовых, по стеклам машины, по каскам красноармейцев, направляющихся за город, по стволам расчехленных орудий, по граням штыков. Вдоль шоссе, в желтых ямах, накрывшись плащ-палатками, лежали бойцы, кое-где устанавливали зенитные орудия, нацеливая их на дорогу, чтобы использовать как противотанковые. Шлагбаум контрольного пропускного пункта выкрашен в красный и черный цвета. Документы проверяли тщательно. По скошенным полям, пригибаясь, бежали бойцы истребительного батальона. Шло учение. На колесики пулемета налипала грязь. По железнодорожному полотну, один за одним, прошли три поезда — два с орудиями и бричками и один с войсками. Над эшелонами на бреющем полете пронеслось звено истребителей, вскоре потерявшихся в дымке дождя.

Богдана ожидал Данилин. Он был одет в дорожный костюм: плащ, сапоги, поверх плаща ременный пояс, противывоздух, на котором написано химическим карандашом — Александр Данилин. За спиной небольшой зеленый рюкзак с голубыми наплечниками.

— Вы уже готовы? — спросил Дубенко, пожимая породистую руку Данилина.

— Нет, не готов.

— Почему? Не успели собрать эшелон?

— Все готово. Погрузили двадцать платформ, сейчас пригнали пять, а остальных не предвидится, Богдан Петрович.

— Как не предвидится? Мы должны были начать погрузку второго эшелона...

— Оборудование снято, вывезено из цехов, свезено на площадки, мокнет под дождем, ожидает. Там и рабочие. Я хотел их отпустить домой, надо же и им собраться, не разрешили.

— Кто?

— Белан.

— Какое он имеет отношение к этому...

— Он начальник транспорта. Сейчас все зависит от него. Поскольку завод становится на колеса, начальник колес главная фигура, Богдан Петрович.

Дубенко посмотрел на Данилина, но не уловил в его лице насмешки. Данилин был искренно расстроен, очевидно боясь критиковать Белана. Богдан позвонил, вызвал Белана. Тот явился минут через десять. Он держал в опущенной руке туго набитую полевую сумку, на сапогах комья глины, зеленая пилотка, почему-то очутившаяся на его голове, лихо сбита набок. На черных кудрях играли росинки дождя.

— Приветствую, директор! — воскликнул он со своей обычной развязностью, — что я говорил вам однажды? Надо сохранить Белана! Транспорт всё. Нерв страны... И несмотря на полное расстройство своего организма, работаю... поднимаю...

Дубенко стоял, положив руки на стол и чуть-чуть согнувшись. Он наблюдал улыбающееся лицо Белана.

— Почему не отправлен первый эшелон? — спросил глухо Дубенко.

— Первый эшелон? — Белан приподнял брови, развел руками. — Проворачиваем, Богдан Петрович. Не так-то легко...

— Я спрашиваю: почему не отправлен первый эшелон?

Веки Богдана вздрогнули, по щекам прошли темные пятна.

— Я же сказал... Не так-то легко. Нужны вагоны, а где они?

— Вы должны были отправить первый эшелон сегодня в одиннадцать тридцать. Данилин, со своей стороны, все приготовил, рабочие и станки мокут под дождем... а вы в своей... своей... пилотке...

— Вон как вы со мной разговариваете, — Белан прошелся по кабинету, с каким-то особым вывертом работая пятками и раскидывая грязь с сапог, и сел в кресло. — Можно подумать, что вы меня захотели напугать. Не на того напали...

Белан выхватил из кармана пачку папирос, бросил в рот папироску и зажал ее крепкими, белыми зубами.

— Через час эшелон будет отправлен, товарищ Белан?

— Не нажимайте на психику, товарищ Дубенко... В крайнем случае...

— Выйдите отсюда, — процедил Дубенко, стискивая зубы, — и если я увижу вас еще на заводе...

Белан хотел снова возразить, но, поймав что-то страшное в глазах Дубенко, приподнялся, вынул изо рта папироску, сжал ее в кулаке и вышел из кабинета.

— Теперь мы никогда не получим вагонов, Богдан Петрович, — простонал Данилин, взявшись за голову, — без Белана мы погибли.

Дубенко опустился в кресло. Мучительно вспыхнула боль. В кабинет вошел Рамадан.

— Белан срывает план эвакуации, — сдерживая гневные нотки, сказал Дубенко Рамадану, — срывает. Первый эшелон еще не отправлен... Вагоны были занаряжены... Я его выгнал. Что? Кто будет организовывать транспорт? Через час эшелон должен уйти с территории завода.

— Но еще нет вагонов.

— Они будут.

Данилин ушел. Дубенко позвонил Трунову с просьбой помочь. Тот обещал. Потом Богдан вызвал Тургаева, и они составили почасовой план погрузки оборудования и материалов. Тургаев

должен был сегодня вытянуть из города четыре железнодорожных состава.

Дубенко вызвал четырех комсомольцев, работающих в термическом цехе. Они жили в «Поселке белых коттеджей», имели свои мотоциклы. Он поручил им наблюдение за подачей подвижного состава и паровозов на заводскую ветку. Сейчас они должны были выехать с его письмами к генералу Трунову, в горком партии, к начальнику дороги. Комсомольцы, крепкие, преданные парни, злые после разгрома «Поселка белых коттеджей», лихо повернулись на каблуках, и вскоре три мотоцикла вынеслись из заводских ворот.

— Вы останетесь при мне, — сказал Богдан четвертому.

— Горючее есть, машина в порядке?

— Полный порядок, — приложив руку к козырьку, ответил паренек, очевидно, ошарашенный своим новым назначением. — В цехе-то делать почти нечего. Сворачиваемся, товарищ директор.

— Не жалко бросать завод?

— Что поделаешь. Не иголка — не потеряется.

— А если вас на фронт?

— Так и придется. Меня со спецучета снимают. Говорят, на Урале мастеров по термитной хоть отбавляй... — паренек несколько замаялся, — вот хотел бы вам сказать, Богдан Петрович...

— Говори.

— Отправляются эшелоны с оборудованием, материалами, людьми... неправильно...

— Почему?

— А продукты? Их хотел Белан отправить предпоследним эшелонам, а нашему, лучше при каждом составе цеплять вагон с продовольствием. Женщины пугают, что по пути тридцать рублей литр воды, а на Урале зимой снегу не выпросишь, такой народец.

— И ты слушал такие глупости?

— Слушать все приходится, не придавал значения.

— С продовольствием наладим, рассредоточим. Насчет воды и тридцати рублей — вранье... Пойдем-ка со мной, на демонтаж.

— Глаза бы не смотрели, — сказал комсомолец, — вроде кожу сдирают. Неприятно.

— Приятней, конечно, строить, чем ломать. Так воспитались мы. Но иногда родина может предъявить и другие требования. Так-то, товарищ. Не так давно и я был комсомольцем, когда только-только начинали закладывать первый котлован на площадке завода...

Когда Дубенко прибыл на завод, там уже «вырывали» из фундаментов оборудование и тащили его к выходу. Потом поднимали на грузовики и подвозили к площадке железной дороги. Работали гуртом, на полном мускуле, но лица рабочих осунулись, почернели. После «перекурки» они зло мяли окурки и, затоптав ногами, шли к очередному станку. Рабочие искоса поглядывали на Дубенко в надежде найти ответ на мучившие их вопросы. Теперь никто не спрашивал, как раньше: «А может, не тронем завода, а может, не дойдет сюда герман?» Эти честные и умные люди, связанные общим принципом жизни, ничего не сказали Дубенко. Вот одна грушпа подошла к станку, возле которого, ссутулив узкие плечи, стоял Хоменко.

— Осторожней, — сказал тихо Хоменко, — а то молотком по голове. Убью...

— Не убьешь, — сказал без улыбки коренастый токарь-лекальщик с седьми висками.

Лекальщик поплевал на ладони и принялся рубить зубилом запеченный ржавчиной болт крепления. Тихий, уловимый только обостренным слухом специалиста, звук заиграл в станке. Хоменко отстранил плечом лекальщика и докончил его работу. Выбили костыли из бетона и по общей команде принялись подвигивать станок.

Включили рубильник. Цех осветился. Лампы, их было немного, горели слабо. На полу, расчерченном белыми линиями, там, где день назад матово поблескивали автоматы, шеппинги, револьверные, фрезерные станки — новое оборудование, детище последней пятилетки, — серели призмы и квадраты бетонных

площадок, фундаментов и рваные дыры. Тусклый свет электрических ламп освещал это печальное кладбище. Гулкое эхо сопровождало каждое движение демонтажников.

Крикнул паровоз, зашипел. Отдаленно звякнули тарелки буферов. В цехе появился один из комсомольцев мотоциклистов. Разыскав Дубенко, он передал ему пакет. Платформы пришли. Комсомолец сопровождал их до самого завода.

На погрузке распоряжался Рамадан. Одна из погрузочных бригад рубила ветви акации. Они предназначались для маскировки оборудования. Стучали топоры, с шумом падали ветви. Их волочили к платформам. Акации стояли как бы с отрубленными руками. Рамадана не волновало это. А ведь он сам сажал деревья, и когда, в засушливое лето, они стали подсыхать, Рамадан организовал поливку, спас деревья.

На платформах, между станками, наскоро сбивали из теса шалаши, общивали толем. Черные конусы торчали из-за зеленых ветвей, как вигвамы кочевников.

— Про Белана знаешь? — спросил Дубенко Рамадана.

— Знаю.

— Как?

— Вижу результаты.

Рамадан указал на платформы, кончавшие погрузку.

— Сейчас языком работать неподручно, — сказал он. — Надо ночью еще сто вагонов погрузить. С первым эшелонном даем два вагона муки, сахара, крупы. С остальными тоже по два вагона продовольствия. Сейчас из города звонили. Предлагали забрать двадцать тонн колбасы и сто тонн крупчатки. Ну, куда все будешь девать...

Мелкий дождь застучал по крыше пакгауза. На небе засверкали бенгальские огоньки от разрывов зенитных снарядов. Отдаленно, тревожно и разноголосно загудел город. Рамадан прошел в конторку, соединился с заводским штабом ПВО. Из города передали сигнал «воздушной тревоги». Завыли сирены. Разрывы приближались. Послы-

шался гул. Все тот же знакомый гул немецких «юнкерсов». Заработали автоматы, установленные на кромке аэродрома. Ках-ках-ках! Ках-ках-ках! Но вот резнули воздух удары дальнобойных. Со свистом понеслись вверх снаряды. Мотор гудел над головой. Погрузка не прекращалась. Рабочие молча втаскивали на платформы станки, покрывали сверху тавотом. Нежные части дополнительно накрывали плотной бумагой.

Сейчас на заводе работали цеха сборки. Кончили отделку четырех самолетов. С неполной нагрузкой работали термитчики, сварщики, заготовщики. Работал прессовый цех и в нем отец Дубенко, старик Петро. Стрельба зениток как бы подгоняла людей. Уже кончили погрузку последних трех платформ, и слесаря потащили такелажный пруток для крепления, когда прибежал Хоменко и попросил поднять его станок. Рамадан разрешил, он хотел поддержать дух этого старого рабочего. Распахнулись запасные ворота цеха, блеснул свет. Рабочие выкатили станок из цеха.

— Осторожно со светом! — кричал Рамадан.

Гул неприятельского самолета вырос над головами, в небо побежали пунктиры трассирующих пуль, усиленно закашляла зенитка, моторы потухли, но вслед раздался свист пикирования и несущейся мимо бомбы. Моторы снова ревели.

— Ложись, — раздался чей-то крик.

Огненный столб рванулся кверху, блеснули крыши ангаров, сборочного цеха, раздался оглушительный гром и свист осколков. Взрывная волна пронеслась как какое-то тяжелое тело. Свет погас. Последний близкий звук — зазвенело и упало стекло.

Рамадан стоял у телефона.

— Как? Жертвы?

— В цехах нет жертв. Вылетели стекла.

— Чорт с ними, со стеклами.

Едкие сернистые запахи принесло ветром. Близко заревели моторы. «Юнкерс» снова над головой. Перед глаза-

ми, вверху, промелькнули вспышки выхлопника. Короткая пулеметная очередь. Хоменко поднял руки и встал у станка, как бы прикрывая его своим телом. Когда упали столбики грязи, подброшенные пулями, и бомбардировщик ушел, лекальщик поднялся и ударил Хоменко под бок.

— Вот чудак. Еще бы немного и рассек бы он тебя на четыре куса говядины... Ложиться надо, а не руками махать. Его этим не напугаешь... Тю, чорт, опять зашел... ложись!..

Лекальщик бросился плашмя на мокрую землю, но гул моторов пронесся дальше.

— Наши! Ястребки!

Рабочие кричали, подкидывали шапки. Лекальщик поднялся, конфузливо отряхнулся.

— Разве в них разберешься...

— Романченок пошел, — сказал восхищенно Хоменко. — Романченок!

Над городом вставало зарево. Слышались отдаленный гул и взрывы.

## ГЛАВА XVII

С заводских подъездных путей были выведены первые четыре эшелона. В каждом составе было погружено продовольствие: мука, печеный хлеб, сахар, консервы, крупа, соленое свиное сало, овощи. В каждом эшелоне Дубенко и Рамадан назначили начальников, комиссаров, а те в свою очередь назначили старших вагонов. Начальником первой очереди эвакуации уехал Тургаев.

За городскую черту поезда сопровождал Романченок со своим звеном истребителей. На первой же станции эшелоны застряли на всю ночь. На фронт прогоняли поезда с войсками и боеприпасами. Богдану позвонил Тургаев в четыре часа утра. Станцию бомбили немцы, но особого вреда не принесли. Во втором эшелоне Данилина двух человек ранило. С первой очередью отправилось около четырех тысяч человек вместе с семьями. Дубенко беспокоило, сумеют ли они благополучно выйти из сферы действия неприятельских бомбардировщиков. Он настоятельно потребовал от

Тургаева быстрее прогонять поезда. Тургаев успокоил Дубенку своим приятным спокойным баском. Дубенку вполне надеялся на хладнокровного и инициативного Тургаева, но ведь столько непредвиденных случайностей могло встретиться на дороге и, конечно, самое главное — немецкие «юнкерсы», которые пиратствовали и группами, и в одиночку.

Клуб завода сейчас был превращен в казармы для рабочих. Здесь находились и семьи, ожидавшие отправки. В зрительном зале, в фойе, во всех помещениях этого большого здания стояли топчаны и дешевые железные кровати. Между кроватями бегали дети, в коридорах женщины зажгли керосинки, хотя питание было налажено в столовой. Женщины готовили манную кашу грудным детям, кипятили молоко. Вечером, когда завывали сирены, матери прихватывали детей, узелки и спустились в убежище. Все горести и радости, страх и бесстрашие переживались на виду у всех. Люди вышли из своих квартир, и это как-то сблизило всех.

Рамодан устроил выставку плаката в одном из помещений клуба. Плакаты привезли из городского Музея Октябрьской Революции. Они в большинстве относились к временам гражданской войны. Дубенку смотрел на красочные листы бумаги, тронутые благородной желтизной времени. Он видел их в детстве на вокзалах, эвакупунктах, в столовках, на стенах фабрик и заводов, на заборах. Их трепал ветер, обмывал дождь, заносил снег. Теперь эти ветераны-плакаты снова призывали к отпору, к сплочению, лишениям во имя победы справедливости.

Завод пустел. Снимали электрическую проводку, рубильники, трансформаторы, телефонную сеть, выкапывали кабель. Все забивали в ящики, маркировали и грузили на платформы. Вагоны подавали покусанные пулями, кое-где расщепленные осколками. Они приходили с поля боя. Сбросив там оружие и боевые припасы, они принимали оборудование и снова кагились по рельсам.

Последние пять самолетов окончили доводкой и вывели тягачами из цеха

окончательной сборки. Возле самолетов уже находились экипажи, ожидавшие их, как голодные хлеба. Они торопили летчиков-испытателей и ведущих инженеров, показывали на небо, ударяли себя в грудь.

Старик Дубенку вышел из цеха гранат и смотрел исподлобья на эту картину. Последние машины их завода! Занимаясь изготовлением гранат, лопат и кирок, вместе со своей бригадой, подобранной тоже из старичков, Петро Дубенку кое-как разгонял тоску. Он боялся остаться без работы. Его руки должны быть всегда чем-то заняты.

Низкая туча медленно продвигалась по небу. Потемнело. Дождь застучал по листу железа, брошенному невдалеке. Стволы акаций почернели, напитавшись влагой, и отчетливей выделялись свежие раны на местах ветвей, обрубленных для маскировки эшелонов. Обрубленные деревья напоминали Петро Дубенку родной завод, родную Украину. Как и на заводе, все везде оголялось, вывозилось.

У самолетов появился сын. Он лазил внутрь машин, что-то говорил с летчиками, инженерами. Потом один самолет порулил на старт. «Неужели Богдан полетит сам в такую погоду?» — подумал тревожно отец. Но самолет остановился, закинув хвост, постепенно затих гул моторов и торчком стали «палки» — винты. Богдан спрыгнул из штурманской кабины, его окружили. Старик показалось, что сын на полголовы выше всех. Чувство гордости поднялось в сердце старика. Он разгладил усы, приосанился. Дубенку гордился сыном, хотя зачастую не понимал, как мог сделаться его сын таким умным, нужным стране человеком. Непонятно было, как из мальчонки Даньки, которому он не раз давал подзатыльники, вырос директор и главный инженер Богдан Петрович Дубенку.

...Ночью налетели немцы, зажгли фальшивый завод. Фанера и жесть сгорели быстро. Пикирующий бомбардировщик сбросил две бомбы на заводскую железнодорожную ветку. На место происшествия выехали Дубенку, Рамодан и председатель завкома Крушинский, тихий, стеснительный человек. Вслед за



ними приехали на «эмочке» из штаба ПВО, из города. Одна бомба упала у виадука, построенного над сухим логом. Рельсы завернуло и скрутило. Основная ферма, длиной в двадцать метров, изуродованная лежала на земле. Один из быков был разрушен наполовину. Вторая бомба угодила в железнодорожную насыпь. Путь был разрушен на протяжении ста пятидесяти метров. Разорванные на куски рельсы валялись в лесозащитной полосе. Многие деревья были срезаны или измельчены в щепы.

— Вот тебе и вывезли заводик, — сказал Рамодан, присаживаясь на краю воронки, — каких чертей наломал.

— Очень подозрительно, — сказал подполковник, приехавший из штаба ПВО, — такое меткое попадание с пикирования. Метеоусловия как будто были неподходящие... Сигналил кто-нибудь.

— Просто случай, — заметил Крушинский, — кто станет сигналить?

— Ну, как кто? Много имеется всякой дряни.

Подполковник произвел замер пути, воронки, что-то еще записал в полевой книжке и, приложив руку к козырьку, сел в машину.

— Надо восстанавливать полотно, — сказал он уже из машины, — мобилизуйте всех, кто у вас есть. Рельсы подошлем.

«Эмочка» ушла. Вымазанная грязью для маскировки, она сразу выпала из глаз.

Подкатила ручная дрезина, усеянная бойцами истребительного батальона. Дрезина остановилась на той стороне виадука. Бойцы соскочили, спустились по насыпи, шурша щебенкой, и вскоре появились возле Дубенко и Рамодана.

— Подполковник из штаба ПВО утверждает, — сказал Рамодан командиру батальона, — что кто-то сигнализировал.

Дубенко внимательно посмотрел на Рамодана.

Они возвратились на завод. Рабочие ожидали их. Взрыв отрезывал пути эвакуации. Все сознавали это. На восстание не пришлось выбирать людей,

пошли добровольно. Чтобы не сорвать демонтаж оборудования, на линию послали триста человек.

## ГЛАВА XVIII

На следующий день окончательно выяснилось, что ремонт пути силами завода займет не менее трех дней. Дубенко решил побеспокоить Николая Трунова и попросить его помочь имеющимися в его распоряжении войсковыми средствами.

Конечно, просить было неудобно, у Николая свои заботы и ответственность, но вывоз завода дело важное и государственное. Дубенко позвонил Николаю. Его не было. Адъютант сообщил, что генерал будет в шесть часов. Сейчас выехал к фронту. Дубенко решил забежать на городскую квартиру, в которой он не был со дня отъезда Вали. Дом был пуст. На лестничных клетках лежали мешки, из них просыпался песок, его разнесли ногами. Многие окна заколотили фанерой. Почтовые ящики квартир набиты доверху газетами и письмами. Их не очищали — хозяева были далеко. Огромный, оживленный дом, казалось, омертвел. Богдан вынул из ящика письма Тимиша. Были письма и от Тани, от матери. От Вали еще не было. Это волновало Богдана. Зайдя в комнату, он положил на столик, подернутый пылью, шляпу, поморщился, поднял шляпу, смахнул пыль тряпкой, валившейся на полу. Распахнув окна, он прилег на диван и принялся за письма. Он читал медленно, вдумываясь в каждое слово, по два-три раза перечитывая строчки. На Кубани было благополучно, сын готовился в школу, мать сварила два килограмма варенья, кончали с уборкой подсолнухов. Письмо Тимиша было наполнено горечью война, вынужденного говорить о временных неудачах.

Среди писем затерялся небольшой конвертик с адресом, написанным незнакомым почерком. Богдан вскрыл его последним. От кого? Письмо от той, почти совершенно забытой женщины с зелеными глазами. Как далеко то время. Женщина писала с Урала. Она ску-

чала, работала в театре, мечтала о Сочи. В наивной и немного бестолковой болтовне письма было что-то трогательное, детское. Богдан вспомнил ее губы, когда она потянулась к нему при прощании на маленькой станции, приклеенной к обрыву, вспомнил ее мягкие, пепельные волосы. Внизу стояла подпись: Лиза. Он забыл ее имя и вот, смотря на подпись, не верил, чтобы та женщина, далекая и экзотическая, встреченная под пальмами на фоне синих гор, носила такое простое русское имя.

В дверь постучали. Богдан вздрогнул от неожиданности. Знакомые обычно всегда предупреждали его по телефону. Он отворил дверь.

На площадке стояла его соседка, блондинка, которую он однажды видел в бомбоубежище. Она была хорошо одета — в светлой шляпке, с выпущенными локонами, упавшими на плечи, легком шелковом платье, в туфлях из белой замши. Локоны ее светлых волос доходили до плеч. Она, несколько смущаясь, выдержала его взгляд, потом сдержанная улыбка дрогнула в уголке подкрашенных губ.

— Простите, Богдан Петрович, мне хотелось бы видеть вашу жену... Валю.

— Валю? — удивленно переспросил Дубенко.

— Не удивляйтесь, Богдан Петрович. Мы с ней хорошо познакомились там... — она указала пальчиком, — внизу, в бомбоубежище. Она просила зайти к ней и оставить адрес портнихи.

— Вали нет дома, — разглядывая молодую женщину, сказал Богдан, — она уехала.

— Эвакуировалась?

— Да.

— Вот оно что... — произнесла она, приподняв брови, — тогда простите.

Она постояла в нерешительности. Ей, очевидно, не хотелось уходить.

— Вы пишете ей?

— Пока не писал. Она, вероятно, еще не добралась. Но писать, конечно, буду...

— Я хотела бы написать ей несколько слов. Вы разрешите? Вы пошлете в

своем конверте, — она раскрыла элегантную сумочку, достала крошечный карандаш в оправе из слоновой кости, такую же миниатюрную записную книжечку, прислонилась к стене.

— Зайдите, — пригласил Дубенко, решившись на эту запоздалую вежливость, — здесь неудобно.

— Если разрешите. На минутку.

Она присела к столу все еще смущенная и принялась писать меленьким почерком, изредка покусывая кончик карандаша. Богдан сел напротив. Она чувствовала его взгляд, смущалась. Покрылись маленькие ее уши, на шею пульсировала жилка.

— Вот и все, — сказала она, вырывая листок.

Она подняла наконец глаза, и их взгляды встретились. Она задержала свой взгляд, покусала губы и, отдав записку, опустила веки. Девушка была необъяснимо очаровательна, и какая-то хорошая открытая простота, проглядывавшая в ее движениях, привлекала к ней.

— Я пойду, — сказала она.

— Посидите еще немного.

— Тогда разрешите снять шляпу, я как-то не привыкла к ней.

— Прошу вас...

Она подняла полные руки, вынула шпильку с голубым камнем, сняла шляпку. Оправила волосы легким и быстрым движением пальцев.

— Расскажите мне что-нибудь про себя, — сказал Богдан и смутился.

Она заметила краску, упавшую на его щеки, улыбнулась. У нее были немного кривоватые зубы, почему-то это придавало ее лицу особую привлекательность.

— Мне рассказать о себе? Хотя вы ничего не знаете обо мне. Вы не знаете даже моего имени.

— Ваше имя...

— Не припоминайте напрасно, Богдан Петрович. Мы встречались случайно и официально не были знакомы. Мое имя — Виктория.

— Виктория?

— Вас удивляет?

— Нет. Но вот только-что одна женщина... я тоже забыл, как ее

зовут — вдруг оказалась Лизой. А она непохожа на Лизу. Вы больше похожи на Лизу, а та — на Викторию.

— Может быть, — спокойно сказала Виктория, — так бывает.

Она поставила локти на стол, приложила ладони к щекам.

— Щеки горят.

— Нездоровится? — спросил Богдан.

— Пощупайте лоб, — сказала она и, взяв его руку, поднесла к своему лбу, — не правда ли, холодный? Следовательно, вполне здорова!

Он почувствовал теплоту ее руки, мягкие ищущие пальцы.

— Я могу рассказать о себе все, Богдан Петрович. Хотите?

— Говорите, Виктория.

— Хорошо. Только я присяду на диван.

Она пересела на диван, облокотилась на валик и, усмехнувшись уголками губ и глазами, начала говорить. Она рассказывала нехитрую повесть своей жизни очень просто, с наивными подробностями, с меткими сравнениями, показывающими ее неглупый и наблюдательный ум. Она несколько скептически относилась к себе, хотя знала цену своей женской обаятельности. О людях она отзывалась неизменно хорошо, даже о тех, которые сделали ей плохо. Она еще не была испорчена и верила в людей, в жизнь. На своей родине, в Проскурове, она познакомилась с инженером-строителем. Инженер, молодой и красивый, очаровал ее и предложил ей выйти за него замуж. Она охотно согласилась, вопреки воле родителей, простых и добрых людей. Они не возражали против замужества дочери, но просили подождать, так как ей тогда не исполнилось даже семнадцати лет. Она не послушала их, уехала с мужем. Через год он бросил ее. Она не решилась возвращаться к родителям и очутилась здесь, в этом городе. Родители ее остались в Проскурове и, может быть, уже погибли. Когда она говорила о родителях, слезы заволокли ее глаза. Она вынула платочек, промокнула ресницы, улыбнулась.

— Неинтересно и тоскливо. Зачем вы спросили меня... — она вынула пудре-

ницу, быстро провела по лицу пуховкой, вытерла губы.

— Я вначале считал, что ваш муж военный, тот, который был с вами в убежище.

— Нет! То был просто хороший знакомый... Он военным стал недавно. До войны он работал в нашем тресте калеклятором... Щелкал арифмометром.

В комнату вползала темнота. Улица утихала. Виктория спустила ноги с дивана.

— Может быть, прикроем окна и включим свет, я не люблю сидеть впотьмах. Очевидно, я не кошка... хотя мой муж называл меня кошкой...

Они закрыли окна, опустили светонепроницаемые шторы. Упала шуршащая бумага.

— Надо проверить вначале. Подождите, не зажигайте... Я сама. Это по моей специальности. Представьте себе, одно время я работала электромонтером. Я вам забыла сказать... Ой... я могу споткнуться.

Богдан нащупал ее локоть, и они пошли к двери. Но она быстро освободила свою руку и самостоятельно прошла вперед.

— Вы не там ищете, — сказал Богдан.

— Покажите.

Он взял ее руку и положил на выключатель. Она медлила, потом повернула выключатель. Вспыхнул свет.

— Какой яркий, — прикрывая ладонями глаза, сказала она.

— Мы зажжем настольную лампу.

— Пожалуй, лучше, — согласилась она, — только накройте сверху чем-нибудь. Спасибо. Так будет хорошо. Я не люблю сидеть в потемках, особенно в помещении, но не переношу и слишком яркого света.

Он опустился возле нее, взял ее руку. Она осторожно высвободила ее, взяла его руку и положила на валик.

— Вам не бывает скучно, Богдан Петрович?

— Не думал над этим, — сказал он сухо, — работа.

Она погладила его руку и лукаво заглянула ему в глаза.

— А я знаю, почему вы вдруг надулись. Не надо, Богдан Петрович, дуться. Ведь вы хороший... Помните, тогда я, как дура, прилетела к вам с носилками? Мне вот хочется сейчас сделать подвиг, большой, красивый. Быть героиней. И вот увидеть — как тогда будут ко мне относиться. Вероятно, тогда я умру, как женщина. Не правда ли? Я прожила с мужем всего шесть месяцев. Тот военный, наш калькулятор, ухаживал за мной, целовал мне руки и все... Я на него иногда кричала. Вот на вас нельзя кричать, вы такой большой, сильный, — она засмеялась, погладила его руку. — Как все странно получается, Богдан Петрович. У вас хорошая жена. Замечательная она женщина. Какая она счастливая! Каждому свое счастье. Как вы относитесь ко мне?

— К вам?

— Ко мне. Только откровенно.

— Вы мне нравитесь, — смущенно произнес Богдан. — Вы хорошая.

— Мне больше ничего не нужно... Лишь бы вам было приятно. После отъезда Вали вам ведь скучно. Никакая работа не заменит женскую ласку, что бы там ни говорили. Мне хочется кушать, — сказала она просто, — хочется кушать.

— У меня что-то должно быть в буфете. Правда, последнее время я здесь не живу, но, вероятно, что-нибудь обнаружится.

— Я сама буду хозяйничать, Богдан Петрович.

Она подошла к буфету, открыла дверку, приподнялась на цыпочках, рассматривая, что имеется на верхних полках.

Вскоре на столе очутились коробка сардин, сыр, сморщенный лимон и сухая колбаса. Богдан достал бутылку вина, звучно откупорил ее.

— У нас будет пир, — сказала Виктория, — вы не браните меня?

— Нисколько. Мне приятно, что вы у меня в гостях. Вы такая милая.

— А все же я хорошая? — спросила она вызывающе.

— Хорошая.

— Ну, не будем больше ни о чем думать. Может быть, с большой радостью будем вспоминать этот пир.

Она выпила бокал вина, оставила его, задумалась. Потом встряхнула волосами, засмеялась.

— У меня уже кружится голова. Я больше не буду пить.

— Больше и не надо.

...Она ушла как-то незаметно. Неясные блики света стояли в комнате. На столе светилась недопитая бутылка и наполненный вином бокал. Ее не было, но в комнате остались ее манящие запахи, какие-то особые духи — неизвестные ему.

Резко позвонил телефон. Дубенко взял трубку, заметил, что на ней густо осела пыль, брезгливо поднес к уху.

— Слушаю... Николай? Уже половина седьмого? Ты разыскивал меня? Да, я немного вздремнул, Коля. Неожиданно попал к себе. Сейчас приеду. Хриплый голос? Все в порядке. Вполне здоров, Николай.

## ГЛАВА XIX

Трунов принял Дубенко в одной из комнат штаба. Они сидели на диване, шуршащем накрахмаленным чехлом. На полу лежал афганский ковер с пышной бахромой, на стене, напротив, висела картина «Тильзитский мир». Император Александр шел на пакетботе к островку Немана для переговоров с коварным завоевателем Европы.

Николай был в новеньком кителе, тщательно вычищенных сапогах, выбрит и даже надушен. Богдану стало стыдно за себя. Он обнаружил — брюки вздулись на коленях колоколами, туфли в грязи, рубашка не первой свежести, на шляпе пятна от автола.

— Что хорошего, Богдан? — спросил Николай.

— Хорошего мало, Николай.

— Вижу по обмундированию.

— Заметил?

— Ну, как же. Привычка, в армии служу. На гражданской — грязный костюм признак деловитости.

— Ты не очень, — шуточно огрызнулся Дубенко, — генерал может командовать, были бы только телефоны под рукой, а наш брат производственник лезь в каждую дырку!

Дубенко с удовольствием бы прилег на диване. Трунов внимательно приглядывался к нему.

— Ты сегодня мне что-то не нравишься, Богдан. Лицо бледное, помятое... Так нельзя зарабатывать.

— Николай, — вспыхнул Богдан, — я пока тебе не подчиняюсь непосредственно...

— Богданчик, — он полюбил его, — сердиться? Что случилось?

— Полотно и виадук разбомбили.

— Знаю.

— А завод нужно вывозить, знаешь?

— Тоже знаю.

— А что мы своими силами ковыряться будем три дня, знаешь?

— Не похвалюсь, не знал. Что тебе нужно практически?

— Твоей помощи, Николай.

— Все понятно, Богдан. Через часок на месте вашего мелкого происшествия будет железнодорожный батальон. Своих людей не отпускайте. Гуртом и батьку бить легче.

— Спасибо, Николай. Мне казалось, что ты не сумеешь помочь мне.

— Если бы помогать только тебе, пожалуй, подумал бы, — Николай прищурил глаза, — ведешь ты себя плохо.

Дубенко привстал от изумления, краска залила его лицо.

— Ты брось, Николай... если ты помог мне...

— Не тебе, дурень, нашему общему делу. А чего ты покраснел?

— А, брось, ну тебя... а если бы мне лично, не помог бы?

— Вот что! За что тебе помогать? Валю куда сбегал?

«Неужели он что-либо узнал, или догадывается?» — промелькнуло в мозгу Богдана.

— Я отправил Валентину в Моск-

ву, — сказал он, стараясь не смотреть на Николая.

— Точно уверен?

— Уверен ли я? — у Богдана захолоуло сердце. — Что случилось с Вале́й?

— А ты ее, оказывается, любишь, бродяга. Даже в лице изменился. А она беспокоится, какие-то там измены, какие-то блондинки...

— Блондинки?!

— Конечно, ее фантазии. Чего жены не нафантазируют. Им кажется, что за их мужьями всю жизнь охотятся какие-то блондинки. Простим нашим женам, Богдан.

— Но что с Вале́й?

— Ты ее проводил?

— Проводил.

— В вагон усадил?

— Усадил.

— Ручкой помахал?

— Как ручкой помахал?

— Ну, поезд при тебе тронулся?

— Нет. Я спешил на завод, и она меня отпустила... Поезд был задержан. Как-раз подошли санитарные с фронта... Ну, что ты тянешь?

— Все понятно. Может быть, хочешь повидать свою жену?

— Повидать?

— Ну, что ты изумляешься. На тебе лица нет. Как будто бы ты узнал ужасную новость. Радоваться нужно, дурень. Раз повидать — значит, она где-то близко. В городе она.

— В городе, — Богдан еле подавил волнение, — не может быть.

— Работает в эвакогоспитале № 1124.

— Это безобразия, — возмущенным голосом произнес Богдан, — безобразия.

— Никакого безобразия нет. Не хочешь покидать тебя.

— Это ты ее надоумил.

— Не будем вникать в подробности, Богдан. Вчера звонила она мне. Над заводом висело зарево. Ну, беспокоилась о своем благоверном.

— Я сейчас же поеду к ней.

— Э, нет. Не найдешь!

— Эвакогоспиталь 1124. У меня отличная память на цифры.

— Цифру-то я тебе и соврал, Богданчик! У нее сейчас много работы — скажу по правде, поехала с санитарным к фронту...

— Ты с ума сошел! — возмутился Дубенко.

— Ну, ну. Ты не кричи. Теперь понимаю беднягу Валюшку. Пусть работает...

— Но если что случится?

— Случиться может и здесь. Тоже уже перешли в прифронтовую... По налетам чувствуешь? Когда будешь трогать из города, захватишь Валю с собой. Возьмешь на свой «дуглас». Не хочет от тебя отрываться.

— Но я должен вылететь в последнюю минуту. Самолет могут сжечь!

— Ну, сгорите вместе. Доставь ей такое удовольствие. Она у тебя хорошая, Богдан, но ты часто забываешь о ней. Надо все же не очень увлекаться... работой. Как настроения на заводе, в эшелонах?

— Как и тогда, в наши времена.

— Сейчас тоже наши времена. Только тогда мы были с тобой менее зрелы и меньше забот было. За нас думали, а теперь и самим приходится мозгами поворачивать. Потому — кажется тяжелой. Надеюсь, говорю понятно?

— Убедил.

— Ты, конечно, знаешь, что город должен быть в случае чего оставлен противнику в неудовлетворительном состоянии?

— Знаю.

— Кто отвечает за взрыв завода? Ты?

— Я.

— Приготовил, чем?

— Привезли динамит из Кадиевки.

— Сегодня получишь две тонны тротила и детонаторы.

— Ты спокойно говоришь о таком ужасе, Николай.

— Приходится. Обязанности жестокие, Богдан.

— Но, может быть, не придется? — с надеждой в голосе спросил Богдан.

— Будем защищать город до конца. Столько, сколько нужно для планомерного стратегического отхода. Под городом устроим мельницу...

— Какую мельницу?

— Новое наше выражение. Для перемла его дивизий. Командую мельницей я. Это, правда, не твой гигант-заводище, но хозяйство ничего себе, — Трунов поднялся, обнял друга. — Может, не встретимся. Выезжаю туда...

— Туда?..

— Да, тянет в сечь. Бродяжья кровь играет, труновская... Кстати, про отца. Работает старик, но в связи с продвижением немцев все труднее им. Позавчера еле-еле наладили радиосвязь...

Богдан ушел от друга с чувством грусти. Колька-пулеметчик, зубатый и озорной, с надорванным воротом гимнастерки, а теперь вот — генерал Трунов. Время, время! Почему тяжелей сейчас кажутся испытания? Неужели потому, что стали старше? Машина несла его к заводу. Вскоре позади остался наершенный, придавленный баррикадами город. Солнце гуляло по мокрым, от вчерашнего дождя, жнивьям и не могло их просушить. Подходила осень. В это время уже покрываются поля квадратами зяби, но сейчас... Он не находил этих черных квадратов. Земля ждала, но к ней не приходили!

В цехе гранат он застал отца за наладкой вторичной прессовки стакана. Руки старика были выпачканы в масле, он держал порванный стакан гранаты и журил рабочего-давильщика.

— Валюшка в городе, — сказал Богдан радостно.

Старик скрыл улыбку в усах.

— Ну? Стало быть, вернулась?

— Не уезжала она! — воскликнул Богдан. — Обманула.

— Вот оно что. И ты только узнал?

— А ты разве знал? — поймав улыбку у отца, спросил Богдан.

— Где мне все знать, — схитрил отец, — просто припомнил: какой-то голос, пискливый такой, звонил по телефону. Почудилось, Валькин.

— Вот заговорщики!

— Непослушание от любви, Богдан, — резонно заметил старик, — надо ей простить. Был у Николая?

— Пришлет железнодорожный батальон. Желбат.

— Желбат... Желбат,—старик усмехнулся чему-то.

Железнодорожный батальон восстановил движение через восемь часов. Дубенко прошелся по свежим шпалам, по рельсам, сохранившим еще кое-где визую окалину прокатки. Вместо готовой фермы использовали для перекрытия двухтавровые балки, укрепив их на стыке опорой из толстых деревянных брусьев. Бык в разрушенной части разобрали, после чего восстановили шпальной клеткой. Дубенко поблагодарил командира батальона — седого, весьма упитанного человека. Комбат сказал: «Спасибо, коллега». Оказывается, он был инженером-путейцем, строил Турксиб, вторые пути на Дальнем и еще кое-что.

К вечеру от завода прошел еще один состав. Семьдесят три вагона тяжело тащили два паровоза. Дубенко погрузил, кроме оборудования, большую половину сортового проката.

Богдан еле добрался до своего рабочего кабинета. Снова начиналась острая боль в ноге. Он лежал, прикрытый пледом, стиснув зубы. Отец, устроившийся вместе с ним, вошел, включил настольную лампу. Заметив страдание на лице сына, он подошел к нему и, откинув плед, принялся разминать ногу Богдана своими заскорузлыми, словно железными пальцами.

— Натру-ка тебя тем самым снадобьем, — сказал он. Вытащил из стола бутылку, засучил рукава, принялся массажировать ногу. Едкие запахи денатурата, камфарного масла и нашатырного спирта разлились по комнате. Богдан почувствовал облегчение, благодарно пожал отцу руку выше локтя.

— Эх, ты! Главный инженер и директор! Дважды орденоседец, — пожурил старик, — Данька ты... Помнишь, как мальчонкой свалился с двухсаженной гати? Еле-еле в чувство тогда тебя привел. И чем? Как думаешь? Денатуратом. А помнишь, как ты да Колька Трунов из-под Горловки на побывку прискакали на буланых коньках?

— Ну, что же? Тогда дело обошлось без расгираний.

— К случаю вспомнил. Были времена...

Он нашарил в ящике стола мыло, расположился возле умывальника. Богдан наблюдал его опущенные плечи, морщинистую шею, польсевшую макушку. Вот они снова вместе: война соединила их, как в детстве. А ведь перед этим старик все дальше и дальше отходил от него, редко показываясь дома на городской квартире. Как будто стеснялся появляться. «Родной мой батя, — тепло подумал Богдан, — хороший мой отец».

Отец достал из шкафа, где раньше хранились чертежи, кувшин с молоком, хлеб, масло. Налил в стаканы, нарезал хлеб, тонко намазал ломти маслом. Они ужинали у его кровати. Отец задумался, молчал. Убрав посуду в шкаф, закурил махорку.

— Когда свой завод запустим? — спросил он, отгоняя дым взмахами руки.

— Пустим завод, батя...

— Дай боже, чтобы наше теля да вивка зыило. Пора укладываться...

## ГЛАВА XX

Солдат германской армии Ганс Дрейф участвовал в завоевании Бельгии, Голландии, Франции. Его выбрасывали сверху на Роттердам, он участвовал в парашютном десанте у Седана.

Перед нападением на Советский Союз его подготовили.

Два месяца он коверкал русский язык, который он ненавидел, и в конце-концов превратился в «знатока русского языка и славянских привычек». Для операций на Востоке из их дивизии отобрали наиболее смелых и решительных парней и послали для диверсии по коммуникациям русских.

Неделю назад четырехмоторный «Фокке-Вульф», пройдя на большой высоте, сбросил диверсантов в окрестностях города. Ганс Дрейф собственными глазами видел, как крестьяне прямо налету подцепили на вилы его двух закадычных собутыльников Кляйна и Лесмайера. За ним тоже погнались, но его спасли резвые ноги и хорошее сердце. Он ушел и спрятался в леске, в ямке от

раскорчеванного дуба. Съев свой неприкосновенный запас, Дрейф вышел на работу. У реки его заметили мальчишки. Он ушел от них и больше не рисковал появляться на людях, хотя и был одет в гражданское платье и обучен «большевистским привычкам».

Ганса Дрейфа изловили бойцы истребительного батальона и привели на завод, в штаб. Пленник жадно кусал хлеб, держа краюху обеими руками, и воровато поглядывал на окружающих. Он ожидал смерти, но хотел перед отпразднованием в загробный мир вволю наесться. Он был оборван, худ, глаза развела грязь и пыль. Наевшись, он заулыбался обступившим его людям. На диком наречии он объяснил, что из солдатского нормального состояния его выбили не только лишения, но непонятность обстановки. Он искал кулаков, но все гонялись за ним. На Украине, куда они шли, как освободители от большевиков, жили одни большевики и никто больше.

Дрейфа отвезли в город, а через три часа Рамодан пришел к Дубенко с удивленным лицом.

— Теперь все ясно, — сказал он, разводя руками, — вот этот самый сморчок Дрейф был наводчиком на нашу ветку.

— Да так ли это?

— Сообщили из штаба. Признался, бандит.

## ГЛАВА XXI

Надвинулась одна из последних грозных ночей. Дубенко получал инструкции в городском партийном комитете. Приходили и уходили коммунисты. Они были молчаливы, кивками здоровались друг с другом. Многие были вооружены, подпоясаны желтыми ремнями.

Отсюда, из приземистого особняка, построенного одним из екатерининских деятелей Украины, выходили будущие командиры и комиссары партизанских отрядов, будущие мстители за поруганную честь советской земли.

Позванивал стакан на горлышке графина. Стреляли. По телефону отдава-

лись приказанья, тихо, с выделением каждого слова. Передавалось решение тройки, принятое на основе постановления Государственного Комитета Обороны.

Две комсомолки в синих беретах, работницы горкома, сжигали бумаги, которые не следовало оставлять врагу. Девушки помешивали в печах кочережками, бумага вспыхивала и рассыпалась жаром. Кафельные плиты накалялись, и щеки девушек играли румянцем. Люди шагали мимо, стуча каблуками. На ногах комсомолок тоже грубые сапоги из военной юфты.

Дубенко вышел из горкома вместе с Рамоданом. В карманах их кожаных реганов лежали новенькие пистолеты и обоймы с патронами.

Рамодан приостановился при выходе возле колонны и нагнулся к уху Богдана:

— Не следует никогда забывать этой ночи... Вот как покумовала нас судьбина...

Голубые лучи рыскали по небу. Орудийная канонада, стоявшая все время в ушах, сливалась с неумолчным шумом, напоминавшим рокот океанского прибоя. Это по главным магистралям, протянувшимся через город, проходила армия.

На улицах — баррикады. Они возникли повсюду и совсем недавно, но уже нельзя было представить города без них. Возле баррикад орудия. Посты. Ежеминутные окрики, светлое пятнышко фонаря на пропусках и разрешительное: «Проходите».

Шла тяжелая артиллерия на новый огневой рубеж. Скрежетали и поблескивали гусеницы тягачей, глушители раскалены до-бела. За орудиями покачивающимися квадратами шли бойцы. Люди шли спокойно, как и полагается для того, чтобы на новом месте продолжать прерванную работу.

В небе гул чужих моторов. Навстречу побежали прожекторы, заработали зенитки. Но вот взвился столб огня и зарево осветило северо-восточную часть города. Резко очертились крыши, трубы, колпаки водосточных труб и силуэты людей на крышах. По улицам



двигались автомашины, пехота, полевая артиллерия на конной тяге, понтоны, дальнобойные зенитные орудия, снятые с противовоздушного пояса. Бесконечный поток людей и техники шел организованно, в порядке.

— Танковых частей не вижу, — сказал Рамодан, — может, кто знает моего Петьку.

— Ранили же его...

— А может, и не ранили. Что же он не написал бы мне из госпиталя? А может, нет в живых моего Петьки...

Рамодан находу всматривался в лица бойцов, проходивших бесконечной вереницей. Он забыл, что его Петька танкист. Но все равно: разве найдешь в этом море суровых и обожженных боями и солнцем голов худенького Петьку!

Автомобиль, который должен был отвезти Дубенко и Рамодана на завод, ожидал на панели. Шофер поставил машину в прикрытие к самому зданию.

— Хорошо, что пришли. Столько хозяев на нашу машину, ужас, — сказал шофер.

Дубенко заехал домой. Рамодан остался ждать внизу, Богдан взбежал по лестнице наверх. Валя поджидала его, стоя у распахнутого окна. Стекла позванивали от стрельбы, и на них играли огоньки пожара. Снизу доносился все тот же рокот. Изредка в темное небо летели пунктирные линии трассирующих пуль, взвивались ракеты, разбрызгивая голубой свет.

— Я думала, ты не придешь.

Валя обняла его за шею. Он почувствовал ее холодные губы.

— Пойдем, Валюнька. Попрощаемся с домом.

Они присели. Богдан снял кепку. Потом они поднялись, еще раз поцеловались и направились к выходу.

— Мы разве все бросим, Богдан?

— Вряд ли будет время и возможность возиться с вещами.

— Разреши мне взять мой желтенький чемоданчик.

— Ты собрала его?

— Да.

— Возьми, пожалуй.

— Там все то, что нужно мне и тебе на первый случай. И вот это я возь-

му — на счастье, Богдан, — она приколола к груди безделушку, купленную им в Мексике, — неизвестный по названию матерчатый цветок с двумя зелеными листиками. Богдан принял из ее рук чемодан светложелтой кожи — тоже его подарок из Америки — любимый чемодан Вали.

Они на минутку приостановились в дверях, окинули последним взглядом свое жилище и переступили порог.

— По этой лестнице бежал Алеша, — сказала Валя.

— Да.

— Тебе как будто все безразлично?

— Нет.

— И ты тоже вспомнил сейчас нашего Алешу?

— Вспомнил.

Она приникла к его руке, и слезы обожгли кожу.

— Перестань, Валя.

— Как тяжело... Невыносимо тяжело и обидно...

— Мне тоже не легче, Валюнька. Возьмем сердца в руки, так писал нам Тимш.

Они спустились. Богдан положил чемодан в машину.

— Надо ехать поскорее, — сказал Рамодан, — ишь какой гул. Человека не слышно. Тут мотоциклист проскочил — где-то на левом фланге немцы прорвали оборону.

Шофер не мог протолкнуться. Вперемежку с воинскими частями двигались беженцы. Шли женщины, заспанные и плачущие дети, ковыляли старики. Беспощадный злобный враг стучался в ворота города. Никто не ждал от него пощады.

Баррикады, с оставленными щелями для проезда, мешали движению. На линии стояли трамваи. Их подвели к баррикадам, чтобы заткнуть бреши. В вагонах лежали мешки с песком. Возле баррикад дежурили ополченцы, обвешанные гранатами. Горюд много делал «карманной артиллерии» — ее с избытком хватило на всех.

— Нам придется объехать боковыми, — посоветовал Богдан шоферу, — так мы никогда не переждем.

— Ни туда, ни сюда, товарищ Дубенко.

— Надо ехать.

— Не давить же народ, товарищ Дубенко.

— Давайте я сам.

Дубенко пересел к рулю. Сильные звуки «клаксона» раздвинули немного толпу. Богдан тронулся осторожно. «Зис» пополз с тротуара на мостовую и начал продираться. Богдан решил спуститься в следующий переулок и, сделав небольшой крюк, выбраться из города.

— Вот как надо, — шутливо укорил он шофера, — а то стоял бы до прихода немца.

— Хай он скажится, тот немец, — проворчал потный от смущения шофер. — А вот опять пробка!

Из переулка выливалась стрелковая часть. Колыхались штыки. Шинели в скатах. Настоящие русские солдаты! Обмундирование обтрепано, обгорело от сражений. Но поступь уверенна, четка. И то, что они шли навстречу потоку с такой уверенностью, рождало к ним доверие и благодарное чувство. Люди посторожились, прижались к домам. Походкой баловней сражений прошел взвод автоматчиков со своим короткоствольным оружием. Некоторые были перевязаны, значит, они уже сражались. Свежая кровь пятнами чернела на марлевых бинтах, даже ночью заметно.

От второй роты отделился человек с немецким автоматом, опущенным на ремне дулом книзу. Он бегом обогнал товарищей, что-то покричал командиру, шагавшему по тротуару, и бросился к дому Дубенко. Валя, смотревшая из окошка машины на этого человека, вдруг закричала «Тима!», хлопнула дверью и побежала к нему, расталкивая людей.

— Тимиш! Тимиш!

Дубенко побежал за Валею. Конечно, она обозналась, подумал он. Слишком часто вспоминала она Тимиша и вот, в первом похожем на него бойце, она узнала его. Но рост тот, широкая спина, хорошие плечи. Он повернулся на крик.

Тимиш поднял руки, особенно, по своему, так делал он всегда в избытке восторга.

— Валя!

Валя упала в его объятия. Богдан достиг их одним прыжком.

— Тимка, родной!

— Други мои. Други мои.

Он смахнул слезу с пыльных ресниц, заулыбался своей хорошей улыбкой. Богдан щупал его крепкие плечи, мускулы рук, ремни снаряжения — еще не верилось, что перед ним тот человек, которого все больше и больше он боялся потерять в этом вихре. С каждым его письмом Богдан ближе познавал красивую душу этого человека.

— Друг мой, Тимка. Откуда, куда, родной?..

— С фронта и на фронт. Мы передохнули четыре часа в вашем городе. Никак не мог выбраться к вам. Нельзя было... а теперь — прикрываем отступление. На нашем военном языке — в арбергарде.

— Но почему так, — вскричала Валя, — неужели нельзя было отпроситься к нам? Ведь ты идешь с боями от самой границы!

— Идем с боями — так нужно.

— Но тебя могут убить!

Это наивное восклицание заставило широко улыбнуться Тимиша.

Улыбка, осветившая изнутри это скорбное и постаревшее лицо, вдруг вернула им прежнего Тимиша, любимшего и выпить и заспивать песни своим приятным голосом.

— Могут убить, Валюха? — сказал он. — Ну, шож будишь робить. Така, знать, моя доля. А можэ будэ щастья и не убьют.

— Хотя бы, — сказала Валя, поглаживая автомат.

— Ну, что ж вы не говорите, где Танюха с дочкой?

— На Кубани. Отправили в хозяйство Максима Степановича.

— Писала уже оттуда?

— Писала, — сказал Богдан, — там мама, Алеша.

— Ну, дай им бог щастья. А де ж мой батько?

— На правом берегу. Перекинули его туда...

— Тогда правильные слухи бродили по Украине. Взаправду гуляет наш батько по правому берегу. Хай, буде и ему щастье.

— А Николай в городе, — сообщила Валя.

— Говорят, подался Николай на передовую. Может, и побачу его. Ну, други мои, желайте и мини щастья. Спешу, спешу...

Тимиш снял каску, чтобы было удобнее попрощаться. Под каской взмокли волосы и лоб был в капельках пота.

Они расцеловались. Валя разрыдалась на плече Тимиша.

— Опять двадцать пять, за рыбу проши, — сказал растроганный Тимиш, — вот бы нам такого генерала! Прошел бы тогда, мабуть, немец до самого Урала. Вот тебе и героиня, Валюха!

Он погладил ее волосы.

— Прости, Тимиш. Я говорила глупости. Прощай!

— Зачем прощай... До свидания, Богдан! Помогай Танюше.

— Не беспокойся, Тимиш.

— До свидания, други. Пожелайте удачи в боях за ридну Украину!

Вскоре его каска затерялась в мерном покачивании сотен таких же касок. Как-то быстро прошла эта неожиданная встреча. И какие-то не те слова сказали они друг другу, да разве подберешь их в такую встречу...

## ГЛАВА XXII

Дубенко шел по заводу. Все до боли в сердце близко и дорого. Сколько сотен километров исхожено им за последние пять лет по этим отшлифованным подошвами ступенькам и полам. В цехах пустынно и тихо. Необычна эта большая тишина. Он последним обязан оставить капитанский мостик. Но неужели всё зря — столько бессонных ночей, труда, столько человеческих мук, горя и радости?

Сколько споров на совещаниях, собраниях. Совсем недавно здесь была жизнь, а вот сейчас электрические су-

шильные шкафы напоминали склепы. Но теперь... люди ушли отсюда...

Нет, не все ушли. Кое-где, с винтовками на ремне, с гранатами у пояса, стояли часовые. Они молчаливо провожали его глазами. Дубенко и не пытался заговаривать с ними, хотя всех знал хорошо, они его давнишние производственные товарищи. Он медленно шел мимо часовых, которые молча провожали его глазами, это были последние часовые — наиболее преданные сыны родины. Им было доверено проследить за уничтожением драгоценного имущества родины. Все было рассчитано. Тротил—бесформенные куски твердого желтоватого камня — и динамит были заложены в разных местах — для полной надежности. К ним добавлены кубики детонаторных шашек и пиропатроны с двумя обыкновенными проводниками. Завод опутан тонкой проволокой. Часовые должны охранять весь механизм взрыва. События навалили на их плечи гору страданий. Но поступки их подчинены железной дисциплине. Еще вчера не мог примириться с этим и сам Дубенко, но теперь уйди кто-нибудь со своего поста или вытащи заряд, он сразу бы схватился за рукоятку оружия...

Враг подходил. Гром орудий — предвестник его неумолимого приближения. Войска советского государства уходили, но сражались так, как никогда еще не сражались войны в многовековой истории человечества. Из вен врага должно уйти побольше крови. Потери разрушают армию противника, и поэтому нельзя оставлять баз, на которых он может подремонтировать свою машину войны. Необходимо взорвать казармы, предприятия, на которых можно производить оружие, боевые припасы, аммуницию. Враг вступает в развалины — таково решение.

Дубенко шел. Кровь сердца растекалась по этим построенным и выпестованным им цехам. В термическом, с полуавтоматом в руках, стоял Тарасов. Он сам ставил печи, потом из строителя вырос в мастера. Это он добился такой закалки броневых листов, что их

почти не могло уязвить вражеское оружие. Под фундаменты сам же Тарасов и заложил взрывчатку. Мастер пристально посмотрел прямо в глаза Дубенко и молча отвернулся.

Длинные линии сборочных цехов. Как мертвые руки, повисли краны эстакады. Здесь собирали центроплены, крылья, фюзеляжи. Некоторые стапели для сборки, громоздкие и непригодные для далекого путешествия, скоро должны тоже обратиться в черную пыль, которая сядет на каски немецких солдат и бронелюки танков, как пепел проклятия. Сверху на лицо Богдана упала капля. Он поднял голову и увидел сквозь стеклянную крышу, разбитую взрывной волной, клочья черной тучи, прошупываемые прожекторами. Далеким и чужим вдруг показалось ему и небо, и непривычным и раздетым цех, и настоорожившиеся стены. Отец сидел на чурбане, поставив винтовку между колен. Поверх малескиновой куртки на ремне висел подсумок с патронами. Таким был снят отец в группе партизан восемнадцатого года, только был он тогда помоложе. Отец смерял глазами сына и поднял голову кверху.

— Кажись, дождь.

— Да, начинается дождик.

— Сегодня, видать, не налетит.

— На фронте занят. Слышишь, как палит...

— Жалко, — отец посмотрел в глаза сыну, — жажнул бы сверху. Чужими бы руками...

Богдан сел на обломок рельсы.

— Тяжело, батя?

— Спрашиваешь, — старик махнул рукой, — иди, Богдан. Дождик начался, а потом зарядит на всю осень. Станки проржавеют до материка. Руки оторвешь, отчищая...

— Так что ты хочешь?

— Пошли телеграмму по эшелонам. Пускай не скупятся, добавят по ходовым частям тавоту аль трансформаторного масла. Мы в каждый эшелон на свой риск по тонне сунули.

Дубенко прошел через цех окончательной сборки и вышел наружу. Перед ним в дожде раскинулся аэродром, покрытый воронками и увядшей травой.

Широкие колени, промятые баллонами самолетов, поблескивали водой. Аэродром пуст. Вдоль завода, прорезав газоны, тянулся ров. Здесь, по заданию Дубенко, вырыли кабель. На горизонте вспыхивали зарницы, освещая быстро бегущие тучи. Канонада не утихла. Над городом попрежнему висело зарево.

Зенитчики увели батарею с завода сегодня утром. Артиллеристы подорвали подземные помещения, казарму, столовую, погреба. Оставили только ленинский уголок в блиндаже, куда Дубенко приказал вывести управление взрывом. Он спустился под землю. Рамадан дежурил у городского телефона. Тут же сидели и ели яблоки два связных — рабочие сборочного цеха.

— Проверил? — спросил Рамадан.

— Все в порядке.

— Сколько человек точно?

— Двадцать четыре. С тобой двадцать пять.

— Важно знать, а то как бы кого не прихватило взрывом.

— Майор звонил?

— Только-что... Самолет готов. Там подвезли пять раненых командиров — просят отправить в Москву. Придется тебе прихватить. Они только из боя... Жарко... Еще триста танков бросил немец...

— Тогда мы не сумеем всех на самолет, Рамадан, если возьмем раненых.

— Я приготовил автобус. Поставил у виадукса, чтобы не поломало при взрыве. Там обеспечивает Белан.

Рамадану позвонили из горкома. Трунов отходит? Приготовиться? Есть, приготовиться. Все в порядке... Транспортом обеспечены. Раненых принимаем на «дуглас». Сам? Сам выскочу на автобусе. Не выскочу? Не может того быть. У Дубенко руки не дрожат... Ну, что ты не знаешь Дубенко...

Рамадан положил трубку. Он старался сдержаться, но непроизвольно подрагивала челюсть. И глаза как-то сразу ввалились и окружились черным. Дубенко спросил, еле сдерживая внутреннюю дрожь:

— Отходим?

— Да. Приготовиться. Ожидать условного сигнала. Спрашивал насчет те-

бя. Ты что-то насчет психологии с секретарем балакал?

— Так, в дружеской беседе,— сказал Богдан,— такие дела не обходятся без психологии...

Дубенко вышел. Дождь усиливался. Он поднял воротник реглана. Струйки стекали по пальто. Резко стучали в ушах орудийные выстрелы. К ним присоединились глухие минометы. Подъехал санитарный автомобиль. На подножке стоял один из коммунистов, дежуривших в воротах.

— Хоменко привезли, Богдан Петрович,— сказал он,— подолбали немного. Генерал Трунов послал сюда. Приказал вывезти самолетом.

К Дубенко подошла девушка-медсестра, неловко козырнула.

— Принимайте раненого. А мне обратно, туда...

— Он сам может двигаться?

— Раздробило руки миной. Как-то неудачно попало... Ополченец...

Девушка помогла сойти Хоменко. Он посмотрел на Дубенко. «Вот до чего произвели». — буркнул он.

— Пройдите в блиндаж, товарищ Хоменко. Сестра, помогите ему...

— Под землю не пойду. Посажу тут,— сказал Хоменко.

— Здесь не безопасно.

— На завод посмотрю. Имею право?

Девушка захлопнула двери, села рядом с шофером, и машина покатила, чавкая шинами по мокрой траве. Дождь усилился. Хоменко присел на пенек, положил руки на колени и смотрел, как набиралась на марле кровь.

— Руки мастерового помешали Адольфу,— покривившись от боли, произнес он.

Из блиндажа выскочил связной.

— Товарищ Дубенко! Просят вас!

Дубенко спустился. Рамадан говорил по телефону.

— Что там, Рамадан?

— Через пятнадцать минут,— Рамадан осмотрелся.— Где раненые?

— Там один Хоменко.— Богдан, пристраиваясь у индукторного телефонного аппарата, вынул часы и положил перед собой.— Снимай посты, Рамадан.

Последним спустился отец. Он старательно очистил в тамбуре сапоги, снял шапку и стукнул прикладом винтовки об пол. Дубенко пересчитал глазами всех. Каждый из этих людей проходил перед ним, как страница какой-то трагической книги. Двадцать пять— вместе с ним. Двадцать пять человек, которые никогда не забудут друг друга.

Отдаленный взрыв потрянул землю. За ним последовал второй. Колыхнуло переговорную трубу, выведенную из блиндажа наружу. На пол упал кусочек земли. Рамадан снял кепку, вытер вспотевший лоб.

— Где рвали?— спросил Тарасов, наливая воды в кружку.

— Водохранилище и электростанцию.

— Включай! — громко сказал Рамадан.

— Включаю!

Дубенко ощутил в руках черный карандаш ручки индукторного аппарата. Покрутил. Прислушался. Дрогнула совсем близко земля. Свист, как будто сверху пронесся ураган огромной силы. Еще раз... и еще... несколько последовательных взрывов. Тротил и динамит, заложенные под фундаменты, взметнули в воздух труды их рук... Все сидели, склонив головы и опершись на винтовки. Пальцы, ухватив оружие, заостенели. Поднялся побледневший Дубенко. Пригнувшись, чтобы не задеть притолоку, он вышел из блиндажа.

Когда последний человек скрылся в блиндаже, Хоменко встал и пошел к заводу. Руки он держал перед собой. Если он поскользнется, будет больно. Эта мысль вошла в его сознание и не покидала даже тогда, когда он вспомнил, что время ограничено короткими минутами. Он побежал по аэродрому, разбрызгивая воду из луж, но быстро запыхался и подходил к заводу уже усталый, измотанный. Потом остановился, отдышался. Брошенный всеми кирпичный корпус завода был перед ним. Еще несколько усилил, и он попадет к себе, к тому месту, откуда его хотели увезти. К тому месту, куда приходили иногда жена и дети. Он поднял руки, на залоснившиеся колени упали несколько капель крови и покатались по голенищу.

И в это время огромный конус огня и камня выпрыгнул перед ним, прокатился грохот, его швырнуло...

На месте завода, в бурно поднимающемся пламени, стояли выщербленные стены. Гарь и седой пепел. Люди, вышедшие наружу, сняли шапки, повинуясь какому-то единому порыву. Капли дождя упали на их обнаженные головы. Пепел все больше и больше кружился вокруг. Первым надел шапку Дубенко и твердо сказал:

— Пошли, товарищи.

— Мы не можем найти Хоменко, — догоняя Богдана, сказал Рамодан.

— Как же так, — как бы очнувшись, спросил Дубенко и остановился. — Вы поискали вокруг?

— Тарасов слышал, как Хоменко еще тогда сказал: «А я пойду принимать смену».

Дубенко ничего не ответил и пошел. Камни и большие глыбы железобетона, отшвырнутые взрывом, попадались на пути. Поле боя! Но только не было воинов.

Вот и Хоменко. Что-то привело Дубенко именно к этому месту. Хоменко лежал, примятый к земле. Кусок швеллерной балки, пронесшийся как осколок чудовищного снаряда, рассек и придавил Хоменко. Он раскинул руки, точно пытаясь убраться от удара.

Хоменко освободили от придавившей его балки и понесли. Вот длинная канавка — следы вырытого кабеля. Силой взрыва из канавы выдуло воду. Труп положили на дно и завалили камнями — почерневшими обломками завода...

Канонада стихала. Они ускорили шаг. Прошли дубовой рощицей, оскальзываясь на намыленной глинистой дорожке. Молодые дубки шумели над их головами. На полянке, освещенной заревом, Дубенко приостановился, подчитал всех. На всю жизнь запомнит он эту страшную дождливую ночь. Сердце окаменело. Челюсти сошлись так, что, казалось, не в силах было разжать их. Колыхались спины товарищей, освещенные блесками огня...

Автобус приткнулся у железнодорожной насыпи, вблизи виадука. Валя по-

явилась внезапно. Она пошла рядом, и Богдан ощущал ее справа своим локтем. Она ничего не сказала ему и только, когда сели в автобус, нагнулась к нему и поправила шарф на его оголенной шее.

— Ничего, Богдан, — сказала она успокоительно, — ведь ничего другого не оставалось.

Майор Лоб встретил их у самолета.

— Всех не заберу, — заявил он, — не трамвай.

— Мы поедем на автобусе, — сказал Рамодан.

— Протолкнетесь? Дороги забиты...

— Проедем полевыми, — заявил шофер, — дороги знаю. Не полезу в кашу.

— Белана уговорите, — майор потолкал пальцем в темноту. — Если погрузить все его барахло, не оторву свою старуху.

Белан пыхтя втаскивал в самолет чемоданы и корзины. Жена совала швейную машину, тазы, завернутые в клеенку, одеяла и подушки.

Дубенко поднялся по трапу в самолет, и оттуда полетели чемоданы, узлы и многое из того, что успела погрузить чета Беланов.

— Партизанщина, — грозился Белан, — я ему покажу...

— Когда он успел! — возмущался Лоб, проталкиваясь в самолет. Приказывал же не пускать — пустили. Вы с нами, Богдан Петрович?

— Я поеду на автобусе.

— Разрешите мне выполнить приказание высшего начальства, — майор вытащил бумажку, присветил фонариком-карандашом, — вот список за подписями тройки. Майор Лоб должен доставить наряду с другими Дубенко и... его жену. Майор Лоб солдат и он должен выполнять приказания начальства. Помогите там женщине, бортачи. Не хочет? Что я буду канителиться, пока меня за огузья не вытащат гусары смерти... Приказываю...

— Я попрошаюсь с Рамоданом, — сказал Дубенко.

— Попрошайтесь и будьте исполнительны.

Валя поднялась в машину. В руках она держала неразлучный чемоданчик.

— Может быть, мы на автобусе, Богдан?

— Устраивайся, Валя, — он увидел чемодан. — Я приказал выбросить все лишнее, а ты со своим...

— Тут у меня все. Я не брошу его.

Майор осторожно разжал ее пальцы, и чемодан уплыл куда-то в темноту самолета.

— Я заплачу, — сказала Валя.

— Плакать женщине не вредно, — прохрипел над ухом Лоб, обдавая табачными запахами, — но пока нет причин. Майор прибрал ваш чемодан в надежное место, в хвост. Хозяин он своему хвосту или нет?

Богдан попрощался с Рамоданом, пошел к отцу.

— Полетим со мной.

— Нет, — старик отрицательно качнул головой. — С Рамоданом будем догонять последние эшелоны. По всему видеть, они дальше Лисок не дотянули.

— Ну, хорошо, отец. Догоню и я тебя на пути...

Убрали трап, закрутили винты. «Дуглас», покачиваясь, вырулил на старт, оторвался от земли и исчез в дымовом облаке пожарища. Рамодан поторопил старика, и автобус покатил под виадук. Курс был один с самолетом — на Восток. На площадке остались только Белан и его жена. Он набросал вещи в «Шевроле», прыгнул за руль и погнал вслед автобусу.

## ГЛАВА XXIII

«Позади остались бои под Новоград-Вольнском, Житомиром, Полтавой, Орлом, Харьковом. Сердце обливается кровью, вспоминая те страшные дни, когда падали вокруг боевые мои друзья, а я оставался жить. Вероятно, оберегала меня судьба-злодейка, чтобы дожил я до страшного часа — прощания с родной Украиной. Я сшил мешочек из подкладки кисета и положил его себе в карман. Черные смерчи поднимались вокруг меня — немцы били тяжелой, вот рвануло возле меня и обсыпало землей. Тогда вынул я мешок из кармана

и насыпал в него обгорелую землю, землю моей родной Украины. И, чтобы не видели мои бойцы, повесил себе на шею, как ладанку.

Ветер нес мелкий и колющий снежок. Снова степи, степи и степи... Но это уже — Курская область. Сегодня я положил на бруствер саперную лопатку и на нее кусок бумажки и написал заявление в партию. Мне тяжело, тяжело и партии. Так буду я, комсомолец, переносить вместе это горе и помогать избавиться от него. Больше не увидит никто моих слез. Высохли они у меня надолго. В великие мучения брошен народ мой многострадальный, и не успокоюсь я, пока не отомщу за эти страдания. Кровь за кровь! Я благословляю этот лозунг, и сердце мое одевается сталью...

Последний раз я встретил тебя, Богдане, на улице и не сказали мы тех слов, которые были у тебя и у меня. Так всегда бывает при встрече с близким человеком. Теряются куда-то слова.

Нас послал Николай в арберггард. Он знал наш батальон за проверенных и испытанных бойцов. Мы шагали и закрывали глаза от дыма. Горел город, в котором так долго жила моя Танюха. Люди смотрели на нас, как на идущих на подвиг, на смерть. Но мы шли к жизни. Мы ускоряли шаг, видя, как кругом хлещет горе. И что ты думаешь — мы заспывали песню. Я научил взвод — «Ой ты, Галю!» Так приходилось — в тяжелые минуты она поднимала дух наш. Вскоре наши глотки высохли, и мы шагали молча. Впереди гудело, гремело, рвало. Но мы привыкли. Ко всему привыкает человек, будь даже до войны он чем-то вроде кинорежиссера. Из боя выходила конница. Конечно, нам было жалко. Многие седла были пусты, многие кони хромали. Потом пробежала танкетка. Остановилась, и из нее вылез Николай. Он остановил наш батальон, поздоровался и был спокоен. Чорт забери, ведь и в самом деле Николай храбрый хлопец. Он не увидел меня, а я не посмел его окликнуть.

Мне тяжко вспоминать, Богдане, тот страшный бой. Но я защищаю и те-

бя, и Валу, и Танюху, и дочку. Это кипело в сердце моем. Я не щадил жизни своей и снова остался невредимым. Танки бросились на яр, что выкопали женские руки, и отхлынули. Потом они снова бросились и снова отхлынули. Я командовал голосом, но потом, сорвав голос, принялся командовать руками.

Бойцы понимали меня. Нужно было сражаться и сражаться. На нас пошла пехота, и мы поднялись для контрудара. Я пошел в атаку с плоским штыком, которому я еще не совсем доверял. Но плоский штык не подвел меня, Богдане. Я дрался и помнил одно: я убиваю врагов моей родины.

Потом в ров пустили нефть пополам с керосином. Сюда подвели канавы от складов. Нефть вспыхнула. Ров пылал. И нас заклубил такой дым и смрад, что все плевались черным. Я никогда не забуду этой картины. Немецкие танки горели и взрывались. Немцы остановились, и мы могли, наконец, отойти под прикрытием дыма, который поднимался до неба. Огонь взлетал вверх, и воздух сотрясался, как бешеный. Дантов ад, вероятно, показался бы домом отдыха в сравнении с тем, что окружало нас. Мы уходили. Батальон поредел, но никто не скулил, Богдане.

Сегодня я смог немного передохнуть. Видишь, достал даже чернила, а почта привезла мне неожиданную радость — целых двадцать писем от тебя, Танюхи и Вали... Вот так счастье... Я упиваюсь письмами, я пьяный от них. Я таскаю их с собой, и, представь себе, они не обременяют меня, хотя всех писем собралось больше сотни.

Как ты думаешь насчет семьи? Все ли там благополучно? Командуй ими сам, мне не придется, так как скоро получу роту. Ротный командир — даже звучит важно. Чем черт не шутит, когда бог спит — не догоню ли в чинах самого Николая!»

...Эшелон шел на Восток. На платформах возвышались крылья, винты, фюзеляжи, шасси... На одной из них закреплен автомобиль «зис-101». Сверху его накрыли брезентом. Дубенко набросал внутрь одеял. Желтенький чемоданчик всегда был на виду. Валя

частенько подтрунивала над Богданом, вспоминая, как он хотел выбросить его на аэродроме. В чемодане, кроме ее платьев и безделушек, находилось мыло, три смены мужского белья и новый костюм Богдана. Валя уютно обставила внутренность автомобиля и говорила Богдану, что здесь ей гораздо больше нравится, чем в их городской квартире. Она даже принимала гостей — инженеров, ехавших в их эшелоне. Чтобы попасть в «квартиру Дубенко», гости должны были на платформе снять обувь и под присмотром Богдана и Вали скорее захлопнуть дверку, чтобы не выпускать драгоценного тепла. Автомобиль обогревали керосинкой. На ней же готовили пищу. Обычно обед делали на остановках, они были длительны, обед успевали приготовить без тряски.

Эшелон тащился медленно, и Богдан томился по работе. На каждой станции он искал составы, отправленные с завода, и постепенно обнаружил пять эшелонов. Установил с ними связь, организовал посылку вперед «десантов» — двух-трех расторопных людей, которые помогали расчищать путь и проталкивать эшелоны к Уралу.

Транспорт жил напряженно. Это была небывалая в истории транспорта эпопея. Немцы устремились к Москве. День и ночь на фронт летели воинские поезда, которые пропускали по «зеленой улице», то-есть без всяких задержек, при зеленых семафорах.

Поезда летели один за одним. Начальники станций стояли на стрелках. Иногда железнодорожники не уходили с постов по несколько суток. На линию выехали крестьяне с тачками. Увязая в болотах, люди делали насыпи, клали шпалы и рельсы, забивали костыли. Удлиняли пути на станциях и разъездах. На линию выходили работники управлений, школьники, учителя, резервные соединения войск.

Дороги Востока принимали колоссальный вагонный парк. Задача страны — вывезти из-под бомбардировок людей, материалы, хлеб, оборудование, ценности музеев, картины, библиотеки, театры... Эшелоны с людьми, оборонными грузами двигались в пункты на-



значения. Армия сражалась — нужно было давать ей оружие. На Восток вывозилась промышленность западных областей страны.

Рабочие ехали на новые места. Вечерами, в женских теплушках, много говорила об оставленном имуществе. Каждая посудина, всякая тряпка приобретались всей семьей и вот...

Какой хорошей и настоящей казалась недавняя жизнь. Как все было отлично и правильно. Когда-то многие из этих женщин ворчали — и то плохо, и это нехорошо. Но какие пустяки — те заботы и недостатки.

Посредине теплушки накалилась чугунная печка. На ней кастрюльки. Готовили по очереди. Чтобы не спутать очередь, на полу выстраивались чугунки и чайники самых разных размеров и формы.

Мужчины ехали на открытых платформах, в шалашах, сделанных из теса и толя. Но когда приходило время обеда, мужчины шли в женскую теплушку. визжали блоки дверей, лязгали стремянки. Женщины ухаживали за своими мужьями с нарочитой подчеркнутостью своего превосходства: наливали суп в железные чашки, подавали ложку. Мужчина с достоинством ел, как-никак кругом сидели женщины, которые не знали его в домашней обстановке. После того, как всполаскивалась миска и мужчина отирал усы и пробавлялся чайком, женщина садилась рядом и старалась прикоснуться к его руке или поцеловать его. Ей хотелось, чтобы видели все, какая она счастливая, — наивное стремление простых и по-настоящему хороших людей.

Победав у сына, старик Дубенко присел на платформе на алюминиевый кругляк, сваленный между деталями главного пресса. Поезд катился уже несколько перегонов без остановки. Изпод колес летел ветер и снег. Старик плотнее укутался в тулуп, мерзли колени. На усах и бровях начал засахариваться иней. К отцу подошел Богдан и сел рядом.

— Скоро дотянем до места, батя, — сказал Богдан.

— Дотянем.

— Ты что-то сумный.

— Уходим от войны, в тыл уходим, — после некоторого молчания сказал отец. — Не знаю, как вы, а думки сумные у многих, Богдане.

— Продолжай, батя.

— Никто не знает, чего на Урале ожидать. Балакают, что на Урале народ, не в пример нашему, тяжелый, недоверчивый. Видишь, местность какая — как тюрьма для нашего брата, для степового. Лес и лес. Вздохнуть нечем, прямо задавил, — отец свернул папироску и прикурил, прикрываясь от ветра полой тулупа. — Как-то нас примут новые хозяева? Едем в Строгановщину, так на какой-то станции объясняли. Зря такое название не дадут — видать, народ строгий там.

— Строгановщина? — удивленно переспросил Богдан. — Откуда бы такое название?

— От строгого слова, понятно.

— Строганов, промышленник, первым пришел в те места. Он, собственно говоря, и основал горнозаводский промысел на Урале. Отсюда, вероятно, и Строгановщина пошла.

— Знаешь, что ли?

— История, отец. В книгах написано.

— Книга людьми делается.

— Ну, был же я на Урале. Уже во время войны летал. И раньше бывал. Люди там не плохие, но склада другого, чем украинцы.

— От природы. Ишь, какая, давит просто, хотя и красиво.

— Может быть, и от природы. Но больше от милостивцев. Так называли они бывших своих хозяев. Многие уральцы и сейчас помнят этих «милостивцев»...

— Ну, посмотрим, — отец наклонился к Богдану. — Смотрю вперед и ничего угадать не могу...

— Потому что не работаешь, отец.

— Может, и потому, — согласился старик, — около месяца в пути. Зарплату получаем, кашу варим — дорого кухарка стоит государству. Надо машины выпускать, а мы болтаемся на колесах, картошку ищем, свинину торгуем над путями. Шутка сказать, какую

машинищу стронули. Так вот: стоит себе дом и стоит, и люди в нем живут, а начини его переносить на другое место... половины не соберешь. Мало того, что станки тронули, людей тоже. В чужом краю работник не тот.

— Привыкнет.

— Пока-то привыкнет... Нога не беспокоит? В Москве лучи помогли?

— Иногда чуть-чуть прибаливает. Пожалуй, помогли.

— Дай бог, чтобы до конца войны чуть-чуть. Тебе теперь болеть нельзя. Ты теперь во главе. Тысячи, поди, за две от Украины отвезли. — Он провел рукой по плечам сына. — Ишь, снег. Всю спину запорошило. Тут и снег какой-то жигучий... В полшестого будто гудок меня будит. Радостно станет, вскочу и головой о доски бах... А спешить, выходит, некуда. И гудок-то только чи приснился, чи примерещился. Некуда спешить...

Отец надолго замолчал. Он не требовал ответа, зная, что сын понимал его. Когда Богдан хотел ответить ему, он глухо сказал: «Не надо, сыну. Не обращай внимания на старика. Все от безделья... Нашим пошла еще одну телеграмму. Что-то никак не свяжемся. А письмо Тимки прочитала мне Валюшка сегодня в обед, туго ему пришлось под городом».

Рядом остановился другой эшелон. С платформ выпрыгивали люди в шинелях и комбинезонах. Один из прибывших, соскочив на землю, принялся снегом растирать себе лицо, шею.

— Романченоч! — обрадованно воскликнул Дубенко, — какими судьбами?

Романченоч, улыбаясь, разводил руками. — Простите, не могу пожать вашу руку, Богдан Петрович. Откуда? Из Москвы.

— Выходит, плохо там, — вмешался термитчик Тарасов.

— Почему плохо? Все нормально. Порядок.

— А вы почему тут?

— Приказали, товарищ Тарасов. — Романченоч обратился к Дубенко, — вас разыскиваю. Нарком сказал, что через

месяц начнем испытывать самолеты на Урале.

— Какие? — удивленно спросил Тарасов.

— Наши.

— Но завод на колесах.

— Через месяц мне приказали испытывать, а там не мое дело, — Романченоч утерся, лицо его горело от снега. — В Москву хоть полетал немного. Душу отвел. Сейчас немец ходит в сопровождении. Пришлось двух фрицев сковырнуть. Думал, наконец, начну работать по-настоящему. Нет. Вызвали и послали опять к вам.

— Лоба не встроили?

— Майор Лоб сейчас бок-о-бок с Шевкоплясом, на Чёфе. Говорят, дают кое-кому жизни, Богдан Петрович. А где Валя?

— У себя в квартире.

— Дома осталась?

— Здесь.

— Не понимаю.

— Пойдемте.

— Я пошел подменять дежурного, — сказал Тарасов, — до свидания, товарищ Романченоч. А может, к нам пересядете?

— Невыгодно. Своим эшелонем скорей дотянем до места. Литерный. Кстати, предупрежу там Рагодана, чтобы к вашему приезду оркестр состряпал и два эскадрона кавалерии на правый фланг.

Валя радушно встретила Романченка. Он сбросил у входа в «квартиру» свои волчьи унты и сидел веселый, посвежевший, педжав ноги и охватив колени сильными кистями рук.

— Как хорошо, что вдруг мы с вами встретились, — обрадованно сказала Валя, — какие-то все люди... родные стали... Несчастье, что ли, сблизило?

— Ну, какое там несчастье, Валя. Простите, что я вас так величаю. Побольше машин, побольше машин. Техника нужна на фронте, как воздух.

Они пили кофе, который приготовила Валя на неугасимой керосинке, ели черный хлеб. Чашек не было. Пили из стеклянных консервных банок. Романченоч принес с собой струю свежего воздуха в этот домик на колесах, кото-

рый так долго двигался к месту своего назначения.

— Встретил на Шахуньи горняков с Дзжбасса, — рассказывал Романченко, — едут в Кизел на уголь. Повели, как пришлось шахты взрывать. Вспоминают и плачут... Честное слово. Такие крепкие, здоровые шахтеры, и плачут. Куда ни глянешь, столько рассказов, что голова становится дурная. На сто лет вспоминать хватит. Спасибо, хозяйюшка, за угощение. Давно такого отличного кофе не пил.

Серый день повис над лесом, заснеженным первой метелью. На крутой насыпи собрались летчики-моряки. Они стояли вокруг костра и пели:

Ой вы, хлопцы-запорожцы,  
Сыны славной доли.  
Шож не йдете вызволяти  
Нас с тяжкой неволи...

Летчиков перебрасывали на работу в новые воздушные арсеналы страны. Они двигались туда, куда шли заводы. Это были летчики-испытатели; рядом с ними стояли инженеры — военные представители на заводах, производящих самолеты, оружие и броню. Всем хотелось на фронт, они считали оскорблением своей воинской чести уходить в тылы. Но страна требовала этого подвига. Да, это был большой подвиг — уйти в тыл, когда все существо рвалось туда, в беспримерное историческое сражение, решающее судьбу родины.

Моряк в бескозырке, с мужественным лицом, с расстегнутым воротом бушлата, обнажавшим полосатую тельняшку, стоял неподвижно, опираясь на полуавтоматическую винтовку. Одна рука у него была забинтована. Дубенко заметил увлажненные глаза его. Моряк пел о родной Украине. Богдан почему-то вспомнил Максима Трунова. Где он сейчас, могучий оскорбленный старик? Где Тимиш — двадцатисемилетний парубок, познавший всем существом своим правду освободительной войны? Он ползет где-то сейчас под огнем минометов и орудий на штурм врага, а может, лежит, раскинув мертвые руки, подставив свой лоб ноябрьскому снегу, который падает, падает и тает... Мо-

жет быть, сейчас более счастливы те, кто сражается там?

Мимо проносились эшелоны. На помощь Москве шли новые войска.

Пронеслись поезда с орудиями, патронами. Высокие платформы с авиабомбами, пулеманы с пулеметами и снарядами и поезда с танками. На танках бились зеленые брезенты, как крылья пойманных птиц. Хотелось бесконечно умножать эти поезда. Орудия их были нацелены на Запад!

Может быть, отсюда начиналась победа?

Эшелон шел на Восток. Все дальше и дальше отодвигалась родная Украина. Ночь... Оборвался лес, и впереди, точно брошенное на снежную равнину ожерелье, засверкал огнями поселок. Первый освещенный поселок на их долгом пути. Они пересекли зону затемнения. Все выскочили из шалашей, тормозных будок, открыли двери теплушек. Люди, истрадавшие по свету, увидели свет. Здесь тоже была Родина, здесь горели огни России!

#### ГЛАВА XXIV

Дубенко перебрался в эшелон к Романченко и довольно быстро продвигался к месту, где предполагалась встреча с Рамоданом. По пути Дубенко проверял свои эшелоны, поставленные на отстой на станциях и полустанках. Третья очередь эвакуации, шесть составов в триста двадцать четыре вагона медленно, но продвигались к конечному пункту.

В пути он инструктировал начальников эшелонов, договаривался с военными комендантами и при помощи Романченка и еще нескольких человек из военных представителей проталкивал свои составы. Месячный срок, данный ему правительством для передвижения, скоро кончался. Еще через месяц завод должен был приступить к выполнению той программы, какую они выполняли на месте, и уже в следующий месяц дать тридцать пять процентов увеличения выпуска боевых самолетов.

Дубенко еще не ясно представлял себе, как будет все это происходить.

Он должен был познакомиться на месте с обстановкой и там решить, что и как. Впереди проехали первые шесть эшелонов во главе с Тургаевым и Рамоданом. Дубенко надеялся на этих двух людей: все, что в их силах, они сделают.

Дубенко видел поезда с эвакуированными заводами. Станки из Кременчуга, Запорожья, Днепропетровска, Гамален. Ходовые и нежные части при погрузке были смазаны и обернуты бумагой. Но смазку обмыли дожди и ледяная крупа, бумагу растрепали ветры. Между станками густо набросаны чушки алюминия, магния и других цветных металлов. Задание — ни одного килограмма цветного металла противнику — выполнялось особенно тщательно. Украина вывезла весь цветной металл, — так говорили встречаемые Дубенко директора заводов, инженеры, рабочие.

Попадались уже разгрузочные площадки. Заводы прибывали к месту назначения. Оборудование складывали тут же, под откосом полотна, и потом с окриками: «Эй взяли, еще раз взяли», тащили в сараи, наспех построенные из бревен, теса и ветвей хвои. Рубились леса, по глубоким супробам прокладывали дороги и тащили лес к месту стройки. Пусть не по нормам, но строительство шло. Горели леса и поляны огнями автогенной сварки, горели костры, возле которых жались рабочие и тут же варили пищу. Прокладывали новые линии передач, подтягивая поближе электрическую энергию. В тылах люди сражались с упорством и жертвенностью солдат.

На коротких остановках Дубенко, проваливаясь в снег, бежал к этим новостройкам. Он предъявлял документы и спрашивал, спрашивал: как строят? Какие трудности? Как они выходят из положения с материалами, как закладывают фундаменты в мерзлом грунте, как идет сборка станков, как с энергией, с отоплением, откуда могут поступить материалы для выпуска продукции? Связи были нарушены, нужно было создавать новые, и это волновало Дубенко.

— Построю, построю, — бормотал про себя Богдан, — не хуже других...—

Ему хотелось скорее добраться до места и развернуть работу этими, невиданными еще в истории строительства темпами.

Закипало сердце соревнователя, и это ему помогало — инженеру-строителю. Два месяца от Украины до Урала, от разрушения до восстановления! Эти два месяца мучили его и стояли в мозгу, как серьезное предупреждение, как испытание.

Прозвенел под вагоном мост через реку, лежавшую уже под тонким ледком. Огнями встретила станция — место встречи с Рамоданом.

На станции они пошли в агитпункт. Там толпился народ. Агитпункт не мог вместить всех желающих. Все с эшелонов бежали сюда. На лицах многих какое-то ожидание не-то неожиданной радости, не-то еще большей тревоги. На всех станциях люди спрыгивали и бежали в агитпункты: узнать новости. Над толпой поднимался пар — все хотели протиснуться внутрь. Два политика вынесли табуреты и в двух местах на перроне начали громко читать.

— О чем они? — спросил Дубенко.

— Доклад товарища Сталина, — ответил, не оборачиваясь, красноармеец в ватнике и черных обмотках. Он почти лег на спину впереди стоявшего человека и внимательно слушал, подняв уши шапки.

— А теперь речь товарища Сталина на Красной площади, — сказал тот же красноармеец, оборачиваясь к Дубенко. Его лицо сияло довольной улыбкой. Он весело сказал: все в порядке! Слышал: «Мы победим. Все немецкие захватчики, пробравшиеся на нашу территорию в качестве ее оккупантов, должны быть уничтожены до единого...»

Никогда, может быть, так не слушал народ. Сейчас решалась судьба родины, судьба семей, судьба завоеваний, купленных исполинским трудом. Решалась судьба каждого человека — жить или не жить. Смерть или победа! И здесь, в глубоких тылах, только так понимали новое испытание, возложенное на плечи народа.

В Москве, на мавзолее бессмертного Ильича, стоял спокойный человек в ши-

нели воина и говорил на всю страну, на весь мир свои простые слова, от которых закипало сердце, поднимался дух, становилось легче дышать. Великая правда сияла над миром, реяло знамя грядущей победы...

— Еле-еле тебя разыскали, — Рамадан крепко пожал руку Дубенко, — кабы не был ты таким грязным и заснеженным, расцеловался бы.

— Рамадан! — обрадованно воскликнул Дубенко, — вторая радость за сегодня... Слышал?

— Еще по радио слышал. Настроение сразу поднялось, Богдане. Ты прямо не поверишь, посмотрел бы на наших хохлов: стали целоваться, обниматься. Куда кручина ушла, Богдане!

— Тургаев где?

— Ты что-то сразу принялся по-деловому, по-директорски. Пойдем помоешься, поешь, что бог послал, может быть, и стопку найдем ради такого праздника, а потом все пойдет по-другому.

— Тургаев где? — снова переспросил Дубенко.

— Да там уже. На новом месте. Двести сорок вагонов разгрузили, сейчас мои сто пятьдесят кончают. Тяжеленько пришлось, если бы не пособили местные люди, просто караул кричи...

— Надо пойти в управление дороги, — предложил Дубенко, — как только эшелоны начнут прибывать, так чтобы их без задержки посылали к месту. Надо спешить — сроки знаешь?

— Звонил же по телефону. Знаю... Значит, прямо в управление? А людей ты не пугаешь? Погляди на себя в зеркальце.

Дубенко взял из рук Рамадана круглое зеркальце и увидел совершенно чужое лицо: намерзшие брови и ресницы, запавшие щеки, покрытые густой щетиной; начинающей уже распускаться в натуральную бороду, усы, торчавшие, как у ежика, ввалившиеся глаза.

— В самом деле, свинство полное, — сказал Дубенко, — просто неприлично. А все же в управление пойдем, Рамадан.

В управлении дороги их немедленно принял заместитель начальника дороги,

молодой человек с тремя звездочками на черных петлицах гимнастерки. Он молча выслушал Дубенко, посмотрел на него своими черными, измученными от бессонницы глазами и просто сказал:

— Ваши эшелоны я обязуюсь сам протолкнуть немедленно к месту, товарищ Дубенко. Мы сейчас работаем по фронтовому.

— Спасибо, — поблагодарил Дубенко, шедший в управление с некоторым предубеждением. Но из короткого разговора в этом теплом кабинете, таком теплом, что Дубенко даже разморило, он понял, что железнодорожники тоже солдаты и готовы всячески помочь ему.

— Благодарить не за что, — сказал зам. начальника дороги и приподнялся, — делаем одно дело. Надо разбить Гитлера. Читали сегодня?

— Ну, как же!

— Вот это все...

Он улыбнулся хорошей улыбкой, пожал им руки, и вскоре его голос, иногда запальчивый, иногда убеждающий, услышали все диспетчеры дороги. Эшелоны авиазавода должны были идти без задержки.

## ГЛАВА XXV

Очередной эшелон должен был притти к вечеру. Ночью поступали еще три. Отсюда их переотправляли уже по горнозаводской линии в предуралье. Рамадан повел Дубенко в комнаты для приезжающих Наркомата угля. Рамадан встретил здесь знакомых по Донбассу, и они приютили его. Дубенко ходил в баню, поужинал, наконец, за настоящим столом, накрытым скатертью. Девушка, подававшая ужин, неожиданно оказалась женой крупного командира. Она тоже эвакуировалась, тоже с Украины, и работала здесь в столовой. После бесконечных мытарств по поездкам, в метели и непогоды, все казалось настолько неожиданно приветливым, родным, что Дубенко чувствовал, как быстро восстанавливаются его физические и духовные силы. Здесь все было по-настоящему, тыл жил уверенно и чисто, и люди, попадавшие на места, попадали как бы домой. И вот, наконец, он мог лечь на холодные чистые

простыни, укрыться одеялом и вытянуть свободно ноги. Дубенко прикрыл глаза, сладкая истома смертельно уставшего человека разлилась по его телу, и он заснул.

Утром он проснулся рано. Рамадан спал, уткнувшись носом в подушку, охватив ее руками. Одеяло сползло. Дубенко постоял над приятелем — «будить или не будить?» — уж очень сладко спал Рамадан. Решил разбудить. День приносил свои заботы. Нужно было договориться в обкоме партии, договориться с Угрюмовым — уполномоченным Государственного Комитета Оборона по их заводу. Рамадан проснулся после короткого окрика, посмотрел на Дубенко, улыбнулся и, быстро спустив ноги с кровати, спросил: «Не проспал, Богдане? Ты бы меня сразу же растолкал. Что-то я тоже немного того... приустал...»

Дорогой в обком выяснилось, что Рамадан первый раз за трое суток по-человечески отдохнул. Секретарь обкома был занят размещением танкового крупного завода. Из отрывочных телефонных звонков секретаря Дубенко стало ясно, что он действительно попал в богатый край, располагающий колоссальными возможностями. Пожалуй, завод попал на настоящее место.

Оставив Рамадана в обкоме, Дубенко отправился к Угрюмову. Навстречу вошедшему в кабинет Дубенко из-за стола приподнялся плотный человек в серой коверкотовой гимнастерке.

— Ожидаем вас уже несколько дней, — сказал Угрюмов, пожимая руку Дубенко, — я уже послал по линии запрос-розыск. Может, думаю, приболел где-либо в пути.

— Все обошлось благополучно, товарищ Угрюмов. Приехал вчера вечером — сегодня думаю двигаться дальше.

— Мы это все сейчас решим, может быть, поедем вместе. Кажется, не совсем ретиво ваши устраиваются. Хотя теперь приехал сам хозяин, — Угрюмов с какой-то испытующей хитринкой посмотрел на Богдана своими серыми мягкими глазами.

Дубенко также смотрел на собеседника. Ему понравился его облик. Широ-

кое мужественное красивое лицо, густые темные волосы, чуть-чуть волнистые, коротко подстриженные усики, широкие плечи. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Угрюмов коренной уралец, чем очень гордится, родился в семье шахтера, сам работал на шахте, но после перешел на партийную работу, окончил Индустриальный институт, одно время работал на Кубани. Наряду с особенностями уральского характера он приобрел черты, свойственные кубанцу, — казачью хитринку, которая не мешает, если в меру. Дальнейшие судьбы предприятия зависели во многом от этого человека, и потому Дубенко тщательно взвешивал его качества, деловые и личные. В свою очередь и Угрюмову тоже небезынтересно было знать нового человека. Как водится, вначале поговорили на темы, не имеющие прямого отношения к заводу.

— Ну, а теперь приступим к непосредственному делу, Богдан Петрович, — сказал Угрюмов, — я ознакомился с состоянием вашего завода. Если верить предварительным данным, вы сумели почти все вывезти.

— Вывезли все, конечно, исключая стационарные агрегаты, — Дубенко хотелось тоже назвать Угрюмова по имени, но он не знал как и с некоторой досадой пожурил себя в душе. — Я мог бы подробно рассказать вам о моих планах восстановления завода, но пока я не прибыл на место, не познакомился с обстановкой, пожалуй, это будет излишне. Кстати, сейчас не такое время, чтобы расписывать словами. Откровенно говоря, меня сейчас беспокоят три вопроса: монтаж оборудования и стройка сборочных цехов, так как, насколько мне известно, на нашей новой площадке нет зданий, в которых можно было бы собирать самолеты, и третье — номенклатурное снабжение. В начале войны я прилетел на Урал, вас тогда не было, вы были в Москве... — Он говорил горячо, и это, очевидно, понравилось Угрюмову. Наблюдая собеседника, Угрюмов давал ему свою собственную оценку: «Пойдет, пойдет парень на уральской почве». Потом говорил Угрюмов. Богдан поразился его большой осведом-

ленности. Угрюмов знал характеристику основных кадров, вывезенных из Украины, знал даже некоторые биографические подробности и деловые качества инженеров, мастеров. «Конечно, он уже детально поговорил с наркомом», — подумал Дубенко.

Богдан видел, что завод попадал в хозяйские руки. А хозяйство было большое. Огромный край, от тайги до плодородных равнин, край качественной металлургии, прокатных заводов, химии, соли, угля, нефти, судоходных рек, прекрасной древесины, край золота и драгоценных камней. Угрюмов, очевидно, понимая состояние своего собеседника, пытался еще более укрпить в его сердце любовь к этому благодатному краю. Он говорил о прошлом этих мест, о славной истории, о радостях и горе, мельком сказал, что ему пришлось оборонять эти места от колчаковцев, а потом заниматься стройкой, организацией края.

Угрюмов подвел Дубенку к карте. Широким жестом он указывал районы разных богатств, которые только недавно подняты на службу стране. «Они должны спасти родину, — сказал Угрюмов, — мы откроем все закрома земли».

— Мне нужен алюминий, — сказал осторожно Дубенко.

— На Урале имеется алюминий. Уральские бокситы вы знаете. Но для выплавки алюминия нужно чрезвычайно много энергии. Мы развивали ее в соответствии со своими потребностями, с некоторым, конечно, запасом, но этого недостаточно. Мы поднимаем добычу угля, нефти. Энергию съедает наша коренная, уральская танковая, оружейная, мостостроительная промышленность... Короче говоря, я неожиданно начал приbedняться, Богдан Петрович, — он остановился перед Дубенко, пытливо посматривая ему в глаза, — я думаю сейчас над заменителями. Надо ломать устаревшие понятия. Идет война — надо давать оружие любыми средствами. Мы не можем остановить выпуск самолетов из-за того, что вдруг у нас не окажется под рукой какого-то нужного материала.

— Имейте в виду, товарищ Угрю-

мов, — сказал Дубенко, — во всем мире о качестве материалов для самолетных конструкций преобладают полуфабрикаты из легких сплавов. Употребляется, конечно, и сталь — но как материал для деталей соединений и сильно нагруженных деталей, примерно, ланжеронов, моторных рам...

— Простите, что я вас перебеью, — заметил Угрюмов, — вы говорите о легких сплавах. Конечно, они обладают неплохими технологическими качествами, но у них есть один недостаток.

— Недостаток? — улыбаясь, спросил Дубенко.

— Да, — подтвердил Угрюмов, — они очень дорого стоят! Правильно я говорю?

— Безусловно.

— Теперь о заменителях. Я слышал, что для конструкции одного из наших истребителей, прекрасно действующего сейчас на фронте, применили дерево.

— Да. Есть такой истребитель.

— Очевидно, нагрузки на истребитель несколько меньше, чем на тяжелые машины. Теперь меня интересует ваше мнение: может ли дерево применяться для тяжелых самолетов? Какова практика?

— В Америке на ряде заводов мне пришлось видеть опытные самолеты, в конструкции которых применено дерево. Примерно, четырехмоторный Де-Хавилленд «Альбатрос», весом более пяти тонн, сделан из дерева. Но надо заметить, что дерево не обладает свойством так называемой изотропности, то-есть постоянством механических качеств во всех направлениях приложения нагрузки, даже не обладает изотропностью в определенном направлении...

— Каков отсюда вывод?

— Увеличение однородности механических качеств, — сказал Дубенко. — Дерево улучшили, склеивая тонкие листы при помощи вакелита, поливинилацетата и других клеев. Но для всего этого требуется выбрать определенные участки леса для заготовки авиадревесины.

— Мы заготавливаем не один миллион фустметров древесины, и это капля в океане наших возможностей, — по-

хвалялся Угрюмов, — наши леса тянутся на десять тысяч километров к востоку, на восемьсот к северу, да, примерно, на шестьсот к западу. Это вам не степи!

— А транспорт! Рекой нельзя сплавлять, потеряем качество. Конечно, я человек степной и не представляю всех ваших возможностей.

— Вот именно. — Угрюмов помолчал, что-то соображая, и потом несколько нерешительно предложил: — А если мы на месте заготовим вам полуфабрикат? На месте будем разматывать дерево на пластины, клеить под давлением и привезти вам готовый брус.

— Но, вероятно, это чрезвычайно трудно! — воскликнул Дубенко.

— Имейте в виду, вы работаете отныне с уральцами, а они очень своеобразны. Они мало обещают, но много делают.

Угрюмов позвонил, в кабинет зашел пожилой человек в защитной рубашке и почтительно остановился в дверях.

— Андрей Андреевич, — сказал Угрюмов, — сегодня в пять тридцать прикажите прицепить мой вагон к поезду № 10.

Андрей Андреевич вышел, мягко прикрыв за собой дверь.

— Поедем ближе к «деревянному алюминию» и вообще к лесу, — Угрюмов с улыбкой поглядел на Дубенко, — начнем работать. Кстати, примем меры к быстрой разгрузке эшелонов. Разгрузка первых ваших эшелонов отняла все же много времени. Итак, Богдан Петрович, в пять двадцать жду у вагона.

Дубенко ушел. Он слышал, как в соседней комнате по телефону переговаривались с районом добычи нефти. Оттуда требовали цистерн — добыча увеличилась, и нефть не успевали вывезти на крекинг-заводы в Башкирию. На лестнице он увидел двух человек, обнявшихся и постукивавших друг друга по спине. «Привет искателю алмазов!» — воскликнул человек в шляпе. — «Не счастье алмазов в каменных пещерах!» Второй, в меховых унтах, ушанке и шубе, пробасил: «Ах ты, химия, химия, сугубая химия».

У исполкома стояло несколько новых «зисов». Позади машин, в садике, запыленном снегом, стояла витрина с сообщением Советского Информбюро, написанным от руки крупными буквами. Люди останавливались возле, читали и шли дальше. Издалека, с равными промежутками, стреляли тяжелые орудия. Очевидно, стреляли на заводском полигоне.

Встреча с Рамоданом должна была состояться в общежитии в два часа. Сейчас было немногим больше часа. Дубенко зашел на телеграф и дал, в который уже раз, телеграмму на Кубань. Связь с матерью и сыном была потеряна. Это беспокоило Богдана.

## ГЛАВА XXVI

Салон-вагон был прицеплен к хвосту, поэтому его сильно раскачивало. Два электровоза тащили более ста вагонов порожняка пятидесятитонных «хопперов» и американских полувагонов. Дубенко стоял у окна рядом с Угрюмовым и, не отрываясь, смотрел на зимний пейзаж, пробегавший мимо. Горы, пологие, уральские, обмытые тысячелетиями, и между ними лога, а в них замерзшие речушки, кое-где тронутые проталинами. Из деревьев — кедров, похожий на сосну, но более кустистый, ели, много березы. Березы стояли прямые и белые. Они сейчас оголены, но стоит только этому горному лесу зазеленеть! Угрюмов искоса посматривал на Дубенко. Он уловил восхищение на лице спутника.

— Вот почему удивляются характеру уральца, — сказал Угрюмов, — что спокойный-он, не склонен к быстрому раздражению, немного упрям, но преисполнен собственного достоинства. Вот отгадка характера уральца, Богдан Петрович. А какие горы! Мальчишки носят на лыжах с этих гор, как хотят. Приезжие спрашивают — почему уральцы такие бесстрашные и выносливые? Крепкие люди получают среди этой природы и смелые духом. А сколько здесь всего — под нашими ногами! Жемчужная земля. Руки еще до всего не дошли.



Поезд пробежал мимо новых копров, поставленных недалеко от железной дороги, в долине, за небольшим лесным загривком из ели и кедрача. Рядом свежесрубленные дома, черными слегами отмечены огороды, отвоеванные у тайги.

— Шахты? — произнес Дубенко, показывая на копры.

— Вот ковырнули здесь и нашли уголь. Ближко железная дорога — почему не заложить шахту. А поселок, вероятно, из переселенцев. Сколько деревьев! Здесь деревья очень много. А вот на юге дело другое. Там каждому деревцу рады. Помню, работал я на партийной работе в Шахтах. Гольный поселок. Решил устроить озеленение. Подобрали со специалистами такое дерево, которое не боится копоты и газов, — серебристый тополь. Развивается в тех местах хорошо. Четыре тысячи деревьев посадили. После приезжал туда, сидят шахтеры под тополями, и не хочется им отсюда никуда. А когда в Ейске работал, построил дамбу на лимане. Когда начали строить, казаки руками замахали: «Суворов хотел строить — не получилось». Отвечаю я им: «Ну, Суворову, видно, было не до этого. Если бы Суворов захотел, построил бы непременно. А мы тоже попробуем». Попробовали и построили...

Справа поднялось яркое пламя и черные космы дыма. Река, сдавленная скалами, поднимала шар. В реку спускали теплые воды грэса и коксохимического завода, огни которого и виднелись справа.

Поезд остановился на станции. Печи коксохима горели прямо перед глазами Дубенко. Он вспомнил свой далекий, родной город.

В вагон заходили какие-то люди. С ними говорил Угрюмов. Стране был нужен уголь, промышленности — энергия. Угрюмов произвел примерный расчет дополнительно необходимой энергии для нового самолетостроительного завода. Богдан слышал, как взмолился директор грэса, упирая на зашлаковку котлов, на частые аварии. Угрюмов резонно заметил ему, что все нужно предусмо-

треть, а за аварии ответит прежде всего не промышленность, которой нужна энергия, а сам директор станции.

Пока поезд стоял, Угрюмов сходил на грэс и вернулся оттуда запыленный, с пепельными бровями. Часа три они сидели в салоне с директором грэса и главным инженером. Шелкали счетами, чертили, записывали. Дубенко заснул в своем маленьком купе и проснулся, когда сильно звякнули буфера и кто-то прошелся по крыше вагона. Они прибыли к месту назначения. Раздвинув занавеску, Дубенко увидел неказистое здание вокзала, деревянные постройки управления и политотдела.

Угрюмов спал. Дубенко умылся и вышел из вагона. Вагон стоял в тупике, недалеко от багажного пакгауза. Возле вагона стоял человек в заплатанном легком комбинезоне и разматывал с катушки белый телефонный провод. На крыше тоже кто-то работал, наращивая электрическую проводку от основной токонесущей магистрали. Работала девушка — тоже в комбинезоне и синем берете, ухарски сдвинутом набекрень. Дубенко мельком провел глазами по девушке, она сидела к нему спиной и что-то напевала. Монтеры подводили электропроводку и телефон к их вагону, вероятно, Угрюмов решил задержаться на этой станции.

— Здравствуйте, Богдан Петрович, — сказал человек, разматывающий проводку, — не узнали?

— Трофименко! — Дубенко потряс ему руку, — снова вместе. Ты, кажется, ехал с Рамоданом?

— Да, Богдан Петрович. С ним...

Трофименко — один из тех двадцати пяти. Он устанавливал на заводе перед отъездом проводку для взрыва. Он шел тогда вместе с Дубенко по скользкой тропке, намыленной дождем, между осенними дубками. Трофименко стоял сейчас перед Дубенко с карманзами, набитыми обрезками провода, изоляционной лентой, шурупчиками, с плоскогубцами в руках. Дубенко говорил с Трофименко, как с родным. Потом они замолчали и вместе смотрели на город, раскиданный по взгорью, на черные ряды неказистых шахтерских домиков.

В воздухе носилась копоть. Копоть опустилась на снег, на крыши, на лица людей. В заречье прошла шахтерская смеяна, оставляя на свежем снегу елочку черных следов.

— Тургаев здесь? — спросил Дубенко.

— На заводе. Он и послал нас сюда. Тут даже монтеров не оказалось на станции...

— Ну, это ты уж врешь, Трофименко.

— Это вру, — согласился Трофименко с улыбкой, — монтеров послали на шахту, на прорыв. Гнилой ток ночью дали шахтам, малой частоты, что-то с моторами. Мы вот с Витькой сюда прикантовали, — он покричал: — Витька, слезай, ведь все кончила.

— Слезая, — сказала девушка и легко спрыгнула в сугроб.

Тут только Дубенко узнал девушку. Это была Виктория! Она остановилась недалеко от него и кивнула головой.

— Здравствуйте, — несколько смущенно сказал Дубенко и протянул руку.

— Грязная, — сказала она, помахиывая рукой, — выпачкаю.

— Знакомые? — спросил Трофименко.

— Еще бы не знакомые, — ответил Дубенко, — из одного дома!

— Вот как, — хмыкнул Трофименко, — а Витька ничего не говорила, откуда пристала к нам, кажись, в Арзамасе. В Арзамасе, Витька?

— В Арзамасе, — спокойно сказала Виктория и задорно улыбнулась.

Трофименко отправился проверить свет и телефон. Дубенко подошел к Виктории.

— Какие странные случайности бывают в наше время, Виктория.

Она посмотрела на него внимательно и добро.

— Да... В Арзамасе проходил ваш завод, а мы задерживались. Я попросилась к вам, и меня взял Тургаев.

— Вон как.

— Вы с женой? — спросила Виктория.

— Да.

— Здесь? — она указала глазами на вагон.

— Она приедет сегодня с эшелонам.

— Я прошу вас, Богдан Петрович, совершенно не задумываться ни над чем. Есть монтер Витька и все. Идет Трофименко...

— Все в порядке — освещение и связь налажены, Богдан Петрович, — сказал Трофименко довольным голосом, — а то и в самом деле, на стоянке можно все аккумуляторы сожрать. Ну, пойдем, Витька.

На пригорке, сворачивая в снежную траншею, прорытую над низкими домами, Виктория обернулась, сверкнули ее зубы.

Дубенко вошел в вагон с некоторым смущением. Соединился с Тургаевым. Ему ответил обрадованный голос. Тургаев обещал немедленно приехать на станцию. Из купе вышел Угрюмов, очевидно, услышавший конец разговора.

— Пусть остается на месте, — сказал Угрюмов, — поезжайте лучше вы к нему. Сейчас Колчанов вызовет лошадь.

Колчанов, или — как его в шутку называл Угрюмов — «чиновник для особых поручений», угловатый человек лет тридцати, вошел, поправляя дешевый галстук на синей рубашке. Короткий чубчик ежиком, глубоко запавшие глаза, мясистые щеки.

— Лошадь сейчас будет, — сказал он.

— Не сейчас, а минут через сорок, — поправил его Угрюмов и, присев к столу, снял трубку, соединился с управлением дороги. Оттуда ответили, что два эшелона прошли сюда с вечера. Присили обеспечить немедленную разгрузку, чтобы не «зашивать» станцию, а порожняк подать для перевозки угля, чугуна и бронепроката.

— Так и начнем действовать, — Угрюмов прошелся по салону. — Колчанов, вели подавать чай, а потом займемся делами. Тут дельный секретарь горкома Кунгурцев. Ростом, правда, маловат, может, и не понравится вам, потомкам запорожцев, но как руководитель — талант. Как ты думаешь, Колчанов, сумеет Кунгурцев поднять несколько тысяч народа на разгрузку?

— Не знаю, Иван Михайлович.

— Ну, ты, конечно, не знаешь, потому что Кунгурцева впервые увидишь, а мне он известный, как-никак земляк. Я его вот таким клопом помню...

Легкие санки-кошевка мчались по закопченной дороге, протянутой петлисто через два угорья. Складный гривастый жеребчик, брызгая пеной, донес Дубенко до оранжевых корпусов законсервированной фабрики, которая должна была вместить их завод. Здесь Дубенко был уже однажды, когда по заданию Москвы выбирал площадку для дублирования. Никак не предполагал он тогда, что им в самом деле придется переезжаться сюда. Обогащенная фабрика представляла собой три огромных недостроенных корпуса без крыш, окон и дверей. Рядом протянулась железно-дорожная ветка, связывающая основную транспортную магистраль с десятком мелких шахт, заложенных по склону лесистой гряды.

Жеребчик остановился во дворе, заваленном станками, прутковым материалом, калориферами, ящиками с ценным оборудованием. На всем лежал пушистый слой снега. Группа рабочих растаскивала станки при помощи валков и тросов. Дубенко прошелся по двору. Тургаев он нашел в небольшой комнатке, наслех приколочённой к кирпичной стене. Это было заводоуправление. Машинистка, закутанная в шаль и обутая в меховые пимы, подкладывала уголь в накалившуюся печку. Тургаев сидел за кухонным столом, обложенный чертежами, поковками, рядом с ним находился Данилин. Оба они были одеты в ватные спецовки, в валенки, в меховые шапки и шарфы, которые они не снимали, несмотря на раскаленную печь.

Тургаев и Данилин бросились навстречу Дубенко. Это смягчило сердце Богдана. Ему все казалось, что он попал к людям, которые за все это время не проявили распорядительности: не смогли принять со двора станков, не привели в порядок ни одного цеха. Но нет! Эти лица, истомленные, исхудавшие, говорили о труде. Дубенко пожал им руки.

— Показывайте, что находзяйничали, — сказал он, расстегивая шубу, — что-то не совсем у вас, по-моему, ладно.

— Не совсем, — согласился Тургаев.

Они вошли в здание, высотой примерно в восемь этажей. Как огромные соски, сверху свисали железобетонные бункера. Под ногами снег, заваливший битый кирпич, обледенелые бревна, с натыканными в них скобами и гвоздями. Крыши не было, окон тоже, гулял сквозной ветер. Над стенами висели перекрытия, похожие на театральные балконы. Таких балконов было семь. Они также связаны из железобетона.

— Подняться наверх можно? — спросил Дубенко.

— Нет. Нужно делать лестницы.

— Делаете?

— Пока нет. Мы сейчас заняты восстановлением корпуса № 1.

— Пойдемте туда.

В корпусе № 1 кончили заделку крыши. Вверху трудились люди, кажущиеся отсюда букашками. Они везали брусья — перекрытия. Раскачивались люльки, привязанные к фермам канагами. Никакая строительная техника не предусматривала именно такой работы, но люди делали крышу, может быть, некрасивую, горбатую, но совершенно необходимую. В цехе уже стояли и крутились станки, обтачивались и фрезеровались детали. У конторок, построенных, как ларьки торговцев, сидели инструментальщицы — раздатчицы, браковщицы, технологи. Тут же заливали фундаменты, подтаскивали станки и устанавливали их. Дубенко окликал, радушно здоровались, расспрашивали, как идут очередные эшелоны. Богдан узнавал в плотниках, арматурщиках, бетонщиках инженеров, техников, чертежниц конструкторского бюро, лаборанток. Работал единый, дружный коллектив. Женщины-домохозяйки отдирали ржавчину со станков, руки, засученные по локоть, были красны от холода и вымазаны в грязи и керосине.

Тургаев привел Дубенко в склад готовой продукции. Стеллажи из промерзшего теса были завалены готовыми изделиями. И над всем носился химический привкус угля — горели чу-

гунные печи, отлитые в собственной, кустарной пока, литейной.

Дубенко подобрел, но все же чувство неудовлетворенности не оставляло его. Конечно, пока не прибыли последние эшелоны, трудно было предъявлять бдльшие требования. Богдан понял, что для выполнения задания правительства к сроку нужно развернуть широкий фронт работ. Никакой очередности. Завод должен монтироваться сразу весь. Основная ошибка Тургаева заключалась в том, что он много внимания уделил только одному механическому цеху. Задача наладить полный производственный цикл была далека от выполнения.

— Сколько у вас используется людей? — спросил Дубенко.

— Примерно пятьдесят процентов, — ответил Тургаев, — остальным просто нечего делать, не подошло время. Ведь пока не накроем крыши, нельзя устанавливать оборудование, пока не установим оборудование, нельзя думать об электрической подводке, паротрубопроводах и тому подобное.

— Где не занятые люди?

— Они в поселке, Богдан Петрович.

— Созвать их всех на вокзал к приходу эшелонов, — тоном приказания сказал Дубенко, — всех... даже женщин, у которых нет детей. Хотя можно и тех, у кого дети. Я договорюсь сегодня с местными организациями, ребят нужно устроить в детсадах, пока не закончим монтажа завода и строительства сборочных цехов.

— Очень трудно двинуть всех, — заметил Данилин, — ну, куда их всех трогать. Будут болтаться без дела... Ладу мы им не дадим.

— Надо лад дать всем, — строго остановил его Дубенко.

— Вот расчет строительства сборочного цеха.

— Покажите.

Они сидели в конторке. Тургаев несколько обиженно вынул проект строительства. Поперечный разрез был сделан на полотняной кальке, остальное — на хорошей александрийской бумаге.

Дубенко просмотрел изометрический эскиз, пожал плечами.

— Площадь застройки двадцать пять тысяч девятьсот двадцать квадратов?

— Да.

— Кубатура?

— Двести одиннадцать тысяч.

— Размахнулись, Алексей Федорович.

— Вы думаете?

— Точно уверен.

Дубенко еще раз рассмотрел проект. Огромные количества вставали перед ним. Он прикидывал потребность транспорта для перевозки всех этих гор строительных материалов. Тысяча вагонов щебня, восемьсот песка, тысяча двести шлака, сорок тысяч вагонов кирпича, семьсот пятьдесят леса круглого и пиленого.

Дубенко поднял глаза на Тургаева.

— Вашим словом определить... загнули, Алексей Федорович.

— Нет.

— Представьте себе сорок тысяч вагонов кирпича. Для чего столько кирпича?

— Для печей. Натопить такую махи-ну.

— Кирпич отменяем, — сказал Дубенко, — можно и не топить, дело идет к весне...

— Зима только началась, — перебил его Данилин.

— Раз началась, значит, скоро кончится. В крайнем случае поставим паровое отопление. Калориферы у нас есть, трубы также.

— Котельная не справится, — возразил Тургаев.

— Перерассчитаем котельное хозяйство. Может, добавим котлов. Словом, кирпич надо отменить. Стекла тоже, тем более семнадцать тысяч квадратных метров. Отменим стеклянные фонари, хотя это нужно и даже красиво. Будем освещаться многоваттными лампами. Лес достанем рядом в тайге, о шлаке узнайте в паровозном депо, там, вероятно, много его в отвалах. Щебень нужно найти на месте. Пожалуй, тут есть камень, нужно поставить дробилки, и все будет в порядке. Дело нехитрое. Смолить столбы и узлы нужно. Смолу достанем на коксохиме, кстати, там ее выпускают в реку. А площадь вообще

нужно сократить. Вы даете, Алексей Федорович, большой запас. Ведь он будто бы отстал. Сократить. Тогда будет легче с перекрытиями и колоннами...

— Вы так, быстро, находу разломали весь проект, — укорил Данилин.

— Антон Фадевич, сейчас все делается находу и быстро. Война... Да... Нам не миновать прокладывать в тайгу узкоколейку. Здесь имеется даже насыпь, строители фабрики, вероятно, тоже интересовались лесом. Нужен расторопный транспортник. Как бы сказал Шевкоплас, резвый муж, чтобы достать рельсы, вагончики и хотя бы два мотовоза. В крайнем случае используем рудничные электровозы, пустим в тайгу небольшую электричку...

— Резвый муж есть, — сказал Тургаев с улыбкой.

— Кто?

— Белан.

— Вы с ума сошли, Алексей Федорович! Ни за что не поверю. Здесь Белан?

— Белан здесь и работает неплохо, — подтвердил Данилин, — видите, как вы можете ошибаться в людях.

— Странно. В самом деле, некрасивая история. Рамодан знает?

— Ну, как же.

— Позовите Белана сюда.

— К сожалению, его нет здесь. Он достает гвозди, поковки, олифу и толь для сборочного. Должен быть здесь денька через четыре, не раньше.

— Как все это странно. — сконфуженно произнес Дубенко и заторопился. — Вы поедете со мной, Алексей Федорович. Сегодня приступим к разгрузке оборудования. Эшелоны прибывают сегодня.

— Все шесть?

— Вероятно.

— Зашьемся с разгрузкой.

— Посмотрим. Хотя если по вашему методу — по одному вагону разгружать, действительно зашьемся. И кто вас подменил, Тургаев? Вероятно, вы, Антон Фадевич?

— Так всегда, — буркнул Данилин, — как начальство прикатит, так и то не по нем, и то не так.

— Не бурчите, Данилин, — ласково сказал Дубенко, — вы работали, а я бил баклуши, поэтому мне видней...

Кошевка летела с горки на горку. Дубенко насчитал три подъема и четыре спуска. От станции к заводу три километра. Вагоны нужно будет подавать на подъездный путь.

Угрюмов встретил его в своем обычном расположении духа. Возле него сидели представители местных организаций — секретарь горкома, председатель горисполкома, начальник отделения дороги. Дубенко познакомился со всеми и сейчас же изложил свой план разгрузки эшелонов. Угрюмов выслушал его внимательно, задал несколько вопросов, подумал.

— Сколько сегодня выйдет народу? — спросил он Кунгурцева, секретаря горкома партии, небольшого человека в черной гимнастерке, с умными глазами.

— Одиннадцать тысяч наметили. Но точно обещать не могу...

— Одиннадцать тысяч? — удивленно переспросил Дубенко, — слышите, Тургаев?

— Слышу, — Тургаев приподнял брови.

— наших выйдет тысячи две с половиной? — спросил Дубенко у Тургаева.

— Примерно около этого.

— Друг друга не подавят? — осторожно спросил Угрюмов.

— Надо создать фронт разгрузочных работ, — предложил Дубенко, — разбить на эстакады, к каждой эстакаде прикрепить определенных людей и дать соответствующий срок для разгрузки.

— Обсудите, как лучше и скорее, — предложил Угрюмов и, запахнувшись в пальто, ушел к себе.

— Нездоровится ему, — сказал Кунгурцев, — вероятно, грипп. Температуры...

— Пойдемте, решим у меня, — сказал начальник отделения дороги, — там все распланируем. Я позову своих.

— Только своих не зовите, — сказал Дубенко, — как пригласите специалистов, так все дело пропадет, имею опыт. **Надо на все смотреть свежими глазами**

и не бояться решать даже то, что кажется с первого взгляда абсурдом. Я наблюдал новостройки по пути в вашу область. Интересовался.

— В общем, направляемся выносить абсурдные решения,— съязвил Тургаев.

— Не придирайтесь к словам, Тургаев,— сказал Дубенко.

## ГЛАВА XXVII

К пяти часам вечера двести пятьдесят плотников и подмастерьев, присланных шахтоуправлениями, срубили на двух разгрузочных площадках двадцать восемь передвижных эстакад. Вязку бруса и досок закончили к шести часам при помощи подошедших рабочих завода. Таким образом, разгрузка составов должна была проходить одновременно в двух пунктах — на пятом запасном пути станции и на подъездном пути завода. Станция не была приспособлена для ведения крупных грузовых операций, и поэтому нужно было быстрее закончить разгрузку, чтобы не застопорить движение северных поездов с грузами для фронта и средней полосы России.

Эстакады, сделанные по длине вагона, с последовательным спуском, стояли у путей новенькие, желтые, пахучие. Плотники положили возле себя топоры и пилы и, закурив, смотрели на труды своих рук. Еще с утра, когда было получено задание, они считали его невыполнимым в такой срок, а теперь вот все сделано и неплохо. Начинался какой-то пересмотр человеческих возможностей. Это уже не было простым перевыполнением норм, это начиналось героичество. Но вряд ли плотники думали об этом. Махорочный дымок поднимался в воздух, глаза поблескивали от гордости за самих себя. Дубенко сказал им: «Молодцы, скоро справились». Они посмотрели на неизвестного начальника и ответили: «Такое всегда в срок сделаем». А ведь с утра они ничего не обещали, и Дубенко втайне негодовал тогда на этих спокойных, неторопливых людей. Вспомнил слова Угрюмова: «Уральцы мало обещают, но много делают».

Дубенко пришел к Угрюмову, сидевшему в комнате дежурного по отделению и спокойно проверяющему состояние участка дороги. Дежурный говорил по селликатору, и Угрюмов неторопливо спрашивал его и поправлял. Огромное движение грузов по горной однопутке требовало ясного оперативного руководства. У Ивана Михайловича болело горло, вероятно, к гриппу присоединилась ангина, и он тихо спросил у Дубенко о ходе подготовки к выгрузке. Дубенко выразил удовлетворение изготовлением эстакад, но боялся, что обещанные секретарем горкома одиннадцать тысяч человек не явятся. Угрюмов выслушал его, покачивая головой, потом поднял свои серые глаза и тихо произнес: «Кунгурцев обещал — сделает. Утром он был еще не совсем уверен и поэтому немного был сдержан, а сейчас он звонил мне. Люди подойдут через тридцать минут, точно к прибытию поезда. Шесть эшелонов подаются сюда двойниками. Здесь мы будем делить их и направлять одну половину к заводу, одну выгружать здесь».

В пять часов сорок пять минут к станции подошло семь тысяч горняков — мужчин и женщин и две тысячи заводских. Горняки притащили с собой листы котельного железа для перетаски оборудования волоком. В железе были пробиты дыры, в которые проде- ты крючья, цепи и тросы. Сотни три ребятишек, курносых и деловитых, пришли вместе с отцами и матерями, прихватив с собой санки на полозьях и на коньках. Людей распределили по эстакадам, установили очередность. Распоряжались со списками в руках парторги шахт и председатели шахткомов. Кунгурцев стоял на перроне рядом с Угрюмовым и тихонько, без излишней суеты, отдавал приказания.

Повалил липкий снег, быстро покрывший пушистым слоем рельсы и почерневшие за день крыши домов. Снег падал и падал. В ожидании поезда протянулась черная лента людей, рельефно выделяющаяся на белом фоне.

— Идет! — сказал кто-то.

— Идет.

Люди зашевелились, выступили вперед. Сколько поездов проходило здесь! Но обычно люди относились к ним без интереса — работала дорога, работали и они. Сегодня же они встречали гостей, которые должны будут надолго, а может быть, и навсегда, стать рядом с ними, плечо к плечу. Они должны были приютить людей и помочь пустить в ход механизмы. И то, и другое приближало час торжества, час победы.

— Идет!

Два мощных электровоза неслись по заснеженным рельсам. Изредка под ними вспыхивали электрические разряды. Электровозы проревели, как эсминцы, и вскоре темные их корпуса промчались мимо Богдана.

На платформах, возле шалашей из теса и толя, стояли люди. Двери теплушек открыты — видны женщины, раскаленные печки. Хвосты искр неслись и рассыпались по ветру. Вагоны покатились медленней, шахтеры подняли руки, приветствуя гостей. Тогда с эшелона замахали шапками и платками.

«Надо разыскать Валю и устроить в нашем вагоне, — подумал Дубенко, — истрадалась бедная».

Находу спрыгнул Рамадан с тормозной площадки, подошел, отряхиваясь от снега. Он шумно поздоровался с Дубенко, Угрюмовым.

— Дорога не подкачала, — сказал он, — все шесть на ходу.

— Это в наших возможностях, — спокойно заметил Угрюмов, — вот решили энский завод без очереди пропустить и пропустили...

Поезд остановился. Дубенко нашел Валю. Она стояла на платформе у автомобиля, закутанная в белый платок, в легком пальто, синих перчатках и поджидала его. Увидев Богдана, влезавшего по ступенькам, побежала к нему. Он увидел снова ее хорошее лицо, яркие от холода щеки, лукавые смеющиеся глаза.

— Опять я возле тебя, Богдан, — сказала она, — никак ты не уйдешь от меня.

— Валюнька, опять ты снова возле меня...

— Здесь мы будем жить? — спросила она неожиданно и устремила взгляд на

неясные очертания гор и огоньки домов.

— Здесь...

— Приехали, — сказала она грустно.

— Сейчас я тебя устрою в салон-вагоне.

— Ты шутишь, — сказала она, заглядывая ему в глаза.

— Нисколько.

— Тогда пойдем. Только захвати мой чемоданчик.

В салон-вагоне она остановилась в нерешительности. Ковры, электрический свет, уют, приветливая проводница, вышедшая навстречу, смутили ее. Валя взяла Богдана за руку и сказала:

— Не верится.

— Ты отвыкла, Валюнька.

— Отвыкла, — сказала она со вздохом, — мне казалось, я приеду в землянку.

— Располагайся. Вот здесь будет наше купе. Конечно, это временно, потом устроимся где-то в другом месте.

Она вошла в купе, разделась, присела и несколько секунд смотрела в одну точку. Потом, словно стряхнув какие-то нехорошие мысли, улыбнулась, прильнула к мужу.

— Ты останешься сейчас со мной?

— Нет. Я должен идти на разгрузку.

— Тогда и я иду с тобой. Да... Я должна тоже участвовать в разгрузке. Я обещала отцу... Кстати, где он?

Она снова набросила на себя пальто, быстро застегнула крючки, повязала платок.

— Иду, иду с тобой.

— Ну, что же, идем, если хочешь...

— Не обижайся, Богдан.

Состав разъединили. Половину вагонов отправили к заводу. Звонил Тургаев. На завод пришли четыре тысячи шахтеров и жителей города и полторы тысячи рабочих. Рамадан отправился на завод. Дубенко остался здесь. У эстакад в ожидании стояли трактора с прицепами, грузовики. Казалось, бестолково копошились люди, усыпавшие платформы, железнодорожные пути. Но каждый занимался своим делом. Вначале сгрузили разную мелочь, сложенную между оборудованием: чушки металла, бунты проволоки и тросов, кабель, ящики с инструментом, с деталями задела, с по-

луфабрикатами. Вот когдагодились детские санки. Спрягаясь по-двое, по-трое, ребяташки дружно тронулись к заводу. Станки ставили на железные листы, шахтеры плевали на ладони, брались за цепи и тросы и тащили поклажу в гору. Каждый станок тащили тридцать-сорок человек. Привезли бочку с мазутными отходами, на вернули на палки паклю и тряпки и зажгли факелы. Багрово-черные огни вспыхивали один за другим, пока на всем протяжении не легла пунктирная линия факелов. Вскоре непрерывный поток людей, тракторов, грузовиков потек к заводу. Это было красиво и трогательное зрелище.

— Помогают, — сказал спокойно Угрюмов, подойдя к Дубенко, — наши помогают — уральцы...

— И украинцы, — поправил Дубенко.

— И украинцы, — согласился Угрюмов, — ведь чорту рога могут свернуть такие люди. Люблю людей, когда дружные... когда вместе...

Он стоял, подняв воротник пальто, надвинув глубоко на брови шапку, наружно невозмутимый и кряжистый. Он смотрел на дорогу факелов, так ярко вспыхнувшую в суровых уральских горах. К нему подходили шахтеры, перекидывались словами, и в обращении их чувствовалось уважение к нему.

— Здорово факелы придумали, — сказал он Богдану, — прямо скажу, здорово. Может, в них и толку-то мало, только коптят, а красиво и торжественно.

Угрюмов отвернул воротник пальто, поднял и завязал меховые уши шапки.

— Помогают по-настоящему, — сказал Богдану отец, — ребяташки тоже. Им бы уже спать полагается, ан нет. Смотри, какую кутерьму подняли. Из-за чего думаешь? Каждый хочет везти, а везти уже почти нечего.

— Так выходит, что не строгановщина, отец?

— Ну, слепой сказал, побачим, — отшутился старик, — с первого гляда никогда человека не узнаешь. Скажу одно, кабы не леса да горы, ну, прямо, наш Донбасс. Тут вот станцию какую-

то проезжали — ей-богу, похожа на Краматорку... чудеса.

— Ночевать будем в салон-вагоне, отец.

— Не пойду. Я уж со своими ребятами, вон в том домишке. Видишь, на горе. Там уже и воду греют, помыться надо.

— Ну, как хочешь, отец.

— Ясно, как хочу, сын. От наших ничего не пришло?

— Ничего.

— А как с Ростовом?

— Не слышно.

— На товарища Сталина надежда, — убежденно сказал отец, — тут в эшелон попали его доклады. Зачитали так, что от дыхания бумажка разлезлась.

Всю ночь Дубенко провозился с разгрузкой. Когда все платформы были очищены, он проехал на том же резвом жеребчике на завод. Двор был умят ногами, заставлен оборудованием, ящиками, завален материалами. Тургаев поставил часовых, и они расхаживали с дробовиками в руках. Горело много костров. Варили картошку, кипятили воду, грелись. От завода к городу уходили шахтеры. Скоро загудят гудки, и им нужно будет спускаться под землю.

Тургаев пил чай из консервной банки. В руках у него грязный кусок сахара. Рядом с ним сидел сильно исхудавший предзавком Крушинский — у него остались только большие карие глаза. На столе и на двух сдвинутых вместе лавках приготовлены постели, сделанные из тулупов и плоских подушек с почерневшими наволочками. Тургаев и Крушинский приветливо встретили Дубенко, предложили чаю. Тургаев допил свой чай, всполоснул банку и налил Богдану. Тот с удовольствием прихлебывал, кусал сахар. Все казалось необыкновенно вкусным. От усталости ломило спину и горели подошвы ног. Обсудили завтрашний день. Эшелоны прибывали в десять и двенадцать часов.

## ГЛАВА XXVIII

Серое небо сливалось с горами. Снег проносился мимо окон вагона и завихрялся у пакгаузов, где сгружали продо-



вольствие. Рабочие шагали из вагонов в пакгауз и обратно медленно и ритмично, как заправские профессиональные грузчики, умеющие беречь силы.

Угрюмов сидел у себя в купе, у него болело горло. Он выпил теплого молока с медом, отставил стакан, искоса посмотрел в окно. Ничего не было видно, кроме снега и ворон. У телефона сидел Колчанов.

— Позвонить еще надо на Андреевский завод, — тихо приказывал Угрюмов, наблюдая за рукой помощника, записывающего поручения, — под личную ответственность директора изготовить и отгрузить для Дубенко тридцать вагонок узкой колеи...

— Скаты?

— Скаты получить из старых запасов Тагильского завода. Разрешить использовать товарищу Дубенко четыре паровоза-кукушки, эвакуированные из Донбасса и находящиеся сейчас в ведении заведующего шахтой «Капитальная».

— Рельсы?

— Ты стал умный, Колчанов, — Угрюмов дружелюбно усмехнулся, — оперед бабки в пекло лезешь, как говорят украинцы, записывай: рельсы металлургического завода № 112, в количестве согласно утвержденного мной проекта. Кажется все по транспорту?

— Дубенко просил напомнить о своевременной отгрузке авиационных моторов и вооружения, — осторожно сказал Колчанов.

— Но он, кажется, напоминал об этом при мне?

— Да.

— Я помню... Дай-ка мне еще стакан молока и, пожалуй, я могу выйти посмотреть, как сегодня идет разгрузка.

— Молока я сейчас принесу, но поглядеть придется другому.

— Кому это другому?

— Мне.

— Нельзя еще выходить, ты думаешь?

— Нельзя.

— Ладно, не выйду...

Он подошел к окну, приподнял выше занавеску. Санитарный поезд привез раненых. Угрюмов видел подвесные койки внутри вагона, лица раненых, поильнув-

ших к стеклу, сестру со шприцем в руках. Угрюмов отошел от окна и сел на диване. У него на фронте сын — и вид раненых вызывал тревожные мысли. Колчанов принес молоко, подал Угрюмову.

— Теперь, вероятно, Иван Михайлович, в леса не поедет? — спросил он.

— Почему ты так решил?

— С металлом благополучно, поступает готовый алюминий...

— В леса поедет, Колчанов. Запиши еще одно поручение — сегодня ночью прицепить вагон к северному поезду. Надо найти «деревянный алюминий».

— Дубенко с нами?

— Дубенко оставим. Ему здесь работы хватит, Колчанов. И не стой надо мной, работай...

Колчанов присел у телефона. В окно стучала снежная крупа. Глухо кричали электровозы. Появился осыпанный снегом Дубенко. Он отряхнул валенки в коридоре, сбросил ватник и вошел в салон.

— Как? — вопросительно подняв брови, спросил Угрюмов.

— Кончаем, Иван Михайлович.

— Сколько работает?

— Семнадцать тысяч ваших...

— А с вашими? — он сделал нарочитое ударение на последнем слове.

— Двадцать тысяч девятьсот, не считая монтажной группы.

— Нравится?

— Неплохо бы закрепить, — Дубенко потер ладони, посмотрел на Угрюмова, улыбаясь, — мигом бы справились.

— А уголек кто будет давать? Самолеты хорошо, но уголек тоже неплохо... Короче говоря, завтра все субботники и воскресники от вас уходят. Обойдетесь своими силами. Нужно справиться...

— А то, что я просил?

— Транспорт, моторы, вооружение?

— Примерно, Иван Михайлович.

— Записано и исполняется... Как вам понравился Кунгурцев?

— Мне понравился.

— С ним придется работать вместе — всегда поможет. Кстати, ты, Колчанов, нас не слушай, а продолжай выполнять приказание...

Дубенко присел на диван рядом с Угрюмовым.

— Меня спросил однажды один человек: «Почему ты всегда спокоен, волосы у тебя причесаны, спишь нормально и ешь во-время. И даже, как правило, через день бреешься?» А почему бы не так? — ответил я ему, — самое главное подобрать людей, дать им возможность поверить в свои силы, укрепить их. Очень важно, чтобы твои помощники взяли правильный тон. А раз взяли, с тона не сбивай, сохраняй инициативу и не дави их личное достоинство. Если его подавить, то он теряет волю, мямлей делается, или начнет без меры кричать и нервничать. Сам всего дела не обоймешь, будь хоть семи пядей во лбу...

— Судя по всему, это имеет отношение ко мне, Иван Михайлович? — спросил Дубенко, перебирая в памяти свое поведение на новом месте.

— Немножко, Богдан Петрович. Вы безусловно энергичный человек, но со всем справиться не сумеете. Вот у вас имеется заместитель, инженер Тургаев, замечательный, по-моему, товарищ... Не ошибаюсь?

— Нет.

— Можно за него поручиться?

— Можно.

— А вот вы его начинаете подавлять. Говорят, человек был без вас решительный, распорядительный, волевой, а вы прибыли и он завял.

— Заметили?

— Заметил.

— Ну, и глаз у вас, Иван Михайлович, — удивился Дубенко, — но Тургаев не так, как надо, развернул монтажные работы.

— Понятно. Дайте ему курс, подтолкните, и пусть работает. Если его больше интересует конструкторская работа, выстройте ему опытный цех, я, как уполномоченный Государственного Комитета Обороны, разрешу — и пусть строит новую машину.

— После окончательного монтажа, пожалуй, это можно будет сделать.

— Вот сегодня вы зря волновались с разгрузкой, — продолжал Угрюмов. —

Занялся этим Кунгурцев и пусть занимается. А вы сами на платформы бросались, станки тащили и, кажется, в словах не стеснялись.

— Не стеснялся, — признался Дубенко, — кого-то из своих инженеров здорово почистил... Через него «Сип» — точнейший станок — чуть не перекинули.

— Горячность, оставшаяся, очевидно, от Запорожской Сечи, — Угрюмов улыбнулся. — На нашем морозе горячкой не возьмешь — все равно остудит. Ну, это все между прочим... Говорим по-товарищески... делимся опытом работы, Богдан Петрович. Еще одно дело... Кто такой Белан?

— Вы узнали про Белана? — удивленно воскликнул Дубенко.

— Да что про него узнавать, — почесывая затылок, сказал Угрюмов, — прогнали вы его, накричали...

— Немного не так...

— Все пустяки. Конечно, каждый больше прав перед самим собой, чем перед другими. Но то, что Белан с таким трудом и мытарствами дополз сюда и именно на свой завод, много говорит в его пользу. Сейчас он сидит у меня в купе. По-моему, его надо будет использовать и прежде всего — на транспорте. Поручите ему через две недели сдать узкоколейку, со всеми сооружениями и подвижным составом...

— Восемь километров дороги? Не сделает...

— Сделаю...

Дубенко и Угрюмов обернулись. В дверях салона стоял Белан, крепко сжав в кулаке ушанку. Черные кудри его рассыпались, глаза горели.

— Сделаю, — повторил он, шагнув вперед и обращаясь к Дубенко.

— Во-первых, здравствуйте, товарищ Белан, — сказал Дубенко и протянул руку. Тот крепко потряс ее. — Во вторых, нехорошо жаловаться начальству.

— Я не жаловался, Богдан Петрович, — вскричал Белан, — я пришел проситься на работу по специальности, — он улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы.

Угрюмов с деловым любопытством наблюдал эту сцену.

— Вы с Рамоданом говорили? — спросил Дубенко Белана.

— Рамодан не возражает, Богдан Петрович!

— Через две недели узкоколейка будет сдана?

— Будьте уверены...

— Согласен, товарищ Белан.

— Будьте уверены, Богдан Петрович. Я заверну на все сто. Спасибо, товарищ Угрюмов.

— Ну, я здесь при чем? — пожал плечами Угрюмов. — Ему можно уйти? — обратился он к Дубенко.

— Да.

— До свидания, товарищ Белан.

Белан бросил на свои кудри шапку, взбил пятерней чуб и, по-военному повернувшись на каблуках, исчез.

— Мне приходилось видеть много людей, — сказал задумчиво Угрюмов, — к Белану я отнесся с предубеждением. Но он, разбойник, мне понравился!

Колчанов, все время звонивший по телефону, доложил о выполнении приказа. Против каждого задания были поставлены количество материалов, сроки поставок, цены. Угрюмов взял бумажку, полузакрыв глаза, прочел ее.

— Дай ручку, — попросил он Колчанова.

Подписав бумажку, передал ее Дубенко.

— Здесь то, что вас волновало, Богдан Петрович. Только на хозяев нажимайте. У нас уральцы — разбойники, не любят с добром расставаться... Я говорю насчет рельсов и паровозов. На них Белана направьте!

— Его Шевкопляс называл резвым мужем, — заметил Дубенко.

— А кто такой Шевкопляс?

— Мой бывший начальник, директор завода.

— Что же, не справился? Сняли?

— На фронте он сейчас. Командует полком.

— Полком? Как его имя? Иван Иванович?

— Угадали.

— Угадать не трудно. Вы, вероятно, давно не читали газет. Ваш Иван Ива-

нович Шевкопляс теперь герой Советского Союза. Понятно, а? Ну-ка, Колчанов, принеси газетку, у меня на столе. Там, кажется, и физиономия его увековечена. Немцы и румыны называют его полк — полком «Черной смерти». В газете его расписали.

Колчанов принес газету, и Дубенко смотрел на лицо Шевкопляса, на улыбающиеся помолодевшие глаза, беленькую полоску воротничка кителя, орден «Красного Знамени» на груди. Он работает на штурмовых машинах, сделанных на их заводе. Машины «Черная смерть». Шевкопляс! Он делом развеивает миф о непобедимости германского оружия.

— Таким парням нужно подавать самолеты, Дубенко! Как вы думаете? — сказал Угрюмов.

— Нужно делать, товарищ Угрюмов!

— Ну, что же, за дело. Восьмого декабря я приеду на торжество выпуска первого самолета «Черная смерть».

— Приезжайте, Иван Михайлович.

— Кончит Белан дорогу, посылайте людей в леса. Используйте дерево, не брезгуйте уральским лесом, он тоже может здорово помочь разгрому фашистов.

## ГЛАВА XXIX

— Валюшка! Почему при каждой тряске нашего быта выплывают одни и те же аксессуары: печка-буржуйка, трут и огниво, гороховый суп, консервная банка вместо чашки, коптилка вместо керосиновой лампы? — Дубенко подбросил совок угля в печку, в комнате распространился характерный запах коксующего угля.

— Ты забыл упомянуть стеганые ватники, Богдан, — смеясь, сказала Валя, — помоги мне отодрать эту спецовку.

Она поерзала плечами, освобождаясь от куртки, потом протянула ноги, и Богдан снял с нее ютовые сапоги. Валя стояла посредине комнаты с распущенными волосами, с обожженными морозом щеками, в ватных брюках.

— Какая ты неуклюжая, девочка, — засмеялся Богдан.

— Чур не смеяться, — погрозила пальцем Валя.

И вот они сидят за дощатым столом, накрытым беленькой скатерткой с вышитыми петухами, и пьют чай из закопченного чайника. Сахар — в прикуску. На заводе имеется запас сахара, еще привезенного с Украины, но решено пить чай в прикуску. Вчера Кунгурцев привез пряников местного производства. Пряники твердые, как камень, а от мяты холодно во рту. Валя опускает пряник в стакан, размачивает и затем кусает, сморщившись от усилия.

— А все же ты со мной, — болтает Валя, — со мной. Когда мы были на Украине, ты был дальше от меня. Я тебя никогда не видела дома, а теперь я тебя вижу каждый день и даже могу наблюдать за работой. А то я никогда не видела, как ты работаешь. Да... Богдан... Я однажды услышала... ты ругаешься... Я никогда не думала, что ты можешь так...

— Да, это было, — смущенно говорит Богдан, — потом я стал сдерживаться. Но как ты могла слышать? Это со мной случается, когда поблизости не бывает женщин... Хотя, кто вас теперь отличит. Помню, я долго разбирался, увидев Викторину, парень или девушка. Вот только по волосам да по берету.

— Виктория очаровательная, — сказала Валя, — я работаю с ней рядом. Мы смоделили столбы для сборочного, а потом дробили камень. Она такая нежная на вид, но сильная. Ведь она электрик, но почему-то работает на черной, на нашей работе.

— Ах ты моя чернорабочая девочка! — А меня любят рабочие, — сказала Валя, — я им пришлась по душе. Знаешь, как они меня называют? Валя Дубок. А вот Виктория, она однажды мне интересную вещь сказала...

— Виктория сказала тебе? — Дубенко несколько смутился, но Валя не обратила на это внимания.

— Она спросила меня: что я делаю, чтобы нравиться тебе. Видишь, она меня считает не такой уж красивой для тебя и, вероятно, не такой уж умной...

— Что ты ей ответила?

— Ничего. А что я могу ответить? Я сама не знаю... Я сама не знаю, за что ты меня любишь, Богдан.

— Просто по какому-то недоразумению, Валюшка.

— Вероятно. Так ты говоришь, встретил свою знакомую с зелеными глазами и покатыми плечами?

— Она работает здесь в театре.

— Я тогда не спросила тебя, каким образом ты вдруг очутился в театре. Самое главное — без меня.

— Ну, театр сейчас не театр, Валюшка, — оправдывающимся голосом сказал Богдан, — там мы поместили детей. Нужно было посмотреть, что и как. Как устроились, и вот я наткнулся на нее. Она похудела, конечно...

— Но попржему интересная?

— Ну, как сказать... ничего.

— Ты меня познакомишь с ней, и тогда я определю сама, опасная она для меня или нет. Чего доброго, ты меня и разлюбишь. Она, наверное, не такая замарашка, как твоя жена. Ну, что за женщина в ватной стеганке, в валенках. Одно недоразумение, конечно.

— Я тебя такой люблю, Валюша.

Она быстро поцеловала его в щеку.

— Ой, какой колючий. Бриться, бриться. Я сейчас приготавливаю воды, кисть. Как жаль, ты бросил свой несесер, там были хорошие пилочки для ногтей. А то и мне приходится ходить с таким маникюром, — она растопырила пальцы, покачала головой, — директорша называется!

Они жили при заводе, в доме для инженерно-технического персонала. Конечно, это мало походило на дом с таким назначением, привычно-представляемым, как прекрасное многоэтажное здание с хорошими квартирами и всеми удобствами.

Недостроенный гараж, на пятьдесят автомашин, был приспособлен под жилье командиров-монтажников. Сделали полы, окна, двери, крышу, нагородили клетушек, поставили чугунные печи, гнутые трубы вывели в окна. Приземистое здание, сильно занесенное снегом, было похоже на таракана, перевернувшегося на спину. Это общежитие так и называли «таракан».

Работали уже неделю после отъезда Угрюмова. Рамодан любил вспомнить митинг, собранный ими на заводе. Ко-

гда ушли шахтеры и жители города, поговавшие им, когда последние черные спины потерялись в куруве снежной пыли, на сверлильный станок поднялся Дубенко и сказал:

— Прибыли на место. Нам помогли люди города, но у них своя работа. Мы должны теперь все делать своими руками... Мы все теперь строители, и монтажники тоже строители. Немцы ведут наступление, фронту очень тяжело, мы должны помочь фронту. Государственный Комитет Обороны дал срок — месяц на восстановление завода. Мы должны выдержать этот срок, какого бы напряжения это ни стоило. Все мобилизованы на восстановление завода, и каждый отлынивающий дезертир и предатель!

Митинг продолжался всего десять минут. Все поняли директора и приступили к работе. Восемь тысяч четыреста человек надели грубые рукавицы, взяли в руки кайлы, топоры, пилы, молотки, дрели...

Развернутый фронт работ! Этого-то и добивался Дубенко. Когда схватывался фундамент очередного станка, к нему подходил рабочий и станок начинал вертеться. Рабочий выходил из списков монтажной группы и должен был давать продукцию. Месяц — короткий срок. Нельзя было мешкать со сборкой самолетов, поэтому нужно было создавать заделы. Уральские заводы начали подвозить металл, полуфабрикаты. Чувствовалась заботливая рука Угрюмова. Он ежедневно по телефону требовал рапорта о состоянии работ, но и сам работал, давал советы, помогал.

С гор слетали обжигающие ветры, бешено крутился снег, ветер срывал людей с крыш огромных и неуклюжих корпусов. Стране нужны были самолеты, и все было брошено на это. Стране нужны были танки — и на одном из уральских крупнейших вагоно-строительных заводов ставилось нужное оборудование. На Урал пришли сотни заводов. Взрывались скалы, валился лес. Люди спали в палатках и выдолбленных в мерзлой земле ямах. Урал расцвел огнями бесчисленных костров. Задымленные и черные люди клали фун-

даменты и стены, натягивали бревенчатые крыши, подводили ток, и крутились, крутились станки. В сказочно-короткие сроки вырастали новые заводы. Невероятное напряжение выдерживал народ. Беззаветно храбро, с редчайшей благородной самоотверженностью трудилась гвардия тыла!

...Огромные бункерные ковши задерживали монтаж. Бункера решили взорвать. Подрывники — многие из них работали на взрыве своего завода — заложили заряды тротила.

— Готово, — доложил Трофименко, зачистив контакты.

Из корпуса вывели людей. Дубенко снял шапку, потер сразу же схваченные морозом руки.

— Дело знакомое, — сказал Рамодан.

— Знакомое.

Люди ожидали во дворе, приготовив тачки, лопаты, кайлы.

Дубенко соединил контакты. Здание содрогнулось от взрыва. Бетонная пыль и мелкие камни летели вверх.

— Надо было бы постепенно, очередями, — сказал кто-то рядом, — как бы здание не разломали...

Бункера рухнули вниз. Гора камня и скрюченной арматуры лежала на земле. Дубенко поднялся на эту гору, осмотрелся. Над ним где-то вверх проходили густые облака. Высокие стены, рухнувшая сердцевина здания и облачный купол — как купол огромного храма.

— Удачно, — сказал он Рамодану, — по правде сказать, я боялся. А теперь вот выпустим здесь порталные краны. крышу поставим. Здесь будут цеха крыльев, фюзеляжей, капотов и оперения. Товарищ Тургаев, начинайте выброску мусора.

— Срок? — спросил Тургаев.

— Одни сутки.

— Хорошо.

Тургаев уже научился произносить слово «хорошо» по-уральски, с характерным округлением каждого «о».

### ГЛАВА XXX

«Восьмой день огромного напряжения, — записал Дубенко в своей тетрадке проверки заданий. — Но нужно

работать и работать. Я замечаю степень напряжения по своей Вале. Она приходит с работы все утомленной и утомленной. Она сваливается на кровать и иногда засыпает одетой. Приходится раздевать ее. Я прошу ее отдохнуть, переждать день, другой, но она говорит: «Я буду тосковать без дела. А потом, если я буду работать, я помогу скорее всем окончить войну. Тогда мы соединимся с нашими».

Последнее время наши все больше и больше волнуют меня. Ничего не слышно. Кунгурцев помог с узкоколейкой. Белан развернулся во-всю, я начинаю уважать этого энергичного человека, однако я ему отпустил слишком мало людей. Но кто-то надоумил Кунгурцева и он прислал на стройку узкоколейки триста человек — парнишек и молоденьких девушек, они работают старательно, горячо. Я проехал сегодня к ним в тайгу и обещал поставить их к станкам после пуска завода. Пока мы тащим лес по рокадной дороге. Строительство цеха окончательной сборки идет, но плохо. Леса нужно огромное количество. Сейчас рубят ель, березу и кедр, разделяют, подвозят к трассе по ледяным дорогам. Снег все глубже и глубже. Уже по пояс. Какие здесь снега! Карьеры камня под боком, мы берем его с каменного петушка над берегом речки. Туда уже протянуто два километра дороги, и мы, не дожидаясь окончания работы, пустили участок. Спешим! Спешим! Я боюсь одного, чтобы наши усилия не отстали от фронта. Кажется, из тетради проверки заданий получился дневник. Недаром кто-то сказал, что во времена общественных и семейных трагедий люди обращаются к бумаге...

Сегодня к нам в «хижину» ввалился Романченоч. Он принес двух глухарей и маленькую белочку. Белку ободрал отец, он хочет сделать из ее меха варежки Вале, а глухарей мы зажарим на вертеле.

Романченоч, которого местные жители почему-то путают с Рамоданом, вероятно из-за сходства фамилий, организует расчистку поля под аэродром. Он своевременно вспомнил об этом.

Здесь всюду горы, холмы. Негде посадить машины, негде испытывать. Мы поехали с Романченком на санях, выбрали место. Нужно выкорчевать и вывезти гектаров двадцать леса. Новая забота. Как корчевать? Посоветовался с местными людьми. Покачали головами и сказали: «Нужно ждать весны». Поехал на шахту, побеседовал. Предложим лес рубить и потом взрывать коряги динамитом. Обещали помочь. Они должны помочь. Аэродром нужен и городу. Ведь здесь не садился еще ни один самолет».

#### «Десятый день!»

Сегодня люди получили только по тарелке супа и каши. Продовольствие у нас имеется. Почему-то не сумели приготовить. Сильно повздорил с Крушинским. На него возложена работа по обеспечению питанием. В городе срочно кончают макаронную фабрику, пустили мельницу и наладили крупорушку. Все из эвакуированного оборудования. Строим вторую кухню, лудим котлы. Рамодан нашел в городе десять женщин-домохозяек, изъявивших желание готовить пищу. Колхозники привезли мясо. Мерзлые туши коров и овец сложили под навесом и накрыли брезентом. Часовой уверял, что ночью подходили волки. Вероятно, это выла метель.

Отец устанавливает пресса. Он сумел не только вывезти, но и сохранить в пути все прессовое хозяйство завода. Мы здесь продолжим нашу работу по упрощению технологического процесса. Штамповка и штамповка! Получение штампов даже больших габаритов, с плоскостными участками и с поверхностями двойной и сложной кривизны. Я не могу помириться с тысячами деталей, необходимых для машины. Надо их сокращать. Вообще приходится бороться за поточно-конвейерную сборку агрегатов и машин, чтобы и сейчас, в условиях труднейших, соблюдать «геометрию»: изделия в процессе производства должны двигаться по прямым, не совершая возвратных движений.

Площади ущемлены настолько, что всякая неразбериха в потоке может создать такие «водовороты» и «омуты», что закрутит и затянет на дно все сло-

ва о темпах, жертвах, о трудовом фронте. Нужно видеть все вперед — с учетом настоящей безостановочной работы.

Кое-кто не верит в возможности здесь культурного производства и пытается навсегда закрепить этот первоначальный хаос «мироздания». Но задача, поставленная нам — серийный, увеличивающийся в количествах выпуск машиц — невыполнима кустарными способами. Культура должна быть и здесь, хотя кругом воют ветры, шумит тайга.

В моем кабинете стоит наш «Червоный прапор» — переходящее красное знамя, заработанное нашим заводом на Украине. Вчера пришли горняки, они работают в шахтах, эвакуированы из Донбасса. Все они прошли возле знамени, трогали его руками, читали дорогие слова. Они захватали края своими «угольными» руками. Пусть! Это следы благородных рук великой гвардии тыла. Знамя вернется на Украину. Мы с Урала будем бить по фашизму и победим. Но, черт возьми! Как дорога мне Украина, каким сладким сном кажется то прошлое. Как я вдвойне понимаю теперь Тимиша, он раньше меня узнал горечь потери и расставания. Я пишу ему ежедневно, но от него не получаю писем.

Угрюмов позвонил и требует не беднеться, а сделать завод, как завод. Завтра приходят котлы, недостающие нам калориферы, оборудование компрессорной и вооружение для самолетов.

Угрюмов широко развернул производство дельта-древесины. Сегодня звонили из наркомата и предложили работать над новой конструкцией самолета. «Деревянный алюминий» даст все тот же щедрый Урал. Угрюмов будет доволен. Тургаев возглавил конструкторское бюро, и я освобождаю его от стройки. Завертелось еще одно колесо. Завод начинает крутиться как следует. По-прежнему холодно, но скоро, скоро пустим теплую воду, задымит наша котельная, загудят компрессоры. Уже стеклим окна, меньше стало ветра в щелях. Люди иногда поднимают уши шапок...

Валя чувствует себя все хуже и хуже. Пришла Виктория и сделала мне

выговор, что я не обращаю внимания на свою жену. Она сказала мне, что нужно запретить Вале работать на непосильной работе. Надо ее жалеть. Виктория совершенная противоположность Лизе — женщине с зелеными глазами. Несмотря на расставание, довольно немаленькое, Лиза находит время видеть меня, хотя бы мельком. Ей наплевать на Валу, которая что-то подозревает. Напрасно. Единственное, в чем можно признаться — Лиза привлекает, к ней тянешься, как к ядовитому, красивому цветку.

Мы все грязны, заняты только работой, грубы. Даже жены инженеров, техников. Все одеты в ватные спецовки, валенки и пимы из шкур телят и собак».

### ГЛАВА XXXI

— Богдан, она опять приходила сюда, — сказала Валя, страдальчески искривив губы, — как-то стыдно, Богдан, смотреть на нее, в манто, в невозможной шляпке, которую сносит ветер. Наступит время, и мы оденемся, но сейчас я не могу помириться...

Валя присела на табурет и лениво стащила с себя куртку. Куртка упала на пол. Валя развязала тесемку, и волосы ее упали на плечи. Она тряхнула головой, прикусила губу и долго смотрела на глазок печки. Там играло белое пламя. Щеки Вали, побледневшие вначале, покраснели.

Богдан прикоснулся к ним губами, ощутил нежный пушок и хорошую кожу. Валя не шелохнулась. Когда же он попытался поцеловать ее губы, она отвернулась и покачала головой.

— Не надо. Я сейчас поем супу и, если ты разрешишь мне, я лягу. Хорошо?

— Валюшка, я сейчас приготовлю тебе постель, — сказал Богдан.

— Я скажу спасибо тебе, — Валя чуть-чуть улыбнулась.

Дубенко откинул одеяло, взбил кулаками подушки, предварительно сдунув с наволочек крупинки гари, поправил матрац. Ему хотелось угодить жене, сделать ей лучше, помочь. Но одновременно он чувствовал, что она в чем-то подозревает его.

— Неужели ты ревнуешь меня? — спросил Богдан.

— Нет.

— Но почему ты тогда говоришь о ней?

— Может быть, мера предосторожности. Может быть, какое-то подсознательное чувство. Я даже не могу тебе объяснить... Прости меня, Богдан, я не должна была тебе говорить этого, все глупо, беспочвенно и, вероятно, очень наивно, но я говорю...

Она вяло ела суп. Не докончив тарелки, отодвинула, намазала маслом хлеб, откусила кусочек, отложила и сказала:

— Ты разрешишь мне лечь?

— Ну, конечно, Валюша.

В кроватке она лежала, смотря перед собой, но, поймав взгляд мужа, позвала его, посадила рядом, погладила его шершавую руку.

— Ты еще пойдешь туда?

— Пойду. Какие-то неполадки в монтаже арматуры термических печей.

— Мне иногда хотелось бы называться не Валентиной, а... арматурой. — Она улыбнулась, пожала его руку. — Какая счастливая арматура, ей только бы и быть женщиной. Ну, иди, родной. Поцелуй меня на прощанье. Я засну, и завтра точно в срок буду на ногах. Я уже второй день режу стекло алмазом. Ни одного не испортила. Таким образом, я приобрела еще одну профессию — стекольщика. Сейчас я мучила тебя какими-то пустяками. Имя моей соперницы — Арматура. А что, ведь и в самом деле — новое женское имя!.. Я засыпаю... Поцелуй меня...

Богдан вышел из «таракана», и мороз сразу охватил его. Он запахнулся, отстегнул пояс и подпоясался поверх куртки.

Снег скрипел под ногами. Мороз усиливался. Моментально замерзли ресницы, брови. Он пробовал моргнуть, ресницы склеивались. Он потерял их пальцами. Но рука, вынутая из рукавицы, тоже замерзла. Вот поэтому так много костров. И огонь белый, и дым столбом, и искры гаснут на небольшой высоте. «Прихватывает, Богдан Петро-

вич», — сказал какой-то человек, проходя мимо него. Богдан не узнал этого человека, мороз изменил голос, говорить было трудно.

Возле стройки сборочного цеха лязгали тягачи гусеницами и постреливали глушители. Бело-голубым холодным пламенем заиграла сварка. Виднелись электросварщики — черные контуры фигур со щитками в руках. Дубенко подошел к корпусам. Они равномерно гудели. Дубенко приостановился и вслушался в этот ритмичный гул станков. Какая другая музыка могла так полонить его сердце? Ожили мертвые корпуса обогатительной фабрики, брошенной на загравке могучей тайги. Светились окна, везде вставлены стекла, накрыты крыши. Кровли сделаны из дерева. Белые снежные шапки на темных стенах.

Двери похожи на зашилеванные крестьянские ворота с сизыми петлями, откованными деревенскими кузнецами. Двери уже захватаны пальцами. В техническом отделе работали — на столах, на фанерных листах и просто держа чертежи на коленях. Электрические лампы висели на временной проводке. Пол из некрашенных досок еще разговаривал под ногами. К Дубенко подошел начальник технического отдела инженер Лавров и попросил закурить, хотя и знал, что директор не курит.

— Плохо с табачком? — спросил Дубенко.

— Плоховато, Богдан Петрович. Свой, что из дому привезли, уже кончили, а здесь одни еловые шишки.

— Вот так меня примерно встретил Трофименко, монтер, в первый день приезда. В земле много, а сверху одна еловая шишка. Ничего не родит, кавунов не знают...

— Против фактов не попрешь, — сказал Лавров, несколько смущенный замечанием директора, — но без курева совершенно падает работоспособность. Причем, когда на физической находились, ничего, как перешли на умственную, голова стала тугая.

— Табачку привезем, — пообещал Дубенко, — нельзя инженерам носить



тугую голову на плечах. Придется опять Угрюмова просить насчет табаку...

В складе листового и пруткового материала и труб порядок. Вывезенные с Украины материалы снова легли в стеллажи. В главном пролете, утрамбованном щебенкой, проложены рельсы для передвижки вручную тележки с материалом. Здесь было холодно и чем-то напоминало шахту.

Отсюда можно было попасть в заготовительно-прессовый цех, к отцу. Работали гидропресса по штамповке деталей больших габаритов. Штамп, длиной около четырех метров, изготовленный из суламина, получил одобрение отца.

— Ну, как, отец, выпустим в срок птичек? — спросил Богдан.

— За нами дело не станет, — ответил старик, — все, что спускают, отшлепываем. Поторопи со сборочными участками, Богдан. Там на агрегатах поставили каких-то девчонок. Натяпают-наляпают — не разберешь потом в столет.

— Теперь придется и на девчонок надеяться, отец.

— Хай тебе бог помога. Только врят...

— Что врят?

— Кабы их в пропорции давать, еще ничего, а то пошел слух, что пришлют нам тысячи, верно это?

— Почти верно.

— Ну, хай бог помогай, — отец взял сына за рукав, — от наших ничего?

— Нет.

— Может, зря их на Кубань сунули... Валюшка тоже беспокоится, Богдан. Днями ко мне заходила, минут пятнадцать побалакали. Что-то она с лица вроде худей прежнего.

— Показалось.

— Да, может быть, и показалось. Полезу опять на своего «атамана». Мы с Беланом на спор. Он завтра сдает свою железку, а я «атамана». Сдаст Белан?

— Пожалуй, сдаст.

— Ну, тогда мне не мешай.

Налаживалось большое хозяйство. Все принимало свои законные формы. Редко вспоминали дни тревог и сомнений.

Термические печи, взорванные на родине, были сделаны вновь за десять дней. Помогла привезенная полностью арматура, которую сейчас и монтировали. Дубенко около двух часов занимался проверкой монтажа, выпачкался в сажу и машинном масле и ушел удовлетворенный. Оживал еще один цех...

«Теперь я могу спокойно возвратиться к своей Валюшке, — облегченно подумал Богдан, выходя во двор, — Арматура не присушила моего сердца, как беспокоилась Валя».

Дубенко догнал Рамадан, почти при входе в «таракан».

— Прошу прощения, Богдане. Есть дело.

— Рамадан, уже четыре часа. Имею я право поспать немного?

— Дуже, не лайся... Надо нам вдвоем съездить к детишкам, что помещены в театре. Только-что прикатили оттуда. Напугали досмерти...

— Что с детьми?

— Подозрение на сыпной тиф.

— Еще чего нехватало, Рамадан!

— А я-то при чем. Может, и не тиф. Прикатила дамочка, что там за ними приглядывала. Артистка. И в одну душу, подайте ей Дубенко и только.

— Где она?

— В твоём кабинете.

— Надо ехать. Врача известил?

— Едет... Вывезли детишек с какого аду. И вдруг такая зараза... Неужели тиф? Сраму не оберешься одного.

— Кунгурцеву сообщили?

— А чего его беспокоить? Надо выяснить, а потом уже поднимать панику.

Дубенко ускорил шаги. Рамадан еле послеваля за ним. Взбежав на второй этаж, в свой кабинет, он увидел в кресле Лизу.

Лиза поднялась навстречу Дубенко, протянула руки и с выражением награнной мольбы произнесла:

— Умоляю вас, Богдан Петрович. Если подтвердится...

Она стояла перед ним хрупкая, надушенная, в черном платье, обрамленном дорогими кружевами. Платье оттеняло ее плечи, белую кожу, а гладко, на прямой пробор, зачесанные волосы

придавали ей какую-то естественную милую простоту.

Богдан подал ей шубу и поймал на себе ее недвусмысленный взгляд. Это как-то сразу отдалило его от нее. Она заметила свою оплошность и за всю дорогу не давала никаких поводов подозревать ее в чем-либо плохом. Дубенко отослал лошадь, на которой приехала Лиза, на конюшню, и они отправились на автомобиле. Когда машина ринулась в лог, Лиза вскрикнула и схватила руку Богдана. Он на секунду ощутил ее длинные пальцы, затянутые в кожаную перчатку. Но потом она быстро отдернула руку и подняла воротник.

Как и можно было ожидать, никакого тифа не оказалось. Доктор определил корь. Лиза извинялась, убеждала Рамадана, что она решила лучше ошибиться, чем допустить непоправимую ошибку и не принять мер. Ведь она ехала на лошади на завод, мерзла, нервничала.

— Очень хорошо, или добре, по-нашему, — умиротворенно произнес Рамадан. — Ладно, что не оказался и в самом деле сыпняк. И напрасно вы нервничаете.

Так получилось, что Дубенке пришлось завезти ее домой. У ворот небольшого деревянного домика, расположенного над обрывом, она задержала его, а потом пригласила зайти к себе. Дубенко зашел. Она быстро сварила кофе, подала конфеты и даже начатую пачку «Пети-фур». Все было неожиданно, по-довоенному. Синий огонек спиртовки, китайские крохотные чашечки, твердые салфетки с инициалами хозяйки. Дубенко просидел у нее полтора часа. Ему было приятно вдруг очутиться в ее обществе. Она не была назойлива, осторожно вспомнила юг, странный поцелуй на станции, у обрыва. Но здесь тоже обрыв и ее домик похож на ту железнодорожную станцию... Она сделала это сравнение как бы нечаянно и сразу перевела разговор на другую тему.

На прощанье он пожал ее узкую руку, ощутил кольца на пальцах и у дверей сделал произвольный жест, как будто рассчитанный для поцелуя. Она отклонилась и тихо сказала: «Не надо».

Шахтеры уже шли на работу, когда он возвращался домой. Богдан ругал себя, искоса посматривал на шофера, который был свидетелем его посещения женщины. Шофер был новый, из местных, и глупое чувство виноватости заставило Дубенко сказать ему несколько комплиментов, хотя вел машину он откровенно, переводил скорости неумело, рвал сцепление. Шофер принял похвалу, вероятно, как насмешку, не ответил ему и нахмурился.

Богдан на цыпочках вошел в комнату. Какой неказистой показалась она ему после уютного жилища Лизы. Не зажигая света, он лег в кровать. Валя лежала с открытыми глазами. Она наблюдала за ним.

— Я был на заводе, — сказал он.

— У Арматуры?

— У Арматуры, — повторил он и виновато улыбнулся.

— Она надушила тебя такими духами. Ты же знаешь, что сейчас нигде нельзя достать духов, кроме как у... Арматуры.

— Валя... ты не подумай ничего..

— Ах... Богдан... зачем эти оправдания. Только очень и очень обидно. Кажется, мне пора уже на работу.

— Можешь не ходить. Я договорился с доктором: он придет к тебе, выпишет бюллетень.

— Не нужно...

Она умылась, тщательно вычистила зубы, выпила стакан холодного молока с куском черного хлеба и ушла. Богдан еще немного полежал, заснуть не мог. Оделся и отправился на завод. По пути его встретил Белан. Он сиял. Его чуб, выпущенный из-под шапки, посеребрился от инея. Белан ночью закончил узкоколейку. Задание было выполнено на два дня раньше срока. Усталый и измученный, Дубенко сел в холодный вагончик и доехал в тайгу.

## ГЛАВА XXXII

Он возвращался из больницы один, пешком, пустынными улицами города, по «траншеям», пробитым в снегу, мимо черных безмолвных домишек. Тоска охватила его. Вот только сейчас он остро понял, что для него означает

Валя — жена, чуткий человек и благородный товарищ. Она в больнице, страдает...

В руках его валял пиджачок, а на нем та памятная безделушка — «амулет счастья» — цветок с двумя матерчатymi лепестками, привезенный из Мексики. Под ногами скрипел снег, а он смотрел на эти два листика... Но они были мертвы. Надо держать сердце в руках, так рекомендовал Тимиш, но нет, хотелось облокотиться на забор и заплакать от душевной боли. Неужели он потерял Валю? Потерял в такое время, когда так нужен рядом близкий человек...

...Тогда он вернулся из лесу, где принимал дорогу, промерзший, усталый, но гордый новой победой. Вернулся во главе нескольких сотен человек, совершивших небывалый труд, вернулся, готовый к дальнейшей борьбе. Но, войдя в комнату, он, как показалось тогда ему, не нашел понимания. Она, всегда такая чуткая, не хотела разделить с ним его чувства. Лежала, отвернувшись к стене, и была равнодушна. «Что такое, Валя?» — спросил он погасшим голосом. Она ответила ему после пятиминутной паузы: «Вчера ты был у нее». «Валя! Пойми...» «Не оправдывайся, Богдан. Женщины, узнав о тифе, побежали к своим детям. Они сказали мне о тебе. Неужели нельзя было дождаться конца стройки...». Ее слова настолько возмутили его, что он ничего больше не сказал и ушел.

Теперь он понимал, что глупое мужское самолюбие не дало ему возможности найти пути к ее сердцу. Он был эгоистичен в своих чувствах и требовал, чтобы она была весела, когда ему радостно, грустна, когда ему печально.

Ночью он спал на стульях. Она смотрела на него, он отвернулся и заснул. Проснулся и снова увидел настороженный взгляд ее печальных глаз.

— Богдан, — сказала она, — не обижайся на меня. Мне очень плохо.

— Ладно, — грубо оборвал он.

— Мне плохо, — сказала она, — подойди, поцелуй меня.

Он встал и холодно прикоснулся к ее лбу.

Он отошел от нее и проспал уже без всяких снов. Днем у нее был доктор. А вечером пришли Виктория и Романченко в сопровождении летчиков, приехавших за материальной частью. Это были хорошие парни из-под Ленинграда. Один из них летал на Берлин, Кенигсберг и Мемель, второй сражался под Новгородом, Старой Руссой, Кингисеппом. Романченко был очень доволен тем, что увидел старых своих друзей. Валя лежала на кровати, смотрела на мужа, и была довольна, что он тоже развеселился, разошелся, запел одну из своих любимых песен: «Ой ще сонце не заходило». Но скоро ей стало плохо. Мертвенная бледность разлилась по ее лицу, губы посинели.

Богдан подскочил к ней и, встав на колени у кровати, взял ее руку. Он готов был все сделать, чтобы вернуть румянец на ее щеки, чтобы видеть ее прежней, но ей было плохо.

Летчики, поняв, что нужно уходить, надели «регланы» и ушли. Виктория и Романченко остались. Вскоре появился Тургаев, потом Крушинский.

— Сейчас будет скорая помощь, Богдан Петрович, — успокоил Крушинский.

— Не надо скорую помощь, — Валя отрицательно покачала головой.

— Распоряжаются старшие, — сказал Романченко.

Через полчаса у дома остановился автомобиль и в комнату вошли две женщины в белых халатах и врач заводской поликлиники. Они при помощи Виктории одели Валю.

— Носилки!

Богдан увидел брезентовые носилки с пятнами крови.

— Нет. Я не могу, — грубо сказал он, отбрасывая носилки.

Он взял ее на руки, и она благодарно обвила его шею руками.

— Ты отнесешь меня, Богдан?

— Да.

Он вынес ее на руках и не чувствовал ноши, согнувшись, вошел в автомобиль, сел на полу и так продержал ее, балансируя во время тряски, до самой больницы. Он держал в руках свое счастье, а сознание того, что он доставил ей страдания, прибавляло ему силы.

Когда автомобиль остановился, он вынес ее на занемевших руках, поднялся по ступенькам в холодный санпропускник при больнице. Пришла врач — женщина усталая и добрая.

— Все же придется положить ее на носилки, — сказала она, сочувственно смотря на Дубенко.

— Хорошо, — согласился он, — только скорее.

Валю переодели в фиолетовый старенький халатик и положили на носилки. Четыре заспанных девушки подняли ее. Когда Дубенко приник к губам жены и вздрогнули его плечи, девушки ствернулись.

— Приходи, Богдан.

— Буду, буду приходить, Валюша. Все будет хорошо... Не волнуйся.

Он сел на белую скамейку, снял шапку, пальто. Он не помнил, сколько просидел в полузабытье. Его тронула за плечо врач.

— Идите домой, товарищ Дубенко.

— Что с ней?

— Завтра скажем. Ее посмотрит профессор.

Санитарка, с родинкой на щеке, участливо поглядывая на Дубенко, переписала вещи пациентки, выдала ему рзсовую квитанцию. Он видел ее ловкие руки, заматывающие узел, мелькнули зеленые листики «амулета».

— Я возьму пиджачок, — попросил он неуверенным голосом, — можно?

— Возьмите. Только тогда я вычеркну его из квитанции.

И вот он ушел из больницы через те же ворота, которыми сюда ввезли ее. Низкое здание больницы, колонны, побеленные морозом гранитные львы. Он шел, одинокий, с пиджачком в руках... Зеленые листики, привезенные из горячей Мексики. Листики, напоминающие тот последний день в городе, грустное прощание с квартирой.

«Я буду с ней, — шептал он, — я снова буду с ней... Не может быть так жестока судьба...»

### ГЛАВА XXXIII

— Сегодня форсируем сборочный и начинаем аэродром, — сказал Рамадан Дубенко, — нам помогут горняки со

шпурами и взрывчаткой. Они взорвут все коряги.

— Хорошо, — согласился Дубенко безучастным голосом, — хорошо.

Рамадан присел на стул, поближе к Богдану.

— Ты что это, Богдане, такую кручину на себя напустил? Словно уже похоронил свою Вальку. Нельзя так...

— Можно, Рамадан.

— Нельзя, Богдане. Что же, думаешь, у других легче? Ты ковырни каждого из нас... Либо семьи нет, либо сынка убили, либо ранили, либо без вести пропал. Без потерь сейчас нельзя, война.

— Понимаю, Рамадан.

— Пойдешь со мной на аэродром?

— Пойду.

На месте будущего аэродрома кончали валить лес. Шуршали лучковые пилы в опытных руках пильщиков, со свистом падали ели, поднимая снежную пыль. Потом ветви шатались несколько времени и замирали. Подходили люди с топорами и разделявали туши деревьев. Отсюда бревна волочили трактором к сборочному цеху, который вырастал на глазах.

Кунгурцев стоял почти по пояс в снегу и курил папиросу. Он был в меховом жилете, на шею шарф. Рядом торчком стояли лыжи, широкие и длинные.

— Греюсь в снегу, — сказал он подошедшим Дубенко и Рамадану, — на лыжах стоять сподручней, но холодней. Прихватывает ноги.

Непонятная механика, — заметил Рамадан, — чудные вы люди.

— Вот сейчас чудные люди начнут кое-что показывать.

Горняки, приведенные Кунгурцевым, разошлись между зелеными кучками обрубленной хвои и свежими пнями. Снег сиял разноцветно и весело. На низком северном зените стояло солнце. Горняки заложили шпуры, и вскоре беловатые, запальные дымки поднялись всюду. Старшой что-то покричал, подрывники присели. Короткие и негромкие взрывы донеслись до них. Поднимались и падали конусы земли, снега и дыма. На месте желтых пней

чернели воронки, издалека похожие на воронки от бризантных снарядов. По проложенной лесорубами лыжне один за другим покатили Романченко и его приятели легчики, в собачьих унтах, каракулевых ушанках и грубых свитерах. Один из летчиков упал и долго выкарабкивался из снега, что-то озорно крича укатившим от него приятелям.

— Вот таким образом приготовим вам поле, — сказал Кунгурцев, бросая докуренную папироску, — воронки надо засыпать, утрамбовывать.

— Снег укатаем катками, — добавил Рамадан.

— Это уже ваше дело, — Кунгурцев положил лыжи на снег, ловко прыгнул на них, защелкнул крепление. — А кстати, товарищ Дубенко, Угрюмов вот-вот подъедет, обещал...

— Подходит наша очередь, — сказал Дубенко.

— Да, дни считанные, — Кунгурцев оттолкнулся с места, немного прыгнул и покатила.

— Видать, из комсомольцев, — с похвалой отозвался Рамадан, — как на лыжах чешет! А вот я никак не осилю эту премудрость. Вроде и простое дело, а сноровка нужна сызмальства. А ты не тужи, Богдане. Как это ты не можешь своих чувств сдерживать?

— Все думаю и думаю, Рамадан. Никак не могу избавиться от мыслей, — Дубенко решил поделиться с Рамаданом, — почему так, когда вместе, не ценишь, когда отдельно, такая тоска одолевает...

— Мне тоже бывает тяжело, Богдане. Верю тебе... Сам иногда вижу во сне и жену, и Кольку, и Петьку... Опять рвут!

Снова поднялись черные столбы, и рокочущий звук покатила над горами и тайгой.

Дома отец дал Богдану плитку шоколада для невестки. Старик посидел у входа, посмотрел на разбросанные вещи, необранную постель, убрал комнату, бурча что-то себе под нос. В это время Богдан приготовил для Вали передачу: кроме плитки шоколада, две белые булочки, что становилось здесь редкостью, кусочек сыру и одно яйцо.

Пришел Романченко и от имени своих приятелей передал две коробки витамина с глюкозой и коробку «драже-кола». Заглянула Виктория — перемыла посуду, забрала постирать пару белья, брошенную в углу, написала записку Вале. Уходя, она добрыми глазами посмотрела на Богдана, подала свою огрубевшую руку и сказала тихо: «Я очень желаю, чтобы поправилась Валя».

Больница. Богдан сбросил пальто в раздевалке и, не обращая внимания на крики дежурной, быстро вбежал по лестнице. Валя лежала, укрытая плехеньким одеяльцем. По лицу ее было видно, что она страдала. Богдан припал к ней, и снова тоска охватила его. Она тихо сказала:

— Как хорошо, что ты пришел.

Он смотрел на это дорогое лицо, освященное годами общих радостей и горестей. Она была бледна, на лбу поднимались морщинки. Силясь, она говорила:

— Не смотри так на меня... Скажи, как идет работа? Тебе нужно туда?

— Тебе плохо, Валя?

— Очень больно, очень. Я кричала утром. Мне холодно...

Из окна, возле которого она лежала, дуло. Голова ее упала с подушки, плоской, как лист.

Начинались какие-то процедуры. Богдана попросили выйти. Дубенко вышел в коридор. У стола писала женщина, повязавшая рот марлей. Заполняла графы истории болезни. «Валентина Дубенко» — прочитал Богдан.

— Вы разрешите мне посмотреть? — спросил он.

Женщина внимательно оглядела Богдана.

— Нельзя.

— Разрешите зайти в палату.

— Кажется, теперь уже можно.

Богдан снова опустился возле ее кровати. Женщины приподнялись и наблюдали его с любопытством людей, прикованных к постели.

Подошла сестра со шприцем в руке.

— Пора, — сказала она, — вы утмляете больную.

— Уходи, Богдан. Принеси мне носочки и туфли. Цел мой желтенький чемоданчик?

— Цел.

— Ничего не получили от наших?

— Нет.

— Весной я поеду к ним. Хорошо?

— Хорошо.

— Нельзя так долго ждать со стерильным шприцем, — проворчала сестра недружелюбно.

Утром Богдан позвонил в больницу. Сестра ответила: «Больная смеялась».

— Ура! — крикнул Дубенко.

На одиннадцать часов он созвал начальников всех работающих цехов. По некоторым узлам получалась некомплектность из-за неравномерного ввода в эксплуатацию станков. Нужно было перераспределить задания. Дубенко вызвал заведующего столовой и приказал приготовить для начальников цехов завтрак у себя в кабинете.

Из столовой принесли по чашке супа и по одному соленому огурцу. Когда инженеры пришли, Дубенко пригласил их к столу. Они быстро застучали ложками о железные чашки, взяли с собой по югурцу и, выслушав задание директора, ушли. Совещание вместе с завтраком отняло всего девятнадцать минут.

— У меня радость, Алексей Федорович, — сказал Дубенко, — большая радость.

— Это вы насчет стапельной сборки? Замечательно идет.

— Да... и это тоже... И другая есть радость: Валюшка смеялась.

— Вот оно что, — Тургаев приподнял брови, — очень приятно.

— Еще бы... Вчера я совсем было пал духом. Такие холодные губы, синие, в кулаке сжат платок, синие ногти. И вдруг... смеялась. Я проеду в лес. Вы знаете, что я придумал? В конце нашей узкоколейки, у реки, построить «Поселок белых коттеджей».

— Фантазия.

— Реальность, — Дубенко прошелся по кабинету, высокий, широкоплечий, с каким-то юношеским задорным блеском в глазах, — именно белых коттеджей. Обязательно домики выбе-

лить. Я видел в здешних краях поселки переселенцев с Украины и Кубани. Они принесли сюда запахи своей родины. Домики их побелены известкой снаружи и внутри. На фоне могучей уральской тайги это звучит, как музыка. Ей-богу! Я стоял на берегу ледяной реки, видел запорошенные снегом утесы, березы, стройные, как мачты, кедры. Если там срубить «белые коттеджи»? Представьте себе, мы уедем отсюда, пусть памятником будет наш труд.

— Мне нужны чертежные столы, тридцать штук, и не могу достать, — сказал неожиданно Тургаев, — а вы — «белые коттеджи»!

— Сделаем столы, но сделаем и «Поселок белых коттеджей». Если мы начнем давать в срок машины, я добьюсь кредитов на поселок.

Дубенко обошел цеха, побывал на стройке сборочного и вместе с Беланом выехал на паровозике в тайгу.

— Что у вас с рукой? — неожиданно спросил Дубенко, заметив, как Белан как-то неестественно держит левую руку.

— Ничего, — смутился Белан.

— Как ничего, да вы инвалид.

— Пустяки, — еще более смущаясь, сказал Белан. — Заметили, никому не говорите.

— Но зачем скрывать?

— Чтобы жалости не возбуждать, Богдан Петрович, — сказал Белан, — меня через эту руку и от армии освободили. А в армии быть я всегда мечтал, клянусь. Люблю носить военную форму.

Белан разговорился. Он сбросил с себя обычную фатоватость. Руку ему в локте вывернули воры, забравшиеся к ним в дом, в Кременчуге, жена у него бывшая домашняя работница, в детях он души не чает, и из тех чемоданов, которые выбрасывал Дубенко с «дугласа», два были набиты игрушками, куклами и детскими книжками.

— А я когда-то вас обещал поколотить, помните? — спросил Дубенко.

— Я вас не одолею! Ишь, вы какой здоровый. А у меня проклятая рука... Клянусь жизнью!

Белан заразительно расхохотался.

— Но болтали вы много, Белан.

— Что правда, то правда!

Они сошли возле избушки, наспех срубленной из толстых бревен и носившей громкое название «Станция Капитальная». Бесконечные штабели древесины протянулись над дорогой. Пахло смолой. Дубенко осмотрел конюшни, сделанные из тонкого разнодеревья и ветвей, засыпанных снегом и залитых водой. Получились ледяные конюшни — теплые и крепкие при любом ветре.

— Как вы неустойчивы были на Украине и каким деловым человеком стали на Урале.

— Тут, Богдан Петрович, наверно, природа облагораживает.

Проваливаясь в снег, они облазили лес, вымеряя и высчитывая будущий «Поселок белых коттеджей». Дубенко так красочно рисовал будущее на берегу этой горной речушки, с таким вкусом расписывал охоту на косача, росомаху, медведя и даже лося, что Белан тут же вызвался начать работы по подготовке к строительству поселка, который они решили назвать именем Хоменко.

#### ГЛАВА XXXIV

Утром Дубенко позвонила незнакомая женщина. Она просила Богдана немедленно приехать в больницу. Богдан, еле сдерживая волнение, спросил: «Что случилось?» Женщина, помявшись, ответила: «Она скучает».

У Богдана похолодели руки. Он знал, что Валя никогда бы не попросила приехать его, бросить работу только из-за того, что скучает. Он быстро собрал кое-что из провизии, захватил стакан простокваши, вызвал машину.

У него был такой встревоженный вид, что привратница не осмелилась задержать его и покорно подхватила сброшенную им одежду. Он бегом поднялся наверх. Палата прямо с площадки лестницы. Нет врача. Она лежала так, что отсюда видны ее руки. Она поднимает их, складывает пальцы, снова

взмахивает. Она страдает. Богдану хочется броситься к ней, успокоить, узнать. Но возле нее двое в белом — они взяты, нагнувшись над нею. Богдан опускается на диван. Узелок, который он принес с собой, падает на пол. Разбился стакан с простоквашей. Подходит няня, поднимает узелок, утешает.

— Посуда бьется к счастью... Ой-ой, все испортилось.

Вверх по лестнице поднимается профессор. Небольшой плотный человек с рыжеватыми усиками на широком добром лице, с пучками волос, аккуратно уложенными на лысеющем черепе. Он приветливо бестру руку Дубенко, поднимает глаза, просто говорит: «Слышал про вас, зайдите ко мне». В кабинете он сажает Дубенко в кожаное глубокое кресло. Профессор садится напротив.

— Она очень страдает, профессор?

— Я еще не смотрел ее сегодня. Сейчас пойду. Вы посидите здесь.

Он уходит. Закрывается высокая белая дверь. Дубенко сидит, потонув в кресле. Холодная дрожь, охватившая его, не проходит. Не хочется думать, что там. Приходит в голову мысль, что теперь к ней не пустят, и он пишет записку, положив листок бумажки на кожу кресла. Буквы вдавливаются, неясны.

«Валюнька! Роденькая! Целую тебя, целую... Как тяжело тебе, мужайся. Все будет хорошо. Весь мир наполнен страданиями, и мы должны пережить наше... Если даже...»

Входит профессор. Богдан неловко сует недописанную записку в карман.

— Будем делать операцию, — сказал профессор, снимая очки. — Можете пойти к ней. Только ненадолго и сделайте веселое лицо. Улыбнитесь... Ну, что это за улыбка. Идите... Что с вами делаешь.

Валя лежала, полузакрыв глаза. Сестра сделала укол в левую руку. Дрожащей рукой Богдан прижимал на месте укола влажную ватку. Начался новый приступ болей. Она стонала все больше и больше. Богдан выскочил в коридор. У стола стоял профессор, перебирая письма и отдавая распоряжения своим тихим и вместе с тем безапелляционным голосом.

— Надо срочно делать операцию, профессор, — крикнул Дубенко.

— Готовим. Пойдите погуляйте часок. Потом зайдете... Через часок...

Дубенко, не оглядываясь, спустился в вестибюль. «Выйти, как рекомендовал профессор, на чистый воздух». Нет, он останется здесь. Богдан сел возле круглого столика и поставил локти на стол. Он ждал конца этого страшного дела. Тогда было без четверти час. Сейчас час пять минут.

Там наверху решается ее судьба. Он чувствует, что она счастье его жизни, и еще холодней становится его одиночество. Минутная стрелка больших часов ползет медленно-медленно.

Из госпиталя пришла группа раненых красноармейцев — проверить зрение. У некоторых забинтованные лица, но они шутят, смеются.

Молодой паренек, младший командир, охотно разговорился с Дубенко. Уже надев халат, он спросил: «Вы доктор?»

— Я инженер, самолетчик. — Вот оно что! — удивился раненый, — значит, тоже наш. А что же здесь делаете? — У меня вверху жена на операции. — Не беспокойтесь, будет порядок.

Дубенко не в силах больше ждать и идет наверх. Проходит женщина-врач, та, которая принимала ее тогда, в первую ночь.

— Что?

— Все хорошо, — говорит она и улыбается.

Дубенко опускается на диван. Ему кажется, что он переплыл свирепую реку и, наконец, выскочил на отмель. Его бросало о камни, относило от берега, он плыл, цеплялся, но выплыл и, обессиленный, лежит на песке.

Профессор машет рукой из своего кабинета. Богдан идет к нему. Профессор снимает тонкую резиновую перчатку. Она сдирается, как кожа.

— Как в песне... в «Платоне Кречете»... Ее жизнь спасена, — говорит профессор.

— Спасибо, — бормочет Дубенко, — спасибо.

— Идите домой, отдохните.

Дубенко садится в машину и говорит шоферу:

— Спасена.

— Стало быть, жить будет, — говорит шофер.

Первой его встретила Виктория. Она прибежала с работы, встревоженная и красивая.

— Как?

— Все хорошо.

Виктория опустила на стул и разрыдалась.

— Чего вы, Виктория? — спросил Дубенко.

— Как я волновалась. Как я страдала. Если бы что случилось, я бы не вынесла... — она поднялась, улыбнулась сквозь слезы.

— Какая я глупая. Простите меня, Богдан Петрович.

Дубенко позвонил в больницу.

— Больная проснулась, все хорошо.

Отлегло от сердца. Дубенко опустился на стул и почувствовал, как мелкая нервная дрожь прошла по всему его телу.

### ГЛАВА XXXV

Тридцать градусов мороза с ветром. Вечером радиовали о подготовке аэродрома к приему машин. Окруженный выкорчеванными и обгорелыми пнями, аэродром начинал обстраиваться службами. Вырастали желтые постройки складов, домик испытателей, метеорологическая станция. Из тайги теперь непрерывно поступал кругляк, который быстро распиливали работающие день и ночь круглые пилы.

Утром, в снежной пылице, проносящейся над горами и тайгой, появились тени самолетов. Они шли кучно, звеном, точно прощупывая плечами друг друга. Ветер задирали посадочные знаки, их придавливали своими телами Романченко и его товарищи летчики, прибежавшие лично обеспечить посадку. Самолеты пророкотали над головами, зашли на второй круг и как будто нырнули в пушистое курево снега. Черные, неуклюжие фигурки людей бежали к машинам — тяжелым транспортным «тэбешкам». На таких трудолюбивых и выносливых машинах осваивали Арктику, на них пошли на Северный полюс



отважные экипажи Водопьянова, на них возили бомбы, танкетки, батареи. Теперь они несколько устарели, но продолжали трудиться. Седые ветераны советской авиации!

Первые машины пришли к новому заводу! Это была большая радость для всех. Люди на минуту приостановили работу и, подняв вверх руки, приветствовали «ТБ», пролетавшие над заводом.

Еще замирили обледенелые винты, когда из первой машины вывалились люди в шлемах, меховых унтах и комбинезонах.

— Далече от Чефа, но люди, кажись, близкие, так? — сказал один из меховых людей и содрал очки и пыжиковую маску.

— Шевкопляс! — Дубенко бросился к нему. — Иван Иванович!

— Шевкопляс, Иван Иванович, — обнимая Дубенку, произнес Шевкопляс, — угадай, Богдане, чорт тебя задерил...

— Но почему без предупреждения?

— Сюрприз, — засмеялся Шевкопляс, — мы теперь люди сугубо военные и работаем осторожно. Да и к тому же, как-никак, в герои выбились.

— Поздравляю, Иван Иванович.

— Да я не к тому, — отмахнулся Шевкопляс, — к слову. Все мы герои, если присмотреться. Вот сейчас покажешь, что ты тут находившийся без своего батьки. Ты думаешь, у меня за всех вас душа не свербила?

— Не верится, не верится, Иван Иванович: казалось, мы навсегда оторваны друг от друга, заброшены.

— Ну, как заброшены. Теперь здесь будет шумная трасса... — Шевкопляс потер нос, губы, — ну, и морозец у вас. Ты иди, Богдане, остальных принимать, может, знакомых встретишь. Я тут подожду. Потом побалакаем где-нибудь в хате.

Возле второй машины стояли Рамодан, Угрюмов, Романченко и майор Лоб. Штурманы и стрелки-радисты, вместе с другими летными людьми, прибывшими с ними, чехлили машины. Угрюмов тепло поздоровался с Дубенкой и подтолкнул его к майору, расплывшемуся в улыбку.

— Только не заколите меня своей бородой, товарищ директор, — прохрипел Лоб, — вырастили ее, как у Ермака Тимофеевича.

— Привел к вам ваших друзей, — сказал Угрюмов, — вероятно, довольны неожиданностью.

— Еще бы. Действительно неожиданность.

— А если узнаете, зачем они пожаловали, то еще больше обрадуетесь.

— Не знает разве? — спросил Лоб.

— Не знает. Придется сказать, чтобы не ошеломить. — Угрюмов с хитринкой присмотрелся к Дубенке, — за новыми машинами, хозяин.

— Но еще...

— Срок вот-вот выйдет. Что, не получится разве?

— Получится, — вмещался Романченко.

— Так же когда-то начинали тот наш завод, — сказал Дубенка, — тоже ждали первых самолетов, волновались. Волнуемся и сейчас. Подталкиваете, товарищ Угрюмов... Может, так и надо.

— Пожалуй, придется вас реабилитировать, Богдан Петрович. Пойдемте посмотрим, что и как... Тут может ветром сдуть окончательно, даже меня, привычного.

Подъехали два грузовика. Взобрались в кузов, и машины, раскачиваясь, понеслись по снежной дороге. Желание Угрюмова сразу же познакомиться со сборочным корпусом было выполнено. Майор Лоб рьяно принялся за осмотр. Шевкопляс снял шлем и шел рядом с Угрюмовым и Дубенкой, приветливо кивая головой здоровавшимся с ним людям. «Наш полковник приехал», — прошумело по цеху. А полковник шел, и все шире и шире становилась улыбка на его обветренном лице. Настоящим чутьем хозяина он чувствовал дело, хотя с первого взгляда картина сборки и казалась хаотической. На жаровнях, в железных бочках и конусах, скрученных из котельного железа, горели поленья. Дым выходил вверх сквозь незастекленные фонари. Везде копошились люди, собиравшие самолеты. Они дули на руки, сидели на стапелях крыльев, на мощных сигарах центропланов, плечи их дрожали в такт электри-

ческим дрелям и пневматической «чеканке». Еще стучали топоры на крыше третьего пролета и молотки строителей на каркасной обшивке стен, еще залетали в цех ветер и снег и падал сверху дым, разбавивший глаза, но боевые машины обрастали, оперялись и принимали форму.

Дубенко вел гостей по потоку, за организацию которого ему много пришлось побороться. Он следил за выражением лиц своих спутников. Его присмотревшийся глаз зачастую уже не мог разобрать, что хорошо и что плохо, и он проверял на других, получающих сейчас свежее впечатление. Ему важно было мнение Угрюмова, любившего порядок и настойчиво требовавшего сделать «завод как завод». Угрюмов, наблюдавший за пуском сотни предприятий, мог не только сделать свой вывод по существу их работы, но и имел возможность произвести сопоставление. Конечно, многое не по правилам — хотя бы вот эти «жертвенные очаги», или длиннейшие перекрытия, сделанные из дерева, или сборка в недостроенном помещении, где еще летит стружка и продолжается возня с утеплителями...

Агрегатная, стапельная и окончателная сборка составляет тот поток, по которому выплывает новая машина. Вот стоят они, первые машины, приподняв плоскости и задрав носы.

Возле них вооруженцы, техники по приборам, инженеры. Каждый винтик, каждый квадратный сантиметр площади машины тысячи раз перещупаны человеческими руками. Машины как бы выходят из-под этих теплых человеческих пальцев и ладоней. Нет, сегодня они выходят из-под замерзших ладоней, каждый металлический предмет прилипает к рукам, словно притянутый магнитом. Но ничего... На выходе, упершись носами в свежесрубленные ворота, нацелившись на волю, на снежное поле нового аэродрома, стоят штурмовики.

Дубенко остановился и, отягченный думами и ожиданием приговора, сказал только одно слово: «Все».

Шевкопляс подошел к Дубенко, поцеловал его и тихо сказал: «Спасибо, Богдане».

Угрюмов искоса наблюдал этих двух людей и, когда они прошагали к выходу, пожал руку Дубенко. Это молчаливое пожатие тронуло Богдана. Наружно он ничем не выдал своих чувств. Может быть, несчастье с женой, может быть, все, что он пережил от Украины до Урала, сказались сейчас, но Дубенко понял, что не может выдержать больше. Он бросил своих спутников и быстро прошел вперед. Он боялся разрыдаться. Хотелось ударить себя по лбу, по глазам, на которых готовы были вспыхнуть слезы. Он схватил горсть снега и быстро натер себе лицо. Немного отлегло, и, несколько успокоившись, он стал поджидать друзей.

— Мы пройдем в цеха, — сказал он, — сейчас работает уже две тысячи станков.

— На сегодня довольно, — сказал Угрюмов, поглядывая на Дубенко, — нам нужно немного отдохнуть. По правде сказать, я не привык к воздушным передвижениям и меня немного укачало.

— Хай буде так, — Шевкопляс взял Богдана под руку, немного согнулся под порывом ветра и направился к основному корпусу.

— Вот что, Богдане, — сказал он по дороге, — письма тебе с Кубани, от ваших, сунул мне какой-то рыжий пилот в Куйбышеве.

## ГЛАВА XXXVI

Дубенко вскрывает два конверта: от матери и сестры. Он быстро пробегает письма. Далекие голоса родных... Кажется, непреодолимые пространства разъединили их. Тоска и ожидание свидания и страстное желание разгрома врага. Вот что в этих письмах. И так все. Вся страна, как один человек, ждала разгрома врага.

Автомобиль мчится под гору и, пробивая своим сильным корпусом снежный вихрь, останавливается у больницы. Львы у подъезда наполовину заметены снегом. Но Дубенко кажется, что они рычат.

Профессор и Дубенко выходят из кабинета. На лестнице профессор говорит: «Напишите жене, передадим». Дубенко тут же, приложив бумагу к стене, пишет

записку. В ней много хороших, но каких-то бессвязных слов. Он сообщает о письмах из дому, о приезде Лоба, Угрюмова и Шевкопляса. «Не много ли для нее?» — думает он. Профессор смотрит на него: «Лишь бы ничего грустно-го, а радости сколько хочешь».

Через десять минут няня приносит ему ответ от нее. Дубенко готов кричать «ура». Может писать! Хотя руки еще безвольны, буквы прыгают...

«Родной Богдан! Чувствую себя лучше. За все спасибо. Еще немного больно, но уход хороший и профессор очень внимателен. Писать трудно. Вообще хорошо, целую. Рада за наших. Теперь хочу узнать о Тимише. Пишет ли про него Танюша? Прошу тебя, работай и можешь не приезжать ко мне три дня. Ведь скоро срок задания... Я все помню и волнуюсь — будут ли твои птички. Береги себя... Твоя страдающая Валюнька».

Он уходит из больницы и шепчет: «Будут птички, будут». Это слово стоит перед ним всю дорогу. Почему именно «птички»? Вероятно, она воздержалась написать самолеты или машины из боязни выдать тайну. Но как сохранишь тайну их производства, если вот-вот над тихим городом загудят машины их завода, а сейчас доносится сюда с полигона стрельба.

Дубенко подъезжает к своему «таракану», входит в комнату и находит там отца, распивающего коньяк с Лобом. При его появлении отец несколько смущается, отирает усы.

— Я на минутку, Богдан.

— Ерунда, батя, — кричит Богдан весело, — я тоже пропущу чарку за здоровье Валюньки.

— Как она? — спрашивают одновременно отец и Лоб.

— Даже написала письмо, — хвалится Дубенко и садится к столу.

Лоб рассказывает о боях авиационных полков, действующих на Южном фронте. Лоб работал на Днепре, над Перекопом, штурмовал танковые колонны врага. Он рассказал, как Шевкопляс, уничтожив несколько десятков танков, попал в перепалку, был сбит, и его десять дней считали погибшим. Но Шев-

копляс остался жив и прошел со своим экипажем по всему Крыму. Шевкопляс возвращался домой, сражаясь с немцами. Бахчисарай! Там немцы. Дубенко припоминает недавнее прошлое. Осень прошлого года. Он пронесится на «линкольне» через чудные крымские горы, покрытые умирающими грабами. Золотые, красно-медные деревья. Долина горящих деревьев! Ручей, где пили они хрустальную воду. Бесконечные сады равнины Бахчисарая. Яблоки на грузовиках, на земле — огромными кучами, на волах, в корзинах сборщиц, на деревьях. Долина, казалось, захлебывалась в яблочных волнах. Валя сидела возле него. Они бродили по дворцу Гирея и видели потускневшее с годами величие хана-завоевателя. Смотрели на невзрачный фонтан слез, привлекший великого Пушкина. Кто думал, что через год во дворец Гирея ворвутся немецкие танки, предварительно разбив в пыль сотни домов трудолюбивых татар, владельцев яблоневой долины. Золотой Крым! Сокровищница солнца, винограда!

Лоб говорил о боях над Крымом, а Дубенко думал свое. Может ли он сейчас сидеть здесь, когда там, на заводе, работают его люди, чтобы вернуть родине и золотистый Крым, и Украину, и Белоруссию? Дубенко встает и уходит на завод. Снова дымный цех агрегатной и общей сборки. У ступеней, у машин, у стэндов люди. Они окружают его, задают вопросы, и он отвечает, он лезет в машину, проверяет работу, заходит в лабораторию, где с Угрюмовым сидит Тургаев над испытанием дельта-древесины. Сегодня он привез дельта-древесину, которую невозможно взять острым ножом. Дерево крепче стали. Испытания дают блестящие результаты. Угрюмов поднимается со стула, подбивает своей широкой рукой волосы и тепло улыбается Богдану.

— Итак, Тургаев, пикирующие бомбардировщики и торпедоносцы должны тоже вырастать в тайге, — говорит он.

Дубенко берет карту испытаний дельта-древесины и сидит над ней около часа. Потом ему приносят образцы, и он сам проверяет их на разрыв, на из-

лом, на твердость. Угрюмов возвращается и заглядывает через плечо Дубенко на его записки. Довольная улыбка освещает его лицо.

— Будет? — спрашивает он. — Будет по-нашему?

— Будет по-нашему, — отвечает Дубенко.

— Как с женой?

— Удовлетворительно.

— Почему не говорите хорошо?

— Боюсь испытать судьбу.

— Вон вы какие, украинцы... суеверные. Ну, а Урал полюбили хоть немного?

— Полюбил, товарищ Угрюмов.

— Производственный поймет и полюбит Урал быстрее. А вы производственный. Уралец неотделим от Урала. Столетия борьбы с камнем, металлом огрубili его снаружи, но если расколоть, то внутри золотая жила... Теперь вы мне покажите остальные цеха.

Равномерное гуденье станков успокоительно действует на Дубенко. Он идет в этом ритмичном гуле, видит пятна желтого света, падающие из-под колпаков у каждого станка, подрагивание прутка, пережевываемого автоматами, тележки с деталями, автокары с крупными деталями... Завод живет. Еще не закончен, но живет!

Чавкалы прессы, горели термические печи, гудел воздух в компрессорных трубах, градуировал по металлу станок, когда-то принадлежавший Хоменко. Хозяина давно не было. Он лежит, приваленный камнями, недалеко от разрушенного завода. А станок привезен, установлен и выполняет точную работу.

Вот выстроились густо, один к одному, токарные автоматы. Они поставлены не по правилам. На прежнем заводе они занимали в четыре раза больше площади, но здесь приходится использовать каждый сантиметр. В цехе работает триста семьдесят парней и девушек, посланных их отцами, рабочими-горняками.

В замасленных рубашках и платьицах они стоят у станков, стиснув зубы. Они сосредоточены и горды своим трудом, и вряд ли они думают сейчас, что они уже сейчас люди красивой и пламенной легенды.

— Как звать тебя? — спрашивает Угрюмов парнишку с взъерошенным уральским вихорком.

— Юрий, — отвечает парнишка, не глядя на спрашивающего. Он занят своей работой.

— Сколько ты уже работаешь?

— Пятнадцать дней.

Юрка не смотрит на Угрюмова и не смущается.

— Никто не сломит такой народ, — тихо говорит Угрюмов, шагая между рядами автоматов, — никто.

Дома Дубенко садится за стол и долго и упорно смотрит на карточку Вали. Мысли снова о ней. Как ее здровье? «Страдающая Валюнька». Так она назвала себя.

Сейчас на заводе работают сотни женщин. Все они трудятся для себя. Они трудятся для спасения родины, детей, близких, не из-за денег, не из-за славы.

Скопилось много белья дома. Нет чистого полотенца. Просить постирать женщин завода? Но им некогда. В город отвезти неудосужился. Дубенко прикрывает дверь на крючок и принимается стирать полотенце, носовые платки, пару белья. Он спешит, чтобы кто-нибудь не застал его. Руки побелели от горячей воды и мыла, кругом набрызгано. Жарко горит «буржуйка».

Стук в дверь. Дубенко быстро прячет стирку под кровать, подтирает пол тряпкой и, набросив куртку, отворяет дверь на повторный стук.

— Белан!

— Прошу прощения, Богдан Петрович, — говорит Белан, — на айн минут, как говорят наши враги. Я добыл белых булок для Валентины Сергеевны, стакан меду и яблоки.

Он выкладывает яблоки на стол из карманов дубленки. Яблоки стучат, как бильярдные шары.

— Мерзлые? — спрашивает Дубенко.

— Анапские яблоки. Лоб привез. Ну, конечно, померзли, но яблоки мировые, кланусь жизнью!

— Спасибо, товарищ Белан.

Белан садится, снимает треух и встряхивает своими черными кудрями.

— Все пустяки по сравнению с веч-

ностью. А поселок имени Хоменко начал...

— Молодец, Белан.

— Я его к весне отгрохаю, между прочим, клянусь жизнью. Если я попрошу гвоздей и стекла у Угрюмова, будет политично? Не скажет — за старое принимаешься, Белан?

— Не думаю, — Дубенко смотрит под кровать и разглядывает руки.

— Я вам, кажется, помешал, — говорит Белан и поднимается.

— Нет, — Дубенко краснеет, — ни сколько.

— Пошел, спокойной ночи. Шевкопляс сейчас в сборочном. Сам все проверит. Дошлий стал наш полковник...

Белан ушел. Дубенко вытаскивает из-под кровати корыто и, доканчивая стирку, выжимает белье. Развешивает возле печки на спинки стульев и ложится спать.

### ГЛАВА XXXVII

Радио принесло долгожданную весть. Начались наступательные удары советских войск. Взят Ростов-на-Дону. Разгромлена бронированная группа Клейста. Притихшие толпы стояли у рупоров и ловили каждое слово. Над тысячами людей, заволоченных клубами пара, раздавался спокойный голос диктора из Москвы. Небывалый труд воинов фронта и тыла начал приносить плоды.

Рамодан отпечатал сообщение Информбюро и телеграмму Сталина на имя героев Южного фронта. Листовки распространили по заводу. Ими зачитывались, прятали за борта курток и ватников, потом снова вынимали и читали, разглаживая бумагу заскоружеными пальцами.

Прервав отдых, стала на работу ночная смена. Усталость последних дней как будто исчезла. Вспыхивал смех. Люди вступали во вторую фазу борьбы с противником — поднялось движение рабочих за создание фронтовых бригад.

К чувству общей радости у Дубенко прибавилось личное: немцам не удалось прорваться на Кубань, где жила его семья.

Надо скорее же сообщить Вале! Но завод! Завтра должна выйти на летное поле первая машина.

С Шевкоплясом прибыли военные представители — они торопили выпуск машин.

Дубенко шел в сборочный цех. Данилин, исхудавший и сгорбленный, сопровождал его.

— Вот и начали обдирать перья с вашего мифа, — пошутил Дубенко, — так и общипем.

— А вы злопамятный, Богдан Петрович, — смущенно заметил Данилин.

— Без всякого зла, Антон Николаевич. Просто от радости.

В конторке сборочного Дубенко переделался в комбинезон, чтобы удобнее было «обнюхивать» машину. В цех заходили члены военно-приемочной комиссии, вместе с Шевкоплясом и Угрюмовым. Вслед за первым самолетом на аэродром летно-испытательной станции выйдут первые десять машин, и потом начнется серийный выпуск — результат их больших трудов и лишений.

— Волнуетесь? — спросил Дубенко начальника сборочного цеха.

— Естественно, Богдан Петрович, — инженер поежился, потер руки.

— Пойдемте, — Дубенко отворил двери конторки и окунулся в привычный шум сборочного цеха. Треск молотков, завывание дрелей и прочие шумы в сборочном напоминали ему шум уборки урожая. Как будто раздался рокот комбайнов на золотистых полях шелестящей усиками пшеницы. Снуют ножи хеддера, подрагивая, ползут по транспортеру срезаемые стебли, шумит зерно в бункерах. Как здесь, так и там, человек подходит к конечному результату своих усилий... Начиналась уборка урожая...

Одевали машины: из ящиков вытаскивали моторы, сработанные на берегах полноводной Камы, скрипели лебедки, подвозили крылья на тележках, крепили, нивелировали машину, чтобы она сражалась успешно.

Самолеты, вначале напоминавшие ободранных и прикорнувших птиц, расправляли крылья, обрастали перьями, вырастали стальные клювы орудий и

пулеметов. Возле них, так что не слышно человеческой речи, трещали и визжали молотки и дрели, шатались светлячки переносных ламп, катились автокары и ручные тележки, и дым раскаленных жаровень поднимался вверх и уходил через фонари, как дым жертвенников.

Дубенко осматривал машины, давал указания. Чувство удовлетворения не покидало его.

Мастер сборочного цеха, докладывая директору о состоянии работ, нервничал; ему хотелось побранить бригадиров-монтажников, но, как опытный человек, он знал, что с ними не стоит портить отношений, хотя ему и казалось, что монтаж проходит медленно.

— В сроки уложитесь? — спросил Дубенко начальника цеха, поняв из сбивчивого тона мастера, что имеются какие-то сомнения.

— Новые сроки?

— Поставленные сегодня митингом.

— Должны уложиться, Богдан Петрович.

— Посмотрим, а то как бы не пришлось завтра за вас краснеть.

— Антон Николаевич проверяет, — начальник цеха показал в сторону Данилина. Тот стоял с контролерами, прищипывая лампочкой какие-то бумажки. Сюда доносился его бубнящий голос: «Самое главное зазоры... зазоры. Абсолютно важно, ответственно. Сейчас проверим на выдержку... вот под цифрой семь что у вас?»

— Теперь с микроскопом пойдет, — отмахнулся мастер, наблюдая Данилина, — с ним выдержишь сроки...

— Иногда не мешает быть микроскопом, — сказал Дубенко и завязал уши шапки.

— Сам директор полез, — слышался голос.

— Если чего не так, раскричится...

Монтажники, на минуту приостановив работу, наблюдали. Дубенко приказал приподнять машину на козелки и принялся опробовать механизм выпуска шасси. Потом просмотрел, как открываются закрылки, тщательно проверил пневмоспуск оружия. Все управление са-

молета должно действовать безотказно. С каждым нажимом рычагов и кнопок машина постепенно оживала. В кабине он просмотрел приборы.

Затем была проведена холодная пристрелка оружия — пушек и пулеметов. Возле Дубенко стоял вооруженец. Он немного похож на Данилина, копуша, но дельный. Дубенко внимательно прислушивался к его словам и коротко приказал приготовиться к проверке бомбосбрасывателей.

Вооруженец доволен:

— Прикажете стопятидесятикилограммовую и кассеты?..

— Начнем с двухсот пятидесяти.

Ручной лебедкой, приспособленной из сподручных материалов, подняли одну за одной две «свиньи» — бомбы весом по двести пятьдесят килограммов. Мастер накинул на стабилизаторы веревочные петли и передал концы двум рабочим. Бомбы при падении могут откатиться и помять стойки шасси, и поэтому под машину на линии бомболюков положили соломенные маты.

— Уходи! — закричал мастер.

Дубенко сбросил бомбы вручную, потом проверил работу электросбрасывателя. Подошел военный представитель. Машина находилась в стадии «до предъявления», и поэтому военпред пока ничего не говорил. Ему хотелось в процессе доводки познакомиться с возможными недостатками. Машина первая, и он ждал ее с огромным нетерпением. Военпред обошел машину и, наконец, сказал: «Вот тут помято, не приму... вот здесь...»

— Какое же ваше окончательное заключение? — спросил Дубенко, потирая замерзшие руки.

— Завтра скажем, по предъявлении.

— Сегодня темните?

— Надо же вас помучить, товарищ директор, — отшутился военпред.

— Ладно уж, выдержим. Идите посмотрите на машины номер три и четыре. Вон их сколько народа окружило.

— Все нормально, Богдан Петрович? — спросил подошедший Данилин.

— Пожалуй. Небольшие доделки я указал бригадирам. Уже можно сказать «Есть машина».

— Есть, — Данилин снял шапку, вытер лысину клетчатым платком. На пальце блеснул «лунный камень», в свое время привлекий внимание Богдана.

— Ну, что же, будем бить промышленную Германию, Антон Николаевич? Сколько они там в Европе предприятий прихватили?

— Опять, Богдан Петрович, — смутился Данилин.

— Не буду... Посмотрел на ваш знаменитый перстень и сразу вспомнил тот наш разговор. Кстати, такие камешки тоже на Урале добываются...

— Я вот над вашим замечанием думаю. Правы вы, Богдан Петрович. Ведь то, что мы тут за месяц сделали, прямо сказки Гофмана. Только такие, как вы, могли на такое дело решиться. Порох тут потребовался иного качества... советский порох, Богдан Петрович, уверяю вас. Где-нибудь за границей до сих пор не представляют себе ясно, как все это советская власть сумела. Мне теперь понятно: нужно сразу за дело, а не психологию разводить.

— А разве психология для инженера, для практического ума, идет вразрез с высшей математикой, а?

Данилин замялся и промолчал.

К машине подошел старичок-маляр с трафаретом и ведерком краски в руках. Старичок снял варежки, подул на руки и принялся украшать самолет звездами. Самолет ожил, стал солидней, веселей, стал похож на человека, только-что сбросившего гражданское платье и приколовшего к шапке звездочку. Старик кивнул Дубенко и ушел к следующему самолету.

— Ведь он было замерз в эшелоне, старик-то, — сказал мастер, — все стремился обратно. А теперь воскрес... Так и прощандыбают еще годков двадцать!

— Завтра в девять тридцать. Не ударьте лицом в... снег! Не осрамите перед Угрюмовым и Шевкоплясом.

— Я у себя. В случае чего, звоните в любое время.

Угрюмов поджидал Дубенко, сидя на диване, вытянув ноги в бурках и скрестив на груди руки. Он слушал Шевкопляса, рассказывающего по комнате.

Увидев Дубенко, Шевкопляс подошел к нему, потряс за плечи.

— О чем был разговор, Иван Иванович? — спросил Дубенко, раздеваясь.

— Все про то да про это. Стратегию разводим... Хорошо, что меня Иван Михайлович слушает. А то он всё больше в молчанки играет. Северяне народ молчаливый, не то, что мы, хохлы-звонари, так?

— Не согласен, — Угрюмов улыбнулся, — не могу обижать украинцев... Тем более, если они начинают бить фашистов не только на фронте, но и с тыла.

— Начинаем бить! — воскликнул горячо Шевкопляс. — Помнишь, Богдане, наши разговоры вначале? Читал, какие наши орлы письма домой пишут? А возьми моих на Чёфе! Оди́й день без вылетов продержишь, ходят, как больные. Чем дольше на работе, тем веселей и бодрей. Честное слово. С таким народом будем колошматить фашистов и в хвост, и в гриву. Ну, хватит, — Шевкопляс взял графин. Забулькала вода в стакан. — Чего я вас агитирую...

— Посиди, Иван Иванович, отдохни, — Богдан усадил Шевкопляса в кресло.

— От отдыха наш брат вянет, понял?

— Не завянешь здесь. Мороз не позоволит.

— У меня есть кое-какие соображения, Богдан Петрович, — сказал Угрюмов, — соображения, навеянные осмотром вашего сборочного. Понравилось здание. Быстро, хорошо и дешево.

— Что-то загибает издалека, — перебил Шевкопляс, — не поддавайся, Богдане. Чую, на чем-то опутать хочет.

— А может, и опутаю, — пошутил Угрюмов.

— Продолжайте, Иван Михайлович, — сказал Дубенко.

— Видите ли, Богдан Петрович. Нам нужно собирать самолеты новой марки, истребители. Что, если мы поручим вам построить один сборочный корпус?

Дубенко прикрыл глаза. Угрюмов ожидал ответа, наблюдая за игрой мускулов на его обветренном, огрубевшем лице.

— Сроки? — спросил Дубенко, поднимая веки.

— Примерно такие же...

— Но теперь у меня весь народ вошел в производство, Иван Михайлович. Как с рабочей силой?

— Пришлем. Главное, чтобы под вашим руководством. Мы будем собирать здесь и отсюда на фронт... Летом начнется большая воздушная война и нужно к ней быть готовым.

— Я согласен.

Снова большой труд. Ещё час тому назад, если бы ему сказали, что нужно построить такой корпус, он бы просто замахал руками. Откуда только берутся силы...

В стекла била снежная крупка, в белой дымке метели чернела изломанная линия леса.

— Вы согласны? — переспросил Угрюмов, заметивший мимолетные тени, упавшие на лицо Дубенко.

— Я согласен, — твердо повторил Дубенко, — выполним ваше задание.

— Задание родины, — осторожно поправил Угрюмов.

— Выполним задание родины...

### ГЛАВА XXXVIII

Шевкопляс вышел из барака, потер нос и щеки и недоуменно поднял глаза к термометру, покрытому, как бородой, игольчатыми наростами снега.

— Сколько? Тридцать девять?! Кабы с ветерком, сжег бы проклятый морозище, так?

— Пожалуй, так, — согласился Лоб, поднимая меховой воротник.

— Пойдем, пойдем, — сказал Романченко, подхватывая Лоба под локоть. — Ну, и толстый ты, разнесло на казенных харчах!

— Толстый, толстый, — хрипел Лоб, — сущность человека в здешних краях закрыта шкурами овцы, собаки и оленя. А вообще майор Лоб строен, как... Виктория.

— Насчет Виктории нужно осторожней, — сказал Романченко.

— Во всех войнах дамы всегда играли значительную роль в судьбе воинов, не так ли, полковник Шевкопляс?

— Меня интересуют сейчас не дамы, а представители военной приемки. В девять тридцать Романченко должен от-

рывать от земли ноги, а военная приемка что-то медлит.

— Наверное, они всю машину уже успели обнюхать, — Романченко прибавил шагу, — ну-ка, прибавим газу!

Они шли к сборочному цеху, шутили, обгоняли друг друга на узкой тропке, протоптанной в глубоком снегу, толкались плечами, чтобы согреться, но думали об одном: о первой машине.

О том же думали и Дубенко, и Рамадан, и Угрюмов. Сегодня рано поутру, перевернувшись на другой бок, Дубенко открыл глаза и больше не мог заснуть, хотя еще храпел отец, который обычно поднимался на работу, «когда черти не вставали на кулачки». Дубенко не спал и думал о первой машине.

Беспокоился о ней и Рамадан, он бодрствовал всю ночь, ходил по цеху и подгонял сборку потока, который должен хлынуть вслед за «первенцем». При выходе из цеха он столкнулся с Данилыным и Тургаевым. Те спорили «по вопросу хвоста». Данилина не нравилось качество древесины, и, разбудив Тургаева, он потащил его в цех.

В салон-вагон поднялся Угрюмов, выпил стакан боржома и позвонил Кунгурцеву, попросил его к себе. Кунгурцев приехал через восемь минут. Когда от станции вверх по улице мчалась их «эмка», Угрюмов сказал Кунгурцеву: «Волнение школьника перед экзаменом?» Кунгурцев поднял свои черные глаза: «Меня попросили шахтеры пустить первую машину над поселком и шахтами в стык двух смен. Тоже их детище».

...Машина стояла, распластав упругие плоскости. За ночь из нее вымели стружки и сор, обычно остающийся после монтажников, подкрасили. Бока машины и ребра крыльев матово светились. Могучее тело самолета покрыто латами брони, видны сизые пятнышки нацеленных пушек и пулеметов. Вооруженцы приготовили машину для боя.

Люки и смотровые окна были раскрыты. У самолета работала военная приемка. Запах ацетона носился в воздухе. На линии ходил старичок в драповом пальто с ведерком краски и трафаретом. Старик прикалывал «звезды» следующим призывникам.



Романченко покинул Шевкопляса и Лоба. Он должен основательно прошу-пать мнение военных представителей-приемщиков. Ему ведь летать первому...

Шевкоплярс беседовал с мастером, которого он знал еще «оттуда».

— Полетит, Матвей Карпович?

— Определенно, Иван Иванович.

— Как будто и не трогались с Украины?

— М-да, — мастер глубоко вздохнул, — как будто и не трогались с Украины, Иван Иванович.

— Поглядим-увидим.

— За этой машиной остальные пойдут, как дышлята, Иван Иванович.

— Нехай так. Такие машины нужны дозарезу, Матвей Карпович. Читал Сталина? Чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках, нужно также увеличить производство противотанковых самолетов, понял?

— Понял, Иван Иванович.

— То-то мне...

— Если моторы будут во-время подбрасывать, стаями пошлем туда.

— Очень правильно все понял, браток. Нужна сталь.

Военный представитель подписал предьявление. Начальник сборочного цеха махнул рукой. Команда, стоящая у дверей, налегла на створки и с трудом раздвинула их. Пахнуло холодом. Впереди открылось укутанное поле. От домика летно-испытательной станции подходили Угрюмов, Дубенко, Рамодан, Тургаев и Кунгурцев. Немного погодя вышел и Лоб.

— Давайте, — скомандовал Дубенко, поглядывая на часы.

Рабочие взялись за машину и показали ее из цеха. Романченко, покрикивая, помог «выправить» хвост. Виктория, работавшая в бригаде по монтажу электропроводки, позвала его. Романченко отошел от машины, приблизился к Виктории, подал ей руку.

— Не мое дело всем этим заниматься, Виктория.

— А занимаетесь.

— Горячка... Суета...

— Мне боязно... Вам первому лететь.

— Не впервой, — он благодарно взглянул на нее.

К самолету подъехал бензозаправщик. Протянулись шланги-пистолеты. Баки наполнили бензином. Зашумела форсунка водо-маслозаправщика. Самолет перешел в распоряжение борт-механика, плотного человека с на-супленными бровями. Борт-механик просмотрел герметичность маслобензо-системы, закрыл капоты. Он отвечал за подготовку самолета к выпуску и поэтому был придирчив. Он по-догнал бригадира по отработке винто-моторной группы и полез в кабину. Вскоре закрутился винт, и воздух на-полнился ревом мотора. Он пробовал его на разных «шагах», и от гула, стояв-шего на аэродроме, звенело в ушах. По-том борт-механик выскочил на снег и снова откапотил мотор, проверяя, нет ли течи бензина и масла после тряски.

— Ну, как? — спросил Романченко, начинавший уже терять терпение.

— Все нормально, товарищ подполковник.

— Распоряжайтесь дальше.

Выдавливая отчетливые следы, подо-шел гусеничный тягач. Прикрепили трос к стойке шасси, и тягач, не спеша, потащил самолет к «красной черте». Люди продолжали поддерживать само-лет за крылья. Казалось, что его еще только учат ходить.

— Разрешите, товарищ директор? — спросил Романченко Дубенко.

— Давайте.

Романченко надел парашют и под-нялся в кабину. Через несколько се-кунд борт-механик помахал меховыми крагами и люди отскочили от машины. Романченко дал рабочие обороты мо-тору, винт завертелся, издали он стал похож на блестящий прозрачный круг. Машина покатила, покатила и, на-конец, оторвалась от снега.

— По газам! — прохрипел Лоб.

— Пошла, — спокойно произнес Ду-бенко, провожая глазами белое тело машины.

— Пошла, — сказал борт-механик и пожевал губами.

— Видите, как все просто, а сколь-ко тревог, — заметил Угрюмов.

— Тревог было много, — сказал Ра-модан.

— От этого и движение жизни, — всожданно высказался борт-механик.

Романченко делал развороты, стараясь держаться недалеко от аэродрома, но вот он круто повернул, положил машину под большим углом и полетел по направлению к тайге. Гул мотора стал слабее. Угрюмов сделал шаг вперед, внимательно следя за полетом.

Снова рокот мотора. Романченко пронесся над ними, то убирая, то выпуская шасси. Из окон корпусов, со двора, от станции махали шапками люди. Им был ни о чем этот свирепый уральский мороз, они радовались своей победе.

Романченко стал снижать на указанную полосу аэродрома. Вот прикоснулись баллоны, взлетели радужные от солнца столбики снега. Машина остановилась. Романченко выпрыгнул и пошел к Дубенко, неуклюжий в своей одежде пилота.

— Все нормально, товарищи!

— Надеюсь, — облегченно сказал Шевкопляс, — теперь погрузим для энского флота? Так, Романченко? Так, Богдане?

— Так, Иван Иванович.

Романченко подошел, держа подмышкой краги и шлем. Волосы его вспотели, от них шел пар.

— Теперь приходится за вами ухаживать, — Дубенко натянул шлем ему на голову, — простынете.

— Пустяки. Пошла первая машина.

— Благодарю вас, Романченко.

Романченко потряс руку Дубенко, потом по очереди Тургаеву, Рамодану, Угрюмову, Данилину, мастерам, рабочим. Десятки заскорузлых рук потянулись к нему. Он радостно встряхивал их. Это его товарищи по борьбе, он понимает и разделяет их чувства. Виктория тоже высвободила руку из неуклюжей варежки и тихо сказала:

— Поздравляю.

— Спасибо, Виктория.

— Не так крепко, — вскрикнула она и подула на руку.

— Прошу прощения, не рассчитал, Виктория.

Она отошла от них.

Угрюмов приблизился к Дубенко,

ласково поглядел на него и просто сказал:

— Поздравляю.

— Спасибо.

— Поздравляю тоже, — Кунгурцев вопросительно посмотрел на Дубенко, — но как с горняками? Вы обещали послать машину над поселком и шахтами.

— Я обещал сделать это между двумя сменами?

— Да.

— Будет сделано. Придется снова вам полетать, Романченко.

— Есть. Давно не ходил в воздух, скучаю. — Он обратился к борт-механику: — Левая нога чуть-чуть заедает. Может быть, застыла смазка, смесь, а может быть, нужно что-то там ослабить.

— Будет все нормально, товарищ подполковник. — Борт-механик пошел к машине, унося с собой парашют Романченка.

Возле самолета копошились люди. Еле заметное струйчатое облачко колебалось над машиной — она остывала. Хвост уже засахаривался инеем.

— Завтра дадим восемь, — сказал Дубенко, — а потом... Каждые сутки выпуск будет все расти и расти.

— Тогда начнется обыденная кропотливая жизнь, Богдан Петрович, — сказал Угрюмов.

— Обыденная, кропотливая, — повторил Дубенко, — не хочется говорить тривиально, но нам эти будни приносят праздник победы...

## ГЛАВА XXXIX

Перед ним последние письма Тимиша. Они пришли с Южного фронта. Родной Тимиш! Он сражается, отважный сын Родины, он грустит о потерянном, но знает, что зажегся уже факел, осветивший будущее.

По земле Украины идут полки Красной Армии. Пусть там темно от пожаров, пусть на земле тени виселиц, но впереди горит звезда освобождения. Она вспыхнула под Ростовом, Тихвином и, наконец, под Москвой. Теперь оттуда бегут вооруженные иноземцы, запятнавшие навеки свою солдатскую совесть и честь.

В наступление пошли наши войска и наши генералы. Среди них кавалерийский генерал Трунов — его гвардейские полки скачут навстречу победе. Он получил признание и славу — командир Николай Трунов, хладнокровный полководец, выросший из озорных конных разведчиков гражданской войны. Его брат Тимиш Трунов — один из миллионов бойцов. Письма его шли долго, виляя по незнакомой трассе, и, наконец, дошли сюда, к Уральскому хребту, приютившему тысячи кузниц победы.

«Всего год назад ты был мирным человеком, Тимиш, — так начал свое письмо Дубенко, — ты занимался искусством. Придя из села в древний город Киев, расположенный на крутом гребне, ты познал науки и радость творчества.

Помнишь, как ты приезжал к нам, как тянулся ты к нашей Танюше, как подсолнух к солнцу, и вечерами твое лицо освещалось радостью, и ты подпевал чистым голосом любезные нашим сердцам песни родной Украины. Ты напевал песню грусти и тоски — «Взял бы я бандуру» или широкую и игривую — «Ой ще сонце не заходило». И тогда нам представлялись бескрайние поля пшеницы и гречи, соломенные крыши хат, вишневые садожки, вербы у прудов и подсолнухи у тына.

Киев ты всегда называл трогательно — «мий дидуган». Помнишь, мы стояли на Владимирской горке и казалось нам, сидит над рекой знаменитый дидуган-лирник, рокочит старинные думки, плывут по просторному Днепру «дубы» твоих и моих предков. Тогда же мы слышали прекрасную, хотя и сумную, песню о кандалных, ждущих избавления. Вставали перед глазами нашими могучее Черное море, галеры с прикованными хлопцами-запорожцами, невольничьи рынки Каффы, Константицы. Знали ли мы тогда, что снова придут на Украину месяцы страданий и мук?

Мы вспоминали отчаянную вольницу Хортицы, степи, видевшие стремительных и удачливых всадников, поборников воинской славы во имя родины. Они завещали ответственность перед

родной землей, нерушимость товарищеской дружбы. У бедер их висели клинки, сработанные лучшими оружейниками, а на булатах, свитых из шести стальных полос и после откованных и закаленных по особому способу, чернели арабские письмена. Мы знали эти сабли. Они передавались из рода в род. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну торжественно передавалось это оружие — символ верности родной земле, символ гибели черного недруга.

И, когда началась година испытаний, были вынуты из ножен сабли предков, безмолвно мы поклялись на них и стали побратимами. Так назывались в нашем запорожском славном войске братья по духу. Ты родной мне человек, как и родной мой товарищ и побратим по гражданской войне — твой брат Николай, как родной мне, твой батько — могучий старик Максим Трунов, человек, повторивший свою славу. Я вторично познал новых своих побратимов — людей труда, моих соотечественников — украинцев и уральцев, чьи подвиги не овеяны дымом сражений, но также велики и благородны...

Настало время, и миллионы наших мирных людей пошли по дорогам войны.

Враги, вначале опьяненные успехами, увидели сопротивляющийся, могучий народ. Все народы, объединенные под солнцем Ленина—Сталина, сплотились, поднялись против иноземцев.

«Черная смерть», — лепечут враги, пораженные грозным оружием, а мы благодарно зовем наших соколов «Светлой жизнью». Боевое оружие создается везде, дорогой Тимиш. Отовсюду несутся к фронту полки «Черной смерти». Они летят по заданию великого полководца, по заданию отчизны и сердца. Их сработали узловатые руки рабочих Урала, Татарии, Сибири и нашей Украины. Тяжел и тернист был наш путь сюда, Тимиш. Трудно приходилось восстанавливать уже раз созданное. Но все осталось позади. Промышленность работает, и невиданное переселение арсеналов окончено в нашу пользу.

Тут работают люди, которых мы смело можем назвать гвардейцами тыла. Их подвиг у мартенов, станков и домен так же почетен, как подвиг на бранном поле. Здесь тоже тяжело, но люди сурово насупили брови и сжали челюсти. Все для победы! Таков лозунг наш, работающих в тыловых арсеналах страны.

Ты доживешь до победы, наш родной Тимиш! Мы все доживем до победы разума и справедливости. Родная наша Украина будет освобождена. Снова зацветут на полях и у тынов золотые подсолнухи, снова белым и душистым ковром раскинётся греча и возвратятся люди на свои места. Будут построены новые дома, на оголенные стропила оставшихся хат и сараев лягут желтые навилни пшеничной соломы. Будет жить Украина!

Скоро снова запоет Украина, не удастся врагу онемечить певучую украинскую мову. И родина-мать простит своему сыну его раннюю седину, о чём ты кручинишься в своих письмах.

Пиши нам, родной Тимиш...»

### ГЛАВА НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Дубенко стоял на высоком холме. Рядом с ним, прижавшись к плечу, притихшая, похудевшая Валя. Снег слезался, и где-то внизу, ближе к земле, бродила влага. Венок сизой тайги окаймлял гористые горизонты, и над тайгой, в западной части, поднялись перистые облачные лучи, подсвеченные солнцем. Может, это отражение недалекого северного сияния? Может, фантастически перенесенные за тысячу верст отблески далеких кровопролитных сражений?

Город разбросался черными домами, поселками шахт по склонам трудолюбивых

Уральских гор, обмытых трудом поколений. Здесь на взгорье сияли снега, воздух был чист и можно было дышать всей грудью.

По тропке, протоптанной шахтерами, бежали школьники, размахивая сумками. Они краснощеки и веселы. Они счастливы, эти уральские дети, они не видели близко войну...

Дубенко смотрел на кирпичные стены завода, оранжевые от света и игры снежного фирна, на корпуса, срубленные из уральской ели, пихты и кедрача, сборочные цеха цвета пшеничной соломы. И чуть подалее, почти сливаясь с тайгой, — бараки, длинные, приземистые. Редкий ельничек, остаток вырубленных лесов, торчал из-под снега. Там ночью прошел заяц. Он трусливо надевал восьмерок и исчез где-то в сугробах лога.

Рев мотора и снежная пыль. Дубенко снял шапку и помахал. С аэродромного поля плавно взвилась машина с поднятыми крыльями — бронированный штурмовик. Самолет пронесся, оставляя след отработанного газа и клубчатый вихрик разбитого винтами воздуха.

— Романченко? — спросила Валя.

— Романченко! Его уральская пяти-сотая машина!

Когда-то Романченко сбил «юнкерс» в отместку за нападение на беззащитный «Поселок белых коттеджей». С тех пор прошло не так уж много времени. Битва идет — и звезды, которые блеснули сейчас на серебристых крыльях машины, сияют и отсюда, с Востока...

Сыны Украины, побратимы, здесь тоже Советская Россия, здесь тоже наша родина, товарищи!

1942 г., Урал.

# Любовь

В. ИЛЬЕНКОВ

Рассказ

★

Под вечер полк майора Коробова вошел в деревню Выселки. Под штаб пришлось использовать один из двух уцелевших домиков. Остальные дома сгорели от немецкой артиллерии, которая прикрывала отход своих войск.

Выселки стояли на той черте, до которой докатились немецкие орды, стремившиеся в Москву. Деревня оказалась в полосе между смертью, надвигавшейся с запада, и жизнью, идущей с востока. Немцам не суждено было войти в эту деревню, и они расстреляли ее в припадке бессильной злобы.

Майор Коробов, согнувшись, вошел в маленький домик, к которому связисты уже протянули провода.

— Здесь есть люди, — сказал начальник штаба, указывая в угол.

Коробов пригляделся и сквозь полусумрак увидел две кровати, на которых лежали старик и старуха. Они были неподвижны, и майор спросил:

— Вы живы?

— Живы, миленький... Живы, — ответил слабый женский голос. — Старик вот слаб... Пятый день не емши лежим... Как началось это светопреставление, так и лежим... Смерти дожидаемся...

— Как же вы так остались? Почему не ушли раньше?

— Нам уходить некуда, миленький... Мы тут всю жизнь прожили... Тут родились, тут детей вырастили... Тут и помирать будем. Старик девяносто восемь, а мне девяносто три... На пять лет я помоложе была, когда мы повен-

чались... В тот год мы и березу на огороде посадили. Видал, поди, ее? Вот какая выросла...

Коробов видел эту березу лежащей на земле, с раздробленным стволом.

— Видал, бабушка. Высокая... Красивая стоит, — сказал он, нахмутив брови.

Он распорядился, чтобы стариков накормили, и занялся своим обычным делом. В избу пришли командиры с докладом.

— Только прошу, товарищи, не курить, — сказал Коробов. — Нас много, домик крохотный, и к тому же здесь больные старые люди лежат.

И хотя командиры за время войны привыкли видеть каждый день раны, болезни и смерть, и казалось, что ничто уже не может удивить их, они с любопытством смотрели на стариков, не захотевших покинуть свой дом, свои Выселки. Говорили вполголоса, дверь прикрывали мягко, по-домашнему. Курить выходили на улицу.

— Да-а... Это подвиг, — проговорил начальник штаба, покручивая реденькие усы; бывший сельский учитель, он любил деревенских людей, вот такие крохотные домики под соломенной крышей, низкие потолки, пение сверчка и широкие русские печи.

— Какой подвиг? — переспросил майор, просматривая докладную записку санитарного врача.

— Прожить почти столетие и все так умирать, — это подвиг... И вот :

второй любви к своей земле, мне кажется, и заключается та великая сила, которая всегда спасала Россию от всяких Батыев, Наполеонов. Спасет и теперь.

— Дорогой Иван Михайлович! Я удивляюсь вашей способности философствовать после нескольких бессонных ночей, — проговорил майор, сбрасывая с себя маскировочный халат. — Как хотите, а я вздремну.

Он повалился на лавку и тотчас же захрапел, а начальник штаба набил табаком трубку и вышел за дверь.

Над Выселками светила луна. Чернели на снегу пятна пожарищ, разбросанные по пригорку. Кое-где дымилась еще догоравшие постройки. Пахло дымом, не тем вкусным, пахнувшим берестой дымком, какой вставал над деревней по утрам, когда хозяйки растапливали печи, а едкой горечью пожара, горькой, душливой и тоскливой.

Иван Михайлович Баранов вспомнил свою молодость, учительские годы вот в такой же деревушке, такие же морозные декабрьские ночи, березы, опушенные инеем, домики, засыпанные до окон пушистым легким снегом, — тихий мир, в котором хорошо было его мягкой лирической душе. Иван Михайлович мечтал провести всю жизнь на одном месте, которое он облюбовал для себя навсегда. Он не любил товарищей своих, менявших школы каждый год. Главное достоинство человека он видел в умении прижиться к людям, сделаться необходимым для них, как береза под окном. И он любил лес, где каждое дерево растет там, куда семечко занесло ветром. Не потому ли так красив естественный лес и так скучны распланированные парки?

Иван Михайлович долго стоял и смотрел на черные квадраты, разбросанные по пригорку, взволнованный словами старухи. Его позвали к аппарату.

В углу, где стояли кровати, было тихо. Переговорив по телефону, Иван Михайлович забрался на печь и мгновенно уснул.

Иногда попискивал телефон, и связанной натужным голосом взывал:

— Береза, слушай... Береза!

В полночь очнулся от забытья старик

и приподнялся. Он увидел человека в белом, который звал какую-то березу. Старику стало страшно. «Помираю», — подумал он.

— Афимьюшка... Афимьюшка, — позвал он старуху, но голос его был так слаб, что старуха не услышала.

Старик спустил ноги с кровати и протянул руку, чтобы разбудить подругу и сказать ей последнее слово, но пошатнулся и мягко сполз на пол. Подняться он уже не мог и усталое закрыл глаза.

Он лежал, покорно ожидая того, что должно было наконец случиться. Смерть не страшила его, — ведь должен же когда-нибудь умереть человек. А он прожил на земле немало лет. Пора и честь знать. Ему жаль было лишь Афимьюшку, которая останется одна.

— Береза... Береза! — повторил телефонист, и старик видел веселое кудрявое дерево, росшее на огороде.

Он видел солнечный майский день, в который они с Афимьюшкой принесли из лесу маленькую березку. Дерево еще не распустилось, но почки набухли и коричневые скорлупки, прикрывавшие жизнь их от зимних лютых морозов, треснули. От почек березки шел тонкий запах весны, и Афимьюшка, стройная, высокая, похожая на эту березку, вдыхала лесной аромат, прикасаясь к ветвям разгоряченным лицом.

Потом старик увидел Афимьюшку под большой березой, окруженной ребятами. Их было восемь: Миша, Сережа, Алена, Настенька, Коля, Егор, Костик и Шурочка. На березе вокруг скворешни сидели черные с белыми крапинками на крыльшках и сизым отливом на шейках скворцы. Они свистели, перелетали с ветки на ветку, и Афимьюшка рассказывала ребятам о далеких теплых странах, откуда прилетели скворцы...

— Береза! Береза! — крикнул сердито связист и разбудил старуху.

Она посмотрела на пустую постель, и сердце ее сжалось от предчувствия беды.

— Михеич, где ты? — спросила она. Но старик не отзывался.

Афимьюшка увидела, что он лежит на полу. Она попробовала поднять его, но старик был тяжел. «Людей попро-

силь бы», — подумала она, но телефонист говорил что-то в трубку, остальные спали, и старуха не решилась будить их. «Умаялись, поди... Пусть отдыхают».

Она снова приподняла старика, напрыгая все свои силы.

— Михеич, ты хоть чуточку ногами помогай мне...

— Ослаб я, Афимьюшка... Ты уж меня не трожь, — ответил старик, жалея старуху. — Надорвешься...

— Ногами шевели, Михеич... Я подниму...

И она последним усилием слабеющих рук подняла старика. Острая боль в животе заставила ее опуститься на пол.

Баранов проснулся от громкого сто-на старухи.

— Почему же вы не разбудили меня? Разве можно вам поднимать такую тяжесть, — сказал он, укладывая в постель Афимьюшку.

— Вам, миленький, и без нас много забот... Как можно будить... Вам воевать надо.

Баранов вызвал врача. Осмотрев ста-

руху, он отозвал в сторону Баранова и тихо сказал:

— Ей жить часа два осталось.

Под утро старуха умерла. Когда ее выносили, чтобы похоронить в воронке, вырытой снарядам возле сломанной березы, старик сказал:

— Афимьюшка, как же я без тебя теперь жить буду... Афимьюшка...

После этого он все время лежал молча, неподвижно.

На рассвете полк уходил дальше, на запад. Связисты сматывали провода. Иван Михайлович подошел к старику, прикоснулся к его холодной, застывшей руке и молча вышел из дома.

Старика похоронили в той же воронке в корнях березы, разорванных взрывом, на великой черте, через которую не могли перешагнуть немецкие полчища.

В апреле в Выселки прилетели скворцы. Потом пришли люди, несли на руках детей.

В опустевшем домике снова зазвучали человеческие голоса, и над соломенной крышей поднялся легкий дымок, пахнувший берестой.

# БИ ХЭППИ

ЮРИЙ GERMAN

(Из дневника М. Лахониной)

★

Би хэппи—по-английски — будь счастливым. Когда я узнала, что те дневники мои, которые я отдала проезжему журналисту, будут напечатаны, мне захотелось дать им такое название.

— Би хэппи,—говорила я английским летчикам, улетающим в бой.

— Будь счастлив, — говорю я моим друзьям и товарищам, провожая их самолеты в воздух.

— Будь счастлив, би хэппи, читатель.

Где бы ты ни был сейчас, — в тылу или на фронте — ты воюешь.

Будь счастлив.

## Первый месяц

Вот я и приехала. Я техник-интендант второго ранга, и теперь меня часто, почти всегда, называют техником-интендантом. Мне странно это, я еще не привыкла к тому, что я человек военный, что мне положено носить форму одежды согласно существующему расписанию и что я, например, не могу сегодня надеть синее шерстяное платье, которое за ненадобностью так и лежит у меня в чемодане, вместе с томиком Хексли, сонетами Шекспира, стихами Киплинга.

Сегодня меня первый раз за все это время назвали по имени. Капитан Абросимов — тоже ленинградец и тоже василюстровец, милый и, видимо, добрый человек — после служебных дел, которые я кладу себе за правило не записывать в дневник, вынул вдруг из

кармана плитку шоколада (надо заметить, что плитка эта в кармане у капитана размякла), протянул мне и сказал:

— Вот, кушайте, вам, девушкам, нельзя без лакомств. Берите, техник-интендант второго ранга. Кстати, как вас величают?

— Лахонина, — не без удивления ответила я.

— Что Лахонина — знаю, — несколько обидевшись, сказал капитан, — а вот по имени. Имячко, я думаю, вам дано.

— Марья Романовна. Маша.

— Так, значит, и запишем, — сказал капитан, — Маша. Маруся.

Глаза капитана вдруг блеснули, и он доверительно перешел на ты.

— Ты Маша, — сказал он, — и жена у меня Маша, и дочка Маша. Ты, товарищ техник-интендант второго ранга, имей в виду, я сразу заподозрил, что раз инициалы М. Р.—без Марии не обойтись. Вот. Очень рад. Кушай, Маша, шоколад и иди, брат, спи. Как устроились? Ничего? Или плоховато? Ничего — война это война...

Я сидела у капитана в землянке, ела шоколад, и мне ужасно как хотелось плакать. Не знаю, почему. Когда прощались с папой и с братом Сережей, и тогда в Ленинграде, в первые дни войны, не было у меня такого чувства, а тут, поди ж ты. Ну, совершенно этот Абросимов разговаривает, как папа — и эта его



манера переходить на ты от душевного расположения, и эта жена Маша, и дочка Маша — ведь у меня мама тоже Маша, то-есть не Маша, а Марья Николаевна, — и манера спрашивать и глаза шурить, — ну, совершенно отец, где он сейчас, где его танк, и его адъютант Миша, и все, все?

Не помню уж, как и что, но только капитан очутился вдруг возле меня и совершенно папиным голосом стал говорить мне, чтобы я бомбежек не боялась, что это у меня нервы разыгрались от сегодняшних налетов на наш аэродром, что все образуется, что я потом буду молодец и так далее. Ну как ему скажешь, как объяснишь?

Очень было неловко и стыдно.

В общем, ушла я от капитана в неважном состоянии. Долго стояла возле своей землянки. Еще лето, а тут уже совсем холодно. Холодно, ветрено, мох, валуны — огромные, неправдоподобные. Север, север, Заполярье. Прямо передо мною воронка от немецкой бомбы. Неужели он теперь будет думать, что я плакала от страха после сегодняшней бомбежки?

### *Понедельник, 18 часов*

Попишу немного про свою новую подругу — Валю Федосееву. Очень это смешная и милая женщина и очень хорошенькая, вот уж, верно, судьба не обидела ее ничем: и личико точеное, и руки красивые, и плечи, и ноги. Я про нее уже много знаю, она мне рассказывает про себя и про свою жизнь — и все правда, лгать и притворяться она не умеетнисколько. Летчики ее любят и тоже мне рассказывают о ней разные вещи. Она появилась в П. задолго до войны и поступила работать в столовую. Есть такие девушки — от природы рационализаторы, настоящие стахановки, с гордостью, с честолюбием, обязательно ей нужно работать лучше всех, быстрее, ловчее... Вот и Валя такая же. Пресмешно она рассказывала, как в столовой подавали до нее суп. Командиры спешат, времени мало, а девушки таскают по одной тарелке, в лучшем случае по две. С подносами ничего не выходит, — столовая тесная, у них, как и у нас, не сто-

ловая, а кают-компания — все по-морскому — хоть и на суше, ну и, как Валя говорит, никак в этой столовой не развернуться. А Валя сразу же придумала: глубокую тарелку покрывала мелкой, на мелкую глубокую и так носила по шесть штук сразу. Целый перевод в технике подачи первого блюда. Моя Валя всех победила и завоевала всеобщие симпатии. Она действительно знает вкусы всех решительно командиров — знает, кто любит шницель с подливкой, а кто просто, знает, кто ест много компотов, а кто специалист пить чай, мало того, знает все про «своих командиров», как она называет летчиков, знает, кто на ком женат, у кого когда день рождения, кто себе заломбироваз зуб.

Когда началась война — Валя была уже замужем и ее не хотели сюда брать из-за ребенка, но она поехала, настояла и теперь работает тут кем-то вроде зава столовой. Вроде — потому что она делает решительно все. И помогает коку на кухне, то-есть в камбузе, и подает, и разносит по землянкам кофе и какао в термосах, и ездит на базу за продуктами, и выкармливает поросенка.

Муж у Вали на фронте. Он старшина, фотография его приколота кнопкой над वालीей постелью. Красивый здоровяк, глаза смышленные, и рот из тех, которые не могут не улыбаться. Валя про него говорит: «мой мужик» и считает, что никакая пуля не возьмет ее Гришака.

— Он в огне не горит и в воде не тонет, — вслух размышляет она, — он мне так и заявил, — с меня взятки гладки, меня бабка заговорила, я бессмертный.

Сына она видит каждый раз, когда ездит в П. Он живет там с бабушкой, которая на-днях будет эвакуироваться. Никакой психологии на эту тему Валя не разводит, только однажды она сказала:

— Ничего, не пропадут там. А летчиков своих я тоже оставить не могу. Они без меня непривыкшие, что ж это выйдет. И мужик мой тоже так считает. Слышь, Маша, когда я замуж вышла, мне мои летчики разные подарки делали, честное слово, но веришь? Раздо-

будько подарил полотенце вышитое — от бабки у него наследство. Логинов подарочную коробку подарил — различная парфюмерия «Красная Москва», Голощапов стих написал и шоколад подарил, все подарки подарили.

Когда Валя улыбается — на щеках у нее ямочки, походка у Вали легкая, но падать она умеет удивительно. Много бьет посуды, по ночам щелкает на счетах, а после боевых вылетов обязательно сама подает летчикам и огорчается, когда мало едят.

#### *Четверг, 22 часа*

Писем от папы и Сережи все нет и нет, а я пишу им часто, почти каждый день. Где папа? Где Сережа? Что с ними?

Вчера к нам приехал новый лейтенант Киценко. Это замкнутый человек, молчаливый до крайности, неприветливый и сухой. Зовут его Петр Петрович. У него светлые, непроницаемые глаза, он почти ничего не ест, чем ужасно мучает Валу, по-моему, почти не спит — сегодня он весь день просидел в своей машине — ждал вылета, но вылетов не было, я видела, как он шел с летного поля — ноги его тяжело ступали по грязи, рот был крепко сжат, щеку держало. Странный человек.

#### *Пятница, ночь*

На моей койке спит девочка по имени Надя, по фамилии Гречуха. Рядом, на своей койке сидит Валя и мешает мне писать — непрерывно делится со мной впечатлениями сегодняшнего утра.

На наш аэродром теперь привозят иногда раненых. С фронта их доставляют на машинах или на легких самолетах, тут у нас военврач Салтыков — в специальном бараке делает раненым перевязки, кормит их, поит, иногда оперирует и почти ежедневно отправляет в глубокий тыл на транспортных санитарных самолетах. Пилотируют эти самолеты заслуженные, опытные летчики-северяне. Разумеется, санитарные самолеты не вооружены.

Сегодня рано утром к нам пришла такая машина брать на борт раненых. Я была неподалеку и все видела. Видела,

как тяжело раненных на носилках поднимали по лесенке в самолет, видела, как командовал погрузкой бородатый Салтыков, и видела маленькую сестру — в вагонной тужурке, в сапогах, в пилотке. Ну, сестра и сестра — мало ли их летает в санитарных самолетах. Потом начались вылеты — где-то в районе М. прорвались «юнкерсы» — наши летчики уходили в воздух, возвращались, опять уходили, и я совсем забыла про санитарный самолет и про маленькую сестру в сапогах и в пилотке. Потом вижу — санитарного самолета нет — ушел, а капитан Абросимов ходит сердитый и поглядывает в небо. Так прошло часа четыре. Наши все возвратились, спорят о чем-то у машин, все как будто нормально, а в воздухе чувствуется неблагоприятное, кто жывал подолгу в летной части во время войны, тот знает это смутное состояние томления — точно перед грозой, — нехорошо. И вечно спокойный Абросимов явно нервничает. Наконец, я узнала, в чем дело: пропала санитарная машина. От нас вышла, а в пункт прибытия не попала.

Примерно часов в четырнадцать садится на поле лейтенант Киценко. Выходит из машины и докладывает капитану:

— Так и так, там-то и там-то обнаружен самолет, плоскость обломана, лежит в скалах, дымится, возле самолета есть люди, большая часть лежит, один человек ходит. Самолет санитарный, по всей вероятности, подбит.

Киценко говорит, и щека у него дергается. Дергается, дергается, и вдруг я вижу, что он улыбается. Кривая такая улыбка — появилась и пропала, появилась и пропала. Мне даже страшно стало. Что, думаю, за человек? Нашел время смеяться! И капитан это заметил и уже по дороге к грузовику говорит лейтенанту, не оборачиваясь:

— А вы, лейтенант, собственно, чему улыбаетесь? Что смешного-то в этом?

Киценко отвечает:

— В этом, товарищ капитан, нет решительно ничего смешного.

Я посмотрела на него: улыбается. В это время капитан предложил мне тоже ехать. Я полезла в кузов, со мной Салтыков в шинели, медсестра, носилки

бросили, сумки с медикаментами, санитар еще впрыгнул и, наконец, Киценко. Я не слышала, как он спрашивал у капитана разрешения ехать, но слышала, как тот сказал ему:

— Нужды нет, но если хотите — поедте.

Никогда в жизни не видела я такой сумасшедшей гонки, да еще по такой дороге — вернее, без всякой дороги — по камням, по гати, по болоту. Абросимов сам сидел за рулем. Нас так бросало в кузове, что я порою не могла сообразить, где мои руки, где ноги, где голова; бешеный ветер, слева воет и ревет серое, холодное, пенистое северное море, справа огромные, лысые мрачные сопки.

Наконец, мы приехали. Грузовик остановился — дальше пути не было. Надо идти пешком.

Взяли носилки, сумки, отправились. Лезли через скалы, речушку перешли, вымокли, опять в скалы и вышли у самого самолета.

Никогда я не забуду этого зрелища.

Уже темнеть начало, ветер свистит, холодно, поздняя осень, тучи ползут, а возле наших ног, на камнях лежат раненые, тридцать пять человек, и все какие-то прибранные, лежат так, как будто им полагается тут лежать, как будто здесь госпиталь или перевязочный пункт. Вот мы идем между этими ранеными и не сразу понимаем, что многие из них мертвые, треть, примерно, мертвецов, и пилот тоже мертвый лежит навзничь и глаза у него закрыты. Пилот уже пожилой человек, седые усы у него подстрижены, лицо сухое, спокойное. Я на него посмотрела и поняла, что тут не только раненые, поняла — здесь мертвые. И увидела, что самолет еще горит, дым от него ползет, и увидела маленькую медсестру в сапогах и в пилотке. У нее все лицо в веснушках, и оттого, наверное, она показалась мне страшно, смертельно бледной. Бледное лицо, по которому медленно сползают капельки пота, и совершенно детские широко открытые глаза. Никогда мне не забыть, как вдруг подходит она к военврачу Салтыкову, неумело козыряет ему своей детской рукой и рапортует, слегка заикаясь, что

она, медсестра Гречуха, находилась в самолете, когда фашистский стервятник — она так и сказала — фашистский стервятник — вынырнул из-за сопки и дал очередь по санитарному самолету.

Я слушаю, как она говорит, и почти ничего не понимаю. Я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю сразу, не могу понять, что мертвецы, которые лежат вокруг меня на камнях, не разбились при падении самолета, а их, раненых, тяжело раненных, добил из пулемета фашистский летчик. И никто этого не понимает. Я слышу, как капитан Абросимов переспрашивает, как все говорят с борт-механиком, у которого переломана нога, и как борт-механик все подтверждает, попеременно со стонами и глухой руганью. Потом мы ходим среди раненых. Военврач Салтыков наклоняется над ними и, морщась всем своим волосатым лицом, что-то делает среди стонов, среди ветра, дующего от моря, потом мы носим носилки, и все время я вижу неподалеку от себя круглые, детские, чистые глаза и льняные волосы, выбивающиеся из-под пилотки. Мы носим раненых. Уже темнеет. Почти совсем темно. Пришла еще машина, еще две санитарных. Мы несем второго пилота, который обгорел, отбивая пламя от раненых. У меня обрываются руки. Я слышу, как второй пилот кричит доктору:

— Послушайте товарищ военврач! Послушайте меня, подойдите поближе, одну минуточку. И вы, товарищ капитан. Чорт его не знает — буду ли я жить, но мне надобно, чтобы это дело запомнили...

Мы ставим носилки на землю, на камни. Уже совсем темно. В темноте белое лицо летчика. Он говорит с трудом, но очень громко, так, чтобы все слышали то, что он хочет сказать. Мимо нас проносятся носилки. Я узнаю Киценко. Он несет носилки.

*Воскресенье*

Нет ни одной минуты свободной.

Очень коротко, чтобы не забыть: валин старшина более двух часов сдерживал немцев из горно-егерского ба-

тальяна — один. Об этом написано в газетах. Валя сияет, глаза у нее блестят. Потом запишу подробно.

Командир крыла — Джеймс Бойнтон Мэрридю. Капитан Майкл Монт. Майор Билл Брэйк. Майор — Шон О'Нилл. Пилот-офицер — Максвелл Кристи (новозеландец), летчик-лейтенант Реджинальд Скил. Майор Джеральд Этвуд. Пилот-офицер Майкл Этвуд, летчик-сержант Томми Флинт. Доктор майор Антони Блисс.

Они приехали в субботу утром. Их очень много. Все запишу потом. А когда потом? Мой капитан сказал мне вчера: — Вот и для тебя, Маша, наступили летные дни.

Все-таки они меня отлично понимают. Я недаром потратила эти годы на язык Диккенса и Шекспира.

### Суббота

Кто кого переупрямит? Я сон или сон меня?

Пока-что меня никто еще не переупрямил. От папы телеграмма. Где он?

Возьмем себя в руки, Маша, возьмем так, как взяла маленькая Надя Гречуха, с которой тебе надо брать пример, потому что ты не стоишь ее ногтя.

Записать все дальше про Надю. Дальше было так. Второй пилот сказал нам — военврачу Салтыкову, капитану Абросимову, мне — случайному человеку — и санитару, что всех раненых, которых мы застали в машине, спасла от смерти Надя Гречуха. Произошло это так: когда фашист обстрелял санитарный самолет и когда многие из раненых на надинах глазах были убиты, а некоторые ранены во второй и даже в третий раз и когда самолет загорелся — трагические пули немца зажгли бензобаки, — пилот повел машину на посадку. Но как можно было сесть в этих местах? Тем не менее, он, смертельно раненный, машину посадил, правда, поломав плоскость. В это мгновение самолет запылал во-всю. Второй пилот и борт-механик отворили аварийный люк и вместе с радистом принялись сбивать пламя. Здесь выяснилось, что у борт-механика сломана нога и он выбыл из строя. Самолет горел. Радист и второй пилот

увидели Надю, которая через аварийный люк выносила раненых из машины. Они не могли ей помогать — надо было сдерживать напор бушевавшего пламени. И они это делали, а Надя Гречуха носила и носила на плечах, на себе тяжелых командиров и краснофлотцев — носила одного за другим, носила, сгибаясь под тяжестью, падала, вставала и вновь лезла в горящий самолет и вновь вытаскивала оттуда людей, задыхающихся от чада, дыма, пламени, стонущих, окровавленных, выносила оттаскивала подальше от самолета, на такое расстояние, чтобы взрыв бензобаков не мог повредить, и опять шла.

— Мало всего этого, — говорил второй пилот, — вы слушайте меня, слушайте, что скажу, и запоминайте. Она нас подбадривала, эта девчонка, эта пиголица, она нам кричала: — еще немножко, еще чуть-чуть продержитесь, совсем уже мало осталось, двое или трое. Там оставалось больше, она знала, что больше, но она нас утешала, чтобы нам легче было. И она всех вынесла, всех — только один, мертвый, там остался. Вот тогда и рвануло. А потом она меня тащила. Когда меня ахнуло бензином и когда я загорелся, она меня стала шинелью закрывать и сбивала на мне огонь, и в сторону меня, в сторону...

Он говорил долго, никак не мог остановиться.

Спать Надя пришла к нам в каюту. Вошла и сказала:

— Здравствуйте.

Подумала и прибавила:

— Доброго вечера. Как у вас тут хорошо.

Села на корточки у буржуйки, протянула к огню маленькие, озябшие руки и немножко нараспев заговорила:

— И печка топится. Вы уже извините меня, пожалуйста, что я до вас пришла, но только военврач второго ранга товарищ Салтыков мне приказал, чтобы я сюда до вас шла, и бойца со мной послал, чтобы указать мне, где техник-интендант второго ранга проживают. Вы уже извините, я вам мешать не буду, я тут тихонечко лягу возле печки и посплю, а завтра раненько, до свита уйду...

И она вдруг зевнула, как зевают дети — не договорив фразу, зевнула и показала нам ровные, острые, белые зубы. У меня нет другого слова для того, чтобы определить последующие события как «вакханалию гостеприимства». Узнав, что девушка остается ночевать, Валя как-то даже взметнулась, взвилась со своего места, поскользнулась, едва не упала на горящую печку и исчезла, произнося какие-то заклинания. Потом к нам в землянку влетел наш шеф — краснофлотец Змиев, поглядел на нас сумасшедшими глазами и молча убежал, схватив со столика мой термос. Потом подавальщица Тося принесла на сковороде огромный омлет. Потом отдельно она же принесла хлеб и масло. Не договорив, она умчалась. Потом было какао, крутые яйца, гоголь-моголь и еще омлет. У Нади на лице появилось выражение испуга. Потом был чай. Надя ела и пила молча, и выражение робости перед Валею уже не покидало ее.

Подполковник Мэридю просит пожаловать миссис офицер к нему.

### *Второй месяц. Вечером*

А дни бегут, бегут, бегут. Но я упрямая и догоню все в дневнике.

Маленькая медсестра съела все и принялась за какао, которое она пила с блюдечка. Потом мы принялись ее укладывать спать. Усевшись на моей койке, Надя сняла ватную куртку, большие сапоги, гимнастерку и осталась в рубашке, до того детской, что мне стало смешно.

— Сколько вам лет? — спросила я.

— Семнадцать.

Она сидела, обхватив себя руками за худенькие плечи и смотрела на меня снизу вверх круглыми глазами.

У нее большая семья. И трудно им было. Год назад она, Надя, пошла работать в детскую клинику — нянечкой. К самым маленьким, у доктора Шапиро работала, очень хороший человек, к детям прямо-таки замечательный человек, лучше не бывает. Не слышали про доктора Шапиро, не знаете?

Она удивилась, узнав о том, что мы ничего не знаем о докторе Шапиро.

— Он большой человек, — сказала Надя с уважением, — очень большой. У него научные труды имеются.

Мы молчали. Надя продолжала рассказывать. Спокойная до этих минут, она вдруг заволновалась. Круглые детские пухлые ее щеки покрылись румянцем — таким ярким, что в нем исчезли даже веснушки. Круглые глаза заблестали. Надя рассказывала о том, как в начале войны она стала проситься на фронт и как ее не пускали. «Но только я свое доказала — через брата, он у меня механиком работает у нас в гражданской авиации. Ну и взяли меня на аэродром к ним диетической сестрой: это для пилотов и для всего легкого состава есть диетическая кухня — специально готовить надо...»

— Два раза знакомые летчики-диетики в воздух меня брали, чтобы я облеталась. На вираже страшно было, а так ничего, обыкновенно...

Надя засмеялась, вспоминая, и открыла рот рукой, и мы, глядя на нее, тоже засмеялись.

— Ну, а после наша сестра Аникеева заболела, — продолжала Надя, — аппендицит у нее сделался, и пришлось Аникееву с самолета снимать перед самым вылетом. Я к начальнику. Говорю: товарищ начальник, Павел Георгиевич, разрешите мне лететь. Говорю, я за себя ручаюсь... А он на меня не смотрит и звонит по телефону. Вызванивает сестру из госпиталя, только на мое счастье все телефоны заняты, и он трубку вешает, сердится и говорит: «Чорт знает, чорт знает, чорт знает». Тут диспетчер — Митя: «Товарищ начальник, разрешите доложить — есть погода». Пилот заходит, спрашивает: «Ну как, пошлете Гречуху?» А я так тихонечко: товарищ начальник, Павел Георгиевич... Он как закричит на пилота: «Что вы мне тут на нервах играете, абсурд — ребенка посылать, Гречуха — ребенок, заявляю вам со всей ответственностью, она не может быть полноценной сестрой для полетов». У меня даже сердце забилось, верите ли, девушки. Почему я неполноценная сестра? А он вдруг: «Давайте, летите. Одевайтесь и в воздух. Живое». Машинка

уже заправлена была, я по лесенке влезла, села в кресло, сумка со мной, носилки есть, аптечка тоже имеется, бачок с водой, все хорошо, как полагается. Вот и прилетели к вам. Приняли мы на борт раненых и ушли в воздух. Раненые мои ничего, не охают, не стонут, я между ними хожу, тому голову поправлю, тому попить дам. Тут он и налетел...

Надя посмотрела на нас широко открытыми глазами и повторила:

— Налетел. Я его первая увидела, как он заходит, и глазами своими увидела, как в нас пули летят. Дверь из рубки растворилась — оттуда механик, что, — говорит, — что? А у меня капитан Ефимов уже убитый — в голову ему пуля попала, а ефрейтор один, татарин, сел и кричит: — сволочь, что делаешь, давай мне винтовку, я стрелять его буду. И сразу дым пополз, а машина наша нырять стала, и он — рядом, рядом — стреляет, и свастики его проклятые я вижу и как он заходит вижу, и все он по моим раненым, по раненым...

Маленькие свои ладони Надя прижала к шее и помолчала.

— А потом мы ударились, — с ужасом глядя на меня, продолжала она, — о камни ударились. А спереди горело. И я стала их выносить. Дверь-то не отворялась, заклинило ее, они мне снаружи аварийный люк выломали и лестницу к нему приставили и побежали, потому что передняя стенка горела, а Сахаров на сломанной ноге — это даже вообразить, девушки, невозможно, как человек на сломанной ноге двигается. Вот я раненых вытаскиваю, а летчики пожар тушат, а там море шумит, ветер поднялся и этот немец над нами круги делает, смотрит на свою работу — низко-низко. Еще, наверное, хотел стрелять, да не вышел у него номер, — пуль, наверное, больше не было. И вот, девушки, я ношу и все считаю, сколько вынесла и сколько осталось. Они такие, девушки, все тяжелые, ну, прямо-таки никак не вытаскишь. Один, в особенности, боец — в ноги раненный, ну, такой здоровенный мужчина, прямо-таки огроменнейший дядечка, и все он меня просил: «Да бросьте вы меня, сестрица, к свиньям собачьим, физически меня нельзя вынести». Далось

ему это слово — физически. А я его вынесла. Волоком, волоком, потом в люк наполовину пропихнула, потом сама прыгнула и вытащила. Только пошла назад — вижу, второй пилот загорелся. Сам прыгает, и сам весь горит.

Она опять замолчала, вспоминая последовательный ход событий, но так и не вспомнила, махнула рукой и сказала:

— Потом пилот загорелся. Потом, наверное, потому что он от взрыва загорелся, а когда взрыв сделался, тогда я уже всех вынесла — только один в машине остался — капитан убитый...

— А потом что было? — спросила я.

— А потом я все над ними ходила, — сказала Надя. — Перевязки делала, которые еще были ранены. А этот «физически», который говорил, чтобы я его бросила, кушать захотел.

— Краснофлотец? — спросила Валя.

— Из морской пехоты. Рымарчук его фамилия.

— Не поздно будет ему сейчас снесть покусать?

— Да не надо, — сказала я, — их же там хорошо кормят, зачем.

— Так если, например, просто крутых яичек, масла, хлеба, какао...

Я промолчала. С Валею спорить бессмысленно.

*Среда, утро. 10.00*

Кое-что о моих новых знакомых и друзьях. Теперь у нас тут англичане. Это крыло британских военных воздушных сил. На красном кирпичном доме висит мраморная вывеска — серый квадрат — английские слова, вывеска прибыла из Англии, в свое время эта же вывеска была во Франции.

По утрам мы встречаемся с полковником у озера — здесь нечто вроде утреннего клуба. Наши летчики бегают сюда умываться — капитан Абросимов купается тут до сих пор. Мэрридю очень ему завидует и всегда восторженно ухает, когда Абросимов ныряет в воду с огромного валуна. Абросимов ныряет, а когда выныривает — лицо у него совершенно зверское. Потом плывет к берегу под восторженные крики наших и англичан. Вода в озере ужасно холод-

ная, и купанье длится не более нескольких секунд.

Сегодня Мэрридю пожелал мне доброго утра, потом сказал:

— Мне говорили про эту маленькую сестру милосердия, миссис офицер. Я и наш док майор Блисс просим разрешения сделать ей визит — маленькой сестре.

Я, конечно, не возражала.

Летное поле размокло от дождя. Англичане, в нарушение всяких своих правил, ходят без стальных шлемов. У них полным ходом идет работа — переделывают землянки на свой вкус. Мы с Васей Еремеевым смотрим и делимся впечатлениями.

— Это они строят в своих землянках каминчики, — говорю я Васе, — у них для дежурных землянки так же, как у нас, но только у нас в землянках печки или плитки, а у них будут каминны.

— Зачем?

— Чтобы было, как в доброй, старой, веселой Англии.

— А в Англии каминны? Ну? Везде? Вы были в Англии?

У младшего лейтенанта Василька Еремеева есть удивительная манера серьезно заинтересовываться любыми пустяками. Все в мире ему интересно, все привлекает его внимание, он всегда задает мне много вопросов и вечно ответы мои кажутся ему слишком лаконичными.

Моросит дождь. Мимо нас проходит Киценко. Василек его приветствует, как положено, и говорит мне:

— Вот человек! Никто не может с ним сойтись. А вчера во время вылетов он спас мне по-настоящему жизнь. Сам видел — два раза подряд — он шел на фашиста в лоб и два раза тот отваливал, потом через несколько минут еще фашист показался, и он на него опять в лоб пошел, и тот отвалил. И еще раз. Честное слово, я такого пилота еще не видел. И сбил машину. А потом, когда я погнался за фашистской, а другой немец мне в хвост пристроился, он — Киценко — заметил и дал ему прикурить. Потом, когда мы все собрались в кают-компанию, я ему говорю всякие слова, а он хоть бы что.

— Странный человек, — сказала я.

— А пилот первоклассный и бесстрашный совершенно.

Целый день переводила английский, офицеры страшно оживлены, сегодня они открывают свою кают-компанию и устраивают прием нашим командирам. Все приготовления я должна хранить в строгой тайне от наших. На машине ездила в город за пластинками для радиолы — нужны русские пластинки. Со мной ездил док — славный человек, лицо у него юное, свежее, а голова сильно поседела. Сказал мне, что его товарищи из-за плохой погоды и из-за непригодности к здешнему климату очень нервничают.

— Почему? — спросила я.

— Ваши офицеры много летают, а мы еще нет, — это сильно отражается на нервах.

— Но ваша материальная часть еще не готова.

— Чорт ее возьми, — сказал док.

Засмеялся и закурил сигаретку.

— Мистер Киценко — отличный пилот, — сказал он.

— Да, говорят.

— И капитан. Не так ли? Вообще полковник очень хвалит ваших товарищей — русских офицеров. Их меньше летать нас очень удивляет. Но ничего, ничего. Очень скоро и наши «харрикейны» пойдут сопровождать ваши бомбардировщики. Правда.

В восемнадцать ноль-ноль к нам в землянку пришли полковник Мэрридю и док. Вали не было. Надежда сидела на койке, подобрал под себя ноги, и читала.

Полковник и док не садятся. Оранжевое от загара и ветра лицо полковника выражает недоумение. Разумеется, он никак не ожидал, что маленькая сестра совсем девочка.

Мэрридю: О, разрешите мне свидетельствовать...

Глаза его вдруг лучатся добрым светом, и я слышу, как он говорит доку:

— Это просто маленькая шотландская девочка. Э, док?

Док наклоняет седую голову.

А шотландская девочка по фамилии Гречуха совершенно не знает, что ей надо делать. Румянец заливает лицо.

Час от часу же легче: полковник шелкнул портсигаром и задал сакраментальный вопрос по-русски:

— Сигаретт? Курвить? Пожалуйста.

Но портсигар спас все дело: в портсигаре, в крышке изнутри, фотография ребенка — курносая, детская мордочка. Оказывается — это меньшая дочка полковника. Кэт. Самая маленькая. Полковник еще не видел ее. О, но он увидит. Это очень интересно. К сожалению, она сейчас больна. У нее что-то с желудком.

Я перевожу Наде то, что говорит полковник. Надя моргает, раз, другой, потом вдруг начинает говорить.

— Скажи ему, — говорит она, — скажи — я хорошо детские болезни знаю. Скажи, что пустяки это. Это от того, что, наверно, мамаша перекармливает. Пускай не волнуется.

Доктор слушает с интересом, и вдруг оказывается, что он говорил полковнику нечто в этом роде. Теперь и доктор, и полковник совершенно покорены.

— Хо, — говорит полковник, — эта девочка кое-что понимает, я вижу. Она просто молодец.

Потом следует торжественное приглашение Нади на вечер к офицерам. Потом полковник прощается и уходит, а доктор остается. Мы разговариваем об Англии. Он спрашивает меня — правда ли, что я избрала своей специальностью английскую литературу. Конечно, это правда. У него кое-что есть с собой — он охотно мне даст. Например, «Лалла-Рук» нежного Шелли, Томсон «Времена года».

— Это все кончится, — внезапно говорит док, — кончится так же, как кончается все, и вы приедете к нам на острова. Моя жена и я, мы будем очень рады видеть вас в своем доме, миссис офицер. Тому, кто любит и изучает английскую литературу, обязательно надо пожить на островах.

Усмехаясь, доктор добавляет:

— Правда, у меня сейчас нет дома, нацисты испортили мне дом, но к тому времени он будет.

Прощаясь, он говорит мне, что сегодня маленькая сестра обязательно должна быть на открытии офицерского клу-

ба. До свидания, миссис. Директриссу русской кают-компании офицеры тоже просят быть. Впрочем, личное приглашение ей уже передано.

Директриссой доктор называл Валу.

### Понедельник, ночь

Валя уехала в город с ночевкой за продуктами, а к ней пришел ее старшина. Лицо у него темное от боев, глаза запали, по-моему, он легко контужен. Он отнекивается и посмеивается. Сидел у нас, пил чай, рассказывал. Воюет он недалеко отсюда. После чая пошел гулять, вернулся и сообщил, что познакомился с одним англичанином.

— Да же поговорили.

— О чем?

— На почве жен разговор завязался.

— На почве каких жен?

— Да наших, каких же еще? Ничего, парень подходящий, хотя и молоденький еще.

Я попросила рассказать подробно.

Вот рассказ про встречу валиного мужа, старшины второй статьи Федосеева, с англичанином.

### «Знакомство»

Вечер выдался тихий, светлый, но холодный, такой холодный, что град, выпавший давеча, не тает — хрустит под ногами, как сахарный песок, и от этого хруста и поскрипывания похоже, что уже наступила зима, что это первый зимний вечер тут, за Полярным кругом.

Оскальзываясь в тяжелых ботинках по сырому камню и порою теряя равновесие, Федосеев сошел вниз к озерцу, неподвижно застывшему меж сопок, в котловине, и сел, чтобы немного побыть одному и разогнать скверное настроение, которое сделалось у него потому, что он не застал Вали.

Несколько минут Федосеев просидел в полной неподвижности, глядя на чистую и гладкую поверхность озера, потом вынул из кармана расщеченный морскими флагами кисет с табаком, книжечку курительной бумаги, мундштук, разложил на коленях и принялся сворачивать толстую и крепкую папиросу своими сильными пальцами, давно и раз



навсегда потемневшими от металлической пыли и машинного масла. Сворачивание самокрутки всегда успокаивало Федосеева больше, чем само курение табаку, — сворачивал он ловко, умело, быстро и думал нынче о Вале, вспоминал ее такой, какой была она, когда они прощались.

Война была здесь рядом, в нескольких десятках километров, в тех местах, где он недавно ловил рыбу, совсем недалеко от комнаты в городке, от той комнаты, в которой играл его сын, автоматы били над горной северной речкой и здесь же ухали пушки, выли мины, он долго не мог привыкнуть к тому, что его Валя и мальчик, и бабушка тут, неподалеку, но странное дело — это было приятно ему, и как-то в разговоре с товарищами он вдруг сказал:

— А что, если бы мы тогда не выдержали, помните, Никифоров, когда они пошли из расселины, если бы, говорю, мы скисли, они бы непременно в город ворвались, в наши дома, верно? У вас мамаша на горушке проживает?

— На горушке, — ответил Никифоров.

В ту ночь он ясно и четко представил себе, что было бы, если горно-егерская часть немцев прорвалась в городок. И Валя, и сын, и бабушка, и комната их, в которой на самодельных полках расставлены книги, и лампа с зеленым абажуром, и диван, и печка, которую он так умел и любил топить по старой памяти, — как-никак кочегар, — все вдруг возникло в его воображении, и внезапно он испугался, что его переведут на другой фронт — далеко от этой комнаты, от семьи, от городка, который он сам строил, в котором прошла его юность, в котором он нашел и полюбил Валу, в котором у него родился сын.

В эту ночь немцы опять пошли в психическую атаку. Ночь была ясная, светлая, наступило утро, и странно и страшно было видеть в призрачном свете летнего заполярного рассвета, в неверном мерцании конца белой ночи — темную массу немцев, одно огромное тело, которое, подобно колоссальной змее, как бы ползло из-за сопки, из-за валунов и скал, ползло, увеличивалось в объеме, надвигалось, катилось на пло-

ское, гладкое пространство перед огненным рубежом федосеевского подразделения. Теперь было видно, что немцы идут, закинув автоматы за спину, сложив руки на груди, и был виден оркестр духовой музыки — изогнутые трубы, из которых исторгались рваные, маршевые, мычашье и воюющие звуки.

Под гром своего оркестра, под грохот и дробь своих барабанов и литавр немцы шли, надвигались, уже были различимы их мундиры и ремни, их белые лица пьяных смертников, их оставившиеся зрачки, папироски в зубах, перчатки офицера...

— К нам идут... — сквозь зубы сказал Никифоров и с ненавистью покосился на Федосеева, который до сих пор не начинал огня. — К нам идут, в наш город.

— В город, — как эхо, повторил Федосеев.

Глаз его был слегка сощурен — он не выпускал из виду офицера с перчатками. Офицер вел свою браву в город, построенный им, Федосеевым. Ствол автомата у него едва передвигался, гранаты лежали неподалеку — несколько штук, все было в порядке, все было наготове. Теперь он ждал, чтобы первая шеренга поровнялась с карликовой березкой, одиноко растущей на голой, каменистой земле...

Пожалуй, это было самым трудным — ждать и дожидаться. Но он дождался и даже выдержал еще какую-то долю секунды, пока передний ряд не подмял сапогами березку. Только после этого он скомандовал те слова, которые были у него на языке, скомандовал и увидел — офицер с перчатками ползет. Тогда он опять поймал его в прорезь автомата и опять нажал крючок — и офицер ткнулся головой в камень. Потом он бил по оркестрантам и видел, как, бросая свои трубы, дудки и барабаны, они бегут, подпрыгивают, ползут, валяются, слышал их вопли и сам кричал, теряя над собой власть:

— Красные моряки, североморцы, бей по гадам за наших жен и детей, бей, североморцы...

Никифоров без стопа умер рядом с ним. Тогда он стал кричать о том, что

там, в городе, мать Никифорова и что североморцы будут бить гадов за нее и за Колю Никифорова. Кричать он уже не мог, а потом поднялся и, не оглядываясь назад, побегал к березке, которая опять выпрямилась и теперь покачивалась на утреннем ветре. Он бежал вперед, а за ним бежали его друзья и товарищи, спотыкались, падали, — что тут вспоминать, тут уж трудно вспомнить, как, что было...

Потом в штабе, на командном пункте, допрашивали ефрейтора. У немца отвисал подбородок, не отрываясь, он глядел Федосееву на грудь и говорил что-то непонятное, тыча грязным пальцем вперед. Федосеев посмотрел на себя: ватник расстегнулся и была видна тельняшка — на тельняшку показывал ефрейтор и говорил то, что переводчик объяснил старшине так:

— Он говорит, что они не знали, что на этом рубеже моряки. Иначе бы они не пошли в психическую атаку.

— Скажите, что в город мы их все равно не пустим, — хрипло произнес Федосеев, — скажите, пусть оставят свои надежды...

Встал и вышел из командного пункта.

Сейчас на озере он вдруг вспомнил теперь уже давние слова немца о моряках и ему стало приятно. Это все он хотел рассказать Вале, а ее не было, и досада вновь поднялась в нем. Он встал с камня, чтобы уйти, но чьи-то тяжелые шаги привлекли его внимание. Несколько мгновений он ждал — вглядываясь в сумерки, туда, откуда шел человек, — потом вдруг распрямился, как отпущенная пружина, подался назад и пригнулся — на фронте он привык ко всяким неожиданностям и не сразу сообразил, что тут не фронт.

Человек, шедший к озеру, не ожидал тут никого встретить, тоже замер на секунду, но только на секунду.

Тотчас же обоим сделалось неловко — и англичанину, и Федосееву. Так же, как и Федосеев, английский летчик несколько сконфузился и что-то на себе поправил, точно бы говоря этим жестом, что все в порядке, что ничего, собственно, не произошло — просто встре-

тились два человека, хорошо друг к другу расположенные, но незнакомые.

Федосеев хоть и собрался было уже уходить, но сейчас счел это неучтивым и остался — присел на плоский камень, давая место англичанину — плоских камней вокруг больше не было. Англичанин поклонился и сел рядом — его светлые, молодые глаза скользили по холодному озеру. Он был в пилотке, в светлоричневой кожаной тужурке с мехом и с «молнией», и пистолет на его поясе висел непривычно — ручкой вперед.

Потом летчик прикурил у Федосеева. Это движение сблизило обоих. Затягиваясь дымом сигаретки, англичанин веселыми глазами посмотрел на Федосеева и спросил:

— Флит?

— Флот, — ответил Федосеев, немного понимающий по-английски, — нейви — флит.

Скоро между ними обоими завязался дружеский, веселый и приятный разговор, состоящий больше из жестов и из различных знаков, чем из слов, но тем не менее все же разговор. Англичанин изредка произносил русские слова, и Федосеев в этих случаях кивал с удовлетворением головой и делал такой вид, что англичанин в совершенстве владеет русской речью и только стесняется говорить, летчик же, разумеется, тоже не оставался в долгу и хвалил Федосеевское знание английского. Так они поговорили о знаках различия в нашем флоте и у английских летчиков. Из этого разговора Федосеев узнал, что три узкие нашивки с короной поверху есть обозначение чина летчика-сержанта, а гирляндочка с литерой внутри обозначает морского летчика и что, таким образом, собеседник его — летчик-сержант морской авиации.

— А я старшина второй статьи, — громко сказал Федосеев, — понятно?

— О, иес, — ответил летчик, — иес, старший офицер...

Федосеев несколько испугался, что летчик принял его за такого большого начальника, и начал отмежевываться. Соплились они на том, что оба они «вро-

де бы» в одном звании. Потом разговор перешел на рыболовные темы, на ловлю спиннингом — англичанин был страстным любителем ловли спиннингом, а Федосеев любил удочку и все связанные с нею удовольствия: костер в тумане над речкой, уха с пшеном и перцем, чай из того же котелка, что и уха. О, нес, — говорил англичанин, слушая федосеевские панегирики ухе, — о, да, о. Но тотчас же выяснилось, что он ничего не понимает про уху и понять не может. После ухи англичанин стал говорить что-то такое, чего не понимал Федосеев до тех пор, пока летчик не вынул из маленького бумажника фотографию молодой женщины, и тут только Федосеев понял, что летчик ездил на рыбалку с женой и, что на фотографии изображена его жена. Показывая старшине карточку жены, летчик сказал — Джен — и улыбнулся, но глаза его затуманились на мгновение, а Федосеев повторил — Джен, уэн, — и долго, внимательно, серьезно всматривался в лицо незнакомой молодой женщины с далеких туманных островов.

Уже смерклось и было холодно над озером, а они все сидели и разговаривали, но не над фотографией Джен, а над валиной. Едва увидев валино лицо, — так и сияющее с карточки молодостью и счастьем — англичанин вдруг засмеялся, ткнул пальцем старшину в грудь и быстро заговорил по-английски, совершенно не смущаясь непониманием Федосеева:

— Это ваша жена. Мой бог, но ведь это Валя, я ее хорошо знаю — миссис Валя, директрисса, она кормит летчиков. Больше того, мы с вашей супругой танцевали на открытии офицерского клуба. О, миссис Валя. Очень рад с вами познакомиться. Я про вас кое-что слышал. Это вы там, в скалах, держали чуть не роту немцев. Но, мой бог, как нам договориться без языка?!

Они опять заговорили жестами и знаками, и Федосеев теперь понимал, что англичанин знает его жену и хвалит ее. Слегка выгаращив светлые глаза и вытянув трубочкой твердые, юношеские губы, летчик изображал, как

летел на аэродром давеча немецкие бомбы, с каким свистом и завыванием они падали с неба. И как потом взрывались в скалах. Шутки в сторону, я сам перепугался, — так можно было перевести мимику и жесты летчика, — но ваша жена, ваша Валя, она совсем молодец.

И, показав, как Валя надела шлем, как взяла сумку, летчик стал опять хвалить ее и рассказывать разные подробности, свидетелем которых он был, потому что его самолет еще не собран, и он, как это ни противно, пока без самолета.

— Безлошадник еще, — догадался Федосеев.

Так, плечом к плечу, они просидели на камне еще долго, и, странное дело, темы для разговора не иссякали у них. Покуривая табак, летчик сказал Федосееву, что у него еще, к сожалению, не было боевых вылетов здесь, на севере, но что на островах он немного поработал. Разумеется, не так, как, например, майор Билл Брейк, или майор О'Нилл, или даже Микки Этвуд. Не так, но все-таки пару нацистов он таки испортил на веки вечные, аминь...

И англичанин усмехнулся сердито и заразительно.

Потом он заговорил, что мечтает полетать на штурмовки. Это хорошее дело — штурмовая авиация — настоящая работа. Рано или поздно, но он этим займется. Разве это не стоящее занятие?

Когда совсем стемнело, они встали и попрощались. После прощанья летчик вынул из бумажника маленький кусочек плотного белого картона и протянул его Федосееву. Старшина взял и поблагодарил, потом сказал — до свиданья, еще, наверное, увидимся. Соленг, — пока, — сказал летчик. Они пожали друг другу руки, выражая этим пожатием взаимное расположение и симпатию, и разошлись, каждый в свою сторону — Федосеев пошел в сторону валиной землянки, летчик к своей столовой — ужинать.

Томми Флинт — прочитала я визитную карточку, которую дал мне старшина, валин муж.

## Утро

Ясный, летний день. Наши пошли на бомбежку дальних объектов, их сопровождают истребители капитана Майкла Монта. Перед вылетом я была на командном пункте и переводила. Маленький Монт в своем желтом спасательном поясе курил трубку и слушал капитана Абросимова. Капитан в пимах, в меховом комбинезоне что-то показывал по карте. Немного погодя, приехал генерал. Мне было приятно присутствовать при этом разговоре мужчин. Наш генерал совсем еще не старый человек — я видела его сегодня первый раз. Потом мы пошли провожать самолеты. Капитан Монт влез в свою машину без шлема, там перед зеркальцем причесался, натянул шлем, перчатки и закрылся крышкой. Генерал сказал мне, что этот Монт один из замечательнейших английских летчиков.

— Он очень молчаливый, — сказала я, — по-моему, даже мрачный.

— Будешь мрачным, — неопределенно сказал генерал, глядя, как Монт взлетает.

— А что, — спросила я, — у него несчастье?

Генерал ничего мне не ответил и в свою очередь спросил, где сейчас лейтенант Киценко. Весь этот разговор происходил под рев моторов, на старте. Одна за другой уходили машины в небо. Вот ушла машина Скила, вот помагал мне рукой вечно сияющий и всем довольный Микки Этвуд, вот, наконец, подошел попрощаться к генералу капитан Абросимов.

— Счастливого путешествия, — говорит генерал, — но прошу не зарываться, товарищ капитан. Вы немножко слишком азартны, я замечал это. До свиданья...

— Соленг, кэптэн, — говорю я, все окончательно перепутав.

— Со мной можно по-русски, — смеется капитан и вразвалку уходит к своей тяжелой машине.

Стартер машет флажком. Меня бьет воздушной струей от винтов. Одна за другой машины входят в воздух. Вот они разворачиваются, делают круг и

ложатся на курс. Это наши с красными звездами. Это английские с желто-сиене-бело-красными кругами.

Истребители идут на охрану наших тяжелых кораблей.

Расскажу по порядку дальше: генерал позвал лейтенанта Киценко. Киценко явился тотчас же, бледный, по обыкновению со своим тиком. Генерал крепко пожал ему руку и как-то особенно осторожно начал с ним разговаривать. Я здесь же неподалеку переводила англичанину волонтеру и все время поглядывала на гуляющих генерала и Киценко. Генерал говорил, Киценко слушал. Потом Киценко ушел и генерал подозвал меня итти с ним на командный пункт к полковнику Мэридию. Итти довольно далеко, машину генерал отправил вперед.

— Если вы капитана Монт считаете человеком мрачным, — сказал генерал, — то что же вы думаете о лейтенанте Киценко?

— Думаю, что он еще мрачнее капитана Монт.

— А какие у них отношения друг с другом?

Я ответила, что не знаю, по-моему, никаких отношений нет.

— Ай, техник-интендант, — укоризненно сказал генерал, — а еще про женщин говорят, что они наблюдательны. Вы ведь, кроме того, переводчик. Как же вы не заметили? Тут уже все знают, что мрачный лейтенант и не менее мрачный капитан в тот вечер, когда было открытие офицерского клуба...

Тревога. И...

*Двадцать часов 30 минут*

Был тяжелый налет. Наши вышли в воздух и встретили немцев довольно далеко, но те двигались несколькими эшелонами на разных высотах и прорвались к нам. Мы с Валентиной едва успели напялить каски и схватить сумки с медикаментами и перевязочными средствами, как начали рваться бомбы. Наши немцев не пускали, и они сбрасывали всю свою бомбовую нагрузку на скалы, особенно доставалось скале, которую у нас называют «Часовней» — она действительно похожа на часовню.

Наверное, они приняли эту скалу за командный пункт или за что-то в этом роде, — потому что страшно к ней рвались. Одна бомба разорвалась неподалеку от санитарной машины, возле которой стоял сердитый, как всегда во время налетов, доктор Блисс. Заметив нас, он раскричался и потребовал, чтобы мы сейчас же «уходили в землянку». Мы не ушли и, когда разорвалась вторая фугаска, ударило воздухом так, что Валя несколько раз упала.

— Проклятые девчонки, — закричал доктор Блисс и не договорил, — опять шлепнулась бомба — эта упала подальше, но зато с большим эффектом.

Теперь мы лежали рядом с доктором. Он ушибся, лицо его было в крови, глаза выражали злобу.

— О, если бы я сам был летчиком! — сказал он мне как-то, и теперь я поняла, что значили эти его слова. Он не мог находиться на аэродроме в то время, когда там, в небе, шел бой. Его почти трясло от возбуждения и ненависти.

— У вас лицо в крови, — сказала я, — может быть, вы ранены, док?

Он вытер щеку ладонью и встал. Прямо на нас — так мне показалось — низко-низко шел на посадку горящий самолет. И пока я соображала, пока не двинулась санитарная машина, которая вдруг на минуту забастовала, — мы вдруг увидели бегущую Валю. Спотыкаясь, она быстро, как ветер, неслась навстречу искалеченному самолету и добежала как-раз в ту минуту, когда самолет, странно подскочив, остановился...

С другой стороны аэродрома к самолету, объятую пламенем, мчалась легковая машина майора Анисимова, мы с доком тоже побежали, нас обогнал автомобиль с красными крестами — это военврач Мышкин уже мчался с зенитной батареей.

Док подпрыгнул и вскочил на ходу — вцепился пальцами в крышу машины и повис, болтая длинными ногами, а я не успела прицепиться и только видела, как Мышкин втаскивал Блисса и как блестящие брызги — шофер гнал автомобиль по лужам, не разбирая дороги.

Я прибежала, когда Василька уже вытащили из самолета. От искалечен-

ной машины, объятый огненными языками, полыхало пламенем, но комбинезон на Васильке уже был потушен, а Валя, стоя в грязи на коленях, вливала Васильку в рот что-то из бутылки. Майор Анисимов с красными от ветра глазами стоял тут же и говорил:

— Нет, как он на такой машине дотянул, вот что удивительно, а? Послушайте, товарищи врачи, а почему у него лицо в крови и руки? Он, собственно, куда ранен?

Еремеев открыл глаза и взглянул на Валю, не узнавая ее.

На обожженном и окровавленном его лице выступил пот крупными каплями, кожа на лице задрожала, он схватил мою руку, страшно сжал ее и сразу выпустил.

С этого мгновенья Валя неотлучно при нем сидела.

Иногда мне казалось, что Валя страдает больше Василька. Она сидела возле него, прижав руки к груди, сразу осунувшаяся, побледневшая, почти не узнаваемая. Никогда я не думала, что в человеке может быть до такой степени развита сила сострадания — ведь ничем больше Валя не была связана с Васильком.

Во время обеда пришли док и военврач Мышкин.

— Он выживет? — спросила я у дока.

— Это может произойти, — неопределенно сказал док и хмуро взглянул на меня.

— Наши все вернулись? — спросила я Мышкина.

— Да, почти.

— Что значит почти?

— Вернулись все, за исключением лейтенанта Киценко.

У меня сжало горло: неужели он погиб? Этот лейтенант, перед которым мы все виноваты, а если и не виноваты, то неправы, горько неправы...

— Держу пари, что знаю, о чем вы думаете, товарищ техник-интендант, — сказал Мышкин, — можете мне поверить, что все нынче думают то же самое...

Я промолчала.

Минут через пять в палату вдруг быстро вошел маленький капитан Монт. У него странно поблескивают глаза, он еще не проснулся после полета и боя — я уже знаю, они часто возвращаются с неба такими.

— Добрый день, миссис офицер. Я ищу лейтенанта Киценко. Это лежат лейтенант Киценко?

— Нет, это не он.

— Тогда кто это? Я только-что из машины.

Лицо Василька забинтовано.

— Это младший лейтенант Елисеев.

— О, он сильно испорчен?

— Довольно основательно. Но надо надеяться...

— Надеяться всегда надо. Так, миссис офицер не знает, где лейтенант Киценко?

Что-то в этом англичанине есть общее с украинцем Киценко: какое-то пламя сжигает их обоих. Нет, я не знаю, где мистер Киценко. Говорят, он еще не возвращался. Он ушел в воздух перед самым налетом, прилетел, я видела его, и опять пошел наверх.

Маленький капитан дослушивает меня с нетерпением. У него синее от холода лицо, длинный нос его покраснел, пальцами он пощипывает усы. Потом, внезапно:

— До свидания, миссис офицер.

— До свидания, капитан.

Я выхожу и вижу, как Монт почти бежит по полю на командный пункт. Две наши машины уходят в воздух. На поиски Киценко — решаю я. Пока я иду на командный пункт, Монт уже успевает выскочить оттуда. Его желтая спасательная жилетка исчезает за машиной, потом он появляется наверху. Неужели полетит? Но он только-что возвратился из серьезной операции и даже не поел. Конечно, полетит. Его машина уже подруливает к старту. Рев мотора, и он уже промчался над моей головой.

Соленг, маленький капитан! — хочется крикнуть мне. Я знаю, зачем полетел Монт. Он полетел искать Киценко. Я проглядела эту дружбу — тем приятнее мне сознавать, что она есть.

Машина с кругами на плоскостях уходит все выше и выше в голубое, блед-

ное, предвечернее небо. Маленький капитан Монт ложится на курс.

Соленг, капитан!

*Третий месяц. Два часа ночи*

Здравствуй, мой дневник, — так я писала много лет назад, когда была девочкой с косичками и училась в школе. Тогда я мало знала, что такое война и как она бывает на самом деле.

Легла и уснуть не могу.

Киценко не вернулся. Неужели погиб?..

Монт ни с кем не сказал ни одного слова. Летчики, которые летали за поиски, сказали мне, что надежды мало. Да я и сама понимаю, что надеяться, собственно, не на что.

Ночью Василька навестили док и Мышкин. В качестве консультанта явился бородатый Салтыков. Василек улыбнулся им своей милой, совершенно мальчишеской улыбкой и сказал, что он чувствует себя ничего, в порядке и что просит разрешения покурить. Док щелкнул своим портсигаром, но Василек сказал, что сигаретками он не накуривается, а что вот «Беломор» — это да.

*Понедельник. Вечер*

Опять мы с Валентиной зажили по-старому, вдвоем: Надя уехала, она теперь на фронте, командующий разрешил ей ехать. Вчера получили от нее записку — просит дать рукавички, которые она забыла; рукавички — смешное слово. Говорят, что она представлена к правительственной награде. От души желаю ей всего самого лучшего, без Нади в нашей землянке стало так, будто была тут у нас птичка, вроде канарейки, а теперь улетела. И Валя часто теперь говорит:

— Где-то наша Надежда?

*Ночь*

Я одна в землянке — никто еще ничего не знает, кроме меня. Мой папа убит. Я даже не знаю, что мне делать. Вот какое письмо от генерала папиного, от того, который был у нас весной: «Машенька, наберись мужества, дочка моя дорогая. Отец твой погиб героем в бою. Сердце у меня болит о нем пи-

сать. Гордись отцом своим, помни его всегда, пиши мне, если что нужно.»

Папа мой милый, дорогой мой папа! Что же мне сейчас делать? Что мне делать....

#### Четвертый месяц

Дни идут за днями. Уже давно зима, светло только несколько часов, все замело вокруг снегом, наступило время «зарядов» — это тут такие короткие, мгновенные, или на несколько минут, или на час метели. Когда начинается «заряд» — все вокруг заволакивает густой пеленой снега, ничего не видно даже в нескольких шагах, пустое и тоскливое время для летчиков. Полетов мало или совсем нет. О немцах тоже ничего не слышно. Англичане на аэродроме устроили себе футбольное поле и под предводительством Флинта в пургу и вьюгу играют в футбол. Занимаются они этим делом без шапок, в полном летном обмундировании, готовые по приказанию итти в небо, но небо совсем не такое, чтобы в него можно было итти.

У меня много работы и с каждым днем ее больше и больше. Наши летчики занимаются сейчас тем, что изучают новую материальную часть — английские машины, на которых они скоро будут летать. Плохая погода для полетов считается отличной для занятий на земле. С моей группой занимается майор Этвуд: он занятный человек — спортсмен до мозга костей, спокойный, трезвый, жесткий характер. Доброволец, на отворотах френча у него литеры «ВР» — это значит волонтер. До войны очень увлекался автомобилем, — это он мне рассказал, — но автомобиль его не устраивал, — слишком медленно, немного быстрее черепахи, — тогда он пересел на мотоциклет. Мотоциклет, по словам Этвуда, создает некоторые иллюзии, но не больше. После мотоциклета он пересел на самолет — так, знаете ли, каждому человеку хочется помахать крыльшками. Летал он для удовольствия, потом для удовольствия начал испытывать самолеты и считает теперь, что испытания машин полируют кровь почти так же, как хороший бой. «Хорошим

боем» майор называет такой бой, в котором повезет с врагом.

— Что значит повезет? — спрашиваю я.

— А это значит, лейтенантушка, что враг не убегает сразу. Это значит, что он не трус. Это значит, что я должен заставить его струсить. Это еще много что значит.

— Вам часто попадают хорошие бои?

— Нет, не очень часто. Немцы иногда нервничают раньше времени, еще до того, пока их заставишь нервничать. Я люблю эту игру, знаете, то, что бывает перед боем, эти короткие мгновения испытания врага, это очень полирует кровь, не правда ли, господин капитан?

Я перевожу капитану Бездетнову. Бездетнов, посмеиваясь, отвечает:

— Вы переведите майору слова Пушкина, помните насчет там — «есть упование в бою и бездны мрачной», что-то в этом роде...

Занимаемся мы в большой землянке на аэродроме, шагах в ста от нас стоят боевые машины, готовые к взлету. Это те самые новые машины, на которых скоро полетят наши. Пока на них летают англичане. В землянке тепло, даже жарко и пахнет свежим хлебом — только что для дежурной эскадрильи привезли чай и горячий, свежий хлеб. Дымно. Томми Флинт, приставленный к каминно-камельку, явно не справляется со своими обязанностями. Но низкая темная землянка — это все-таки кусочек родины для англичан, тут все устроено так, как им хочется, так, как они привыкли: тут и традиционный каминчик, и кресла перед ним, и крепкий, горячий чай с молоком, и футбольные мячи на полу. Майор Этвуд сидит возле огня, вытянув к нему свои длинные ноги, обутые в меховые сапоги, за спиной майора возится с поленьями Томми Флинт, между майором и Бездетновым восседаю я, а вокруг нас наши летчики вперемежку с английскими. Наши изучают самолет системы «харрикейн», а английские дежурят — вдруг «заряд» пройдет, вдруг солнце вынырнет, вдруг будет приказание — выйти в воздух. Кроме того, желающие пьют чай. Не

которые шепчутся. Некоторые заводят новые знакомства. Например, Василек, который настолько уже поправился, что ходит на занятия, а сейчас разговаривает на пальцах с Микки Этвудом — братом командира эскадрильи. Со своего места я вижу, что Василек дарит англичанину пуговицу от своего кителя. Потом у них появляется иголка и нитка. Пилот-офицер Майкл Этвуд, оттопырив губы и неудобно наклонившись, пришивает дареную пуговицу на свой мундир — англичане очень любят наши пуговицы — это и память, и знак дружбы, и сувенир — знак военного содружества вместе воевавших людей.

Занятие кончилось довольно давно. Сейчас идет разговор о смазочных маслах и о технике испытания масел. Мне очень жарко и от каминчика, и от того, какие сложности приходится переводить. Беседа уходит все выше и выше в заоблачные высоты вопросов смазки. Я перевожу что-то о степенях сжатия. Бездетнов учтиво кивает головой и говорит мне:

— Вы, дорогая девушка, говорите такой вздор, что я просто диву даюсь. Ничего этого не может быть. И майор не мог вам это сказать...

Я совершенно не знаю, как мне выйти из положения. Но, к моему счастью, лейтенант Скид сообщает, что «заряд» прошел. Мы выходим из землянки. «Заряд», действительно, промчался, но серебряные, сверкающие на морозе снежинки еще носятся в воздухе. Мы идем к машине. Майор пальцами разглаживает свои густые и красивые пшеничные усы. Бездетнов застегивает молнию комбинезона, натягивает шлем и легко поднимается в кабину. Я вижу его насупленные брови, внимательное выражение глаз. Этвуд взбирается на крыло машины. Я между ними. Неподдалеку Флинт демонстрирует свою машину Васильку — еще забинтованному, переводчика у них нет — оба они почему-то кричат, будто они глухонемые, и показывают знаками.

Возле нас остановилась низенькая машина полковника Мэрридю. Он, обычно, приезжает к полетам. Полеты у нас уже третий раз. Это совершенно особые

полеты и особое учение. Выйдешь в небо и встретишь там немца — принимай бой. Такой случай уже был с Бездетновым. Вышел несколько дней назад первый раз на английской машине в воздух и навязал немцу бой.

Мэрридю: Здравствуйте! Передайте капитану, что я желаю ему хорошей встречи в небе. Ему очень везет. Правда, сегодня вряд ли он встретит то, что ему хотелось бы, но может быть.

Он коротко заглядывает мне в глаза — быстро, мгновенно: нет ли новостей, он знает, сегодня пришла почта, может быть мой папа жив, может быть, это ошибка. Еще тогда он сказал мне, что все бывает на войне, что надо не терять надежды...

Самолеты уходят в небо — одна машина идет за другой. Сколько раз я уже провожала их вот так — и наших, и англичан. Мы стоим рядом с полковником.

— Би хеппи, — говорю я.

— Будь счастлив, — переводит Мэрридю, — да, лейтенантушка?

— Гуд лаг, — говорю я и вспоминаю тот день, когда наши уходили на бомбежку, а я провожала их и думала, что моего папу тоже провожает где-нибудь чья-нибудь дочь, — гуд лаг, би хеппи.

Подвезжает еще машина, и полковнику докладывают, что немцы замечены над...

— Где? — спрашиваю я.

Еще эскадрилья уходит в небо. Англичане и наши — все вместе. Полковник быстро шагает на своих длинных ногах по снегу. Я иду за ним. Ах, вот в чем дело! Он идет к своему «харрикейну». Это редко бывает, чтобы полковник шел в воздух. Я едва успеваю за ним. Механики берутся у его самолета.

— Что? — нахожу, не оборачиваясь, спрашивает он.

Я понимаю, что где-то в воздухе уже идет бой.

— Пожелайте мне удачи, — говорит полковник, — мои мальчики не раз вспоминали вашего отца. И улыбнитесь, лэди офицер, улыбнитесь, ну!

— Би хеппи, полковник!

— Спасибо!



Он уже в кабине. Он бросил фуражку и натянул шлем. Каким строгим стало его лицо. И мой папа тоже был в шлеме, когда шел в бой. И у него, наверное, делалось строгое, почти железное лицо. Клик-клак — кабина накрылась колпаком. Винт завертелся. Снежные вихри летят на меня. Соленг, полковник Джеймс Бейтен Мэрридю! Би хеппи, полковник!

Док Антони Блисс и я ждем.

Валя стоит рядом со мной. Я слышу голос дока, док Блисс всегда зол в такое время.

— Самое проклятое время ждать, — когда я жду наших мальчиков тут на аэродроме, мне кажется, что я больше не мужчина, а чья-то жена. Так ждут жены. Я жена, чорт подери, а не доктор в чине майора. Ну? Где же они шлестят, хотел бы я знать?

Тихо.

Солнце стоит высоко. Ослепительно сияет снег. Будто бы и не было пурги, снежного вихря, мутного, белесого, грязного неба. Легкий, морозный ветер иногда взметет немного снега, поиграет им и сам уляжется.

Док ходит по снегу, снег скрипит и хрустит под ногами англичанина, он сложил руки за спиной, шесть шагов вперед, шесть шагов назад и крутые резкие повороты. Валя неподвижно стоит рядом со мной в белом овчинном полушубке. Глаза не мигают, рот крепко сжат, я не видела никогда такого выражения.

— Что ты, Валюша? — спрашиваю я.

— У меня мужа убили... — отвечает она без всяких интонаций. — Старшину моего убили... Несчастье.

Я смотрю на Валу, вижу перед собой Валу и не верю своим глазам, не верю своим ушам: не может этого быть, невозможно, ошибка.

Док все ходит. Снег все скрипит под его ногами. Лицо у Вали белое-белое, почти такое же белое, как снег.

### Воскресенье

...Они все вернулись, вернулись с победой, возбужденные, с блеском в глазах, с желанием много говорить и долго рассказывать, у них был

настоящий большой воздушный бой в сопках, дрались низко, было опасно, немцы устраивали хоровод, о, это интересная штука, хоровод...

И полковник был тут же, и наш капитан Бездетнов, и Василек, и майор Логинов, и Киценко, который тогда нашелся и о котором я так и не написал подробно, и маленький капитан Монт, и командир нашей части полковник Дейнека — все тут.

Очень трудно передать то, что происходит, когда все вернулись живыми и здоровыми после удачи, после настоящего боя, после победы над врагом. Тут дело не в словах, потому что летчики мало говорят о себе и о своих делах в воздухе, тут дело во всей атмосфере, в коротких восклицаниях, в подробностях. Напряженное, мучительное ожидание сменилось вдруг праздником, смехом, радостью, весельем, детскими, мальчишескими шутками...

Я вижу, как шутят с Валей, и вижу, как неподвижно ее лицо.

Ко мне подошел полковник Мэрридю. Он ведет лейтенанта Киценко под руку. Киценко, как всегда, бледен и лицо у него странно напряженное. Полковник Мэрридю должен объясниться с господином лейтенантом. Они вместе вели бой. Полковник Мэрридю наслал на некоего нациста. Нацист выделял разные штучки, он был отчаянным голворезом, этот покойник, пусть ад будет к нему милостив, но это между прочим. И вот, когда полковник был, фигурально выражаясь, у финиша, или почти у финиша, ему к хвосту прицепился другой нацист. Но как прицепился! И вот господин Киценко налетел на второго прицепившегося нациста. Налетел, как ястреб. Раз-два и все. Полковник просит узнать — он слышал, что господин Киценко любит это занятие — выслеживать в бою тех нацистов, которые прилепляются к хвостам и бьют сзади, — так вот правда ли, что господин Киценко уничтожил уже четыре машины именно таким образом?

Киценко слушает, слегка наклонив голову, мои слова.

— Пять машин сбито мной таким образом, — говорит он, — передайте пол-

ковнику, что мне всегда доставляет удовольствие карать того, кто норовит ударить сзади. И скажите ему дальше, товарищ техник-интендант, что, когда я мальчиком еще дрался с гимназистами — то всегда искал тех, у которых в перчатке была свинчатка.

Я перевела. Полковник благодарит меня. Но он не очень слушает мой слова. Он смотрит мимо меня. Я догадываюсь, он смотрит на Валею, возле которой собрались летчики целой толпой. Я оборачиваюсь и вижу Томми Флинта — он рядом с Валею, там же Василек, там же Логинов, там же наш полковник.

— Что случилось? — спрашивает у меня маленький капитан Монт.

— У Валеи несчастье — погиб на фронте муж.

— Моряк, да? — спрашивает Монт.

— Да.

— Такой высокий?

— Да, он высокий.

— У моей сестры тоже погиб муж, — неожиданно говорит капитан Монт, — сегодня я получил письмо. Он был высокий моряк, простой парень. Да. Я узнал об этом сегодня. Только сегодня. Но ничего. Сегодня они мне опять заплатили.

И капитан Монт показывает мне палец — один самолет, это не так мало для сегодняшнего вылета.

— Но это очень мало, — продолжает он, — это совсем мало по сравнению с тем, что мы еще сделаем, неправда ли, господин Киценко?

Мы втроем подходим к летчикам, которые столпились вокруг Валеи. И я слышу низкий, гудящий голос Логинова:

— Ты с нами пошла, ты каждому из нас сестра, мы тебя, как сестру, любим, что мы тебе будем пустые слова говорить. Мы тебя утешать не можем. Мы тебе только говорим — война, у каждого из нас есть с ним счеты, за все будем рассчитываться и за твои слезы тоже. Мы тебя заверяем, что твои слезы помним. Иди себе, отдыхай. Иди, Валентина, чего тебе тут делать...

Валю пошла в толпе летчиков, глаза у нее были сухие. Через час она делала свое дело, только щеки ее запали, да

возле рта вдруг пролегла морщинка.

Просыпаясь ночью, я слышала, что она не спит, но когда я шопотом окликнула ее — Валея не отвечала. И — хорошо. Что я могла сказать ей, чем я могла утешить ее?

Бывают такие моменты в жизни, когда лучше всего молчать.

На следующий день с утра был налет на наш аэродром. Они решили собрать все свои силы для того, чтобы, налетая волнами, уничтожить нашу материальную часть. Налет, действительно, был тяжелый. Все наши машины ушли в воздух, и немцам ничего не удалось уничтожить на аэродроме, но, тем не менее, бомб они побросали множество. Мы с Валею, как обычно, надели каски и заняли свое место возле машины. Как и что произошло с Валею, я в точности не знаю, потому что неподалеку от нас ранило краснофлотца Фигурного и мы с военврачом Мышкиным и с Валею оказывали ему первую помощь, а Валея в это время заметила еще что-то и убежала от нас. Разорвались еще две бомбы над нами, высоко в небе шел бой, но нам было так некогда, что мы даже не поднимали голов и только прижимались к земле, когда слышали вой и визг бомб.

Потом я узнала, что Валея убежала от нас, увидев, что бомбой ранен бортмеханик с транспортного самолета — Ступников. Добежать до Ступникова было недолго, но едва Валея добежала и потащила его в укрытие, как неподалеку разорвалась еще осколочная бомба, потом еще и еще. Валея ничего не успела, она не поняла даже, куда ранен Ступников, она только потащила его и упала от взрывной волны, потом поползла к раненому и закрыла его своим телом от рвущихся осколков.

Закрыла — и потеряла сознание.

Так мы их и нашли: оба без сознания — Ступников ранен в обе ноги, а Валея тяжело контужена.

Очнувшись она в санчасти ночью. Я перехватила ее ищущий, тревожный взгляд. Она плохо слышала. Несколько раз я повторила ей, что Ступников жив, что он рядом, за стеночкой, что все благополучно. Она вновь задремала, но тотчас же вскочила, вздрогнула, попы-

талась подняться на койке. Речь ее путалась, она неясно произносила слова, но глаза были полны сознания.

— Ничего, — сказала я примирительно, — скоро поправишься.

Мысли в ее голове путаются. Опять, как в те дни, когда здесь лежал Василек, — тут и доктор Блисс, и военврач Мышкин, и Салтыков.

### *Понедельник. Ночь*

Наши летчики были в городе, искали Вале подарок и не нашли ничего интересного. Ходили-ходили и вдруг увидели в окне домика, на подоконнике несколько горшков с комнатными цветами, какие-то красненькие цветы. Вот Логинов и говорит:

— Зайдем и попросим цветочек. Подумаешь, ужас.

А старший лейтенант Шевцов и капитан Абросимов не соглашаются:

— Неудобно как-то. Как это попросить?

Логинов же все свое. Он ведь упрям необыкновенно:

— Пойдемте, товарищи командиры.

Автомобиль их ждет, а они входят в дом. Там какая-то старушка встречает приветливо, но никак не понимает, чего от нее хотят, и все говорит, что цветы у нее непродажные. Тогда Логинов, как он после рассказывал, произносит декларацию:

— Бабуся! Мы не собираемся у вас покупать цветы. Мы военные летчики. У нас есть одна девушка. Кстати, у вас есть сынвья или дочери?

Оказывается, есть и сыновья, и дочери — и все на фронте. Логинов рассказывает старушке, кто такая Валя. Заодно рассказывает про Надю Гречиху. И получает разрешение взять сколько угодно, каких угодно цветов.

Теперь у Вали на столике стоят три горшка с цветами. Но она их не замечает. Мысли у нее вялые, она много и подолгу спит и ничто ее не развлекает. Только иногда на нее находят как бы припадки какой-то деятельности. Она рвется у меня из рук, говорит, что она напишет рапорт командующему, что ее нельзя тут держать, что летчики го-

лодные, кофе не привезено с базы, нужно посылать за овощами, нужно в кухню, а она тут лежит, как барыня, разлеживается, безобразие, пустите же...

Но мы не пускаем.

Вечером принесли письмо от Нади. Она ранена и лежит в госпитале. Госпиталь в сорока километрах от нас. Завтра поеду к ней, если будет можно.

### *Вторник. Ночь*

Валин старшина жив. Бывают же такие вещи на свете! Я его видела и с ним говорила долго, часа два. Бывают же такие вещи на свете! Только-что сказала об этом Вале. Она посмотрела на меня и заплакала, не закрывая глаз. Плачет, а глаза светятся, как звезды. И сказать ничего не может — только повторяет:

— Маша, ах, Маша, ах, Маша...

И глаза совершенно, как звезды.

Все тотчас же узнали об этом. И Томми Флинт в первую очередь. Прибежал в санчасть, за ним маленький капитан, за маленьким капитаном рыжий ирландец. А наших уже полно, яблоку негде упасть. Пришлось все рассказывать всем.

В общем все это неинтересно. Со старшиной произошла путаница, и больше ничего. Но он молодец, настоящий молодец, золотой человек, как хорошо, что у Вали такой муж. Теперь ей надо моментально поправляться, он ужасно хочет ее повидать, а двигаться ему можно будет еще не скоро.

По порядку то, что мне рассказывал старшина Федосеев. Тут опять примешан Томми Флинт, который никогда, по всей вероятности, об этом ничего не узнает.

А Надя, милая Надя Гречуха, вот как сходятся пути людей, разве кто бы мог ожидать!

То, что я писала раньше про Федосеева и Томми Флинта называлось «Знакомство». А это будет продолжение.

### *«Продолжение знакомства»*

Около шести часов утра Федосеев на командном пункте получил приказание — корректировать стрельбу гаубичной батареи. Тут же он взял катушку

провода, сумку с инструментами, телефон, выслушал наставления, сказал «Есть», напился воды и пополз туда, откуда предстояло корректировать.

Ползти пришлось горелищем — тут когда-то был лес, теперь он весь выгорел, и Федосеев полз в лепле и в золе. Двигался он быстро и ловко, как огромная ящерица, и сердито отплевывался от золы, набивающейся в рот и в нос. Чтобы было легче, он полз в тельняшке, без бушлата, но вдруг сообразил, что тельняшка светлая и что его накрывают из миномета, вероятно, потому, что заметно, как он ползет в тельняшке по горелищу. Привалившись в ложбинке, он содрал с потного тела, несмотря на холод, тельняшку и аккуратно измазал ее древесной сажей так, что она сделалась совершенно черной, потом втер сажу в лицо и в шею и при этом пофыркивал, как делают мужчины, умываясь холодной водой. Потом он снял бескозырку, спрятал ее по краснофлотской бсевой традиции на груди, поближе к сердцу — кто знает, откуда родилась эта традиция среди моряков-десантников, — надел на голову каску, затянул ремешок под подбородком, поправил на себе все свое снаряжение и, далеко выбрасывая вперед правую руку, пополз дальше, разматывая находку катушку провода.

Теперь он был совершенно невидим — черный, как жук, среди черно-серого пепла на горелище.

В рывине, где был его наблюдательный пункт, он вдруг занервничал — почему-то показалось, что связи он не наладит, но с телефоном все было совершенно благополучно, через несколько секунд он услышал возбужденный боем голос артиллерийского телефониста, а минутой позже — сам стал корректировать стрельбу — крича в трубку:

— Правее и ниже. Так держать. Еще ниже. Правее. Хорошо. Здорово, хорошо. В порядочке.

По разрывам шрапнелей он видел результаты действий своих орудийных расчетов и радовался каждому успеху, и сердился при каждом неточном выстреле. В грохоте боя ему приходилось сильно

кричать в трубку, вначале он не скупился на воду и выпил все, что было во фляжке, теперь ему очень хотелось пить, а пить было нечего, теперь он только облизывал сухие губы да глотал слюну.

Пока он корректировал — несколько раз начинал итти дождь и переставал, потом вдруг с неба посыпалось что-то вроде мокрого снега — какая-то холодная мерзость, потом опять заморосил дождь — он ничего не замечал — то, что он делал, было военной работой.

Так прошло несколько часов. Больше ему не хотелось ни пить, ни есть. Он не знал, сколько времени. Ни тепла, ни холода он не чувствовал. Но вот он закрычал в трубку «ура», — когда увидел над своей головой узкие стремительные корпуса штурмовиков с красными звездами на плоскостях. Машины шли низко, бреющим полетом, и грохот моторов на мгновение покрыл шум боя, а потом вдруг сделалось тихо и тотчас же раздались взрывы осколочных бомб и застрекотали пулеметы.

Из своей рывины он видел, как вновь и вновь машины делали захождения и на каждое захождение он осипшим голосом кричал «ура» или делал какие-то свои одобрительные и подбадривающие замечания, он понимал, что штурмовики сеют панику в окопавшихся немцах, понимал, что немцам приходится круто и что их сопротивление уже расшаталось и скоро будет сломлено.

От дождя и снега в рывине натекла лужа, он заметил воду, набрал в пригоршню и попил, и, пока пил, понял — немцы нащупали его и накрывают минометным огнем, сейчас накроют. Теперь он вспомнил Валу, не такой, какой она была в жизни, а такой, какой она была на фотографии здесь, с ним, — сияющей, молодой. Ударил еще мина и недалеко, от удара у него заныло в челюстях и выбило из руки телефонную трубку, он подхватил налету и закричал вновь:

— Алло, Сердюк! Кама, а Кама? Правее бери, немного правее, самую малость.

Потом мина разорвалась так близко, что он даже удивился — неужели и теперь его не ранило, но не успел доудив-

латься до конца, понял, что все-таки его ранило. Рука и телефонная трубка, в которую он кричал, и серый мокрый пепел горелища, и лужа, из которой он давеча пил воду — все покрылось его кровью, а он не обращал внимания, не хотел замечать всего этого, а только кричал в трубку, чтобы взяли правее, и не соображал, что правее взято, дальше некуда, пора бы и левее.

— Ладно, — слабая, сказал он в трубку, — хорошо, Кама, молодцом..

Его о чем-то спрашивали с той стороны провода, он не понял о чем и ответил, что все в порядочке — и решил корректировать возможно лучше, но мысли у него путались так сильно, что он не смог найти то место, в которое был ранен, и сделал себе перевязку так, что не закрыл рану, рана была отдельно, а перевязка отдельно.

Через несколько минут ему сказали, чтобы он немедленно полз в расположение части, а если не может «справиться сам с собой», чтобы сказал, тогда за ним пришлют медсестру Гречуху. В ответ он попросил разрешения остаться, аккуратно выговорил — «прошу разрешения», — но всей фразы не сказал — его со страшной силой ударило, точно о стену, он задохся и потерял сознание.

Когда он пришел в себя, то увидел, что телефона и провода, всего его хозяйства, больше нет. Совсем рядом с рытвиной упала мина и разворотила все вдребезги, он же остался в живых чудом, рука его кровоточила и в ней была зажата телефонная трубка с обрывком провода.

Теперь он пополз, задыхаясь от боли и с трудом сдерживая стоны.

Шагов за двести от своей рытвины он наткнулся на медсестру Надю Гречуху. Маленькая Надя лежала навзничь, круглое, детское лицо ее запрокинулось, юбка подогнулась и тонкая нога была вся в крови и в каких-то лохмотьях. Медсестра, видимо, давно силится съест или перевернуться на живот и не могла. Поэтому лицо ее имело виноватое выражение, а в глазах, коричневых и круглых, стояли злые, маленькие слезинки.

Внезапно она заговорила тонким голосом, откашлялась и вновь заговорила, как бы оправдываясь, что вот она шла сюда и ее подстрелили, а ей сейчас только бы встать, потому что, когда она встанет, тогда все уже образуется само собой, перелома у нее нет и вывиха нет, а только кровотечение и надобен жгут. Он у нее в сумке есть, и она его достанет и товарищу старшине тоже сделает перевязку...

Он с трудом слушал и с трудом сообщал. Ему все мерещился тот англичанин, с которым он когда-то познакомился — англичанин Томми Флинт, Томми Флинт, будто из какой-то песенки, которую можно петь, и англичанин перемещивался с его девушкой Джен, а Джен с Валея и в голове его от всего этого, как ему казалось, стоял неумолкаемый шум и грохот.

— Ну, ну, ничего, — сказал Федосеев Наде и, вытащив из ее сумки жгут, спросил: — Это?

— Это, — ответила Надя.

Федосеев перетянул ей ногу выше колена, но Надя встать не смогла, и лицо ее стало еще более виноватым, чем раньше.

— Ничего, — сказал он, — дело в том, что я, так сказать...

И улыбнулся ей одними губами. Теперь она села. Он поправил на ней каску и велел ползти. Слева, там, где были пни, разорвалась еще одна мина. Надя сказала, что ползти она не может и что он должен оставить ее здесь.

— Ползти! — приказал он.

Она не могла. Но ведь он не мог ее тащить. Или мог?

Грохот стоял в его голове. Он полз, взвалив на свои израненные, кровоточащие от осколков плечи маленькую медсестру. Человек, который бросил товарища на поле боя, не человек. Сколько раз можно умирать? Он умирал каждое мгновение и полз дальше, уже не сдерживая стоны, отплевываясь кровавой слюной, и кричал:

— Держись, Гречуха, ничего! Подгребаем бодро!

Лизал сухим, горячим языком воду из луж и полз дальше.

Умирал и воскресал. Все смерти были не настоящие, временные, пустяковые. И он хрипел ей, Наде Гречухе:

— Держись, сестричка. Доедем.

Так он добрался до ложбины, и тут силы оставили его. Надя молча лежала рядом. Лицо ее было в золе и саже горюща, белели только зубы, а Федосеев никак не мог отдышаться, в голове у него стоял неумолкаемый грохот, по затылку точно кто-то бил кувалдой. Нехватало воздуха. Задыхаясь, он лег навзничь и вдруг увидел: совсем низко промчался над ним серый, с кругами на крыльях, короткий, бешено-стремительный самолет. Самолет был английский, и он внезапно вспомнил все—вечер, Валя, Джен, Томми Флинта. Все в порядке. Летать — и это дело, но и ползти — это тоже дело, особенно, если так болит голова. Иес! У каждого свой бой, у вас, может быть, он еще только первый, у меня далеко не первый. Все мы мужчины и мы будем вести себя, как мужчины, до самой последней крайности. Надо ползти. Еще немного. Еще чуть-чуть.

Кто знает, почему самолет, качнувшийся в небе крыльями, придал ему силы? Может быть, и не в самолете было дело? Может быть, просто вспомнился старшине недавний разговор с Томми Флинтом, вечер, Джен, Валя, прощание, кто знает? Но он полз и полз. Очутился он в медсанбате, в палатке.

— Все в порядке? — спросил он на всякий случай у врача.

— Все в порядке, — ответил ему знакомый голос.

Он опять закрыл глаза и, не открывая, спросил, как медсестра Гречуха. Ему сказали, что хорошо, и он вновь уснул.

Утром в бою ранили Томми Флинта. Он крепится, но ему больно. Я и Док Блисс везем его в госпиталь просвечивать. Томми бледен и зол. Ему кажется, что он сам виноват в том, что нацист прострелил его.

— Это моя глупость, — говорит он, — это мое неумение, а не искусство нациста.

Томми знает, что в том госпитале, куда мы везем его, лежит старшина Федо-

сеев. Мы вместе идем к старшине. Я смотрю, как они здороваются — они делают это, как и подобает мужчинам, так, как будто они расстались вчера вечером, а не много дней назад, и как будто за это время не произошло ничего существенного.

Я не перевожу. Я не нужна им. И я делаю вид, что они мне тоже не нужны и не интересны.

— Как поживаете? — по-английски спрашивает Томми.

— Очень прилично, — следует ответ по-русски.

— Рад за вас.

— А вы как поживаете?

Томми Флинт не понимает. Ему кажется, что Федосеев спрашивает его о ранении. И он отвечает то, что отвечают все молодые войны-мужчины:

— О, пустяки — царапина. А у вас?

Федосееву же кажется, что летчик спрашивает его о том, помнит ли он, как его самолет помахал тогда крыльями:

— Конечно. Вери гут.

— Ему вредно много разговаривать, — говорю я, — пойдемте, сэр!

— Пока, — говорит Томми, — мы еще увидимся. Солент!

В коридоре мы встречаем военврача Семенова — коренастого, седого хирурга. Томми останавливает Семенова и спрашивает, серьезно ли ранен Федосеев.

— Да, — следует ответ, — очень.

— Опасность еще не миновала?

— В основном нет.

— Я буду навещать его — вы мне разрешите?

— Конечно. Вы ведь знаете историю о том, как он вынес с поля боя медсестру...

Томми наклоняет голову. Да, он знает это и благодарит врача. Врач ушел. Мы стоим с Томми вдвоем.

— Старшина — мужчина, — говорит он, глядя на меня. — Молодец. Валя может быть счастлива... А я... — он махнул рукой, — а меня уже ранили и без всякой пользы.

— Какие пустяки, — возражаю я.

Улыбаясь, Томми смотрит на меня и говорит мне, что я добрая девушка.

Док зовет Томми на рентген.

*Пятый месяц. Среда*

Валя поправилась и работает в своей столовой. Старшина тоже поправился и теперь часто бывает у нас в гостях. Надя Гречуха поправляется у нас. Ее рана оказалась самая сложная. Мышкин, док и я делаем Надежде перевязки, а Валя кормит ее, как она говорит, «из собственных рук». В кормлении Валя доверяет только собственным рукам. Скоро Надя поправится и опять пойдет на фронт.

Старшина Федосеев подолгу разговаривает с Томми Флинтотом. У них настоящая дружба.

Томми Флинт здоров и уже летает. Его Джен пишет ему письма.

От Сережи нет ничего. Папин генерал написал мне длинное и подробное письмо. Я ответила ему. В письме он называет меня своей дочкой и говорит, что все товарищи покойного отца считают меня родным и дорогим для них человеком.

*Воскресенье. Ночь*

Время идет. Капитан Абросимов уже не капитан, а майор. Еще немного, и петлицы его станут такими же, как были у папы. А Логинов уже полковник. Даже Василек уже не младший лейтенант, а старший лейтенант, и голос у него теперь переменялся, возмужал.

Вчера немцы подбили машину Аброси-

мова в то время, когда наши возвращались с бомбежки, и сегодня все говорят о маленьком капитане. Англичане ходили сопровождать наших и, когда Абросимов стал отставать, маленький капитан остался с ним. Он кружил над еле плетущейся машиной Абросимова, высматривал врагов и принял бой один с двумя «мессершмиттами», которые налетели на Абросимова. Но в это время подоспели наши, и маленький капитан благополучно прибыл вместе с Абросимовым на аэродром. В «харрикейне» двадцать три пробоины, я сама считала.

Кстати, я до сих пор так и не написала о причине, которая легла в основу дружбы между капитаном Монтом и нынешним капитаном Киценко: у Киценко были жена, сын и мать. У капитана Монта были жена и две дочери. Кроме того, у Монта были братья и сестра. Немецкая бомба в первый же день войны уничтожила всех близких капитана Киценко. Такая же бомба попала в коттедж маленького капитана...

Только-что они все ушли на бомбежку. Я провожала их. Ясное небо и яркое солнце. Снег блестит и переливается. Тишина. Майор Абросимов посмотрел на меня совершенно папиными глазами. И вот их самолеты уже в небе.

— Би хэппи!

## Два стихотворения

Н. РЫЛЕНКОВ

★

Нет, не спится! Я вышел из душной землянки.  
Часовой заглянул мне в лицо: командир.  
По шоссе громяют тяжелые танки,  
Не смолкает всю ночь перебранка мортир.

Свежий ветер пахнул. Он из ближнего бора  
Земляники и меда мне запах принес.  
Значит, близится время веселое сбора,  
С детства милая сердцу пора — сенокос!

Только смято немецкими танками лето,  
Гром орудий в лугах косарей разогнал...  
Задыхаясь, я сжал рукоять пистолета:  
О, скорей бы, скорей бы к атаке сигнал.

★

Мы путь от Клина до Волоколамска  
Прошли с тобой плечо к плечу в строю,  
И, позабывший, что такое ласка,  
Тебя берег я, как сестру свою.

Бранил, что ты легко в поход одета:  
— Будь так добра, хоть варежки надень!  
Я знал, что у тебя в Рязани где-то  
Жених остался. Пишет каждый день.

Ты про него рассказывала часто,  
Пытливым взглядом прерывая речь.  
От всей души тебе желал я счастья,  
Любовь твою нетронутой сберечь!

А я?... Ну что ж, мне ничего не надо,  
Помимо благодарности сестры...  
Затягивает сетка снегопада  
Неяркие, дорожные костры.

Когда-нибудь мне вспомнится, как сказка,  
Как сон, у зимней ночи на краю  
Весь путь от Клина до Волоколамска.  
Что мы прошли плечо к плечу в строю.



# Фархад

ПЕТР СКОСЫРЕВ

★

Фирдоуси, Низами, Навои и тому безвестному узбекскому колхознику, чьи песни о Фархаде я слушал на берегу Ферганского канала, посвящая эту повесть...

## Книга первая

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Мальчик!!!  
— Слышу. Ну иди же. Чего стал!

И вестника, прибежавшего сказать, что родился мальчик, точно сдуло ветром. Но хакан вернул его.

— Куда ты? Бахрам, постой. На вот. И еще...

Проворный мальчишка ловко поймал налету обе монеты, а старый хакан заторопился к жене полюбоваться ка наследника.

Однако волнение сердца не дало владыке Согдианы сделать и шагу. Тяжело опустившись на ковер, старик поднял глаза к потолку и проговорил вслух раздельно и торжественно, точно это были слова молитвы или слова воинского приказа:

— Что проку в яблоне, если она не приносит плода. Дерево надо срубить и бросить в огонь. Что проку в раковине, если нет в ней жемчужины. Ловец кидает раковину на песок и в досаде топчет ее ногой. Что проку в ханском могуществе, если нет у хана наследника. Придет смерть, а с ней чужой человек; он сядет на ханский трон и скажет подданным хана: «Отныне мне вы будете платить дань». Сколько лет я томился по наследнику, точно раковина по жемчужине. Исполнилась моя мечта. Иди же, смерть, если настал твой срок. Теперь Согдиана не останется сиротой...

Торжественные слова как всегда умили волнение хакана. Спокойным шагом дошел он до опочивальни жены, но звонкий крик, донесшийся из-за двери, опять заставил владыку Согдианы забыть и о своем сани, и о годах. Рванув дверь, он второпях вбежал в комнату и почти вырвал из рук испуганной мамки ребенка. Младенец умолк и широко раскрытыми глазами посмотрел на отца. Ни страха, ни удивления не было в его взгляде. Только крупная слезинка, странно, вдруг блеснула, покатилась по щеке и затерялась в одеялах. Хакан много видел на своем веку слез и крови, и сердце его привыкло ко всякому злу, но слезинка из глаз младенца тронула его сердце. Держа мальчика перед собой, он распахнул окно и тут же отдал приказ, чтоб все дома во всем городе и во всей Согдиане были украшены шелком и чтоб для народа было устроено пиршество, какого еще не видела Согдиана, и «пусть, если какой бедняк придет ко дворцу просить милостыню, его наделают монетами и едой, и дворцовый кравчий стал бы у ворот и потчевал лучшим вином каждого, у кого только есть на лице следы какой-либо печали». Каждый должен веселиться в этот день торжества и гордости хакана.

Потом хакан позвал своего лучшего друга и советника, раиса Мульк-Ара, чтоб вместе с ним обсудить имя ребенка.

Мульк-Ара думал недолго. Он сказал так:

— Велико могущество согдийского государства и велико могущество хаkana. Однако только рождение наследника придало Согдиане блеск. Да будет началом имени наследника слово «фар» — блеск. Но этого мало. Что проку в блеске, если его никто не видит. Вся Согдиана устремила взоры на ребенка. Слово «хади» означает счастье. Именем ханского сына должно стать слово «Фархад». Понимающий найдет в нем и блеск надежды, и сияние счастья. Живи, Фархад, и будь достойным своего светлого имени.

Хакану тоже понравилось это имя: Фархад. Обняв раиса, он тихо удалился, чтоб дать распоряжение о начале празднеств, и даже не подошел к жене, полагая, что она спит. Но счастливая мать не спала. Прижав ребенка к груди, она любовно укачивала его, шепча: — Фархад, Фархад, будешь ли ты счастлив, мой сынок Фархад?

Фархад лежал тихо. Однако, когда мать наклонилась поцеловать его в лоб, она увидела на глазах сына слезы, крупные, как жемчуг.

— О чем ты грустишь, мой Фархад? — прошептала она. — Может быть, тебе не нравится твое имя? Хорошее имя, Фархад.

И по давней, еще девичьей, привычке молодая женщина стала разбирать имя мальчика по буквам, придумывая для каждой отдельной буквы новое слово. — «Ф», — спрашивала она себя — какое слово начинается с буквы «Ф»? «Фирак» — «разлука». — С этой буквы начинались и другие слова, а на ум пришло только слово «Фирак» — что значит «разлука», — и ей стало грустно. Потом она занялась буквой «Р». — «Р», — «Решк», — «ревность». Она часто ревновала мужа к его делам, и ей стало еще грустней. — «Х», — в каждой песне и в сказках встречалось слово «Хенджр», — что значит — «расставание». А с буквы «Д» начиналось слово «Дери» — «печаль». Молодая женщина сама не знала, почему вспомнились эти слова. Разве мало на свете других слов? Но только — печаль, ревность, разлука и расставание слетели к ней на сердце и не хотели улетать.

Когда хакан после окончания празднества зашел в опочивальню, мать и ребенок спали, а на глазах у них блестяли слезы, — точно жемчужины в раковинах, когда ловец достал раковину со дна моря, и жемчужина, как морская слеза, блестит, оплакивая покинутую глубину.

## 2.

Фархад рос с невиданной быстротой. Ему исполнился год, а скажешь — все три. Хакан много времени провел в дальних походах, а вернулся и не понял, приехал он домой или, может быть, в царство сна. Не трехлетний ребенок, каким был Фархад, встретил его возле террасы дворца. Взрослый мальчик, ловкий и статный, выбежал за оградой. И когда конь отца, испугавшись скрипа калитки, прынул в сторону, Фархад ухватил его за узду, и конь растыл, точно его держал не мальчик, а сам дед.

— Богатырем растет наследник, — в тот же вечер говорил хакан своему советнику Мульк-Ара. — Великое счастье обладать телом льва. Надо бы и ум его воспитать, как ум змеи.

Тут же решили в учителя Фархадку пригласить одного старца, самого мудрого ученого, которого знал мир.

Фархад с жадностью набросился на учебу. Однако хакан не знал, радоваться ему прилежанию сына или, может быть, горевать. Фархад только заглянул в азбуку и тотчас написал ее на память всю с начала до конца, а потом указал пальцем на первую букву и произнес задумчиво:

— С буквы «А» начинается слово «алам» — «скорбь», а с буквы «Б» — слово «беда».

И на глазах его показались слезы.

Хакан сокрушенно покачал головой: слишком велика была склонность мальчика к скорби.

Казалось, его тянет к страданию и жалости, как пчелу тянет к меду цветка.

Один раз Фархад стоял под густым вязом, и в руках его был лук. Солнечный луч падал золотыми пятнами на весеннюю землю и на зелень листьев. В тени стволов притаился заяц. Вдруг порыв ветра привел в движение

ветки и стволы, солнечные блики и тень от зайца. Фархад спустил тетиву, и заяц закувыркался. Но стрелок не спешил подбирать добычу. Ветром разнесло гнездо горлинки, и один из птенцов свалился прямо на голову Фархада. Боясь шевельнуться, Фархад попытался освободить птенчика из плена волос. Но тщетно. Маленькая горlinka только жалобно пищала и все глубже зарывалась в волосы. Тогда Фархад выхватил нож и одним взмахом срезал со своей головы все кудри. Потом он сделал из них гнездо, и горlinka, пригревшись, затихла.

Казалось, начини жаловаться яблоня в саду: «Апрельский ветер жесток, я забну», — и мальчик отдаст яблоне халат, а сам голый станет на морозе, оберегая дерево от весенних бурь.

Люди радовались такой отзывчивости ребенка и говорили:

— Доброе у него сердце, и легко будет жить людям, если он станет хаканом.

Но хакан ждал другого. Сколько раз он приходил к жене и спрашивал:

— Вы, женщины, лучше знаете повадки детей. Разве полагается, чтоб мальчик ревел над каждым дохлым щенком, как девчонка?

Жена отвечала:

— Всякие бывают дети, а Фархад добрый мальчик и славный будет воин. Смотри, какой он сильный и ловкий. Даром, что молод.

На этом обычно разговор и кончался.

Но хакана продолжала заботить склонность мальчика к горестным мыслям. «Это потому, что он часто бывает с матерью, — думал хакан, — женщины любят слезы, как розы росу. Станет Фархад учиться, забудет о слезах».

Но вот перед Фархадом сидит мудрый старик, и толстая книга раскрыта на столе, а в книге описана вся вселенная — и луна, и звезды, и из чего создан, и на чем стоит мир, и все победы, какие одержали великие хаканы над другими народами, — а Фархад задумался и на лице его такая печаль, будто кто его кровь лил на полях битв или будто это его, связанного по рукам и ногам, вели в плен.

Эта непрестанная тоска сына причиняла хакану с каждым годом все больше беспокойства.

Особенно омрачил его один случай, какой был во дворце во время шумного пира.

На дворцовый праздник съехалось много гостей. Тут были лучшие девушки Солдианы и самые искусные музыканты, и сотни красивых юношей смеялись с девушками в каждой комнате, а Фархад сидел молча в дальнем углу и без всякого участия смотрел на пир.

Только один раз он вышел из задумчивости. Это когда на середину зала выступил знаменитый фокусник. Искусник поднял руку, и вдруг на пустой ладони неведомо откуда появился павлин. Фокусник дунул, — и павлин превратился в столб огня. Гости воскрикнули, а огонь уже стал вздой, и вода шумным потоком хлынула на пол. Сидевшие возле поспешили подобрать платье, но вода тут же превратилась в бабочек. Одна из девушек схватила бабочку, но и той не стало. Пальцы гости сжали бумажный раскрашенный лепесток. Фархад встал и подошел к фокуснику. Лицо его по обыкновению было сумрачно и губы плотно сжаты. Но когда другая девушка потянулась за бабочкой и воскрикнула, обнаружив на ладони живую мышь, Фархад улыбнулся. Это луч солнца прорвал тучу и упал на весеннюю землю. Хакан видел эту улыбку, и счастьем его не было конца. «Конечно, он слишком много бывает один, — подумал хакан, — надо чаще устраивать пиры и, возможно, он забудет о своей непонятной тоске». И хакан тут же велел музыкантам начинать свои песни.

Бедный старый хакан! Певцы заели, а Фархад, точно раненный в сердце, тихонько застонал и опустился на скамью. Улыбка спорхнула с его губ и, как бабочка, улетела. Певцы пели про любовь, равной которой нет на свете, а Фархад сидел на скамье, замерев, и обливался слезами. Тогда хакан велел певцам запеть веселую песню, но Фархад потребовал, чтобы спять пели про бедного Меджнуна, которого любовь свела с ума. При этом он стонал и пла-

кал и, казалось, сердце его разрывается на куски.

— Нет, — сказал в ту же ночь хакан своему любимому раису Мульк-Ара. — Тут не помогут никакие фокусники. Развеселить Фархада в силах только что-нибудь совсем необыкновенное.

И они заперлись до утра, обдумывая план, как развлечь Фархада. А когда прошла ночь, и утро опустилось на деревья, точно сотня розовых птиц, план был готов. Мульк-Ара послешно покинул дворец и отправился на конюшню, где велел закладывать самых выносливых коней, так как путь ему и хакану, видимо, предстоял не близкий.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1.

План, какой задумали хакан и Мульк-Ара, состоял вот в чем. Они решили для забавы Фархада построить дворцы, подобных которым нет на свете. Один дворец должен стать дворцом весны, другой — дворцом лета, третий — осени, а четвертый — зимний дворец. Архитектор, художники, строители и каменотесы пусть проявят мастерство и выдумку так, чтобы, войдя в любой дворец, Фархад не имел бы времени подумать ни о чем другом, как лишь о красоте и необычности здания и отдельных его частей. Пока длится весна, Фархаду едва хватит времени познакомиться с дворцом весны, наступит лето, — он будет дивиться летнему дворцу, потом осень. В году не останется дня, когда бы Фархад заскучал. А пройдет год, минует для юноши пора тоски, и он сам будет разводить руками, если вспомнит, как тосковал и плакал по всякой малости.

Теперь хакан и раис ехали выбирать место для постройки. Нелегкая задача. Обширная Согдиана раскинулась по огромному кругу во все концы. И Фергана в тот век была Согдиана и Маверанагр и весь Туран. Задумай осмотреть все согдийские реки и долины, или задумай въехать во все ворота всех согдийских городов и — будь у тебя хоть шесть глаз или сто ног — и все

равно нехватит и трех жизней, чтоб осмотреть все диковины Согдианы. На площадях Самарканда толпились согдийские люди, и на базарах Бухары согдийский купец торговал рядом с таджиком, и в горах Памира стрелок охотился за горным бараном на стол согдийскому хакану.

Однако дворцовые кони бежали быстро, и скоро хакан и раис нашли край, где реки и горы, воздух и сама земля, казалось, договорились, чтоб создать рай на земле. Хакан никогда раньше не видел этих мест. Он спрыгнул с коня, и конь потянулся к кусту, повитому розовыми цветами.

— Это ферганский миндаль, — сказал Мульк-Ара. — Если понть коня миндальным молоком, у коня будет серебряное ржание; а намазать миндальным маслом меч, и меч не иступится, доведись ему быть в деле тысячу лет. Нет на свете края, подобного Фергане.

Хакан был враг долгих раздумий. Он вынул из ножен меч и прочертил на земле линии, от одного края долины к другому.

— Неприятно искать и не найти, — сказал он, — и еще горше меданть с находкой. Здесь быть дворцам.

Они сели на коней и быстро вернулись в столицу, чтобы подыскать архитектора и мастеров.

В Согдиане лучшим архитектором слыл Бани, а художником Мани.

Бани был как бы отец строительного дела, а искусство кисти и пера не хотели признавать другого владыки, кроме Мани. Был и еще один мастер, каменотес Карен. Да не просто каменотес. Карен — покоритель гранита, называл его народ и был прав. Карен резал гранит, точно масло. Их троих и пригласил Мульк-Ара, а с ними и еще множество разных мастеров, единственных в своем роде.

От скрипа колес можно было оглохнуть, когда груженные повозки потянулись к месту постройки. Арбы заполнили все дороги, все мосты. Точно тысячелетний муравейник стронулся с обжитого места. Шум работы, едва застучали молотки, отдавался в каждом далеком селении, а когда строители при-

нимались петь, под их песни мог плакать и смеяться даже тот, кто ушел на самый край Согдианы. Ну, а поднимут свою брань надсмотрщики, вскинут кнуты,—и тут уж зажимай уши даже тот, кто сидит за каменными стенами под толстой земляной кровлей.

Работа шла день и ночь. Луна нарождалась и опять кончала свой срок; восходил и гас Сатурн,— работа шла. По всей Согдиане прошел слух о невиданном чуде, какое строят в райском краю. Фархад сел на коня и захотел сам взглянуть на чудо. С ним ехало сто юношей, лучших его друзей, и когда они двинулись по стране, казалось, это сто звезд спустились на землю, наскучив кружиться вокруг луны.

Дворцы виднелись издалека. Округлостью купола их спорили с небом, а острые башни грозили сбить на землю и звезды, и луну, и само солнце пиками своих многорусных шатров. Возле построек копошились люди. Занятые своим делом, они даже не обернулись на Фархада. Кто крошил камень — продолжал его крошить. Кто месил глину — месил глину. А тесавший колонны тесал их с таким упорством и мастерством, что Фархад от удивления прикусил палец и целый час молча простоял возле каменотеса. Да и что сказать, если мастер еле касался гранита, а на колоннах лежался хитрый рисунок, какого и на бумаге не выведешь пером. «Что это за резец? — подумал Фархад.— Он режет гранит, как дерево».

— Кто ты, мастер? И как ты закалил резец, что перед ним гранит мягче ствола яблони? — спросил он каменотеса.

Каменотес заметил, наконец, ханского сына, отложил резец, утер пот со лба и сказал:

— Для всякого дела надобно уметь. Я вижу, правду говорят люди, будто ты добрый человек. Ты вежливо спросил мое имя, а уж потом заговорил о деле. А другой норовит ударить кнутом,— и то не спросит, кого бьет. Зовут меня Карен. Я каменотес и искусству своему учился у народа. Однако секрет закалки выдумал сам, и видишь, мой резец режет камень, как кусок мяса. Что мне еще сказать?

— И не говори ничего, работай, я буду смотреть.

Был полдень, когда Фархад подъехал к Карену. Покоритель гранита умолок и без отдыха и остановки весь день тонким резцом выводил на колоннах узор. Фархад слез с коня и любовался несравненной работой до ночи. А спустилась темнота, он вернулся в город и всю дорогу улыбался своим мыслям, точно разум его догадался, в чем счастье жизни и какими путями можно прогнать любую печаль.

## 2.

Этот день на постройке на целых четыре года решил судьбу Фархада. Он задумал стать мастером, таким, как Карен, и не отходил от каменотеса ни на шаг. Особенно был он внимателен, когда Карен начинал закалывать инструмент. Вот полуголый кузнец раздувал меха, и железо становилось красным, как бадахшанский рубин. Меха дышали все чаще, и железо уже было не рубин, оно начинало сверкать, подобно куску солнца. Тяжелый молот бил по солнцу, и железо, гудя, принимало вид кирки, или вид лопаты, или становилось острым коротким ножом. Меха отдыхали и, остывая, железо чернело, теряло лучи, и теперь лишь опустил нож в воду и режь им кожу, мясо или, если хочешь, гранит. Фархад брал нож и пытался резать гранит, как Карен. Тщетное желание. Гранит был гранит, а нож это только кусок хрупкого железа. Острие царапало камень, но гранит не поддавался. Нажми сильнее — и острие хрустнет, и снова, кузнец, раздувай меха, бей молотом по железу, — нужен новый нож; тот, что ты выковал, уже не годен: камень одержал верх в неравной борьбе резца и гранита...

Фархад сердился, схватывал новый резец, но и этот был не тверже первого. А Карен, посмеиваясь, смотрел на ханского сына, и его резец выводил и выводил узоры, точно гранит — это бумага, а резец — перо.

Тогда Фархад упросил Карена закалить его резец.

Карен согласился. Он взял с накопальни нож и, прежде чем опустить в

воду, обтер железо пучком сухой пахучей травы. Трава почернела, а Карен опустил нож в воду и тут же, выхватив его, обернул лезвие в лист пахучего молочая, что рос по степи и там, и тут. Молочай выпустил белый сок и, шипя, запекся на стали. Карен снова сунул нож в воду, но держал его там лишь самый короткий миг. Нужно было уследить, чтобы сок растения изменил свой цвет, и едва из белого он станет желтый — немедленно приложить к ножу кусок змеиной кожи. И лишь когда узоры на коже начнут темнеть, освободить железо и дать ему стынуть на самом дне ручья, следя, чтобы ни один водяной жук или плавунец не выпустил на сталь хоть каплю своей липкой слюны. После того еще целый месяц каждый день резец надо было завертывать в свежую кожу змеи. Змеиная кровь вытягивала из стали последние остатки слабости. Если теперь таким резцом ударить по граниту, гранит уступал, подобно маслу, а резец не тупился, не ломался, и могло пройти сто лет и все еще его острое острие годилось в дело.

Фархад целый месяц не возвращался в город, закаливая сталь. Но когда он попробовал провести хоть одну черту на камне, резец хрустнул и острие его стало похоже на пилу. Оказалось, сок молочая был недостаточно бел, и ржавчина вошла в тело ножа и лишила его твердости.

Фархад отдохнул только одну ночь и наутро сам, как простой кузнец, раздувал меха и бил молотом, следя, чтобы каждое его движение было именно таким, как у Карена.

Пять раз постигала Фархада неудача; но пришел, наконец, день, когда шестым по счету резцом он тронул гранит, и гранит, точно воск, уступил острию, и на камне остался узор.

Фархад стал мастером. Слава о Карене бежала по всему миру, но когда две колонны стали рядом, — одну украшал Карен, другую Фархад, — самый острый глаз не различил бы, где рука учителя, а где ученика.

Этот резец, закаленный им самим, Фархад спрятал в кушак и уже не расставался с ним ни на один день жизни.

Все время, что учился и работал Фархад, никто не знал на его лице печали. Если бы хакан видел сына, занятого работой, он бы отбросил заботы о его судьбе. Но хакан постройку доверил Мульк-Ара и лишь, когда раис сказал, что дворцы готовы, он сел на коня и с пышной свитой отправился смотреть на чудо, молва о котором уже успела обождать весь земной круг, наверное, семь или больше раз.

Вид зданий и веселое лицо сына привели хакана в хорошее настроение. Он щедро одарил мастеров, Мульк-Ара дал титул великого везира и немедленно приказал готовиться к пиршествов.

Дворцы были готовы к концу зимы, и первым днем праздника назначен первый день весны.

### 3.

Вот она, гремящая ручьями весна. Снег на полях превратился в розовое облако, и, подобно гигантскому орлу, оно взвилось в воздух и улетело в горы. Вот он, свет солнца, похожий на смех. Выйди в сад, — и каждый куст полон тихим смехом, точно это не сотня кустов, а сотня девушек примеряют зеленые платья. Нет, не зеленые. То тут, то там уже закраснелись лепестки роз. Подул ветер, прилетел соловей. Сад звенит от страстной песни и кажется, сад горит розовым огнем от множества роз, которым трудно сдерживать улыбку, таясь в бутоне.

В розовый дворец весны едет веселый Фархад, едет старый хакан, едет верный Мульк-Ара. Земля дрожит от топота коней, и пыль дорог, подобно стаду напуганных коз, бежит за конями. По всем дорогам Согдианы спешат гости на праздник весны. И дворец уже полон говором и смехом — весенний дворец из розового мрамора, добытого в ущельях Ягноба. Девушки, одетые в шелк, встретили гостей у дворцовой ограды, и на щеках их горел румянец, точно это соловей только-что тронул их трепетом своей песни. Водоемы по обеим сторонам террасы были наполнены вином, а скамьи для гостей устланы коврами, сотканными из шерсти годовалых верблюжат. Хакан сел на четырехугольный трон, а для Фархада поставили кресло, и очер-

таниями оно напомнило бутон, а шелковые подушки его были нежней облака. Едва разлили по кубкам вино, между балками потолка раскрылись потайные ларцы, и тысяча розовых цветов посыпалась на головы гостей, как зимой на плечи путника в горах падает снег.

Три месяца шел пир.

Это было пиршество для глаза, уха и для языка. Соловьи, заслышав застольные песни, посрамленные, улетели прочь. Бабочки садились на губы красавиц, точно надеялись с лепестков их собрать мед. А взгляни на стены, и не оторвешь глаз от узоров и завитков, выведенных кистью Мани; прочесть их не легче, нежели разгадать тайны звездных тропинок или полет ночных птиц.

Три месяца веселье румянило щеки гостей, и три месяца мысли хакана о судьбе сына гоже были розовые, как весенний сон.

Но вот хакан вышел в сад, чтоб нарвать букет Фархаду, который спал, утомленный весельем, и ни на одном кусте хакан не обнаружил ни одного цветка. Розы осыпались; деревья оделись листвой от корня до вершины; солнце стояло над головой, и тень от кипариса лежала на земле, круглая, как запястье.

— Конец весне, — сказал хакан своему другу Мульк-Ара, — хороший вышел праздник. Славно поработал Бани.

— Начало лету, — согласился Мульк-Ара, — не стоило тратить время и золото на четыре дворца. Достаточно двух. Наследник проглядел глаза, разгадывая загадки Мани. На лице его ни следа печали.

И откуда бы взяться печали? Голубой, зеленый и серебряный прекрасен летний мир, открытый для счастья. Сад стал зелен. Но эта зелень многоцветнее павлина. Смотри, светлый вьюнок обвил темный стан кипариса. Как павлин, стоит вяз на одной ноге, а к нему протянул свои ветки гранат, и в них уже как бы просвечивает кровь будущих плодов. Травы подняли к синеве острые копыя, и на конце каждого копыя отливала ржавчина. От сочной зелени лужайки перед дворцом точно покрыл пот, а пруды лежали в берегах тяжелее серебряных зеркал... «О блаженный покой не-

движного полдня в тихом челноке, — пел певец, — о мирный отдых беззлого вечера под сенью ветвистых чинар».

Когда гости перешли в летний дворец, он показался им слепком мира. Точно сама земля вдруг обернулась этими стенами из чаткалского мрамора, этими водоемами из шугианского хризолита. В водоемах налило вино. И оно такой чистоты, что подумашь, водоемы пусты, — просто солнечный свет, пролившись сквозь листву, играет в изумрудной чаше.

Едва наполнили кубки, стол уподобился лугу, когда на лугу открываются тюльпаны. Опять ударила музыка и запели певцы; опять фокусники стали метать к потолку зеленые шарики и выпускали из рукавов пестроцветных попугав. И опять мудрые сердца гостей обвил хмель, густой и зеленый, как само лето.

Хакан догадался, что летний пир длится уже третий месяц, лишь когда ветер с гор нахлынул на сад, и золотое яблоко, упав через окно, покатилося по столу среди чаш и хризолитовых блюд.

— Не пора ли перебираться в третий дворец, — спохватился хакан и протянул яблоко Фархаду. — Этот искусник Бани, надо думать, придумал что-нибудь совсем необыкновенное.

— Я думаю, пора, — согласился Фархад. — Бани — великий мастер.

Он съел яблоко и, даже не оглянувшись на соседку, забавлявшую его веселой беседой, оставил стол.

По виду Фархада нельзя было угадать, о чем он думает и к чему стремится его сердце, открытое всем ветрам всех земных невзгод.

#### 4.

...И верно, пора. Листья слишком горячо полюбили янтарное солнце и от любовной тоски сами высохли, как янтарь. Найдись среди гостей такой скупец, какому деньги милей красоты, и он бы умер от жадности глаз, когда гости двинулись в дом осени. И сад, и трава, и каждое дерево, и склоны гор теперь были усыпаны золотом. Наклонись и хватай его, сыпь в мешок, суй в кошелек. Да что золото! Щедрая осень не жалеет

добра. Тут янтарное зерно, там кровавый гранат. Виноградные гроздья светились в плетеных беседках, как светятся серьги в цветных уборах красавиц, и, срываясь с лозы, расплескивали свой бесценный сок. — «Мир вам, щедрая тучность плодов, — умиленно шептал хакан, поспешая за сыном, — слава тебе, беззлобная пора богатств».

Только что это? Ива, точно горя, опустила к земле усталые ветки. Уж не осенняя ли болезнь, желтуха, поразила ее? Или мало ей золота на ветвях и она, как скупец, ищет монет в траве? Нет, не жадность, не болезнь, — ее палит осенний огонь в предчувствии поры, когда каждый ее сук станет жертвой дымящегося очага.

Запах шафрана и спелых плодов встретил гостей, едва они поднялись на террасу. Нет, не улетит никуда красота этого мира. Навеки сложил Бани эти сводчатые стены из золотых плит. Век лежать узорным кирпичам водоема, изукрашенного рисунками Мани. Век литься вину в золотые чаши и во все века любоваться звездам на золотоволосых красавиц, поющих песни под звон золотых струн.

На осеннем пиру искусство Бани снова спорило с искусством Мани, а искусство виночерпиев и поваров могло спорить только с искусством музыкантов, соперников которым не знал мир...

...Золотое похмелье еще туманило головы гостей, когда хакан спустился по ступеням к водоему и чуть не упал. Уже декабрь потряс белыми кудрями над озьявшим садом. Мороз обратил влагу водоемов в прозрачный мрамор. Стань на лед и упадешь. Хакан не упал, но Фархад поблдевел и поспешно оставил стол.

— Отец, ты не повредил ногу? — вскричал он, подхватывая хакана под локоть.

— Сто раз я был в походах, — ответил хакан, смеясь, — и видел, как от морозов замерзает в небе луна. А руки и ноги, погляди-ка, целы.

Зима.

Кто тот чародей, сказавший солнцу: свети, но свет твой будет только видимостью света, — тепла нет в нем? Арыки покрылись толстым льдом. Реки

тоже стали железные ото льда. Найдись такой великан, который ухватил бы реку за один конец, — и река блеснет на холодном солнце, как кинжал, а если воды ее текли, извиваясь, река блеснет в воздухе, как застывшая змея.

Зима. Ветер гонит по небу белые облака. Красные зори, что ни вечер, горят на холодном небосклоне, точно на той половине земли люди жгут сотни костров в надежде согреться. Худо зимой бедняку. Он засовывает ладони подмышки, подносит их ко рту, хлопает одна о другую. Голые чинары звенят под окном. И ни согреться, ни уснуть. Лежи, дрожи, плачь. А настало утро и что проку в лучах, когда они только видимость света, — нет в них тепла...

Но кто из гостей помнил о бедняках? Тучные мудрецы не заметили мороза. Дворец зимы лишь по виду был дворцом льда. Теплая камфора, не снег, падала гостям на плечи. И не лед — жемчуг был насыпан в водоемы. В каждой комнате стояли лампы, наподобие стеклянных красавиц, и сердца их лили тепло. И горячи были белые вина в бокалах, и жарок был беличий мех на шеях красавиц, и белые одежды гостей были стеганы ватой. А ложились спать, и гагачий белый пух был, как женский смех, и легок, и горяч.

Вот прошел год, а никто не устал пировать. Да и как устать, если каждый день не такой, как другой, и ни одно блюдо сегодня не напоминало съеденное вчера. И ни одна песня не ласкала уши гостей дважды.

Это был самый веселый пир из всех. Но когда хакан, смеясь песне, что, пропетая за одним столом, переходила от гостя к гостю и дошла до трона, обернулся к Фархаду, чтобы спросить: «Не правда ли, сынок, веселая песня и не правда ли, ни один человек не веселился, как мы?» — Фархад поднял лицо, и хакан увидел глаза, полные тоски, и услышал вздох, какой расширил и опустил грудь сына.

— Что тебе, отец? — спросил Фархад и вздохнул опять.

Хакан понял в один миг: выдумка его с дворцами не стоила и гроша.



— Я думаю, пора кончать веселье, — сказал он и, оставив недопитую чашу с вином, встал. — Пора приниматься за дела.

Опустив голову, быстрыми шагами он направился к конюшне.

За ним поднялся и Мульк-Ара. А там и Фархад.

Гости вразброд кинулись к своим коням. Кончены, кончены праздники. Кончен год. Когда конный поезд приближался к городу, уже последний снег таял на гребне холмов, гремели ручьи и кустарники в саду примеривали первое весеннее платье.

Год прошел, и над всей землей звенел тихий смех новой весны.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1.

Хакан и Мульк-Ара снова укрылись во дворце, и до утра из-за двери доносился их горячий шопот.

— Нельзя иметь столько душевной тревоги, — говорил хакан, — то, что годится для дервиша, не годится для султана. Какой из Фархада выйдет хакан, если он готов лить слезы по всякому пустяку? Властитель должен быть добр, но он должен и уметь острить меч для казни. Властитель обязан внушать врагу страх. Если разбойник перестанет бояться власти, то даже школьники на улице не будут чувствовать себя покойно. Слишком робкое сердце у Фархада.

— Надо придумать способ закалить его сердце, — сказал Мульк-Ара.

— Печаль Фархада, — продолжал хакан, — от его равнодушия к жизни. Ему все равно, что жить, что умереть.

— Надо его занять мыслями о помощи родной стране, — сказал Мульк-Ара.

— Я так и решил, — сказал хакан. — Я передам ему власть над Согдианой. Государственные заботы заставят его быть суровым.

Здесь они прикрыли дверь плотней, и что говорили дальше, не слышал никто. Но на другое утро всем советникам Согдианы было велено собраться в тронный зал. Хакан, одетый в парадное платье, занял свое место, а рядом посадил Фархада. Наследник, как всег-

да, был прекрасен, но глаза его смотрели печально и, казалось, не видели ничего.

Хакан начал речь с благодарности властителю неба, давшему Согдиане славу, могущество и мир.

— Сложи все богатства мира в одно место, — сказал хакан, — и назначь к ним казначея, имя этого казначея и будет Согдиана. И место, где хранятся богатства, тоже Согдиана. Собери в одно всю мудрость и красоту земли и спроси, как зовется эта гора прелестных знаний, и скажут: да это согдийская страна. Нет на свете другой страны такого могущества и простора. От Жемчужного моря до Красных волн легли ее долины. От подземных глубин до звездных тропинок вознеслись ее горы. Из горячих песков в снега Сибири текут ее реки. На всех языках говорят согдийские люди, и собрания всех книг лежат в хранилищах Согдианы. Самые храбрые воины — это воины Согдианы. И самые справедливые судьбы — это судьбы Согдианы. А те, кого я собрал на этот совет, лучшие из согдийских судей...

Советники встали и отвесили поклон, а хакан стал говорить о себе:

— Нет на свете человека, счастливее меня. Я получил в тысячу раз больше того, что ждал с юных лет. Долго томила меня мечта о сыне, но судьба подарила мне и это счастье. Счастливы отец, имеющий сына. И в семь раз счастливее отец, который, как я, давно забыл, что такое молодость. Я сед, а седина, как осенний лист на дереве. Его не сорвешь и не заменишь зеленым.

Тут хакан умолк и кинул взгляд на вельможу, который — это знал каждый — каждое утро красил волосы и выдираал из бороды один седой волосок за другим.

— Старость не обманешь, — продолжал хакан. — Иной вырывает седины, пытается сойти за молодого. Не справляет ли он поминонок по своей молодости? Это на поминках вырывают бороды, оплакивая покойника. Можно убить седину краской. Но ведь даже гребешок засмеется, расчесывая крашенные волосы. Выйдет крашенный старик на улицу, и каждый школьник крикнет ему вслед:

«Вон идет крашенный старик». Нет, молодости не вернешь. Я стар, и я знаю, что я стар.

Хакан умолк и некоторое время простоял в раздумьи. Потом взял сына за руку и сказал, глядя ему в глаза:

— Никто не оплакивает луну на рассвете. Всякий знает, уйдет луна, взойдет солнце. Я — луна на рассвете, ты — солнце на восходе. Я — умирающий лев, ты — львенок. Я — сухая трава в степи, ты — весенний посев. Пришла пора тебе принять власть из моих рук. Стань отцом страны, мой сын, и заботься о благе народа, как много лет пытался заботиться я.

Хакан умолк и сел на кресло сына, уступая ему трон.

Советники из вежливости ничем не выразили своих чувств, хотя сердца их и обливались печалью. Но Фархад не был похож на других людей.

Он упал на колени и воздел руки.

— Да здравствует навеки величайший из владык Согдианы, — проговорил он с горячностью. — Да не выпадет никогда, отец, из твоих рук царственный кубок. О чем ты просишь меня? Я знаю, всему в мире приходит конец. Но кто знает день своего конца? Гибнет все, но в разные сроки. Травы гибнут каждый год, а кипарис стоит сотни лет. Сто холмов превратилось в равнину, а Эльбрус нерушим. Малому положен и малый срок, великому — великий. Да разве в молодости дело? Молодой комар разве сильнее старого льва? Если с шахматной доски упал король, пешка его заменит? Или, если ушло солнце, можно ли из глины вылепить его подобие? Я не могу понять и принять твоих слов, отец.

Сказав так, Фархад встал и хотел удалиться, но хакан задержал его.

— Всегда я ценил изящное и мудрое слово, — сказал он, — но вижу, многое ценил зря. Изяществу мыслей надо учиться у тебя, сынок. Хороша твоя речь, но я ждал другой. И вот мое последнее слово. Пока я хакан, я требую повиновения. И я умею заставить себя слушаться.

Фархад очень внимательно выслушал

отца и по тому, как сузились глаза хакана, понял, что старик не шутит.

— Отцу и великому хакану я привык повиноваться, — сказал он. — Я согласен учиться у тебя, отец. Ты — мастер, я — ученик. Управляй Согдианой, а я буду твоим помощником. И если настанет время, когда я сам буду мастер, тогда я беспрекословно исполню твой приказ.

Хакан не нашел, что возразить сыну, да и к чему возражать. Цель была достигнута. Хакан распустил совет и немедленно стал вводить наследника во все дела государства.

## 2.

Только оставшись один, хакан понял, как он боялся, что Фархад ответит отказом, и ему захотелось чем-нибудь наградить сына. Сказав, что пойдут смотреть государственную казну, хакан повел Фархада в хранилище своих богатств. Открыв заповедные подвалы, он велел зажечь все лампы, потом широко раскрыл руки и сказал:

— Выбирай, что хочешь, таких богатств не видал мир.

И верно, мир таких богатств не видел; а увидел бы, так ослеп. Сорок комнат были доверху забиты золотом. И какое золото: иное — мягкое, как воск; другое — как гранит, а то — как стекло. В других сорока комнатах лежал шелк. Нужно быть женщиной, чтобы понять красоту этих шелков. Вот одежда. На платье ни шва, ни складки. Мастер выткал его целиком, как целиком делают кувшины из серебра. Тут халаты. Надень их, и сразу станет тепло. Но надень их хоть десяток, различить цвет и очертания тела, как сквозь летнее облако различишь очертания солнца. В других комнатах были насыпаны рубины, жемчуг, алмазы. Казначей, как чародей, открывал одну дверь за другой, и за каждой дверью вставало новое чудо. Глаз острее стрелы и тот тупился от этого блеска, а казначей открывал и открывал двери.

Фархад наконец устал. Зажмурясь, он перевел взор в самый темный угол подвала и вдруг ему показалось, среди блеска хрусталя он видит сиянье чьих-то глаз. Или не глаза, две искры. Нет,

глаза. Фархад напряг зрение и увидел хрустальный ларец, задвинутый за вазу, полную рубинов.

— Что это за ларец? — сказал он, отодвигая вазу.

Ларец был не велик. Тяжелый замок из рубина висел на его крышке. Ларец был как бы и пуст, и в то же время в нем что-то все мелькало. Или это его хрустальные стенки отражали тех, кто на него глядел. Нет, откуда вдруг блеснул снова этот женский опечаленный взгляд? Ни одной женщины в подвалах не было. Не может быть, чтобы глаза Фархада, отразившись в хрустале, приобрели такую притягательную силу.

Хакан увидел ларец и постарался отвлечь внимание сына на другой предмет.

— Видишь эту вазу? — спросил он. — В ней столько рубинов, сколько народу живет во всей Согдиане. Один раз я велел пересчитать...

— Как открывается ларец? — перебил его Фархад.

Упрямец Фархад. Почему хакан не велел задвинуть подальше этот ларец?

— Ключ от замка потерял, — сказал хакан, — там пустой стеклянный ящик. Как он попал сюда, не помню, и никто не помнит. Что в нем интересного...

Но Фархад проявил упорство.

— Если потерял ключ, придется сделать другой, — сказал он. — Что запер один человек, другой сумеет открыть. Я не успокоюсь, пока не увижу, что там блестит.

Фархад стал волноваться, и хакан уступил. Он велел принести ключ, и ларец открылся.

В нем не было ничего, кроме зеркала. Небольшое, оно было так чисто, что, казалось, отразит и то, чего даже нет. Когда его вынули из ларца, в подвале стало светло, как в саду. На задней стороне зеркала непонятными буквами была выведена надпись.

— Тут что-то написано, — сказал Фархад.

— Стоит ли портить глаза разбирать всякую тарабарщину, — сказал хакан.

— Здесь светло, — сказал Фархад, — это греческие буквы, я хорошо знаю греческие буквы. — И он прочел:

«Это зеркало, отражающее мир, —

создание Искандера — покорителя вселенной и отца мудрости. Оно — его последний подарок людям. Четыреста мудрецов — философы и ученые земля, трудились над зеркалом. Кто сумеет взглянуть в него, — узнает свою судьбу и что ему положено в жизни. Но, чтобы уметь увидеть судьбу, надо сперва пойти в страну греков и открыть талисман, скрытый в горе. Не просто найти его. Смелчаку предстоит победить дракона, но мало того, победив змея, смелчаку предстоит бороться с самим Ахриманом — духом зла, который силен, жесток, лукав. И еще есть бедствие, о каком все равно узнает тот, кто победит владыку зла. Лишь одолев три препятствия, проникнет смелчак в гору, где в пещере, мрачной, как ночь разлуки, живет великий Сократ. Если жив Сократ, он поможет советом, если мертв, пусть смелчак обратится к его памяти, и тень мудреца, возможно, поможет смелчаку. Тогда зеркало откроет свою тайну».

— Глупые сказки, — сказал хакан, — я говорил тебе, ничего интересного.

Но Фархад все вертел в руке зеркало, пытаясь уловить виденье, какое то мелькало, то вновь пропадало на стекле.

Странное волнение охватило Фархада. Он сам не знал причины печали, тяготившей его душу с детства. Но вот его глаз уловил черты виденья и его охватило такое счастье, что ему показалось, он точно спал и теперь готов проснуться. Однако виденье мелькнуло и пропало, — и железная тягость снова сдавила сердце.

— Отец, я поеду в Грецию, — сказал Фархад, едва они оставили подвал.

— А твое обещание помогать мне? — возразил хакан.

Фархад не сказал ни слова и ушел в свою комнату. Но по его походке и по выражению глаз, какими взглянул он на отца, хакан понял: желание сына отлито из железа и нет силы его победить.

Опечаленный предчувствиями, хакан уединился и потребовал самую большую чашу самого крепкого вина, чтобы хоть на миг забыть о горестях, какие причинял ему упрямый сын.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## 1.

Фархад с того дня не поминал о своем намерении уехать. Но вспыхнувшее желание не гасло. Оно разгоралось с каждым днем, из железного став стальным, и сталь накалялась, грозя спалить и сердце, и рассудок наследника хакана.

Наконец, Фархад не стерпел. Увидев проходившего мимо Мульк-Ара, он тронул старика за плечо и сказал:

— Зайди ко мне, друг моего отца, если ты не желаешь мне смерти.

И когда они с везирем остались одни, Фархад сказал:

— Никто не уйдет от своей судьбы, — будь он нищий или хан, или ханский сын. Как могу я жить, не зная, что растет на троие моей судьбы? Ключи заповедных тайн лежат в Греции. Пойди, милый Мульк-Ара, к отцу и пусть он не удерживает меня. Или я уйду тайком.

Мульк-Ара хорошо знал Фархада и поэтому, заметив дрожь гнева в его словах, пошел к хакану и передал ему содержание беседы.

Оба старика не мало пролили слез в тот день. Что они ни придумывали, знали оба: ни одна выдумка не поможет ничему. Что Фархад захотел, сделает, если даже придется умереть. Хакан велел заключить Фархада в темницу, но сам же и отменил свой приказ. Что за радость иметь сына, которого держишь на цепи? Мульк-Ара еще два раза говорил с Фархадом и снова слышал одно: — Тогда я уйду тайком, и отец мне больше не отец.

Наконец, хакан сдался. Грозное войско должно идти в Грецию. Под защитой воинов Фархаду нечего бояться дракона, если только есть на свете драконы, и даже самого повелителя зла, если и у духов, как у людей, есть свои падишахи и хаканы.

Фархад, радостный, обнял отца и стал топтать с походом. А хакан и сам не любил медлить с тем, что решил. Затрубили трубы, загрели барабаны, полетели во все концы Согдианы глашатаи, и, не прошло недели, несметное

войско уже заполнило город и лагерь стало вокруг его стен.

Сердце какого мужа не загорится жаждой подвига при виде такого воинства? На что уж стар голубой небосвод, а и тот, когда войско двинулось в поход, выслал ему вслед отряд облаков, верно, думая и себе ухватить часть военной добычи. Кольхались знамена, звенели сабли, кони ржали и ревели обозные быки и ослы. Если войско останавливалось на привал, палатки в степи числом превышали звездный сонм. Лагерь снимался, — и ни один налет саранчи не покроет землю так плотно, как покрывали ее копыта коней. Им не было числа. Подойди к муравейнику, развори его палкой, а потом скажи, сколько тружеников ютилось в этой куче. Их там не насчитаешь и четверти столько, сколько воинов Согдианы шло под знаменами хакана.

Под немолчный грохот барабанов и пенье труб хорошо сказал один войсковой певец:

— Неотразимость этих полков может сравниться только с неотвратимостью воинства любви, когда сердце жаждет любви.

Фархад услышал эти слова и спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

Певец ответил:

— Так поется в старой песне, а слова песен — это сама правда.

Фархад в задумчивости отъехал от певца и дал приказ двигаться быстрее.

Ни один враг не посмел остановить согдийские полчища. На пути вставали горы. Воины брали их, точно горы эти — не горы, а муравьиные кучи. Широкие реки преграждали путь. Воины строили плоты, и река покорялась упорству человека.

Кто знает, как долго длился поход. Солнце всходило на небо и падало за пески. Рождалась и росла молодая луна, потом старела и свет ее мутнел. Войска шли, и когда за последней горой открылся простор воды, а за ней долины и крутые скалы и на скалах паслись овцы и быки, а в долинах зеленели высокие пальмы, — Мульк-Ара подъехал к

Фархаду и сказал, указывая вдаль:

— За этой водой Греция. Ты достиг, чего просил. Видишь сам, я не хочу твоей смерти и думаю лишь о твоём счастье.

Фархад приподнялся на стременах и долго смотрел на страну, через которую пролегла тропа его судьбы.

## 2.

Население Греции вышло навстречу хакану с видимой покорностью и с тайным опасением. Если в страну приходит иноземный царь, опасение всегда уместно. Но слова, какие сказал хакан, успокоили греков.

— Не для разбоев и наживы пришел я в Грецию, — сказал хакан. — Судьба моего сына сделала меня гостем вашей страны. Мы пришли искать таинственную гору, где в пещере, мрачной, как час разлуки, живет мудрый Сократ или его тень. Есть ли среди вас человек, кто укажет путь к горе?

Такой человек во всей Греции был один. Мудрый старец Сухейла.

Ему, наверное, была тысяча лет, во рту его не осталось ни одного зуба, а борода и волосы покрылись плесенью.

Он выслушал рассказ хакана, и из глаз его потекли слезы.

— Великое счастье, — сказал он, обнимая Фархада. — Двести лет я жду тебя. Было предсказано, что умереть мне не раньше, чем из согдийского царства придет царевич по имени Фархад. Он будет искать пещеру Сократа. Ты — Фархад, и ты ищешь пещеру Сократа. Великий покой смерти уже взмахнул над мной своими крыльями. Я расскажу тебе все, а пока смотри.

Колелемый старостью, Сухейла подошел к скале и с трудом извлек из расщелины позеленевший сосуд. Огненная жидкость плескалась в нем, и тяжелый запах серы сразу наполнил пещеру.

— Это масло саламандры, — сказал Сухейла. — Дракон, которого искать надо вон на той тропе, дохнет на тебя огнем. Не бойся. Натришь этим маслом и бейся, как витязь, — без страха и горячо. Если ты одолеешь дракона, в его жилище ищи талисман. Какой та-

лисман, не знаю, но он поможет тебе победить Ахримана — духа зла. Убей его и найди в его логове перстень и еще табличку. Они расскажут, как достать чашу, по краям которой вьется надпись. Это и есть талисман Искандера. С ним ты найдешь пещеру Сократа и, если великий мудрец жив, ты узнаешь свою судьбу или, может быть, половину судьбы. А что с тобой будет дальше, не знаю.

Едва Сухейла произнес слова, как грудь его перестала дышать, и он умер.

Хакан сказал:

— Видишь, старик выжил из ума, и какой смысл слушать его бредни? Надо возвращаться домой.

Но Фархад обмыл покойника, как требовал обычай, и сказал отцу, что завтра чуть свет он отправится на зменную тропу.

Хакан не спал эту ночь до утра.

Каждая звезда ему казалась глазом змея. В каждом шелесте деревьев ему чудился шорох драконова хвоста. А когда восток заалел и красный пламень вдруг вырвался из-за горы, хакан даже вскрикнул. В его утомленных глазах это был не солнечный луч, это ядовитое жало змея взвилось в воздух. Бедный Фархад, одумайся, остановись, на кого ты покидаешь своего старого отца? Вспомни о матери, Фархад. Разве под силу человеку одолеть исчадие ада? Разве мало тебе счастья в покоях родного дворца?

Хакан разорвал на себе ворот и заплакал, видя Фархада уже на коне. Впрочем, плакал не один хакан. Воины, узнав, что наследник снаряжается к бью, тоже стали плакать и просить у неба милости для Фархада.

А Фархад сказал щит и кольчугу маслом саламандры, взял в руки меч, поднял руку и тронул коня. Пыль тропинки, ведущей к змею, взметнулась и скрыла всадника.

Воинство упало на колени. А старый хакан перестал плакать, натянул на плечи испытанную кольчугу и поскакал вслед за сыном. Постепенно и воины стали подниматься с земли, садились на коней и потянулись за своим хаканом.

Ехать пришлось долго. Тропинка огнела гору и спустилась в долину.

На черной земле ничто не росло и не жило. Несколько обугленных стволов стояло вдоль дороги, да тут и там на холмах серели кучи пепла.

Сюда уже достигало дыхание змея.

Пепла становилось все больше. Вот уже конь Фархада еле бредет, разгребая копытами золу. Из гнедого он стал черным. Дышать было все трудней. Налетевший ветер доносил от жилища змея такое зловоние, что приходилось стискивать зубы и перчаткой прикрывать нос. Половина воинства попадала с коней и уткнулась лицом в землю. Фархад, не останавливаясь, ехал вперед.

Сколько прошло времени, не знал никто. Может быть, прошло сто лет, а может быть, один час. Наконец вдали возник такой мрак, точно второе, черное, солнце поднялось над землей.

Это была пещера змея.

Почувяв человеческий дух, гремя когтями и звеня хвостом, дракон медленно стал выползать навстречу Фархаду. От одного его вида могла подняться кровавая тошнота. Так ползет беда из горы черных предчувствий. Так растет бедствие среди огненного моря тоски. Вонючее тело все увеличивалось и скоро заслонило солнце, став горой. Едва змей раскрыл пасть, — сноп искр, вихрь пламени пронесся над долиной. Змей потянулся, и каждая его лапа, как смрадная река, извиваясь, стала приближаться к Фархаду. Когти лап величиной спорили с серпами, а твердостью — с алмазом. Из ноздрей бил огонь. Из пасти тоже лилось пламя, и каждый зуб в огне сверкал раскаленным железом. Змей привык изжарить жертву, прежде чем проглотить, и теперь, трясаясь от жадной злости, изливал на Фархада весь свой жар. «Позавтракаю этим безумцем, а потом пообедаю и теми, что лежат в стороне», — думал он, раздувая свой пламень. Напрасная похвальба. Фархад приближался, но языки пламени только еле скользили по его кольчуге. В руках смельчака был лук. Трясаясь и смердя, змей вскинул передние лапы, когда зазвенела тетива, стрела скользнула, и острый наконечник пронзил язык чудовища. Змей завыл и, клубясь, точно болотный туман, подобрал лапы. Искус-

ный стрелок Фархад! Целься вновь! Пускай за стрелой стрелу! Лук Фархада стал тучей, испускающей молнии. Вот уже десяток стрел угодили в глаз дракону. Целься, целься, Фархад! Не жалей стрел! Истекая кровавым потом, змей собрался в клубок и стал похож на пруду гигантских непромытых кишек. Ничто не спасет тебя от гибели, дракон.

Пустив последнюю стрелу, Фархад вскинул меч и налетел на змея. О, как умел работать мечом Фархад. Где же дракон? Не прошло и мига, — куски изрубленных колец и лап валялись в долине, как на прилавке базарного торговца валяются куски непроданного мяса.

А Фархад кладет меч в ножны и, спокойно слезая с коня, входит в пещеру.

Ход вел в подвалы, богатства которых были ценней, чем богатства хакана. Но не золото и не рубины привлекли Фархада. Пусть ими пользуется дворцовый казначей. Чудесные меч и щит лежали в самом низком подвале. Вот что надо Фархаду. На щите надпись: «Опяшься мечом и подвесь щит, на них благословенье Сулеймана. Ты станешь непобедим, хотя бы и пришлось тебе биться даже с Ахриманом — отцом зла. А путь в долину Ахримана укажет конец меча».

Радостный покинул Фархад пещеру и вернулся к отцу.

Сколько приветственных раздалось криков! Сколько рук протянулось позвать руку Фархаду и потрогать чудесный щит! В пылу радости даже не заметили, что стоят по колена в крови. Издохший змей выпустил всю кровь всех жертв, какими питался миллионы лет, и теперь черная долина стала красным озером.

Хакан поспешил увести войско в сухое место на горе. Но когда начался победный пир, еще долго небосвод алая багрянцем, отражая кровь, продолжавшую сочиться из змеиной мертвой пасти.

### 3.

Фархад стал готовиться к новому подвигу.

И опять повторилось все, что было перед схваткой со змеем. Хакан плакал и умолял Фархада остаться, войско вторило хакану; Фархад был неумолим и, когда он тронул коня, чтобы ехать к долине Ахримана, хакан и воины сели на коней и тронулись следом.

Теперь и дорога, и местность были совсем другие, чем в долине змея. Там пустая черная земля, а тут встали заросли и сады и тропинка скоро потерялась в этой чаще ветвей и трав. Сперва было радостно видеть деревья и цветы, но с каждым шагом зелень делалась гуще и в душу постепенно закрадывался страх. На деревьях сидели пестроцветные птицы, когда птицы начинали петь, было похоже, будто кричит сотня чертей. Между стволами сновали звери, и вид этих зверей таков, что не дай бог увидеть их и во сне. Внезапно налетел ветер, и деревья захлопали листьями, как в ладоши. Хлопанье становилось оглушительным, а очертанья листьев все необычней. Вот лист, как голова чорта, вот лист — верблюду или лист — козлиная борода. Иные цветы отражали лучи, точно зеркало, и тени их складывались в зловещие фигуры. Вдруг конь заржал и прынул в сторону. Под копыта его подкатилась голова с пустыми глазницами. Фархад наклонился, и голова оказалась простым камнем, имеющим вид головы. Между красными стволами вились тропинки. Где-то шумели водопады, звенели ручьи; только не вслушивайся в их шум, — водопады стонали, выли, плакали или пели срамные песни. Пробираясь между ветвей, Фархад то-и-дело наклонял голову, чтоб избегнуть сучков, острых, как кинжалы. Ветер усиливался. Сперва он свистел, а потом стал выть и рыдать и, казалось, он даже кричал: «Остановись, Фархад! Куда ты, Фархад? Ай-ай, попался Фархад!» Сгустились тучи, и вид каждой тучи был ужасен. Простые чинары, и те в этих садах Ахримана приняли зловещий вид и тоже шептали Фархаду: «Не езд, Фархад, как ты далеко забрался, Фархад. Пропадешь, Фархад, ни за что».

Но не за тем Фархад покинул Согдиану, чтоб слушаться каких-то чинар. Смело гнал он коня сквозь заросли, и

вот деревья расступились, открылась лужайка и по самой середине луга, окруженный кустами роз, высился дворец Ахримана.

Царь зла не дал Фархаду даже опомниться. Он, как увидел непрошеного гостя, так и кинулся на него с быстротою ветра, или с быстротой приступа гнева. В руке он держал палицу, толстую, как минарет, и развевающиеся волосы его, точно пики, устремились на Фархада. «Эй ты, нахал, — завопил Ахриман, — пеняй на себя, не я, ты сам сгубил себя, явившись ко мне!»

И взмахнул палицей.

Фархад загородился щитом и в свою очередь вскинул меч. Меч перерубил палицу пополам, и Ахриман, поворотив коня, помчался к своему дворцу. Там он схватил палицу пострашнее изрубленной и снова замахнулся. Но чудесный меч рубил палицы, как топор дровосека рубит дрова, и опять Ахриман остался безоружным. Тогда он устремился к скале, ухватил ее обеими руками и вскинул, чтоб обрушить на Фархада. А Фархад выставил щит. Скала скользнула и, отпрянув, погребла под собой и Ахримана и всех его помощников, мелких чертей, которые выскакивали из каждой капельки пота Ахримана, как цыплята выскакивают из яиц.

Схватка кончилась так же быстро, как началась. Фархад спрятал меч и вошел во дворец. В нем было сто дверей и на каждой двери висело сто замков. Внимание Фархада привлекла одна дверь. Она была украшена алмазами, и в виде таблички на ней висел указ: «Запрещая открывать». Фархад сорвал все сто замков и вошел в комнату. Таковой комнаты, наверное, не видел ни один человек. Она была светла, как помыслы независтливых людей. Свет лился из яхонтовой лампы, висящей под потолком, и сквозь яхонт виднелся перстень Ахримана. Фархад достал перстень и обнаружил надпись: «Кто найдет перстень, тот обнаружит и талисман Искандера. Пусть он надеется и ищет».

Фархад надел перстень и поспешил к воинству, которое совсем затерялось в зарослях и скорей напоминало стадо испуганных ягнят, чем грозное войско.

Фархад поспешил вывести их на лужайку, где стоял дворец Ахримана. Отцу он показал перстень и, пока войско пировало, стал готовиться к новому подвигу, о котором не знал ничего, кроме слов Сухейлы, что третий подвиг будет последним.

## 4.

На этот раз хакан со спокойным сердцем отпустил Фархада. Счастливое окончание двух схваток давало надежду и на третью победу. Но сам Фархад чувствовал себя плохо. Даже воздух во дворце Ахримана был точно загрязнен дурными помыслами.

В полузабытьи он миновал заросли и вздохнул свободно, лишь когда выехал на светлый луг. По середине луга текла река. С удовольствием кинулся Фархад в прозрачную воду и, только окунулся, грязь и усталость оставили его. Вероятно, это была река жизни, о какой в детстве слышал каждый из нас.

Он вышел на берег и в тот же миг к нему приблизился какой-то старичок, закутанный в зеленый плащ.

— Будь здоров, сынок, — сказал зеленый старик, — я живу в этой реке и нарочно загородил тебе путь, чтобы потолковать с тобой. Искандер заколдовал свой талисман, а я помогу тебе его расколдовать. Видишь тропинку? Ступай по ней все прямо, но держи на счету каждый шаг. Когда заметишь вдаль вершину горы, знай, до талисмана осталось двенадцать тысяч шагов. Кажется, и немного, а не всякому под силу. Тропинка выбита в граните, а гранит скользкий, как лед, и повсюду навалены камни, острее бритв. Пройдешь одиннадцать тысяч шагов, покажется крепость. Ее сторожит лев на каменной цепи. Победи его и ступай дальше. Пройдешь еще девятьсот шагов и увидишь каменную плиту. Подтолкни плечом камень, и откроются ворота. За воротами стоит железный человек, и в руках его железный лук, а на груди зеркало. Сумей поразить его раньше, чем железный человек спустит свою железную стрелу. Если ты пробьешь зеркало, человек упадет, а с ним и другие стрелки, что охраняют крепость. Только нужно целить так,

чтоб стрела прошла сквозь стекло, не расколов его. А расколешь, и все железные стрелы полетят в тебя, и будет твоё тело, как в клетке из стрел; боюсь, в этой клетке не найдется места для соловья жизни. И еще скажу — если лев раскроет пасть, кинь ему в пасть перстень, тогда лев умрет. Вытащи перстень обратно и иди дальше. Ступай, сынок.

Фархад поблагодарил старика и двинулся по тропинке. Но слабый голос, доносящийся от реки, заставил его обернуться.

— Не сбейся со счета, — кричал старик, — считай верней, а то пропадешь.

Этого старик мог и не кричать. Арифметику Фархад знал не хуже, чем владел мечом.

Все произошло так, как говорил старичок. Была и тропинка, скользкая, как лед. Был и лев на цепи. Он чуть не сожрал Фархада, но чудесный перстень заткнул льву пасть. Фархад немало помучился, прежде чем вытащил перстень обратно. Была и плита в ста шагах от ворот. И ворота открылись, едва Фархад толкнул плечом плиту. И за воротами возник железный человек с железным луком. И еще сто железных людей сжимали в руках железные луки. И каждый из них метил в Фархада. Но Фархад знал одно, — надо вскинуть лук и стрелять.

Выстрел был быстр и меток. Он пронзил зеркало, не расколов, как взгляд красавицы пронзает сердце и все-таки сердце живет. Железные люди повалились, как чурки, и Фархад беспрепятственно вошел в замок. Он опять еле взглянул на сокровища, наваленные всюду, как простой сор, и устремился к небольшому строению, от стен которого во все стороны шло сиянье.

Оказалось, сияла лазурная чаша, подвешенная к потолку на золотых шнурах. Это и был таинственный, так трудно достижимый, всезнающий талисман Искандера.

Фархад взглянул в чашу, и ему открылся весь мир, и далекая Согдиана, и близкая Греция. Все звезды и планеты и само солнце плавали в чаше, как в зеркале, и было видно — вот вьется



путь к одинокой горе, где живет Сократ, и больше нет на пути к ней ни одного препятствия.

Ты добился своего, Фархад. Спеши к отцу, поделись с ним радостью. Подари ему эти несметные богатства. Одели золотом войско, раздай его бедным, а сам садись на коня и скорей, скорей спеши к горе Сократа. Мудрец стар и, кто знает, успеет ли он рассказать тебе, как пользоваться зеркалом Искандера. А то умрет, и ищи тогда его тень, свищи. Да и умеет ли еще тень говорить?

Но Фархад медлил.

Проходили часы, а он опрокинул взор в чашу и не мог оторваться. Вот он какой, вот он какой наддунный мир, и какая маленькая горошина земля. А какой свет во все концы от этой пылинки! Загороди ее, и все померкнет, и солнце, и луна, — и куда девался блеск звезд. И к чему звездам плавать по своим кругам, если погасло сердце?

Уже день перевалил за половину, когда Фархад оставил чашу, покинул строение и медленно поехал к отцу. Он привел хакана в гранитную крепость и лег отдыхать, чтобы утром, чем свет, направиться к пещере Сократа, мрачной, как час разлуки.

## 5.

Обладая волшебной чашей Искандера, Фархад без труда нашел гору Сократа! Она была чрезмерно велика, и тысячи пещер изрешетили ее склоны. Но Фархад знал, где искать старца, и без всяких приключений он и хакан, и Мульк-Ара прожикли к великому человеку.

Таким, как Сократ, и должен быть истинно великий человек. Он был обыкновенный на вид, и в то же время все в нем было необыкновенное. Небольшого роста, а казался горой среди других людей. Говорил простые слова, а уши слушателя точно купались в чистой музыке. Смотрел в глаза, и сердце трепетало, как от взгляда самой вселенной. В углу пещеры висел паук, так и тот, казалось, как академик, непрерывно решает теорему Пифагора. Стоило войти к Сократу, и кончались все сомнения, все тревоги. Великая мудрость наполнила душу, а с ней и великий покой.

Сократ ласково приветствовал гостей и каждому по очереди сказал несколько приятных слов. Хакану он посулил долгую жизнь; великому везиру Мульк-Ара уважение современников и память потомства. Он только предупредил их, чтобы они остерегались воды и дерева на воде. А потом обратился к Фархаду с такой речью:

— Что такое счастье человека? — сказал он. — Бедный скажет, — богатство. Ну, а спроси богатого. Он скажет, — здоровье и долгие годы. Я прожил тысячу лет. Спроси меня. Я скажу, — большое счастье умереть. Но не в смерти счастье. Оно в истине. Теперь спроси, — в чем истина? Каждый ответит по своему разумению, но ты верь одному, — истина это любовь, а любовь — огонь, воспаляющий сердце. Огонь дает свет и тепло, но огонь и сжигает то, что горит. Твое сердце сгорит в пламени великой любви, Фархад. Ты полюбишь женщину, но это будет только половиной твоей любви. В этом твоя судьба. В тот миг, когда ты пронзил зеркало на панцире железного человека, ты расколдовал и то зеркало, что осталось в подвалах отца. Взгляни в него, и увидишь половину своей судьбы. Немного? Но не каждому человеку дано знать и половину неизвестного. Что с тобой будет дальше, я не знаю...

Голос старца стал слабеть. Он говорил последние слова, уже не открывая глаз, а сказал: «не знаю», — и тихо умер. Совсем, как Сухейла.

Если и прежде в сердце Фархада самой частой гостьей была печаль, то в этот миг она распорядилась там, как хозяйка. Поток слез излил Фархад над телом Сократа. Потом позвал отца и рассказал ему все. С помощью воинов они предали земле тело мудреца и, не задерживаясь, двинулись в Согдиану, так как что еще могло удерживать Фархада в чужой стране греков.

Итти было трудно. Не только Фархад оплакивал Сократа. Сама природа лила слезы целый месяц. Дороги стали мокры, колеи разбухли и налились водой, как бивают полны слезами морщины несчастных старух, когда у них умирает близкий человек.

Много испытаний выдержало войско, пока шло по мокрым дорогам.

Но, как бы ни была длинна дорога, всякой дороге приходит конец. Пришел конец и пути в Согдиану. Вот она, покинутая родина, страна отцов и матерей, страна братьев и сестер; привет тебе, страна младенческих слез и мечтаний юности.

Едва хакан вступил во дворец, сотня забот и государственных дел заняли его голову. А Фархад, не здороваясь даже с матерью, кинулся в подвал и поскорее отодвинул чашу, за которой тайлся в углу небольшой ларец.

И зачем только хакан, отправляясь в Грецию, не велел разбить его?

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1.

Вот он, небольшой хрустальный ящик, и рубиновый замок на нем. Вот и очертанья зеркала под стеклянной крышкой. Фархад волновался, и руки его нетерпеливо совали ключ в замок. Ключ не входил. Не может быть, чтоб это руки Фархада так дрожали, просто ключ и замок сговорились мешать Фархаду. Сговорились и свечи. Они вдруг потухли, и Фархад остался в темноте. Сговорились даже волосы. Локон, упавший со лба, прихватило замком, — и не поднять головы, не отомкнуть замка. Может быть, они хотят тебе добра, Фархад? Пусть лежит зеркало, как лежало.

Фархад рванул локон, — и ларец открылся.

Зеркало походило на маленький серебряный пруд. В пруду виден луг. Солнце стоит в недвижной синеве. Наклонись над прудом, наклонись. О, этот пряный запах мускуса, плывущий над травами. Запах роз, гиацинтов, и звон лилии, когда она, качнувшись, тронула лепестком лепесток. Блаженная земля отразилась в зеркале. Такие земли снятся порой во сне. И только во сне вдруг возникнет на лугу толпа людей, вскинувших лопаты и бьющих землю. Не землю — гранит. В зеркале был виден водоем и широкий арык вел от водоема к золотой горе. Но кто этот молодой аскет, что вле-

реди всех крушит гранит, как сказочный богатырь? Фархад приблизил зеркало к глазам и узнал себя. Как ты худ и как бледен, как ты прекрасен и как ты печален, Фархад. Со стороны горы показались всадники. Они приближались быстро, и вот уже даже слепой различит их длинные волосы и разноцветные одежды. Это девушки. Впереди них самая быстрая. Фархад ее не видит, и она не видит Фархада. Она летит на коне, и конь счастлив нести на спине такую благословенную красоту. Сказать, что ее лицо, как солнце? Мало. Сказать, что с двумя лунами спорили ее глаза? Мало. Сказать, что ее голова и стан, и кинутые вперед руки подобны телесному пламени? Что конь мчался сквозь степь, неся на спине пламень красоты, и всякий видевший этот пламень в тот же миг был сожжен дотла? Мало, мало. Не надо ничего говорить. Утри со лба пот, опусти кирку, заслышав храп и топот коня; вскинь голову, чтобы встретиться глазами с пламенем ее глаз и... и отраженный в зеркале Фархад вскинул голову, встретился глазами с пламенем глаз красавицы и вдруг застонал, как сраженный олень, и упал без чувств. Взор его померк, и тело стало бездыханным...

Шум упавшего тела привлек внимание слуг. Фархад лежал перед зеркалом без чувств и без дыхания. Побежали сказать хакану. Тот, боясь не пережить удара, оперся на плечо Мульк-Ара, велел известить мать Фархада и, готовый ко всему, наказал вынимать из сундуков траурное платье.

Со всего дворца бежали люди. Они спускались по лестницам и поднимались из нижних ярусов здания. Хлопали двери, и развевались желтые одежды царедворцев. Точно сотня мотыльков к огню, устремилось все население дворца к Фархаду. А молодой наследник был потухшей свечой, упавшей со светильника. Придворный лекарь припал ухом к его груди, тер виски Фархада настоям пчелиных крыльев и муравьиных личинок, — все тщетно. Фархад был бездыханен. И уже весь город оделся в траур, когда грудь его, наконец, поднялась и он открыл глаза.

Заплаканное лицо матери и скорбные складки возле губ отца наполнили сердце Фархада стыдом. Он сказал:

— Что со мной было, я не помню. Как долго я спал. И как много мне приснилось. Стыд ест мне глаза, точно я опозорен. А почему, не знаю. Я говорю с вами и вижу вас, и все-таки мне кажется, я умер. Или точно я родился, а прежде был мертв. И в чем причина этого, не знаю тоже.

Он говорил так, потому что видел свое тело и мог двигаться, но понимал, что половина его сердца осталась в зеркале.

Он тут же припал к нему, но зеркало, подобное тихому пруду в безветренный день, не отражало ничего.

Успокоив родителей и друзей, Фархад попросил оставить его одного.

Началась беседа с самим собой.

— Допустим, я пушусь в поиски этих глаз, опалających душу. Несомненно, отец двинет в погоню сотни тысяч войск. Они обшарят все углы мира и достигнут меня. Я вступаю с ними в бой. Полетится невинная кровь: Как смогу я взглянуть в лицо красавицы, если, я погублю души столькож людей? Сократ сказал: великое счастье — любовь. Но нет больше во мне сердца и, только снова взглянув на этот пламень красоты, я верну его. Хорошо, я останусь дома. Но как мне жить, если сердце осталось на лугу возле золотой горы? Отец сочтет меня безумным и закует в кандалы. Надо скрыть все. Неужели эти мученья люди и называют любовью? И что увидел я в зеркале, кроме красавицы?

Решив скрыть сомненья, терзавшие его душу, Фархад поднялся в покои отца.

## 2.

Что значит скрыть тайну? Это значит — зажечь костер и пытаться скрыть от него дым. Запереть дым в трубе, если в доме огонь, это значит подвергнуть дом разрушению. Скрыть любовь — это насыпать в мешок мускус и сказать мешку: «Не пахни». Можно не видеть, что в траве тюльпан, пока цветок в бутоне. Но бутон лопнет и попробуй, скажи цветку: «Не цвети», — раз он весь налит пламенем краски.

Фархад закидывал хворостом огонь любви и тревоги, охвативших его сердце. Но разве солнце закроешь ладонью? Разве в пузырек вместишь море? Разве вино станет водой, если нальешь его в чан? И Фархад все чаще стал прибегать к вину. Любовь гнала из глаз слезы, — он говорил: «Я выпил вина, и это слезы опьянения». Тревога туманила рассудок, — он говорил: «Я пьян и не понимаю ничего». Тоска по утерянному сердцу сушила тело и делала щеки белыми, как мел, — он говорил отцу: «Верно, я простудился, когда, разгоряченный вином, стоял на ветру.»

Ну, а постоянную печаль, постоянную мысль о мелькнувшем в зеркале, постоянную тревогу и стремление бежать неизвестно куда — их объяснишь вином? И хакан созвал тайный совет врачей и царедворцев, чтобы обсудить положение сына.

Почтенное собрание думало долго. Потом лекарь, выдавший на своем веку столько покойников, сколько больных ему довелось лечить, сказал учеными словами:

— Всему виной жар. Склонение звезд и влияние метеоров большой жар нагнало на простор Согдианы. Жар имеет свойство сушить существо вещей. Поднеси к огню цветок, и он сгорит. Поднеси щепку, она тоже сгорит. А разве мозг в голове не цветок души? И разве каждый из нас не щепка ладьи вселенной? Тело и душу Фархада палит зной. А причина ему неизвестна. Надо выбрать остров на море, где сто родников, а воздух влажен. Вот если царевич поедет туда, ничего не будет удивительного, если он развеселится.

Лекарь говорил долго, а хакану зачем терять время. Надо снарядить корабли и ехать в море. Надутые ветром паруса и щеки надувают весельем. «Передай, Мульк-Ара, Фархаду, что мы поедем в далекие моря. Если будет отказываться, скажи, — я так велел!»

Какой там отказ! Мульк-Ара прибежал, издали махая рукой, — согласен, согласен. И скорый на все хакан уже пишет приказ, чтоб ладилы корабли и грузили их немедля. «На рассвете идем в море».

Не надо было Фархаду притворяться пьяным в тот день. Ветер веселья и без вина надул его щеки. Ехать, ехать. Он только и думал, как бы ехать в далекие края, где, может быть, найдет дуг с золотой горой и всадницу на коне среди тюльпанов.

И вот уже через день борзые кони несут хакана и Фархада в морскую гавань. Один город на берегу, другой на воде, — такое множество судов теснилось у причал, так тесно стояли корабли борт о борт, и мачты их, раскачиваясь на воде, касались одна другой.

Веселые часы погрузки. Добрая вода открывает свою глубину, чуть склонилась над бортом. Ветер, пролетев над водой, сам стал веселый. В путь, в путь! Развязывайте паруса, разматывайте канаты. Кормчий, к колесу! Матросы, по мачтам! Грузите в люки и хлеб, и вино, и живых быков. Мешки с зерном, корзины с фруктами, сундуки с меховой одеждой. На палубе водружайте палатку, чтобы спать и видеть морской простор, чтобы звезды качались над головой, чтобы рыбы плескались у самых глаз. Волны чтоб, набегая, кидали свои брызги прямо в рот. О, соленый ветер веселья, летящий неизвестно куда! О, древний водяной простор!

Нетерпеливый Фархад подгонял грузчиков, и хакан готов был расцеловать выжившего из ума лекаря. Вот так лекарство придумал старый дурак. Якорь еще в воде, а Фархад уже готов плыть. Пока шла погрузка и последние приготовления, Фархад стал пересчитывать корабли и сбился со счета.

Наконец, хакан поднялся в палатку на палубу и велел Фархаду стать рядом. Загремели якоря, и между городом на воде и городом на берегу стала медленно шириться морская река.

### 3.

Плывут. Армада судов полна людей, точно вся Согдиана стронулась с места и плывет неизвестно куда. Волны, волны до самого горизонта. Корабль режет воду с такой быстротой, что кажется, это не брызги, — искры летят из-под просмоленного крутого носа. Под водой за судами скользят рыбы, а тени от судов

бесшумнее рыб. На второй день пути поднялся ветер, и стало еще заманчивей стоять у борта и видеть в воде мир, какого нет на земле. Вот плеснула стая мелких рыб и, сверкнув серебром, ринулась в сторону, уступая место пятнистому чудовищу. Голова его, как медный котел, а узкий нос, точно меч, рассекает воду и все живое в воде. На коже узоры чудней, чем узоры черепаший спины. И черепахи тут же. Они плали, распялив лапы и вытянув шеи, каким бы позавидовала и змея. Вдруг точно бесшумный крик прошел под волной. Стремительная акула прынула из глубин и уже рыба-меч с откусанным боком, истекая кровью, показывает свой белый живот. Где мелкие рыбки? Где морской конек, что скакал, как суслик, с волны на волну? Лишь черепаха, не торопясь, втянула шею и похвато качается перед носом акулы, — хватай меня, ешь, смотри не подавись. А за акулой собаки. Морские собаки, как шакалы в след волка, тянулись за падалью, — и вот уже острые клювы их рвут и терзают нерасторопную рыбу-шар. Бездонны морские глубины.

Хакану не было времени на земле говорить о мудрости мира. Просторы воды разверзли его ум, и целую ночь он втолковывал Фархаду, что нет на свете такой печали, или такой беды, какая бы сравнилась размерами со вселенной. Фархад молчал и радовался, что ветер дует все сильнее. Вот уже волны гребнями достигают края борта. Вода изменила цвет и стала бурая, как чернила. Ветер сорвал шапку, и, сверкая шелковым верхом, она полетела по волнам, с гребня на гребень, точно за ней гналась сотня акул.

— Ветер, — сказал хакан, — не простудись, Фархад.

— Хороший ветер, — сказал Фархад. — Отец, шел бы ты в палатку. Уже совсем ночь, ложись.

— Ураган с юга! — крикнул кормчий. — Паруса!!!

Матросы кинулись убирать паруса, но ураган убрал их раньше. Только один удар ветра, и нет парусов, а с парусами и мачт. Ветер стал тверд, как

камень, и скор, как меч. Крепись, армада. Самый страшный из ураганов — южный тайфун, летал на крыльях бури, и черная голова его в седых волосах уже поднята над горизонтом.

— Хакана, везиря и наследника в спасательную ладью! — крикнул кормчий. — Кораблям не сдобровать.

И ладья уже спущена за борт.

— Прыгай, Фархад! — крикнул хакан.

— Славный ураган, — прокричал в ответ сын, но хакан подтолкнул его, и ладья запрыгала под тяжестью Фархада.

— Крепите канаты! — кричали с борта. — Помогите великому хану. Канат, лентяи!

Все же тайфун летел быстрее, чем человеческий голос. Ветер стал острый и злой. Что ему канат? Хакан только занес ногу на трап, а уже не было каната. Ладья с Фархадом сорвалась с цепи, ринулась вдаль, и через миг горы волн, мрак туч и брызги урагана скрыли ее из глаз.

— Фархад, подожди! — продолжал кричать хакан, но, сшибленный ветром, покатился по палубе.

— Фархад, Фархад, вернись!! — выкрикивал обезумевший Мульк-Ара, но голос его не летел никуда. Ураган хватал крик и засовывал его назад в горло. И что толку кричать. Голова тайфуна воздвиглась над кораблями, и корабль подкинуло к небу, чтобы скинуть в бездну преисподней. Говорили, такого тайфуна не было сто лет. Воды превратились в горную страну наподобие Тянь-Шаня. Волны были и справа, и слева, и внизу. Волны были и над головой. Само небо стало одной из волн. Волны били небо с такой силой, что даже святые ангелы попадали с облаков и ныряли в воде, как утки. Звезды испуганно жалась к молодому месяцу в надежде спастись на его ладье. Не спастись никому в этом омуте бедствий. Вот уже треснул и раздался надвое самый большой из кораблей. Даже крика гибнущих не услышал никто. Да и где остальные корабли. Охажки мокрых досок на воде, это и есть великая армада. Хакан, хакан, как же

ты забыл, что сказал тебе мудрый Сократ? И Мульк-Ара забыл. Сократ велел вам бояться воды и дерева на воде. А разве корабли из железа.

Хакан был на том корабле, который спасся. Он был в забытьи, пока их носило ураганом. Но ветер постепенно стал стихать и через пять дней выкинул ханское судно, а с ним и хакана, и великого везиря, на крайний берег Согдианы.

Сбежалось встречать их чуть не полханства. Измученных мореходов уложили на мягкие постели и к изголовьям поставили лучшего вина. Хакан пришел в себя на вторые сутки, а Мульк-Ара спал и еще целый день.

Хакан поднял голову и спросил:

— Кончилось?

Тихие облака, плывущие над головой, ответили ему раньше, чем уста царедворцев.

— Где Фархад? — спросил затем хакан.

Ни один царедворец не мог этого сказать.

— Надо думать, его прибило к другому берегу, — медленно проговорил хакан и снова опустил голову на валик подушки.

Первым словом Мульк-Ара, когда он очнулся, было:

— Вели меня казнить, великий хакан. Это я не уследил за наследником.

На другой день по всем берегам Согдианы были посланы гонцы искать Фархада. Искали долго и не нашли. Тогда хакан велел тысяче сторожевых сидеть у воды и всматриваться в каждое бревно, что плыло по воде.

Сторожевые сидели день и ночь. Фархада не было.

Хакан тогда поручил дела государства великому везирю и стал проводить на берегу все время. Он сидел на простом камне и, приставив к глазам трубу, смотрел на море. Море было тихое, как зеркало. Голубые волны шевелились под лаской ветра и тогда в зеркале как будто мелькало какое-то виденье. Но ветер стихал и опять лишь пустая стеклянная даль убегала от берега до стеклянной черты, где пустое небо жало руку пустой воде.

Хакан опускал трубу и садился на коня ехать в город. Но вставало новое утро и новый рассвет опять заставлял старого хакана возле скалистого мыса с трубой в руках. Из глаз несчастного старика на стекло трубы стекали слезы.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1.

А Фархад был жив. Ураганом разбило ладью, но осталась крепкая доска днища. Фархад уцепился за ее край и так плыл неизвестно куда, подгоняемый ветром. Руки его заоченели и не бросали доску даже во сне. Да он и не спал, он был в забытьи. Он не заметил, когда кончилась буря, и очнулся лишь, когда чьи-то руки мягко, но настойчиво стали отрывать его пальцы от доски.

Кругом были чужие люди, и чужие матчы на чужом корабле держали паруса, испещренные надписями на чужом языке.

— Жив, — сказал один из чужих людей на чужом языке. Но Фархад понял, говорили по-йеменски.

— Где я? Что со мной было? — спросил он по-йеменски.

— Одет ты, как чужеземец, а говоришь на нашем языке. Кто ты и откуда? — спросили люди.

— Мы плыли из Согдианы в Йемен на купеческом корабле, — кратко ответил Фархад. — Буря разбила корабль. Я не помню, как я спасся. Вы кто?

Это были ловцы жемчуга, возвращавшиеся в Йемен. Бурей их занесло далеко от проторенных морских путей, и они не знали, где теперь родной берег.

— Море покойно, ураган утих. Кормчий наш искусный мореход. Не опасайся ничего, спи, — сказали ловцы жемчуга, и Фархад немедля заснул.

Спать Фархаду, однако, пришлось недолго. Прошел, может быть, всего один час, а уж новая гроза навалилась на корабль. Грозные крики раздались за бортом, им вторили вопли ужаса на палубе. Большое число быстроходных челнов окружили йеменский корабль, и ловцы жемчуга теперь вопили от испуга, взывая о помощи и не веря в спасенье. Они узнали паруса и челны морских разбой-

ников. Путешествию подходил конец. Пираты уже тащили на борт бочку с черной земляной смолой и укрепляли метательный снаряд. Сейчас на корабль начнут падать горящие сосуды, вспыхнет пожар и, когда займутся огнем паруса, разбойники поднимутся на палубу, отберут жемчуг, а ловцов пошвыряют в воду. Так случилось со многими судами, сбившимися с пути, и редкая женщина в Йемене не оплакивала сына или мужа, погибшего от рук этих негодяев.

— Эх, парень, лучше бы тебе было оставаться на доске, — крикнул один йеменец, когда Фархад выбежал на палубу.

Фархад спал недолго, но сила вернулась к нему, и он меньше всего хотел погибать в море.

— Нет ли у вас крепкого лука и острой стрелы? — спросил он.

— Луки! Луки!! Подайте луки!!! — закричали йеменцы.

Принесли луки. Но что это за луки! Когда Фархаду было три года, он ломал такие луки, как тростинки.

— Нет ли в трюме чего покрепче?

Но в трюме лежал только жемчуг, оружием которого был его блеск. Между тем разбойники уже открыли бочку и наполняли метательные сосуды нефтью. Фархад знал, что ему делать. Шест, каким измеряли глубину, был гибок и не треснул, когда Фархад изогнул его наподобие гигантского лука. Канат — тети ва. Оставалось найти стрелу. Обломок матчы стал стрелой.

Ловцы жемчуга не хотели верить глазам. Час назад этот чужеземец не вращал и рукой, а теперь толстый шест в его пальцах изогнулся, как тростинка, и вот уже обломок матчы летит, спущенный с каната, летит и — что за глаз у этого чужеземца — разбивает горящий сосуд и пронзает бочку с нефтью насквозь. Сноп огня охватил снаряд, а за ним и ладью.

Опять взметнулись к небу вопли ужаса и крики угроз.

Теперь в страхе вопили разбойники, хватаясь за весла, а йеменские купцы вторили им ругательствами и проклятьями, пока второй обломок матчы, пущенный Фархадом, не покончил с ладьей.

Йеменцы окружили Фархада и наперебой стали восхвалять его доблесть и силу и сыпали горстями к его ногам жемчуг.

— Бери, что хочешь, — кричали они. — Ничего не пожалею для такого парня.

Прибыли в Йемен, и жители города тоже наперебой стали восхвалять Фархада и его силу. Они оказывали ему почести, в самом лучшем доме устроили пиршество, посадили гостя на главное место, пригласили именитых купцов и вкатили двадцать бочек вина, цвет которого был еще прозрачнее и краснее, чем цвет рубина, или чем цвет невинной крови, пролитой разбойниками.

Фархад был рад гостеприимству этих добрых людей и рад вину. Но лучше бы он его не пил.

Едва рубиновый огонь проник в его жилы, как волна воспоминаний разбудила его мозг. Он вспомнил все — далекую Согдиану, отца и плачущую мать. Вспомнил веселье, с каким садился на корабль плыть в далекую страну. И еще он вспомнил зеркало — зеленый луг, отряд всадниц, приблизившихся к горе. Фархад тесал гранит, взглянул в лицо всадницы и упал, задохнувшись от чувств. Все, что смыло из памяти волной воды, теперь с глотком вина вернулось в мозг, — и Фархаду не было спасенья.

Сколько ни носило его по волнам бедствий, от своего сердца он не уехал никуда. И пусть вино в бочках пенилось чище рубина, Фархад как отхлебнул из чаши, так и забыл и про пиршество, и про веселье. Недопитую чашу он держал перед собой, и слезы из его глаз скатывались в нее.

Йеменцы удивлялись такой скорби гостя, но, жадные до веселья, не спрашивали ни о чем. Раз ломится стол от яств, а в бочках не оскудело вино, что толку в праздно болтовне! Кто хочет плакать — плачь. Хочет пить — пей. А лучше пить и не лить слез. Хотя почему и не лить? Если плачет — жив человек; а уйдет на дно — и слезы остаются другим, а ему только качаться среди водорослей и морских трав, уставившись стеклянным взглядом в толстых крабов и в жадный акулий глаз.

## 2.

Среди гостей был и еще один гость.

Он тоже прибыл в Йемен с ловцами жемчуга; но сам был иранец и бежал в Йемен от козней иранского шаха. Его имя Шапур, а его дело — перо и кисть. Его слава бежала по миру, обгоняя славу Мани, а его сердце не хотело покоя. Он то садился на корабль и плыл в далекие страны. То взбирался на верблюда и ехал в Самарканд любоваться росписью дворцов Афросиаба. А то проходил год, и Шапура не видел нигде никто, а потом все падишахи и султаны земли зазывали к себе великого художника, лишь бы отнять у него рисунки, какие в тиши, запершись в чулане, целый год выводил Шапур шелковыми кисточками по вошеной бумаге.

Иранский шах Хосров велел Шапуру расписывать дворец зелеными узорами, а Шапур предпочитал охру и кадмий. Хосров запер художника в подвал и грозил отрубить ему пальцы рук, если Шапур не подчинится. Шапур вылил краску в нужник и, подкупив стражу, оставил подвал. Теперь он приехал в Йемен, потому что ему было все равно, где быть, и непокойное сердце его билось везде одинаково ровно.

Когда ловцы жемчуга вопили о пощаде, он сидел на бочке и выводил на парусе очертания разбойничьих людей. Ему было все равно, потонет он или останется жив, и когда Фархад пустил стрелу, он на парусе нарисовал стрелка, и, налюбовавшись горящими челнами пиратов, пошел спать. Теперь он сидел против Фархада и мелкими глотками пил вино. Когда хозяева пира достаточно опьянели и стали забывать, где у них рука, а где нога, и помнили только, что глотка еще на месте и еще непочатые стоят бочки в углу, — Шапур подсел к Фархаду.

— Если человек сражается, как лев, — сказал он, — когда все плачут от страха, а потом льет слезы на пиру, можно подумать, что он пьян. Но с одного глотка не хмелеет и младенец. Говорят, есть хмель сильнее вина — хмель любви. Не знаю. Я обошел весь земной круг, не захмелев ни разу. А я

видел все страны, и тридцать пять раз успело солнце обежать вокруг земли, пока я жил...

Владеющий искусством кисти владеет и искусством душевной беседы. Художник стосковался по внимательному собеседнику и теперь рисовал из слов узоры, каких не слышал до того Фархад. Шапур узнал в Фархаде согдийца и стал хвалить Согдиану. Потом перевел беседу на душевные муки и так верно описал чувства, какие томили Фархада, что Фархад забыл о слезах и с любопытством взглянул на художника. При этом он даже улыбнулся.

— Лучшее исцеление от тоски, — продохжал художник, — рассказать о причинах тоски. Что сказано в словах, перестает тяготить душу, как яблоко, упавшее с яблони, перестает томить яблоню. А если причина — любовь, я слышал, лучшее лекарство от любовных мук — это внимательный друг. Кто ваш отец?

— Причина моей печали не отец, — сказал Фархад. — Я просто человек, которому привиделся сон. С детства я ждал, чтоб он стал жизнью. Я умру, если сон не превратится в явь.

И Фархад, чтоб облегчить душу, как о ночном сне, рассказал о виденьи в зеркале.

За столом сидели пьяные, потерявшие последнюю память, купцы. Тяжелые кубки осушались разом и вновь наполнялись вином. Хриплый смех висел в комнате, и стол стонал под ударами кулаков, какими купцы грозились расправиться с разбойниками всех морей. Лампы на столах чадили от винных паров и человеческого дыхания. Дым очагов ел глаза. По щекам пирующих текли слезы попеременно с потом и, если бы Фархад опять стал плакать и вздыхать, не удивился бы никто. Плакали все. И грохотали хохотом все и кому-то грозились. Ворон брани, хлопая крыльями, метался и каркал под балками потолка. Потом затянули песню. О, этот рев человеческих голосов, какими душа стремится уверить рассудок, что она не спит и все помнит, что помнила в детстве. Под пьяные песни за столом хорошо шептать внимательному уху, о чем

боль в сердце, и Фархад поведал Шапуру о своей тоске, забыть которую не мог.

— Узнать, где лежит страна с цветущим лугом, а за ним золотая гора и каменный водоем, — говорил Фархад, — и я пойду туда пешком. Но как узнать страну, какую видел во сне?

Шапур, не сказав ни слова, отогнул конец скатерти и обмакнул в вино кисть от кушака. Не прошло и двух минут, как уже на столе возник абрис горы. Вот под горой лег луг и десяток тюльпанов качается возле тропы на краю водоема. Дивись, Фархад, смотри, смотри, не спуская глаз, на искусство Шапура. Вот и дорога, по которой скачут девушки на конях, а впереди них та, — с кинутой вперед рукой, как пламень красоты. Художник подсмотрел твой сон, Фархад.

— Ты подсмотрел мой сон, Шапур, — вскричал Фархад, обнимая Шапура.

Шапур улыбнулся.

— Таков наш удел — подсматривать чужие сны, — ответил он и ладонью стер с досок стола рисунок. — Эта страна недалеко. Выйди на рассвете и через три недели увидишь сам и этот водоем, и всадниц, которых немало ездит по дорогам Армении. Название страны Армении. Тебе понравился мой рисунок?

— Если бы в Согдиане так владели кистью, — сказал Фархад восторженно, — ни один бы человек никогда не покинул Согдианы.

— Счастлив не тот, кто подсматривает сны, — продолжал художник, — а тот, у кого есть, о чем видеть сон. Кажется, в детстве мне приснился такой человек, как ты. С тех пор я не вижу снов.

— Завтра чуть свет я иду в Армению, — сказал Фархад. — Пожелай мне доброго пути, Шапур.

И он поднял чашу, в которой вино было перемешано со слезами.

— Пусть будет путь добр для нас обоих, — сказал Шапур, — я провожу тебя.

И тоже поднял чашу.

Чаши стукнулись одна о другую, зазвенев, и ни один купец не понял, что



это звенели два сердца, давая клятву в верности и дружбе. Только хозяин дома услышал звон и подумал: «Много перебыют посуды в этот вечер».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1.

И вот Фархад и Шапур идут по дороге в Армению.

Это дружба идет дорогой любви. Они шли, почти не останавливаясь. Беспечальный Шапур впереди, задумчивый Фархад то-и-дело отставая. Шапур поджидал Фархада и некоторое время они шли рядом. Тогда они обменивались словами, и стань их слова цветами, пустая степь кругом цвела бы, как дворцовые сады жакана.

Постепенно степь кругом перестала быть голой. Поднялись сады, и зазвенели ручьи. Вдали стали видны очертания гор, и в одно утро Шапур сказал:

— Вот Армения, теперь смотри зорче, — не пропусти свой луг.

И Фархад скоро увидел луг, какой отражало зеркало Искандера. Все было, как в зеркале. Среди высоких трав цвели розы и тюльпаны, на горизонте — очертания золотой горы, река, и тысячи людей на дальнем краю луга непрестанно вскидывали кирки; и слышны были удары металаа о гранит.

Необычайное волнение охватило Фархада. Он схватил Шапура за руку и сказал:

— Я вижу вдали то, к чему стремился с детства. Ты указал мне путь в эту долину бедствий или счастья, кто знает, — я хочу, чтобы ты знал про меня все.

И он рассказал художнику о себе все.

Шапур выслушал рассказ, и волнение Фархада передалось ему.

— Сколько лет глаза и руки мне заменяли сердце, — сказал он, — а ноги заменяли судьбу! Падишахи и султаны ссорились из-за моих рисунков, а им грош цена. О, если бы я встретил тебя раньше!

И он обнял Фархада, как только усталый путник может обнимать друга детских игр, вернувшись на родину.

Они были точно два родных брата,

когда подошли к людям, работавшим на лугу. Кто осмелится назвать мучения этих людей работой? Каменотесы пробивали в граните арбык, и работа шла день и ночь. Да отсохнет язык у того, кто терзания этих бедняков назовет работой. Гранит — это гранит, а лопата и кирка — это только лопата и кирка. Двести каменотесов, как один, с раннего утра до поздней ночи вскидывали кирки и опускали их на камень, а камень только гудел, и от него не отскакивало ни крошки. Да не испытывает пусть никто никогда тех мук, что причиняла каменотесам твердость гранита. Молот Гефеста, и тот ничего бы не подделал с этой громадой. Если отлетала от скалы крупца с маковое зерно, каменотесы посылали небесам вздох облегчения и молитву благодарности. Да сбережет судьба каждого из нас от таких молитв. Три года каменотесы били гранит, а проложили всего узкую канавку. Собрать в одно слезы, пролитые каменотесами в дни работы, и канавке не вместить половины этих слез. А собрать их пот, пролитый на камень, и водоему, глубиной с дом, не вместить всего пота, пролитого за один день.

Надсмотрщики стояли позади каменотесов, и с локтей у них свисали ременные жнугы. Да, пусть смиловитесь судьба и не подвергнет никого на земле надзору подобных надсмотрщиков.

Фархад и Шапур приблизились к несчастным, и лицо Фархада почернело от страдания. Не такой он ожидал увидеть страну своей судьбы. Сам Ахриман не мог бы выдумать муки горшей. Оказывается, меч зла сторожат даже прибежище блаженства.

— Я думал, несчастлив я, — вскричал Фархад, протягивая руки к беднякам. — Постыдное самообольщение. Моя печаль — дым по сравнению с огнем ваших мук. Кто тот злодей, подвергнувший вас терзаниям? И что мне сделать, чтобы помочь вам?

Фархад всегда был прекрасен лицом, а теперь он протягивал руки вперед, и в глазах его пылал пламень негодования и горестной тоски. Каменотесам Фархад предстал, как небесный ангел, или как

царь ангелов, и даже надсмотрщики опустили свои плетки при виде чужестранца, пылающего гневом и горечью чувства.

— Назовите мне имя злодея, пославшего вас на терзания, и, клянусь, у него в жизни не останется ни одного счастливого часа, — повторил Фархад, и слова его прозвучали, как клятва, или как слова воинского приказа.

Один старик, еле держась на ногах, уронил кирку и опустился перед Фархадом на колени.

— Три года тому назад я был моложе тебя, о посланник судьбы, — сказал он. — Теперь, верно, твой дедушка моложе меня. Ты говоришь, кто злодей? Нет злодея. В Армении царствует красавица Михин-Бану. А разве найдется на земле человек, который осмелится красавицу назвать злодеем? Богаче ее нет на свете царя, и каждый ее солдат подпоясан золотым кушаком. Но не в золоте ее главная казна. Племянница царицы — вот сокровище. Посмотрит на нее человек, каким был я или какой вот ты теперь, и уж ничего не захочет видеть всю жизнь. Певцы величают ее луной, сошедшей на землю. Может быть. Только повадилась эта луноподобная гулять вон на ту гору, что вдали, и велела там построить дворец. Конечно, построить все можно, только нет на горе воды. Приказала царица вести арык. Три года мы бьем скалу, а сам посмотри, много ли набьешь киркой, когда гранит наш самый крепкий на всем свете. Кого тут винить? Кто злодей? Надо думать, главный злодей гранит, к чему такая твердость? И мастер злодей, зачем кирки плохо ковал. А лучше мастеров нет в Армении.

И, не поднимаясь с колен, старик, три года назад бывший юношей, поцеловал край одежды Фархада. Это вторая половина судьбы, неизвестная зеркалу, коснулась одежд Фархада.

Никогда Фархаду не приходилось так много думать, как над словами этого бедняка. Хотел он помочь несчастным — уничтожить злодея, а и верно, кто злодей? Велеть арык копать, в этом злодейства нет. Откуда женщине знать, как проводят арыки. Но и видеть, как му-

чают люди, тоже было свыше сил. Вот если бы Карена сюда — разрушителя гранита.

И тут Фархад вспомнил о резце, с каким, как с памятью о родине, он не расставался нигде. Привязав его к палке и взмахнув, он ударил им по граниту. Резец не утерял и крупницы прежней силы. Раздался грохот, и глыба величиной с лошадиную голову отвалилась от гранита.

— Нарвите молочая, — сказал Фархад, — да наловите змей. Не пройдет и двух месяцев, пусть племянница вашей царицы приезжает на гору купаться в водоеме.

И пока каменотесы искали молочай и ловили змей, он бил и бил гранит самодельной киркой. Осколки летели во все стороны, и один осколок выбил глаз надсмотрщику, заглянувшему в арык с излишним любопытством. Надсмотрщик побежал к дворцу рассказать царице о странном чужеземце. Но не успел он пробежать и полдороги, как его обогнал другой надсмотрщик. Он бежал и кричал, что это, верно, сам ангел, покинувший рай: «Прошел только один час, как он взмахнул своей палкой, а уж арык прорыт длинней, чем за год двести каменотесов могли пробить, работая день и ночь».

Первый надсмотрщик прижал ладонь к подбитому глазу и сказал со злобой:

— Если он выходец откуда-нибудь, верно уж из ада. Ангел не стал бы выбивать глаз ни в чем не повинному человеку. Это, верно, сам чорт.

И побежал еще быстрее в надежде прибыть во дворец первым и получить от царицы награду за сообщение таких необычных новостей.

## 2.

Беда, если красавица стоит перед тобой, и ты спрашиваешь свои глаза: «Доводилось ли вам видеть такое чудо?», а перевел взор на соседку, — и что красота первой! Солнце слепит глаза, но пусть всплывет на небе второе солнце и не будешь видеть ничего, точно это два мрака взошли над землей и плывут по черному небосводу.

Так и царица Бану слепила глаза, встань она рядом с племянницей, имя которой Ширин. Небо обделило Михин-Бану детьми, и племянница осталась царицей и дочкой в доме, и розой в саду, и заботой в сердце. Певцы величали Ширин земной луной, а прозвищем царицы было — повелительница звезд. Но красота каждой была красотой солнца, что всплыло на небе и спит путнику глаза.

Михин-Бану прослушала донесения надсмотрщиков и, задумавшись, пошла к племяннице.

— Ширин, — сказала она, встав со вторым солнцем рядом, — не одна я мучу людей, исполняя твоё желание. Само небо торопится исполнить твою просьбу. Молодой ангел взял в руки кирку и за день сделал больше, чем двести работников в год.

Она рассказала о чудесном каменотесе, и Ширин оставила книгу, делившую ее досуг.

— Любопытно взглянуть на небесного витязя, — сказала она. — Немало рыцарей земли добивались моей улыбки. Но пока ни один ангел не целовал мне руку.

И она уже сидела на коне — ехать к арыку, — когда лукаво улыбнулась и шепнула, наклонясь к вху тетки:

— А может быть, и ангелы тоскуют в облаках. Может быть, он потому и спустился на землю, что ему надоели худосочные девы рая.

И, стегнув коня, она поскакала к арыку.

Самая красивая девушка на земле сидит на самом красивом коне. Если в розовой одежде Ширин скакала на быстром своем Гульгуне, прохожие говорили: «Это ветер подхватил и несет лепесток розы». Словно подкованный ветер, Гульгун пролетал по дорогам, и розы в садах сохли со злости, завидя наездницу. Понятная зависть. У цветка только и есть, что лепестки да бутон. А попробуй, воспой красоту Ширин, и сложишь двенадцать поэм. опиши одну родинку на ее губе — вот и поэма. А черные ресницы — каждая из них острее пера, и перо начертит тебе смертный приговор на бумаге твоих по-

бледневших щек. Говорят, нить жизни тонка, а что сказать про стан Ширин? Говорят, молния быстра; значит, ты не видел ее взгляда, когда она вскинет ресницы, и сотня стрел, точно тысяча жужжащих пчел, вопьется в твою грудь. Говорят, сладок мед. Пусть глупец пьет мед, а нам бы прильнуть к ее губам, которые заодно и мед, и вино, и горькая соль, и родник живой воды, и даже мертвец покинет могилу, хлебнув из этого родника. Говорили, будто родинка на ее губе — вор, прокрадывшийся тайком, чтобы украсть мед ее губ. Он хлебнул и опьянел, и ему не уйти. И пусть не уходит. И зачем уходит? Только безумец побежит с этого базара красоты. И даже серебро сошло с ума, увидев серебро ее белых рук, и тугой лук со стыда захотел назваться кривой палкой, заметив два лука ее бровей, из которых каждая — твоя погибель и твой палач, о, прохожий, заглядевшийся на всадницу ветроногого коня.

Ширин гнала Гульгуна к месту, где рыли арык, и звезды раздвигали руками солнечные лучи, чтоб только взглянуть на земную луну, движущуюся к Фархаду.

### 3.

Фархад не смотрел на степь. Он скинул рубашку и бил резцом гранит. Мысль о терзаниях каменотесов придала ему силы. Вид его был суров, и гранит под ударами его самодельной кирки рассыпался в прах, как простое стекло. Суровый красавец Фархад предстал глазам Ширин, как карающий ангел, и печаль его лица показалась ей суровостью царственного судьи. Между тем, одежда его была плоха и на всем теле отложились черты скитальчества и страданий. Было во всем облике Фархада что-то неуловимо властное, и голос Ширин стал робок, когда она, остановив коня, сказала:

— Здравствуй, чудесный витязь. Как мне отблагодарить тебя?

Фархад не сразу поднял голову. А когда поднял, Ширин уже отвернулась к надсмотрщику, и Фархад увидел только ее затылок. Волосы Ширин блестя под солнцем, как черный жемчуг. Подобострастная улыбка надсмотрщика,

с руки которого свисал кнут, привела Фархада в ярость. Он снова вскинул резец, и куски гранита снова взлетели во все стороны.

Второй раз Фархад поднял голову оттого, что по плечам его застучал редкий дождь. Не дождь — град. Крупные градины запрыгали по граниту и больно били голую спину Фархада. Он открыл ладонь и... Вот так град несут тучи Армении! Градины падали и на ладонь. Они были разного цвета — и красные, как кровь, и зеленые, как надежда; и при том они были теплые, точно и снег в Армении не холоден, а горяч.

Фархад поднял голову и увидел над собой склонившееся сияющее лицо Ширин. Оно показалось ему дневной звездой. И голосом самой звезды прозвучал голос, в котором уже не было и следа робости:

— В своем жилище среди облаков ты не видел такого града, о витязь?

Говоря так, Ширин разжимала ладони и сыпала на Фархада — горсть за горстью — рубины, изумруды, алмазы.

Фархад забыл обо всем.

Этот вот смеющийся рот с черной родинкой на верхней губе, это и было его счастье. Свежий ветер, летевший от золотой горы, шевелил волосы Ширин, — этот ветер и снился Фархаду с ранних лет. Чтобы услышать голос, подобный голосу самой звезды, Фархад сражался со змеем, победил духа зла и, бесстрашный, направил свою стрелу в зеркало на груди железного человека. Фархад смотрел на Ширин, руки которой, протянутые вперед, слегка вздрагивали, и знал, что больше ему ничего не надо в жизни, и ни одна слеза больше не упадет никогда из его глаз. Цветущий луг с золотой горой и юная девушка на ветроном коне — это и есть обитель мечты, выше которой нет на земле другого счастья.

Ширин тоже смотрела на Фархада. Руки, протянутые вперед, слегка дрожали. Она сама не знала, почему дрожат ее руки, убранные кольцами и раскрашенные хной. Медленная волна радости вдруг поднялась из сердечных глубин и залила ее всю. Тот же был перед

глазами луг с тюльпанами и тот же ветер шевелил высокой травой, но разве умела Ширин еще час назад видеть всю красоту луга и многоцветность нехитрой степной травы, и золотую гору на горизонте. Другая Ширин, не та, что садилась на коня только-что, смотрела на Фархада, не зная, что сказать, и только улыбалась. Из разжатых ладоней ее продолжали сыпаться на землю рубины, алмазы, изумруды, — она не замечала. Старик, три года назад бывший молодым, наклонился поднять камень, — Ширин не видела ничего.

А ветер, летевший от золотой горы, шевелил и шевелил ее волосы.

Из счастливой задумчивости ее вывел голос царицы Бану.

— Что же ты молчишь, Ширин? Пригласи чудесного мастера во дворец. За один день он сделал больше, чем двести бездельников за год.

И, как будто затем, чтоб Ширин поняла, о каких бездельниках речь, Бану указала опрокинутой ладонью на старика, наклонившегося за рубином.

Надсмотрщик тотчас подскочил к старику и взмахнул кнутом.

Фархад отвел сияющие глаза от Ширин и тоже увидел старика. Скорчившись, тот выгибал спину, и по лиловой коже его бежали крупные капли крови, красные не меньше рубина. Свежий рубец пух на глазах. Из красного он становился зеленым, и ни капли надежды не теплилось в глазах старика.

Фархад словно что-то вспомнил, и по лицу его пробежала судорога. Мгновенье он стоял неподвижно, потом испустил вздох, и в глазах его почернело. Зеркало Искандера, ты уже видело все это. Конь Ширин тянулся губами к цветку нарцисса, а Фархад, как сраженный молнией, упал к ногам Ширин и глаза его закрылись.

Исполнилось все, что предсказали сон и зеркало: Фархад нашел ту, когэ ждал с детства, и теперь, сраженный болью, лежал у ее ног.

А возле него на дне арыка копошился нищий старик-каменотес.

Шапур в испуге подбежал к Фархаду и попытался привести его в чувство. Тщетно. Шапур брызгал на него водой,

Фархад не двигался. Тогда Бану приказала доставить носилки и Фархада понесли во дворец, а Ширин ехала рядом, и ей казалось, что она сама умрет, если чудесный гость не откроет глаз.

По дороге Шапур рассказал Бану все, что знал про Фархада, и когда царедворцы выбежали навстречу, Бану велела, чтобы телу гостя были оказаны царские почести.

Потом Фархада положили на царское ложе, и Шапур три дня и три ночи дежурил над другом, надеясь, что обморок пройдет. Но Фархад оставался недвижим, и лицо его казалось лицом мертвого ангела.

## Книга вторая

### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

#### 1.

Шапур, как проснулся, так и побежал на поиски Фархада, а Ширин осталась в своей комнате, плача и проклиная час, когда ей запало на ум строить дворец на золотой горе. Нет, не проклиная. Она благословляла тот час, когда ей пришла мысль пробивать арык. Никогда бы ей не видеть Фархада, не забреди он к арыку и не взмахни киркой. Ширин то и дело припадала к окну, томясь ожиданием, но время шло, Шапур не возвращался и Ширин опускалась на валик подушки, изнывая в тоске и заливаясь слезами.

Между тем Шапур без труда нашел Фархада.

Наследник великого хакана сидел на придорожном камне и смотрел вдаль. У его ног лежал посох странника, а ворот рубашки был раскрыт всем ветрам всех земных дорог. У Фархада был такой вид, точно он что-то вспомнил, потом забыл и теперь пытается вспомнить, что такое он должен вспоминать.

Кругом был все тот же луг с тюльпанами, золотела гора вдали, вдоль арыка взлетали кирпичи каменотесов и слышен был звон металла, свист бичей, брань, вздохи, жалобы и крик, — все то, что услышит каждый путник возле толпы людей, в руках которых лопата или кир-

Ширин с заплаканными глазами то и дело заглядывала в комнату и спрашивала:

— Очнулся?

Шапур качал головой, и Ширин, пошатываясь, шла к себе.

Три ночи и три дня, как и Шапур, Ширин не знала, что такое сон. Но на четвертый день усталость взяла свое и солнце красоты закрыло глаза.

Когда, проснувшись, она вбежала в комнату, где лежал Фархад, Шапур тоже спал, а дубовая кровать, на которой покоился Фархад, было пуста.

Открытое окно указывало и путь, каким скрылся гость.

ка, а за спинами надсмотрщики и в руках надсмотрщиков кнут.

Увидев Шапура, Фархад закрыл лицо руками.

— С добрым утром, Фархад, — сказал Шапур, — луноподобная ждет тебя.

Фархад не ответил. Волосы его выбились из-под шапки, и кудри обвили его лоб, точно связка черных браслет. Он был похож на узника, голову которого сковала жестокая цепь раздумья. Он молчал, и Шапур повторил:

— Та, что снилась тебе, Фархад. Виденье, мелькнувшее в зеркале, твоя судьба, предсказанная Сократом, ждет тебя, и ее глаза полны слез. Если хочешь вернуть ее губам улыбку, вернись сам.

Шапур сказал, а Фархад опустил ладони и поднял лицо.

Что это было за лицо! От страдания мысли оно казалось черным.

Он протянул посох по направлению к арыку и сказал:

— Слышишь эти стоны и эти крики, Шапур? Слезы и кровь льются там тоже ради ее улыбки. Куда мне вернуться? Или куда мне бежать? Может быть, лучше было остаться в Согдиане.

И он поднялся, как-будто и впрямь собрался бежать в Согдиану.

Однако Шапур остановил его.

— Что ж, беги, — сказал он, — возвращайся в Согдиану, если у людей Согдианы из глаз льются не слезы, а мед. Или, может быть, согдийский пот

слаще вина? Пять раз я был в Согдиане и хорошо знаю, как по-согдийски кричат: «спасите», и как просят: «не бей меня». А ведь согдийские люди четыре года строили дворцы ради твоей улыбки. Может быть, и согдийский гранит мягче воска? Или, может быть, у согдийских надсмотрщиков в руках не кнуты, а хлопнушка для мух? Тогда беги.

Нет, Фархад не бежал. Он как встал, так и стоял, похожий на придорожный столб, и смотрел на Шапура. Лучше бы уж Шапур ударил его палкой по голове. Такими глазами, какими Фархад смотрел на художника, только каменотес мог смотреть на надсмотрщика.

— Я сам строил дворцы в Согдиане, — вскричал он с горечью, — по имени я был царевич, а рыл каналы и тесал гранит, точно простой каменотес.

— А разве теперь иссякла сила твоих рук? — перебил его Шапур. — Спроси, за кого принимают тебя эти несчастные. Они скажут: «Небесный каменщик спустился с облаков, чтоб помочь нам». Разве не для того, чтобы подивиться твоей работе, приехала на луг Ширин? Или ты не сделаешь ради Ширин и ради того, чтобы облегчить участь этих бедняков, то, что в Согдиане делал ради себя?

Больше ничего и не сказал Шапур, а тяжелая цепь, давившая мозг Фархада, точно потеряла свою тяжесть. Он провел ладонью по лицу, потом сжал рукой посох, и дубовая палка треснула в его руке, как ивовый прут.

— Скажи, — сказал он, не глядя на Шапура, — Ширин очень смеялась, когда я, точно связанный ягненок, покатился к ее ногам тот раз?

И Шапур в ответ произнес:

— Луноподобная сказала: ей лучше не жить, если ты не вернешься.

Тогда Фархад оставил камень и, не сказав больше ни слова, направился к арыку.

Шапур последовал за ним, как тень или как луч месяца следует за месяцем, когда, покинув дневное укрытие, ночной странник выходит на прогулку в надеж-

де разорвать предназначенный ему круг одиноких блужданий.

## 2.

Такого мастерства и такой силы в Армении не видел никогда никто.

Нерушимый гранит лежал с основания света, как твердыня земли, а теперь он словно превратился в лед. Мастерство, полученное от Карена, Фархад помножил на силу льва и на тот жар, который палил и терзал его душу. Фархад проводил на камне черту, потом взмахивал киркой, и тысяча локтей гранита отваливалась ровно по черте, как подтаявший лед. Каменотесы оттаскивали камни, очищая арык, а Фархад уже превращал в прах вторую меру локтей. Потом он откидывал кирку и снова возвращался на первый участок. Смесью золы и крошками раздробленных камней он тер стенки канавы до тех пор, пока гранит не начинал блестеть, точно он не камень, а стекло. Наклонись над камнем, — и не надо зеркала, — гранит отразит и твой лоб, и глаза, и кольца кудрей, смоченные потом, и стены далекого города, и небо вверху, и кровавые лепестки тюльпанов на земле.

Едва наступил вечер, глубокий арык вплоть до золотой горы был готов. Оставалась последняя часть работы — пробить скалу, чтобы вода, поднявшись на вершину горы, заполнила водоем перед будущим дворцом и спала вниз пестроцветными каскадами.

С наступлением темноты Шапур хотел возвратиться к Ширин, но Фархад остановил его.

— Еще нам завтра много работы, побереги силы, — сказал он.

И Шапур остался.

У подножья горы они сложили шалаш, и на утро Фархад снова взялся за кирку.

Если вчера солнце на небе медлило уйти, дивясь искусству каменотеса, сегодня — будь на небе сто солнц, они бы все сбежались полюбоваться на чудесного мастера. Но Фархад не стал дожидаться утра. Еще над шалашом плыла рассветная луна, когда он взял кирку и попробовал крепость скалы. Хорошо, что луна укрылась за ту-

чу, — первый же осколок пробил бы ее насквозь. Камни взлетали так высоко, что звезды, как маленькие девочки, разбегались во все стороны и прятались в самую гущу неба. Не прошло и дня, а скалы уже не было. Арык пробил ее вдоль и вширь и достиг вершины, на которой предстояло быть дворцу.

— Кто же будет строить дворец? — подумал Шапур, засыпая вечером второго дня в своем каменном шалаше. — Фархад разрушитель гранита, а я только мастер кисти и пера.

Но настало утро, и Фархад рассеял сомнения художника. Он стал зодчим. На вершине горы лежал камень — круглый, как луна. Фархад вспомнил уроки Бани и стал высекать из камня дворец, орудия киркой, резцом и отвесом. Удивительно было смотреть, — то лежал камень большой, как дом, а прошло семь или, может быть, десять дней, и вдруг камень обратился домом; внутри его возникли комнаты и повисли балконы, и целый лес колонн окружил главный зал. Нет в искусстве зодчего трудней задачи, чем укрепить круглый свод, так Фархад воздвиг купол, и Сатурн на небе едва ли более кругл, чем был кругл этот каменный купол.

Покончив с куполом, Фархад занялся украшением комнат. Внутри зала он высек из камня столы и удобные скамейки, а по стенам и по потолку вырезал сотню разных изображений. В этой работе ему помогал Шапур. Фархад действовал резцом, а Шапур размешивал в баночках краски, трогал изображения кистью, и они становились, как живые люди, какие придут сюда пировать.

Шапур нарисовал сто тысяч разных узоров, а против стола поместил изображение Ширин. Конь царевны тянулся к цветку нарцисса, у ног всадницы лежал Фархад, и в самом углу картины, по требованию Фархада, Шапур изобразил старого каменотеса, руки которого сжимали кирку.

Когда кончили с замком, принялись за водоем. Тут уж и искусство зодчего, и выдумка художника спорили между собой, стремясь превратить водоем в чудо, понять которое может лишь тот,

кто был среди облаков и туч и видел небесные чудеса.

Каменный замок повис на скале, подобно гнезду орла, и тысячи людей побежали к горе, боясь упустить минуту, когда чудесный мастер разобьет перемычку, вода взбежит на гору и тысячами каскадов низринется в каменную чашу прямо перед замком, изукрашенным, точно согдийская кумирня.

### 3.

Бану каждый день получала донесения от надсмотрщиков и знала все о работе Фархада. Но она не могла уговорить Ширин покинуть дворец и поехать к арыку.

— Мне стыдно, — говорила Ширин. — Он оставил дворец тайком. Он не хочет меня видеть. Невежливо нарушать его уединение.

Когда прибежали сказать, что замок готов, — осталось снести перемычку. Бану снова позвала Ширин, но Ширин сказала: — Поезжай одна, может быть, я приеду позже, — и Бану поехала одна, а Ширин осталась в своей комнате, предавшись мечтаньям и терзаясь сомнениями.

Странная стыдливость охватила Ширин с того раза, когда Фархад взглянул ей в глаза. Она полюбила, и каждую минуту ее терзал стыд, что Фархад догадается о ее любви. Прежде она смеялась с подругами, гадая о сердечных уладах, а теперь смех подруг вызывал лишь досаду, и она предпочитала быть одна и смотреть в окно. То ей было все равно, какой витязь славит ее красоту и целует пальцы, накрашенные хной, а теперь ни одному витязю из далеких стран она не показывала лица, и склянка с хной стояла в нише стены, как ненужная вещь. Бану то-и-дело заводила разговор о могуществе хаканов и о богатстве согдийской страны. Ширин спрашивала, — «а что мне Согдиана?» — и щеки ее заливались багрянцем. Прошел слух, что овдовел иранский шах Хосров, и Бану заметила: «Согдиана далеко, а на земле нет более могучего шаха, чем Хосров». Ширин молча взглянула на тетку, и если бы глаза имели силу убивать, тет-

ке бы не жить. Книги, какие читала Ширин, утратили свою занимательность, еда потеряла соль, сахар — сладость, и само солнце на небе, казалось, растеряло для нее ясность своих лучей. Зной тоски, какой сушил душу Ширин, могла бы утишить лишь влага свидания, но Фархад жил в шалаше у подножия скалы, и на все уговоры Бану поехать к арыку, Ширин отвечала: «Поезжай одна».

Тысячу раз любовь толкала Ширин сесть на коня и тысячу раз стыд велел ей оставаться дома. «Он догадается, зачем я приехала», — думала Ширин. И она опять садилась к окну, за которым вдали золотела гора и слышны были удары кирки о гранит.

Между тем, Бану подгоняла коня и еще издали завидела Фархада.

Согдийский богатырь оставил скалу и, закинув кирку за плечо, шел к перемышке. Он стал худ, а на лице его легли следы усталости и зноя. От этого двойной красотой светились его черты, и лишь в глазах был попрежнему темный огонь невзгоды. Тысячи людей бежали за Фархадом и кричали ему вслед разные хвалы. Он не слушал. Он шел вдоль сухого арыка ровным шагом, время от времени взглядывая в сторону. Может быть, он ждал, что на дороге взвоетсы пыль и, точно розовый лепесток, подхваченный ветром, на своем ветроногом Гульгуне вновь покажется Ширин.

Но Ширин не появлялась.

Тогда он наступил ногой на перемышку и взмахнул киркой.

В это мгновение на дороге взметнулась пыль. Фархад опустил кирку и стал всматриваться вдаль, но конь Ширин был голубой, как луна, а Бану ездил на белом коне, и Фархад, завидев белого коня, снова вскинул кирку. Но тут вновь взметнулась пыль на дороге, и кирка второй раз опустилась на землю.

Пыль мешала различить всадника, а потому она улеглась, и Фархад увидел гонца, который мчался к нему во весь опор, махая платком и крича в серебряную трубу:

— Помедли, Фархад, подожди. Луно-

подобной уже подводят коня. Подожди.

Фархаду опять пришлось ждать. Да и как не ждать? Теперь вели сама Бану или вели Фархаду теперь целая тысяча царюц взмахнуть киркой, Фархад не шевельнул бы и пальцем. Одна мысль, что Ширин приедет к арыку, пронизала его таким волнением, что если бы Ширин промедлила еще сто лет, он так бы и прождал ее здесь на камне сто лет. А если бы она стала медлить тысячу лет, и он бы тысячу лет не поднял кирки.

А Ширин медлила. Она сидела у окна, и любовь в ее сердце боролась со стыдливостью и страхом. Лишь, когда сотый по счету гонец прибежал с вестью, что царица велела пускать воду, а строитель медлит, верно, ждет, что луноподобная поможет последнему удару кирки сиянием своих глаз, Ширин поборола стыдливость.

Гонцу она велела удалиться; поспешно скинула платье печали, приказала достать из сундука лучшие одежды и седлать Гульгуна...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1.

Она приближалась. Золотистые одежды ее развевались на ветру и кричали Фархаду каждой своей складкой, каждым солнечным бликом, играющим на шелку: «Подожди, Фархад. Помедли. Это любящая Ширин приближается к тебе, Фархад!»

Народ расступился, заслышав топот Гульгуна, и Фархад увидел как бы широкую улицу, по середине которой рос на глазах, приближаясь, ветроногий конь. На коне сидела Ширин. Волнение сердца перехватило дыхание Фархаду. Он зашатался, и кирка готова была упасть из его рук.

— Поглядите, он никак опять валится в обморок, — шепнула Бану Шапуру. — Надо ему помочь.

Но Фархад уже овладел собой. Он взмахнул киркой и снес перемышку. Гранитная преграда распалась, и река устремилась в новое ложе. Короткое мгновение она крутилась на месте, точно боясь неизведанного пути, или, может быть, ей было жаль расставаться с род-



ными берегами. Но с гор уже набегала козья волна. О короткой стычке двух волн рассказала желтая пена, всплеск и рев воды, и скрип прибрежных камней.

Миллионы брызг, взлетев в воздух, обдали с головы до пят тех, кто толпился на лугу. Наиболее любопытные кинулись в стороны, отряхивая одежды и оглашая воздух ликующими криками. Любители пеня затаили песню. Смех, пеня и людской крик перемешались с ревом волн, которые уже откинули сомненья. Одевшись пеной, река устремилась прямо к замку, и бег ее был стремительнее самого быстрого коня. Гульгун захрапел. А Ширин, улыбаясь, глядела на Фархада, и руки ее вздрагивали, еле сжимая повод.

Грива волн уносилась все дальше, и Гульгун не стерпел. Дернув шеей, он вдруг сделал прыжок и поскакал за водой. Оба павода повисли на нем, как лопнувшая веревка висит на концах сломанного лука. Он скакал, не разбирая тропы, и на всем скаку угодил в болото, каков наполнило глинистую низину.

Можно было хорошо разглядеть, как конь вскидывает ноги и трясет головой, и с каждым новым мгновеньем глубже погружается в болото.

Фархад увидел беду и не стал медлить.

В семь прыжков он настиг Гульгуна и, пригнувшись, вскинул себе на плечи его передние копыта. Потом он напряг плечи и легко вытащил из трясины и задние ноги коня. Гульгун покоился теперь на его спине, как ягненок покоится на плечах заботливого пастуха, — а на спине Гульгуна сидела Ширин.

Такого подвига и такой силы не видел в мире никто. Поистине, это была сила льва и быстрота лани, с какой Фархад взбежал в гору. Арычная вода еще только металась в водоеме, ища выхода, а Фархад уже спустил коня наземь и помог испуганной Ширин оставить седло.

Потом он приблизил к губам край золотистой одежды Ширин, закрыл ладонями лицо и, не оглядываясь, кинулся прочь.

Водяной шатер скрыл его из глаз Ширин.

Это было похоже на водяной пожар. Нет, это было похоже на то, будто само солнце разлетелось на миллионы брызг и одело в гору, и замок в пестроцветную одежду. В дыму водяного костра скрылся Фархад. Ширин проглядела глаза, пытаясь уследить его путь. Напрасно. Вода набегала все новыми волнами, и все новые струи, разлетаясь на тысячи нитей, сплетались в воздухе наподобие редкостных тканей. На игру водяных струй можно было смотреть двести лет, и глаз не уставал купаться в этой бездне многообразия. Водоем был устроен так хитро, что каждая новая волна как бы заплетала новый хоровод, и глаз кружился в этом хороводе наподобие волчка, что крутится под кнутом ребенка, или наподобие человеческого сердца, что кружится, подгоняемое стремлением к счастью, и не имеет силы оставить хоровод.

Ширин хотела догнать Фархада, — и не видела пути. Глаз ее ловил только мелькание водяных мотыльков, и, когда Бану вместе с царедворцами поднялась на скалу, Ширин не могла сказать, где Фархад. Она протянула руки вперед, и на ладонь ей упало сто водяных алмазов, точно сотня слез, брызнувших из глаз, увлажненных счастьем.

— Куда ему деться, — сказала Бану, обнимая племянницу, — одежду его истрепал конь и залила вода. Несомненно, наследник великого хакана ушел переодеться.

Потом Бану дала распоряжение готовиться к пиршеству и, уведя Ширин в каменные покои, сказала:

— Удивительно, что он скрывается всякий раз, едва прикоснется к твоей красоте. Сила льва ужилась в нем рядом с кротостью голубя и с робостью цветка. Он не откажется быть гостем на пире, а ты придешь позже. Пусть его сердце сперва несколько укрепит вином. А родинку надо припудрить. Что она, точно ворон, кружится над розаном твоих губ... Фархад много потрудился над украшением замка. Будет справедливо, если и ты приложишь труд, чтобы порадовать его.

Бану была права, и Ширин, вздохнув, удалилась.

Впрочем, запудривать родинку она не стала. Какой она ворон. Это просто маленький арабчонок пробрался в сад полюбоваться на красоту цветов. Стоя перед зеркалом, Ширин только погрозила ему пальцем и велела щадить цветы. Однако, когда луноподобная спустилась на пир, розы ее щек казались несколько поблекшими. Надо думать, это стыд одержал верх над любовью и каждый лепесток розы трепетал от смущенья, чуя над весенним садом сокрушительный вихрь страсти.

## 2.

Фархаду на пиршестве стремился угождать каждый. Он едва посмотрит на блюдо, и уже двадцать рук протягивают ему жареного барашка, язык вепря или седло козы. Он проведет языком по губам, и тридцать гостей наполняют его кубок. Он нахмурится, и лучший певец запекает веселую песню, а закроет Фархад глаза, и музыканты трогают струны, звучащие нежнее пастушеской свирели.

Ширин на пире не было, и место рядом с Фархадом оставалось пусто. Но глазам гостя грех было бы жаловаться на скуку. Двенадцать красивейших девушек Армении разместились за каменным столом. И мало того, что они красавицы, — каждая была совершенством в каком-либо искусстве или науке. Устав от ожидания, Фархад спросил соседку, знает ли она стихи Хафиза, и соседка тут же прочла газель великого шахира, где любовь он называет вином, а себя старым пьяницей, двери кабака для которого милее райских ворот. Вторая красавица внезапно сбросила одежды и движением стана и рук стала повторять то, о чем старый шахир говорил созвучиями слов.

Я в чаше образ увидал моей любимой, — пел Хафиз, но пропади у гостей вдруг слух, останься только взор, и гости все равно поймут, о чем песня Хафиза. Танцовщица плыла по кругу, вскинув ладони, и в полусогнутой руке ее чудился кубок, из которого возникает та-

инственный и обольстительный обаяние любимой.

Насытившись танцами, третья красавица неожиданно сказала, не обращая ни к кому: «Кто бы подумал, что четыре рычага, две руки и две ноги, подчиненные строгим законам механики, могут соперничать в своей выразительности с человеческим словом». И тут четвертая, сидящая слева, спросила: «А разве человеческая речь не составлена из тридцати звуков? А их хватает, чтоб описать все тайны вселенной».

Эти девушки были мастерицами логики, и согдийские мудрецы позавидовали бы их искусству диалектики.

Однако пятая не согласилась с другой. Она сказала:

— Цифр еще меньше, чем звуков, но там, где не хватает слов, там на помощь приходит математика.—И, начертив губной помадой на скатерти теорему Пифагора, она спросила:—Найдется ли философ или поэт, который бы решил эту теорему, не прибегая к цифре или чертежу?

— Найдется, — вскричала шестая, — имя такому философу Платон. Что Пифагор находил цифрами, светлый Платон постигал простым прозрением ясного духа.

И без запинки она прочла ответ Платона Сократу из книги, название которой «Пир».

Беседуя, эти сокровищницы ума не уставали наполнять Фархаду кубок, и скоро перебродивший виноградный сок заставил и мысли Фархада бродить и пениться, как вино.

— Философы и математики, — вскричал он, — решили много мировых загадок. Им открылись тайны неба и тайны подземных вод. Поэты и музыканты воспели все виды наслаждения и все ступени горя. Но кто из них понял сущность любви и причину человеческих страданий? Где та теорема, решив которую, мы бы решили и задачу счастливой жизни для всех?

Едва Фархад заговорил, красавицы умолкли. Фархад кончил, и гости стали ему рукоплескать, оценив ораторское

искусство и умение выразить большую мысль немногими словами.

— А вот я знаю загадку, — сказала седьмая красавица, славившаяся острой догадливостью ума. — Ее отгадать так же трудно, как задачу, поставленную гостем из Согдианы...

Но Фархад не стал слушать загадку. Слова, сказанные им, опечалили его самого. Он оставил свое место возле Бану и опустился на простую скамью, покрытую ковром.

— Что выше всего на свете? — продолжала любительница загадок. — К чему стремишься всю жизнь, а достиг, и оказывается, потерял все, к чему стремился?

— Красота, — крикнула восьмая красавица.

— Счастье, — сказал кто-то возле самого уха Фархада.

— Могущество царей, — промолвила Бану, — не правда ли, наследник великого хакана? Чем больше могущества в руках государя, тем больше трудности его удержать. Искандер завоевал мир. А где его могущество? Царь Вавилоя был могуч, но сам предпочел есть траву вместе со скотом. Иной победитель мира несчастнее последнего раба.

Фархад не слышал загадки, но слова царицы привели его в волнение.

— Что такое могущество? — сказал он. — Это тоже любовь?

И, разгоряченный вином, он стал говорить о могуществе любви так, что услышав его Хафиз или Саади, они бы со стыда велели сжечь все свои книги. Слова Фархада были не только красивы или мудры, они были чисты, и каждое слово светилось изнутри наподобие алмазу. Красавицы забыли о своих науках. Шапур рисовал на скатерти небесного витязя с крыльями за спиной, а Бану ласково улыбалась и думала:

«Слишком чист сердцем этот будущий владыка Согдианы. Надо думать, когда Ширин станет его женой, он забудет о несбыточных мечтах.»

И она дала знак прислужнице, чтобы Ширин поторопилась.

А Ширин половину вечера простояла за занавесью, сгорая от стыда и нетер-

пенья, и слышала все. Страдания людей не занимали ее сердца. Но страдания сердца Фархада вызвали на ее глазах слезы, и когда она появилась среди гостей, ее ресницы казались усыпанными золотым бисером.

— Бану не любила слез, и пиршество было устроено вовсе не для того, чтобы на нем лились слезы. На пиру должно литься вино. Бану велела наполнить кубки и предложила один кубок Фархаду, другой, поменьше, Ширин.

— О, самый необыкновенный юноша, какого только видел свет, — сказала она, поднимая кубок, — ты совместил в себе все совершенства, возможные для мужчины. Пусть же наградой тебе будет любовь, которая совместит всю красоту и все могущество, возможное на земле. Я хочу, чтобы этот кубок выпил ты и выпила моя племянница Ширин за счастье, самое лучшее на свете.

Ширин раскраснелась и, отхлебнув из чаши, шепнула Фархаду:

— Пью за то, чтобы ты был счастлив в любви, прекрасный витязь.

Это был, наверное, десятый кубок, какой пришлось осушить Фархаду. Он выпил его одним духом до дна и, когда ставил на место, уже не мог разобрать, где Ширин, а где Бану. Картины на стенах, разрисованные Шапуром, сошли со своих мест и стали казаться живыми людьми. Фархад слышал слова Ширин и понял, что ее устами говорит сама любовь. Но опьянение росло с каждым мгновением и, когда он, наполнив новый кубок, приблизился к Ширин, чтобы сказать ей ответное слово, он увидел перед собой внезапно не царицу красоты, а изможденного старика с киркой в руках, искусно выведенного кистью Шапура.

— Пью за твое счастье, и нет мне счастья, если нет счастья тебе, — произнес Фархад ослабевшими устами и протянул кубок к тому, что он принял за черты Ширин.

Кубок ударился о стену и разлетелся на тысячу кусков.

— Кто ты? Откуда?! — закричал в испуге Фархад. Потом он узнал старика и сказал ослабевшими устами:

— Это ты пришел? Прости...

Но тут тяжелый сон обессилил его тело, и Фархад опустился на скамью, ничего больше не слыша, не чувствуя и не зная.

Гости видели, что наследник хакана утомился, и покинули зал. Только одна Ширин приблизилась к спящему и прильнула к его лбу долгим поцелуем.

— И мне нет счастья, если нет счастья тебе! — произнесла она, как бы давая клятву в верности до гроба. Затем она распорядилась перенести Фархада на мягкое ложе и удалилась, чтобы утром рассказать Бану о своем решении стать женой Фархада. «Я разделю вместе с ним все труды, все печали, всю радость и все испытания, какие выпадут на долю этому рыцарю сердечной чистоты».

Между тем утро готовило Армении испытание, о каком едва ли думал даже Фархад, готовый с детства ко всем испытаниям судьбы.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1.

Фархада разбудила серебряная труба у ворот. Это трубила беда. Но звук ее был высок и чист и мало напоминал беду. Если бы уши имели способность видеть, они бы сказали: луч солнца на заре бывает так звонок и чист, как чист звук этой трубы — у него серебряный голос.

Фархад не видел и не понял, кто трубит. Стыд в его сердце трубил громче всяких труб. Стыд — напиться на царственном пиру до-пьяна. Стыд — принять изображение на стене за живого человека. И не стыд ли мечтать о любви, если горе и труд в три года делают юношу стариком.

Потайным ходом, какой он сам прорубил в скале, Фархад оставил замок. Звук трубы провожал его до самого подножья. Фархад не слышал. На горизонте стеной стояла черная пыль, точно сотня бед слеталась к границам Армении, — Фархад не видел. Предавшись раскаянию, мечтаньям и стыду, он направился к реке и скоро достиг арыка, пробитого его трудом. Скованная берегами, вода текла, подчиняясь закону

Гераклита. Фархад опустился на камень и склонил голову над потоком. Вода казалась то голубой, то коричневой, и в бурном ее кипении мелькали как будто чьи-то глаза. Наверное, это были глаза самого Фархада. Фархад подумал — это глаза Ширин.

Звук трубы пробудил и царицу Бану.

— Что это? — спросила она, открывая глаза.

Звук трубы не прекращался.

— Или у пастухов нет другого места пасти коров, — сказала царица гневливо. — Пусть не мешают гостям спать.

Придворная девушка выбежала исполнить приказанье, но звук трубы не молк, не тих. Так трубит лишь беда, разрывая тишину благополучья.

— Это не пастухи, — сказала девушка, возвращаясь. — Это гонец от шаха Хосрова, старый козел Бузург-Умид.

— Посланец Хосрова? — вскричала Бану и, откинув покрывало, спустила с постели ноги.

— Кто посмел затруднить ожиданием гонца великого шаха? Открыть ворота немедленно.

Прибытие иранского посла не сулило хорошего.

Мир устал считать преступления, совершенные Хосровом. Алчность его сердца могла сравниться только с безобразием его лица; а сила его жестокости была равна силе его богатств. Сердце Хосрова не знало жалости, а губы улыбки. Однако и Хосров мог сойти за ангела кротости, стань он рядом со своим первым советником везирем Бузург-Умидом.

Бузург-Умид трубил в серебряный рог у ворот, и царица не стала медлить. Она надела лучшее платье, послала тайный приказ гостям быстрее возвращаться в город и поспешила навстречу гостю.

Однако по началу беседа не сулила плохого.

В витиеватой речи Бузург-Умид осведомился о здоровье царицы и закончил приветствие так:

— Иранское государство, — сказал он, — оплот мира и счастья народов, а непобедимый шах Хосров, сын Хосрова, внук Анушхирвана, оплот и надежда

Ирана. Армения оплот красоты. Мир и красота сестры. Какой смысл держать красоту на замке?

Бану в тревоге выслушала речь везиря и сказала:

— Справедливо.

Потом по обычаю гостеприимства она предложила посланцу отдохнуть.

Бузург-Умид отдышал недолго. Он скоро наведаясь во второй раз к царице и выразил мысль, что на корнях саксаула или сосны не вырасти яблоне.

Бану опять согласилась, и тревога ее усилилась. Она повела речь о красоте Армении и спросила: может быть, у великого везиря есть желание осмотреть дворцовые цветники.

По дороге к городу везир занимал царицу беседой, а осмотрев цветники, сказал, зевнув, что и в Иране сады не хуже. Однако лучшая из яблонь укрыта в Армении.

При этих словах Бану догадалась обо всем и, оставив везиря с государственным мужем, поспешила к Ширин.

## 2.

— Беда или счастье нашей стране, — сказала она, входя. — Старый волк Хосров пресытился кровью и задумал полакомиться армянскими яблоками.

Ширин даже не повернула головы. Она как сидела перед окном, так и осталась сидеть, и взор ее летел по направлению к горе, где высился замок, построенный Фархадом.

— Я полагаю, старый шайтан сыт одной кровью, — повторила Бану, — теперь ему понадобятся яблоки.

— На что мне яблоки? Я сыта, — сказала Ширин рассеянно. — Фархад, как и тот раз, ушел на рассвете. Все врало, будто я красива. Он не любит меня.

И Ширин вздохнула так, как будто ей незачем было больше дышать. Поймай бабочку и вели ей взмахнуть крыльями, вот так и вздох Ширин, был не громче, чем шелестенье бабочкиных крыл.

— Хосров хочет тебя взять в жены, — сказала тогда без обиняков Бану.

А теперь, подойди к розе и дохни на нее морозным ветром. Так вздрогнет и цветок, как вздрогнула Ширин.

— Старый Хосров? — вскрикнула она. — Плешивая собака Хосров?

— Государи не имеют возраста. Великий и непобедимый шах половины мира, Хосров сын Хосрева.

— Я люблю Фархада.

— Скажи лучше, неблагодарного гостя, которому старый каменотес милее ангела красоты.

Или протяни руку и попытайся склонить стебель цветка направо, когда невидимый ветер клонит его влево. Цветок обнаружит шипы, а обломаешь шипы, и цветок умрет.

— Я лучше умру, — сказала Ширин, и щеки ее зарозовели.

Бану любила Ширин и не хотела, чтобы цветок сломался. Она прильнула губами к заплаканным глазам племянницы и направилась к выходу.

— А если Хосров не простит отказа и двинет войска? — сказала она, стоя в дверях.

— Разве мечи в Армении куются из воска?

И блеск глаз Ширин мог бы поспорить с блеском тысячи мечей.

Тогда Бану сказала задумчиво:

— Стекло кричит: «Я тоже алмаз», — а брось на наковальню хоть тысячу стекол, и молот одним ударом раздробит их. Хосров — молот. Впрочем, ты, моя Ширин, не стекло, ты — алмаз.

Затем Бану вызвала начальника оборон и вернулась к Бузург-Умиду.

Бану всегда все знала наперед. Великий везир поблагодарил за прием, а потом опустился на колени и передал просьбу Хосрова отпустить в Иран царицу красоты, солнцеликую Ширин. «Пусть сладчайшая яблоня земли принесет шаху плод, какого он жаждет так горячо».

Услышав это, Бану в притворной радости всплеснула руками и подняла их к волосам, точно белая птица счастья, пролетая, задела ее своим крылом.

Сотней сияющих слов она поблагодарила везиря, а потом вдруг уронила голову на грудь, и две проворные слезинки скатились из ее глаз.

— Я знала, он наступит, день моего позора, — сказала она. — Весь мир слышал о красоте Ширин, и никто не

знает ее тайны. Ширин по виду девушка, а на деле как бы мальчик. Она скачет на коне и пускает стрелы, как лучший воин, — а скажи при ней слово: любовь, или — свадьба, — и она снесет тебе голову мечом. Я советовалась с мудрецами, и самый ученый лекарь сказал: склонение обрekli несчастную Ширин на вечное девство. Я надеялась умереть раньше, чем тайна обнаружится. Лестные слова великого шаха вырвали тайну. Что я могу еще сказать? Пусть Хосров ищет себе жену в других странах.

Посол уехал, а Бану уединилась с начальником обороны и велела без всяких отлагательств готовить коней и всадников, и воинское снаряжение — и одежду, и быков, и бочки с водой, и, «если где в городской стене есть брешь, чтобы завалили брешь бревнами и залили свинцом».

Между тем везирь день и ночь гнал коня, торопясь в Иран, и по всем дорогам Армении встречал людей, толкующих о чудесном каменщике и о том, как Ширин без оглядки влюбилась в каменщика, не ест, не пьет и от любовной тоски стала белее бумаги.

Передавая шаху ответ Бану, Бузург-Умид рассказал и про каменотеса, которого ищет царевна, умоляя его вернуться во дворец.

Хосров сидел, скрестив кривые ноги перед столом. Но едва везирь кончил рассказ, он пинком ноги опрокинул стол и схватился за меч.

— Курица задумала обмануть сокола, — вскричал он хриплым голосом, — лисица хочет победить льва. Плачь же, Армения.

И вот уже запела военная труба и, потрясая мечами, беда мчится на тысяче коней к границам Армении, неся ужас и смерть и грозя гибелью всему живому.

Плачь, плачь, Армения. Спасайся, армянский народ. Плачь, Ширин. Страшен гнев Хосрова. Лей слезы, несчастный Фархад. Тысяча сватов мчится на быстрых конях по дорогам Армении, чтоб увезти твою Ширин на поруганье великому шаху. Любовь — это любовь,

а власть и желания шаха, это власть и желания шаха. Это кровь, ужас, смерть.

## 3.

Бану предвидела все наперед.

Не прошло и пяти дней, Армения запылала, как тысяча костров, подоженная со всех сторон. Войско Хосрова двигалось тучей, и молнии мечей, свистя, сверкали над тучей, и кровавый дождь оросил поля, и градом падали наземь отрубленные головы, и потоки слез заполняли водоемы, и дым сожженных селений вставал над землей, точно дым конца мира, и гром копыт скачущих коней, мешаясь с грохотом барабанов и ревом труб, летел впереди этой тучи бедствий.

Жители бросали дома и бежали к городу. Мычанье коров и блеянье овец перемешалось с плачем и криками детей. Жена ложилась спать возле мужа, а наступало утро, и муж был мертв, отрубленная голова его плавала под кроватью в луже крови, а жену, привязанную к седлу, уже мчат быстрые кони в стан врагов, где ее ждет плетка, кнут и бездонный омут надругательств. Счастлив тот, кто успел укрыться за городскими стенами. Горе уставшему за день в своем доме и заснувшему крепко, — ему не открыть больше глаз никогда. Плачь же, армянский народ. Земли твои выжжены, плоды трудов твоих втоптаны в прах и развеяны по ветру, сыновья твои зарублены, матери поруганы, жены наложницами валяются в палатках врага, и малые дети, точно звезды, сброшенные с неба, прильнули без дыхания к земле рядом с придорожными камнями и сухим конским навозом, заготовленным впрок.

Город стоял на горе, опоясанный ровом и окруженный стеной из гранита. Жители бросали имущество и стекались к стенам. Слава природе, окружившей город бурной рекой. Слава начальнику обороны, укрепившему свинцом и бревнами городской вал, и главная слава вам, работники и каменотесы, это вы, не жалея рук и сил, высекали в горах одну гранитную глыбу за другой и сложили их так, что стена, вставшая перед рекой, стала крепче гор.

Городские пастбища были обширны и вместили всех беженцев и много тысяч коров и разного скота. Двести тысяч баранов блеяли от испуга, шарахаясь от стены к стене и ища привычных степных просторов. В глубокие подвалы, вырытые под домами и хижинами, снесли продовольствие и одежду. Сотни тысяч бочек с водой загородили все проходы на тот случай, если иранцы пережгут реку. Бану велела закрыть ворота, едва последний беженец вошел в город, и наваленные бревна поперек въезда заперли ворота лучше, нежели обет молчанья или смерть запирает уста человека.

Лучшие стрелки Армении встали к бойницам.

Каменотесы, рывшие арык, сменили кирки на каменные ковши и расположились по стенам. Их дело было лить на головы врага горящую нефть. Надсмотрщики и те оставили кнуты. Теперь они прохаживались между стрелками и разносили в холщевых мешках сухари и сушеный урюк.

Головной отряд иранцев уже показался на горизонте, но Бану поднялась на дозорную башню и без страха озирая врага. Пробить гранитную стену было не под силу ни стрелам, ни таранам, ни даже новым машинам, какие на железных цепях быками волокли полчища Хосрова.

Один Фархад отказался войти в город. Он укрылся на горе, что главенствовала над городом неподалеку от ворот. Бану посылала к нему гонцов и звала в город, но Фархад отвечал неизменно:

— Так будет лучше.

Ширин исходила слезами и подбивала тетку послать нового гонца, но ответ Фархада был один:

— Так будет лучше. Каждый скоро поймет, что так лучше.

И упрямец Фархад остался на скале, хотя войско Хосрова уже обтекало город, подобно реке бедствий, и прежде всего окружило скалу, взнесенную над городом.

#### 4.

Это, действительно, был поток ужаса. Это было море бедствий, вышедшее из

берегов. Это был как бы миллион казней, и каждая казнь сидела на коне и держала в руке щит и меч, и оглашала воздух бранными криками. А впереди потока, одетый в золотые доспехи, на рыжем коне скакал Хосров.

Одним взглядом он окинул расположение крепости и оценил ее мощь.

— Это что за парень на скале? — спросил он, заметив Фархада.

Один из воинов сейчас же приблизился к скале.

— Что ты там делаешь, парень, и кто ты? Если высматриваешь коров, слезай. Твоими коровами шах накормил своих собак, — крикнул он, приняв Фархада за пастуха, а кирку в его руках за свирель.

Фархад отложил кирку и ответил с готовностью, но и без всякой торопливости:

— Если шах заботлив к собакам, почему он не заботится о себе и о своем войске? Скажи ему, что несчастный Фархад приказал ему удалиться.

Хосров пришел в ярость, узнав о дерзких словах Фархада.

— Этот безродный парень и есть мой соперник? — вскричал он. — Поганая колючка, легшая на моем пути. Колючку надо вырвать немедленно.

И, наказав лучшим стрелкам быть наготове, он подскакал к скале.

— Если ты хочешь жить, вонючий раб, позабывший, что такое кнут, слезай, — крикнул он, подставив к губам серебряную трубу. — Слезай, и ты увидишь, как в мою палатку поволокут девчонку, которая по дерзости несомненно пара тебе.

Фархад оглянулся на город и сжал кирку. На городской стене стоял каменотес, три года назад бывший молодым. Старик помолодел, и в руках его дымился ковш с нефтью. Тучи стрел летели со стороны иранцев на город, но крепкие щиты бойниц отбрасывали их в ров. Каменотес потрясал ковшом, и сноп искр сопровождал каждое его движение. Крыша дворца, где укрылась Ширин, светила под солнцем, как серебряный пруд, или как зеркало, запертое в ларец из каменных стен. Беженцы

сбились на городском лугу и, вздымая руки к стрелкам, молили о защите.

Прилив силы и великое веселье охватили Фархада. Веселье любви, освобожденной от оков, и великое счастье битвы за невинных переполнили его сердце. Он подхватил обломок скалы и вскинул его над головами.

— Уходи, пока есть время, пожира-тель жизни, — крикнул он. — Гибель ждет тебя, а если не веришь, этот маленький камешек докажет тебе мою правоту.

С этими словами он метнул камень. Золотый шлем на голове шаха треснул и, распавшись, свалился наземь.

Хосров прикрыл ладонью голое темя и подал знак стрелкам. Но в тот же миг дождь камней исковеркал луки стрелков, а стрелы в колчанах превратил в охапку щепок, годных лишь для растопки печи.

— А теперь слушай меня, лысый старик, — снова загремел Фархад и подкинул на ладони новую скалу величиной с дом. — Ради мерзкой похоти ты пролил море крови и землю превратил в царство могил. Любовь жаждет мира, но поднимает оружие смерти против насилья. Смотри, вот стоит человек, которого любовь сожгла дотла. Я, Фархад, налит до краев любовью, и я всем вам несу смерть. Если ты понял меня, уходи. Если не веришь, взгляни на шлем. Голова твоя и твоих воинов ляжет там же.

И еще раз подкинув на ладони скалу, он швырнул ее к ногам Хосрова. Конь шаха залился ржаньем и взвился надбы. А Фархад уже схватил новую глыбу. Но тут Хосров пригнул голову и погнал коня к своей палатке. Защитники крепости стали осыпать его насмешками, и опять громче всех кричал молодой каменотес, который неделю назад, будучи стариком, говорил Фархаду: «Ты спрашиваешь, где злодей, нет злодея». — Теперь он кричал: «Хосрову смерть! Смерть злодею!» — и ему вторили другие защитники крепости: «Пусть умрет злодей!!!» — Кричали все — и недавние каменотесы, и надсмотрщики, и просто городские люди. В жажде истребить насильников они натягивали луки и посылали смерть в лагерь врага, а иранские воины

падали на землю, бросая луки и мечи, точно они боялись, что чудесный каменотес сейчас обрушит на их головы все скалы, что стояли вокруг.

Когда спустилась ночь, Хосров велел подсчитать потери. Иранцы потеряли тысячу человек убитыми; и, наверное, еще столько было ранено, но те, кто остались живы, расплозились по дорогам, хоронясь в канавах, и пересчитать их не было сил.

Таков был конец первого дня осады.

## 5.

От стыда и страха Хосров не спал в эту ночь до утра. А когда пришло утро, он послал за Бузург-Умидом и велел трубить отступление. Но Бузург-Умид сказал:

— Глупый народ войны. Со страху они не спали всю ночь до утра. Безумный каменотес для них страшнее дива. Мало что болтает язык сумасшедшего. Горные народы сыздавна владели пращой. На то он и каменотес, чтоб швырять камни.

Слова эти, сказанные с усмешкой, смутили Хосрова.

— А что прикажешь делать? — спросил он. — Крепость неприступна.

— Что устояло перед силой, сдается хитрости. Пусть поедет к Михин-Бану новый гонец. Хитрыми словами можно и змею выманить из норы. Неужели в Иране не найдется хитреца, который бы сумел обмануть женщину. Если будет воля бесстрашного шаха, поеду я.

И не прошло получаса, как Бузург-Умид предстал перед царицей Армении.

Хитрость, выдуманная им, оказалась не хитрее уловки базарного торговца.

— Великий шах пришел в Армению, как друг, — сказал он, — а перед ним заперли ворота. Мало того, в него стали швырять камни, точно он не шах, а бездомный пес. Нам говорили, Ширин не хочет любви, а жалкое подобие человека, каменщик, оскорбивший шаха, открыто кричит, что любит Ширин. Если бродяга наврал, Хосров не станет помнить зла и войдет в крепость, как друг. Если каменотес прав, значит, неверны были слова царицы, и Хосров силой войдет в крепость.



Бану ответила:

— Как немного слов и как много ошибок. Каменотес, перед которым шах столь поспешно обнажил голову, не безродный бродяга, но сын и наследник великого хакана. Ширин не хочет слышать о любви, а Фархад любит Ширин, но она не пустила Фархада в город. Если шах мне перестал верить, пусть он подойдет поближе к скале и снова поговорит с Фархадом. Больше я что могу сказать?

Бузург-Умид вернулся в лагерь ни с чем, но в надежде придумать новую хитрость уговорил шаха продолжать осаду.

Началась долгая и упорная борьба.

Вокруг городских стен насыпали вал и на вал втащили огненные катапульты. На защитников крепости полетели камни, окутанные пылающими тряпками, и тучи железных стрел. Однако стены крепости были вынесены далеко вперед и тряпки падали в реку, не причиняя городу вреда. Можно было попытаться пробить ворота, но перед воротами высилась скала Фархада, а праща и кирка его работали неустанно. Когда он только успевал спать, этот неутомимый витязь любви? Воины Хосрова бодрствовали поочередно, и едва заходило солнце, над валом начинало полыхать пламя факелов и костров. Тучи стрел и камней летели на крепость, но, как дождь, падали со скал на их головы глыбы гранита. Если тысяча иранцев накапливалась у моста, Фархад взмахивал киркой, и под каменным обвалом от тысячи воинов оставались лишь тысяча расплюснутых шлемов и тысяча поломанных мечей. Если два храбреца в темноте ночи ползли к воротам, со скалы падало всего два обломка, поражая храбрецов. Рассыпанным строем кинутся иранцы на мост, и сотня десятков камней в тот же миг низвергнется на их головы, точно на скале бодрствовал не каменотес, а каменный садовник и из каменной лейки поливает неприятеля каменным дождем.

Фархад забыл обо всем и помнил лишь одно — каменотес и Ширин смотрят на него из своих укрытий, и от его

меткой силы зависит жизнь тех, кто укрыт за городскими стенами.

Длилась осада сто лет, и сто лет стоит Фархад на скале, ибо таково упорство человека, познавшего любовь.

## 6.

Но если велико упорство любви, ставшей ненавистью, и если непобедимо упорство народа, защищающего свою жизнь, не меньше и упорство хитрого ума. Когда Хосров в сотый раз в бесильной злобе укусил рукоятку меча и захрипел: «Безумца надо убить», — Бузург-Умид сказал:

— Мне сдается, на свете есть одна сила, против которой не устоять и силе этого каменщика. Или через час меня не будет в живых, или вели, непобедимый шах, готовить костер — через час мои воины принесут к тебе Фархада, связанного по рукам и ногам.

И, не говоря больше ни слова, Бузург-Умид скинул боевые доспехи, надел холщевую рубашку бедного человека, сорвал цветок и, приказав воинам незаметно следовать за ним, полез на скалу.

Склонив голову и испуская пламенные вздохи, он карабкался по крутым склонам, и ненависть к Фархаду гнала из его глаз слезы, при виде которых чистый сердцем скажет: вот слезы неизбежного страдания, а искушенный в зле спросит: если так велика беда, превратившая в слезы сердце этого человека, откуда он набрал сил вскарабкаться по столь крутым склонам, каких не одолеть и крепкому сердцу.

Фархад стоял, прислонившись к скале, когда увидел перед собой плачущего бедняка с цветком в руке.

— Кто ты, несчастный, и как ты пробрался сюда сквозь это море торжествующего насилия? — вскричал Фархад.

Бузург-Умид уронил цветок и, целуя землю, на коленях пополз к Фархаду, рыдая все прмоче.

— Великое счастье видеть того, кого прозвали падишахом влюбленных, — вскричал он, горестно вздыхая, и стал ловить и целовать руки Фархада. — Один ты способен понять мои муки.

Возлюбленная моя укрылась в крепость, и как мне быть? — войско Хосрова отрезало к ней путь, а тут еще ты со своими камнями. Жить, не видя возлюбленной, лучше умереть. Сойти в могилу, не сказав ей последнего слова, — зачем было родиться. Что страданья Меджнуна рядом с моей тоской. Я не умер, но я и не живу. Помоги мне войти в крепость, ибо прошел слух, будто каждый несчастный тебе как брат, а может ли быть человек несчастнее меня.

И он опять припал к рукам Фархада, покрывая их поцелуями и норовя сжать все сильней.

Фархад не стал долго думать. Каким он был, Фархад, таким и остался. Он отбросил кирку и кинулся обнимать страдальца. А Бузург-Умид того и ждал. Он сжал Фархада в объятиях, и, пока они стояли, как два брата, воины выскочили из-за камней и накиннули на Фархада аркан.

Защитники крепости завопили от ужаса, увидев веревку на руках и ногах Фархада. Но Фархад только рванул рукой, и веревки попадали с него, как гнилые нитки. Но уже бежали снизу опытные палачи. Они скрутили тело Фархада тройной цепью, и армянским стрелкам осталось лишь рвать на себе волосы и призывать бога, моля о спасении Фархада.

Один Шапур давным-давно позабыл имя бога. Он увидел беду и тяжелым камнем угодил в голову Бузург-Умида. Великий хитрец вскрикнул, и в глазах его потемнело. Но что толку. Фархада, скрученного цепями, уже несли к палатке Хосрова, и Шапуру тоже осталось лишь плакать и рвать на себе ворот, как рвала его и Ширин, из потайного окна видевшая все, что творилось за воротами.

Потом она потеряла силы смотреть, и когда запыхавшийся Шапур вернулся в крепость, Ширин лежала без памяти на полу и повторяла через равные промежутки времени, точно кукушка, кукующая в лесу:

— Лучше бы они связали меня, Фархад, лучше меня, меня... Фархад, лучше...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1.

Судьба Фархада была завершена. Хосров мог торжествовать. Плененный метатель гранита лежал ничком на вытопанной траве, и не камень, тонкую былинку и ту было не одолеть его скованным рукам. Из арчевой рощи палачи тащили на костер охапки дров; стучали плотники, сколачивая смертный помост, но Хосров с казнью медлил.

Он велел расковать Фархада и привести в палатку. Свидетелем их беседы был определен меч, положенный на подушку, возле алмазного трона шаха.

Заступник крепости предстал Хосрову, изможденный, как дервиш, и одежда его была изодрана в клочки. Но лицо попрежнему оставалось лицом воина. Он смотрел на шаха в упор, точно стремился что-то понять, что понять ему нехватало сил. Так во дворце хакана он в упор рассматривал фокусника, на ладони которого павлин превратился в столб огня. Может быть, он ждал, что и Хосров, как фокусник, сейчас откроет ладонь и от каждого пальца его протянется к небу кровавая нить.

Хосров протянул руку и вырвал изо рта пленника кляп.

— Рад тебя видеть, каменщик, — прохрипел он, — стой здесь и отбечай. Куда нам спешить. Дрова сырые, и на костер много надо дров.

Фархад знал, что его судьба завершена и готов был ответить на любой вопрос и принять любую казнь.

— Спрашивай, — сказал он тихо.

— Болтают, будто ты сын хакана. Чем ты докажешь, что ты царевич, а не сын шлюхи и свинаря?

— А чем ты докажешь, что ты человек, а не взбесившийся кабан? — сказал Фархад еще тише.

Хосров в гневе схватил меч и взмахнул им над головой пленника.

— Кабан способен подрывать камни, но гибнет от простого ножа, — вскричал он, — этот меч тебе докажет, кто я. Но боюсь, мне придется испачкать ухо в землю, чтоб услышать твой ответ.

— От этого ты прязней не станешь, — сказал Фархад, — кровь невинных чиста, но марает тех, кто ее льет.

И он отвел взор от меча, как будто в руках шаха был не меч, а ветка арчи и Фархад боится запорошить себе глаза.

Хосров уронил меч на подушку и захохотал.

— Теперь я вижу, ты царевич. Свилярь пополз бы на коленях и молил о пощаде. Но все равно, ты умрешь.

— Умру я, умрешь и ты, — сказал Фархад. — Мы два конца одной палки. Свет бел, но тень от него черна. Погаси свет, не станет и тени. Любовь — свет, ненависть — мгла. Ненависть умрет, любовь бессмертна. Что ты можешь в этом понять?

Хосров не мог и не хотел понимать ничего, кроме того, что он понял с давних пор.

— Триста женщин любили меня, — засмеялся он, — а в нашей опочивальне оставалось темно. Объясни мне, что такое свет любви, и я, может быть, пойму.

— Пусть вернется кровь в жилы тех, кого ты убил, тогда, может быть, ты и поймешь.

— А разве кровь, пролитая тобой, не кровь?

— Кровь насильников — утешение для людей.

Хосров владел искусством диалектики не хуже, чем мечом, но живость мысли Фархада была острее его меча. Он умолк.

— Отрекись от своей любви, — сказал шах после молчания. — И я подарю тебе жизнь.

— Я отрекся от отца и матери, подаривших мне жизнь, ради любви.

— Отрекись от Ширин, — сказал шах.

— Посягнувший на любовь сам себя обрек казни, — повторил Фархад.

Пламя гнева, какое так долго сдерживал Хосров, накалило его жилы. Они взбухли и стали похожи на земляных червей.

— В Согдиане ты был царевич, — захрипел он, — а здесь ты безродный раб и мой пленник. Казнить буду я.

Поклонись мне в ноги и останешься жив.

— Пусть сперва солнце поклонится тебе, а солнце ведь только подобие любви.

— Безмозглый дервиш, — закричал тогда Хосров. — Ты сгоришь на костре, а солнце останется на небе, как было. И я останусь шахом, как был, когда твоя любовь вместе с твоим зловонным телом превратится в лепел и прах.

— Даже прах любви чище короны насильника, — еле шевеля губами, но твердо вымолвил Фархад. — А ненависть влюбленного еще яростнее, чем сама любовь.

Что оставалось сказать Хосрову? Он захолопал в ладоши, и прибежали палачи. Они канатами стянули руки Фархада и повели его на помост. А под помостом был разложен костер. Все воины Ирана столпились вокруг, чтобы присутствовать при казни безумца, не поклонившегося шаху. Помост был высок, и армянские стрелки тоже могли видеть, как палач высекает огонь, чтобы костер вспыхнул и чтобы чудесный каменотес сгорел, задыхаясь в дыму и превращаясь в уголь.

Фархад не дал себе завязать лицо, и взор его ловил все — и близкую смерть, и далекую крепость.

Помост был высок, а лицо Фархада светилось такой чистотой, что его видели и те, кто стоял у костра, и те, кто защищал город. Если и раньше лицо Фархада было подобно утренней заре, теперь оно сверкало наподобие хрустальной чаши, внутри которой спрятан алмаз. Потоки слез пролила защитники крепости, видя эту чашу чистоты на помосте. Даже иранские воины ладонями стали защищать глаза и отворачивали головы, чтобы не видеть поругания справедливости. Бузург-Умид с рассеченной головой, и тот позабыл о ране. Он припал к голове, кинул взгляд на помост и, собрав остаток сил, стал расталкивать толпу, пробираясь к Хосрову.

А Фархад взглянул на язык пламени, уже лизавший его ноги, и вдруг вся сила жалости к невинным и весь огонь

любви, паливший его душу, вспыхнули в нем с невиданной силой. Вся печаль его детства и все горестные мысли юности, вся жажда справедливости и все удивление перед лукавством вселенной пронизали тело Фархада от головы до пят.

Он поднял руку, и пламя, уже охватившее сырые бревна, вдруг погасло. Хосров угрожающе обнажил меч, палач кинулся высекать новый огонь, а Фархад приблизился к краю помоста и протянул вперед обе руки, как будто собирался лететь.

— Проклинаю тебя, шах, — вскричал он так громко, что иранские воины пригнули головы, как будто под каменным обвалом.

— Проклинаю тебя, старик, бессильный во всем, кроме гнева, — повторил Фархад. — Чтоб добиться любви Ширин, ты сеешь по земле ужас и смерть, а любовь стала ненавистью, поднялась на скалу и простым камнем обнажила тебе голову. Бессмертна непобедимая ненависть любви. Она требует твоей смерти, старик. Поруганная любовь соберет миллионы войск, и нет силы, его остановить. Где высились твои города, там проляжет придорожный прах. Пройдут века, и человек, вспомнив нас, скажет: бессильный Хосров хотел преступлением победить любовь и погиб сам. Вот это и будет твоя казнь, побежденный шах...

Палач хлопотал у костра, а костер не горел. Ветер с гор дул, как в трубу, и сырые поленья только шипели, испускающая треск и пар, а огня не было. Тогда Хосров велел стрелкам натянуть лука, но тут Бузург-Умид приблизился к шаху и сказал вполголоса:

— Останови казнь. Народ чтит безумцев и святых. Гляди, как смотрят на него наши стрелки. Согдийский царевич безумен. Воины натянут луки, но кто скажет, куда полетят их стрелы. Заточи пленника в пещеру. Певцы всего мира станут славить твою доброту, и если о ней услышит хакан Согдианы, тоже будет хорошо. У хакана много войска.

Хосров, нахмуря брови, выслушал везиря и велел трубить отмену казни.

Палачи сковали руки Фархада цепью. Глашатай объявил, что пленник безумен и нет проку сжигать его на костре. Воины вскинули мечи, славя шаха, а Хосров обозрел горизонт и указал на далекую лысую гору, где будет заточен Фархад.

Однако, даже приставив к горе стражу, старый тигр не обрел покоя. Бузург-Умид двадцать раз подливал в его кубок вина, прежде чем дрожь перестала тряссти члены шаха и Хосров забылся тяжким сном.

И во сне ему виделись полчища хакана. Они двигались из Согдианы, заливая кровью дороги Ирана, а там, где высились города, там встали лишь пыль и дым, и дворец шаха разлетелся в прах под ударами непомерно большой железной кирки.

## 2.

Фархад остался жить, но жизнь в пещере была лишь подобием жизни. Палачи связали его железной цепью и опустили в каменную дыру. Фархад лежал в темнице, точно в могиле. Попробуй поднять голову, и голова расколется, ударившись о камень. Двинь рукой или ногой, и тяжесть кандалов железной болью вольется в твои жилы. По стенам пещеры ютились летучие мыши. Слепая сова испускала вопли, похожие на дьявольский смех или на плач ангелов, и волосатые пауки заплетали между камнями свои сети, каким бы позаиводвал и Бузург-Умид.

Бузург-Умид того и хотел.

— Согдийский царевич будет жить, — говорил он шаху, — но такой жизни не позавидует и мертвец.

— Он должен жить, — хрипел шах, припадая к кубку, — пусть знает стража, если пленник убежит, по следам его ляжет пятьсот их собачьих голов, а если пленник умрет в пещере, — и все они умрут там же.

Стража бодрствовала день и ночь, и Фархад не причинил ей никакого беспокойства, но когда миновал второй день, а Фархад опять не подавал голоса, начальник стражи сказал:

— Может быть, каменотес умер, — горе нам.

И он опасливо потрогал свою голову, крепко сидевшую на крепкой живой шее. Затем надел пастушеские ичиги на толстой подошве и стал подниматься в гору.

Из пещеры не доносилось ни стопа, ни вздоха, и паук оплел вход в пещеру переплетением треугольников, в середине которых бились мухи.

— Умер, — промолвил стражник и рукой прорвал паутину.

Фархад попрежнему не издал и вздоха, но из горы выпорхнула летучая мышь и вцепилась стражнику в лицо. Он отогнал ее, но появилось сразу сто мышей. Трещца крыльями, они стали царапать и кусать человека, нарушившего их покой.

Тогда стражник выпростал меч, но злобные твари были проворны. Они вцепились в руку стражника, рука разжалась, и меч, звеня о камни, покатился к подножью горы.

— Это такие звери, — говорил стражник, скатившись вслед за мечом, — они готовы и тигру перегрызть горло. Они, наверное, сожрали каменщика. Поднимаемся на гору и перебедем мышей.

Стражники привязали к ремням мечи и стали карабкаться в гору, крича, чтобы прогнать страх:

— Каменотес, ты жив? Отзовись, каменотес.

Так они достигли вершины, а Фархад молчал, точно мыши и впрямь отъели ему язык.

Но, когда перед стражниками открылась каменная дыра, вдруг раздался голос Фархада, говорившего с мышами.

— Что толку, — говорил Фархад, — отобрать меч у одного человека. Нет смысла наказывать того, кого все равно ждет казнь...

Голос Фархада был слаб, словно голос ожившего мертвеца. Однако ни одна мышь не вылетела из каменной мглы и не кинулась на стражников.

— Верно, болтали, будто этот каменотес — дервиш, — стали шептать стражники с испугом. — Мыши покорны его слову, точно они его воины, а он их везирь.

В это мгновение из пещеры донесся вопль, похожий на дьявольский смех. И

стражники попятились назад, кидая мечи и взывая к небу о помощи.

Фархад заговорил вновь, и теперь слова его относились к сове.

— Тебя называют Сократом среди птиц, — говорил он. — Скажи, это верно, что ненависть и любовь лишь два конца одной палки?

Сова опять испустила свой вопль, и стражники, боясь умереть, подумали, это смеется дьявол, или, может быть, ангелы в небе томятся, не зная, что ответить плененному дервишу.

Закрывая лицо руками, стражники кинулись вниз и, когда пришла новая смена, поведали ей все, чему были свидетелями на горе.

— Этот каменщик великий чародей, — говорили они, трясаясь от страха, — то он поднял скалу и опрокинул ее на голову шаха. А теперь он не пьет, не ест, разговаривает с пауками и птицами, и сами ангелы плачут над его судьбой, точно они его дети. Как можно уберечь чародея?

Новая стража не хотела верить словам страха, но когда новый начальник поднялся к пещере, он тоже услышал голос Фархада, обращенный неизвестно к кому, может быть, к самому Искандеру.

— Сократ сказал: великое счастье любовь, — говорил Фархад. — Спроси меня, я скажу: великая казнь любовь. Но трус, захотевший избежать этой казни, не достоин имени человека. Зеркало видело половину моей судьбы! Но покажи оно мне все — и оковы на руках, и эту пещеру, — и я все равно бы сделал то, что я сделал; нет таких оков, какие смогли бы меня удержать.

С наступлением вечера сова кричала все чаще. Она опять испустила свое «угу», а стражнику показалось, это Искандер ответил Фархад: «Я тебе помогу», — и он поверил каждому слову, какое слышал от первой смены.

— Этот чародей может творить чудеса, — сказал он, вернувшись к другим стражникам. — Он обещал порвать оковы, а царь чародеев ему ответил: «Я помогу». — Что мыши и что пауки. Забегни в пещеру тигр, и тигр станет лизать каменщику руки. Великий грех

сторожить чародея. Лучше принять казнь шаха, чем навлечь на себя гнев небесных сил. Поднимемся на гору и освободим пленника.

Стражники поднялись к пещере и тихо стояли вокруг, ловя каждое слово Фархада.

Тем временем взошла луна, Фархад различил на камне бледный луч и теперь говорил с луной.

— Смотрит ли на тебя сейчас моя Ширин? — говорил он. — Или, утомленная печалью, она спит, и ей видится сон про меня. О, если бы ты стал тропинкой, лунный луч, и по этой тропинке прибежала ко мне Ширин.

Потом луна скоро ушла, и в дыру пещеры стали видны звезды. Фархад стал поворачивать со звездами, потому что с кем больше было ему говорить, кроме мышей и звезд.

— Звезда войны, красная, как кровь, — говорил он, обращаясь к Марсу. — Если ты жаждешь крови, рассеки мое тело на части и кинь его собакам Ширин. Возлюбленная спустится с крыльца унять собак и увидит сердце, которое билось любовью к ней и жалостью к людям.

Но ушел Марс и стала видна Венера. Фархад сказал:

— Певцы называют тебя богиней красоты. Родись тот певец в Армении, и твое имя было бы Ширин.

Сказав так, он вспомнил красоту Ширин и рассмеялся.

— Кто посмел, глупая звезда, называть тебя Ширин? Ты только звезда, а она созвездие лун и соцветие роз, и она золотой ветер, проносющийся над тюльпанами. Где родника на твоём лице, звезда? Где дуга бровей, тугая, как лук? Загляни к ней в окно и укройся за тучу, звезда. Ты не больше, чем медный грош рядом с царицей красоты...

Фархад сказал, а из-за горы выплыла туча и скрыла звезду. Стражники стояли вокруг пещеры и слышали все.

— Что вери! Небесные светила покорны его слову, — шептали они друг другу и, набравшись храбрости, вбежали в пещеру, чтоб мечами и камнями разбить цепи пленника.

— Лучше нам погибнуть от руки ша-

ха, — кричали они, — чем причинить тебе вред. Иди куда хочешь, чудесный каменщик.

При виде вбежавших Фархад встрепенулся. Ему представилось, это зеленый старец оставил реку жизни, чтобы развязать узел, завязанный Искандером. Но потом он узнал стражников, и надежда отлетела от него навсегда. Получить свободу из рук врагов, проклятых им, было хуже смерти. Он собрал остаток сил и оттолкнул стражников.

— Уходите прочь, — стал он кричать. — Уйдите, если не хотите для меня казни, худшей, чем придумал шах.

И он отталкивал и гнал стражников, которые целовали руки пленника и просили не навлекать на их головы кары небес.

Потом они удалились и, когда Фархад, утомленный, заснул — вернулись вновь и, стараясь не шуметь, все-таки распилили цепи, сковавшие пленника, а потом разбрелись по лагерю. И в каждой палатке в ту ночь рассказы про чудесного каменотеса волновали сердца воинов. И войсковой певец тут же сложил песню о Фархаде. И когда Бузург-Умид послал дозорных к воротам крепости, дозорные приказание исполнили, но, лежа в засаде, пели песню, в какой славили Фархада. И начальник войсковой обороны, явившись утром к Михин-Бану, доложил, что ночь прошла спокойно, никто не ранен и не убит, и ни одного пожара не возникло в городе за всю ночь.

А Фархад лежал в темнице недвижимо и не знал, что ни одна цепь больше не держит его в неволе. Он ничего не хотел видеть в этом мире и лежал, как мертвец, закрыв глаза, и лишь губы его шептали через равные промежутки времени:

— Прости меня, Ширин, я не хочу видеть твое лицо, если путь к тебе лежит через труп моей совести.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1.

Ширин тоже вела мысленные беседы с Фархадом. Она не знала, жив он или мертв, и вела беседы то с ним, то с его

тенью. Когда ей казалось: он мертв, — она шептала: «Я умру тоже». Если она думала: «Фархад жив», — она надевала светлое платье и протягивала руки к окну, клянясь прожить и еще сто лет, лишь бы дожидаться Фархада.

Крепкую ночь она поднималась на крепостную стену и подолгу смотрела в лагерь Хосрова.

— Он мертв, — шептала Ширин, возвращаясь во дворец. И она снимала светлое платье, повязывала на голову черный платок и падала на постель, шепча: — Тогда я умру тоже. — Но кончалась ночь, вставал новый день и снова губы Ширин затевали спор с ее страдавшим сердцем: — Хосров не посмеет убить наследника великого хакана, — шептали ее губы, — он жив, и ты должна жить тоже.

В ту ночь, когда дозорные у крепостных ворот пели песню про Фархада, Ширин поднялась на башню и услышала песню. Она не посмела поверить своим ушам. «Это просто ночной ветер шелестит в сухой траве», — подумала Ширин. Но ветер стих, и она опять услышала имя чудесного каменотеса, который жив и беседует со звездами и луной, точно звезды и луна его дети.

«Это шумит река, — подумала Ширин, — Фархад умер; зачем мне слушать, о чем шепчет вода, разбиваясь о камни».

Но река бежала тихо в каменных берегах, а песня не тихла, и в ней поминалось имя Фархада, который жив.

— Или это лунный луч подслушал мое сердце, — прошептала Ширин и ухватилась за выступ бойницы, боясь упасть. — Лучше мне уйти во дворец и закрыть все ставни; этот лунный луч сведет меня с ума.

Она вернулась во дворец и закрыла ставни. Но едва она подняла руку, чтобы спустить занавеску, под окном раздался человеческий голос, и он тоже пел про каменотеса, имя которому Фархад.

Ширин откинула занавеску и распахнула окно.

— Кто ты? И о чем поешь? — закричала она, боясь упасть и не веря себе.

Под окном мелькнула тень, и от земли поднялась голова молодого воина, в руках которого был каменный ковш.

— Прости, великая царевна, — сказал воин, — если я нарушил твой сон. Я охранял ворота, а теперь пришла смена и не грех уснуть до утра. Пять ночей не было покою и я не смыкал глаз. Сюда не долетают ни стрелы, ни камни, и я буду лежать тихо.

— О чем ты пел? — спросила Ширин.

Воин опустил ковш и рядом с ковшом положил на землю стрелы и лук.

— Если ты гневаешься, царевна, прости, — сказал он, — а только это хорошая песня; жив тот каменщик, что помог нам пробить арык. Жив наш заступник и скоро придет нас освободить. Не гони меня и не вели казнить. Я буду лежать тихо, а если собаки Хосрова ворвутся в город, не сдобровать собакам.

Говоря так, он опустил голову на халат и заснул.

— Не спи, послушай, добрый человек, — закричала Ширин, — возьми вот подушку. — Но воин уже спал.

Ширин придержала рукой сердце и побежала в комнату, где жил Шапур. Художник не спал. Он умел все. Склонившись над столом, он тонкой кистью выводил на бумаге линии и кружки, и на чертеже вставало расположение иранских войск и какие где надо построить башни, чтобы катапульты Хосрова не причинили городу вреда.

— Шапур, — сказала Ширин и положила на плечи художника свои тонкие руки, — иранские воины поют, будто жив Фархад. Дружба требует жертв, как и любовь. Пробрерись в лагерь Хосрова и разузнай про Фархада все. Если он мертв, тогда я умру тоже. А если жив Фархад, передай ему письмо, и я буду жить сто лет. Простым воином я стану к бойнице, только бы дожидаться Фархада.

Шапур оставил чертежи и выслушал рассказ Ширин. Он не стал долго думать, сменил свою одежду на одежду иранского воина, взял письмо, какое написала Ширин и, дождавшись, чтоб луна ушла, прыгнул со стены в ров.

Иранские войны приняли его за стражника, и солнце еще не подняло над скалой ни одного из своих золотых мечей, как Шапур уже стоял перед каменной дырой, повитой нитями паутины.

— Фархад, — сказал он тихо, боясь испугать друга, — если ты жив, Фархад, — отзовись. Несчастливая Ширин послала меня к тебе.

Фархад лежал неподвижно, и глаза его были закрыты. Но едва имя Ширин коснулось его ушей, прежняя сила вернулась к его ногам. Он поднялся; раскованные цепи, звеня, упали на камень, и, подобно воскрешенному мертвецу, Фархад выступил из мрака пещеры.

— Ты жив, Фархад? — вскричал художник и больше ничего не мог сказать.

А Фархад ничего не говорил; он стоял неподвижно и с гневом, и тоской смотрел на цепи, распиленные руками стражников.

— Ты жив, Фархад, — повторил художник.

— Ты жив, Шапур, — сказал тогда Фархад слабым голосом и кинулся обнимать Шапура.

Художник протянул Фархаду письмо, и два друга обнялись, сплетя руки, как в летнюю ночь одна заря обнимает другую, сплетаясь лучами.

## 2.

Письмо было недлинное, но Фархад читал его целый час.

Он прочитывал сперва одну строчку, потом вторую; но, прочитав вторую, возвращался снова к первой и опять после нее перечитывал вторую. Кроме тех слов, что написала Ширин, он как будто искал еще других слов, каких в письме не было, — но, почти каждое слово много раз подряд, — и за ним встанет ненаписанное слово и это ненаписанное важнее всего, что найдешь на бумаге.

«Помнишь ли ты мое имя, Фархад? — писала Ширин. — О, как я помню тебя и как знаю теперь, что такое любовь. Когда ты говорил на пире о могуществе любви, я не знала, — а те-

перь знаю все. Мотылек летит на огонь светильника, чтобы сгореть, — это и есть могущество любви. Моя душа истерзана на части от разлуки с тобой, Фархад. Но скажи мне сам небесный бог: забудь Фархада, — и я лучше убью бога, а страдания любви к тебе предпочту счастью с другим. О, если бы я могла поведать людям о любви к тебе, Фархад, люди не захотели бы других рассказов и умерли бы с голода, прося: — Говори, говори еще...»

Фархад прочитал листок много раз подряд, и листок отдал ему все, что написала Ширин. Но Фархад снова перечитывал его много раз, как будто просил: — Говори, говори еще.

Потом он отложил первый листок и стал читать другой.

«Про твои страдания и твою любовь поют песни, Фархад, — писала Ширин, — а кто скажет хоть одно слово, как страдаю я. Я не смею признаться даже зеркалу, что люблю тебя. Скажи я людям о любви к тебе, и меня станут чернить, точно я потеряла честь, а моя честь только в том и есть, чтоб любить тебя. Какая боль быть женщиной, Фархад. Я бы хотела стать воином, чтобы умереть от ран, сражаясь за тебя. Теперь, когда ты страдаешь, в каждом страждущем я вижу тебя. Я хотела бы волосами подметать землю, на какой ляжешь ты. Я готова ресницами вытаскивать занозы из твоих израненных ног. Если солнце палит твою голову, Фархад, я сплету занавеску из своих волос, чтоб укрыть тебя. В зеркале я вижу не свое лицо — твое. В небе я вижу не луну, а свою тоску по тебе, Фархад. Когда войны посылают стрелы в лагерь врагов, я хотела бы стать стрелой, чтобы лечь в лагере Хосрова рядом с тобой. Огонь разлуки сжег меня дотла. Но если я еще не стала золой, это воспоминание о твоей силе дает мне крепость. Богатырь, ломающий скалы, сумеет разрушить и стену нашей разлуки, — говорю я себе, Фархад».

Сто раз перечел Фархад второй листок и опять взял первый, чтобы прочесть его сто первый раз.



Но Шапур не дал Фархаду прочесть письмо сто первый раз. Он увидел слезы на глазах друга и кинул ему припасенную под своей одеждой одежду иранского воина.

— Надень эту одежду, — сказал он, — и каждый воин Хосрова подумает про тебя: — это иранский воин. Ты свободно пройдешь по лагерю Хосрова. Они вовсе не так сильны, а порядок у них не годится никуда. Ночью ты переплывешь реку и увидишь Ширин.

— Дай мне чернила, — сказал Фархад, — и бумагу, — и лицо его стало, точно камень.

Шапур протянул ему чернила и бумагу, а Фархад откинул в сторону одежду иранского воина, опустился на камень и стал писать Ширин ответное письмо.

«Так как всему миру теперь известно, — писал он, — что я безумец, не удивляйся, если и слова мои тебе покажутся безумьем. Ты спрашиваешь, велики ли мои страдания. Спроси голодного пса, которому кинули кость, страдает ли он. Я задыхался от голода по тебе, как голодный пес, и ты мне бросила кость своего письма. Благодарю. Мне видятся сейчас твои тонкие пальцы, выкрашенные хной, какими ты складывала пополам этот листок бумаги. Я люблю тебя, Ширин, и я не могу к тебе вернуться. Прости меня. Но я лучше просижу на камне тысячу лет, чем вернусь в город. Цепи упали с моих рук и ног, но я не могу стать преступником против своего сердца. Прости меня, Ширин, и не сердись на своего Фархада».

Фархад считал Шапура своим лучшим другом и, окончив письмо, рассказал художнику о стражниках, тайком снявших с него цепи. Тогда Шапур не стал уговаривать Фархада. Он взял письмо и, вернувшись в город, сказал Ширин:

— Красоту моих рисунков ценят на вес золотых монет. Есть красота, какую нужно ценить на счет капель крови, пролитых за нее. Только разве что-нибудь купишь ценой крови?

Ширин не поняла, что хотел сказать Шапур. Она прочитала письмо Фарха-

да, потом подошла к столу, и сама любовь излилась на бумагу в словах, какие она написала в новом письме.

Когда письмо было готово, она подошла к Шапуру и, как в первый раз, положила ему на плечи свои тонкие руки.

— А теперь, Шапур, я попрошу тебя отнести Фархаду мой ответ. Если ты устал или тебе трудно, скажи, я надену одежду иранского воина и сама пойду в лагерь Хосрова.

Шапур взял письмо и, как в первый раз, дождавшись ночи, прыгнул со стены в ров.

### 3.

На этот раз Фархад не получил письма. Его прочел Хосров.

Старый шах даже весь иссох от нетерпения скорей взять крепость. Он рвал на себе рубашку и прозил перевешать воинов, какие только топчутся вокруг города, как мыши вокруг норы, где залег кот, — и все напрасно. Сокол победы, сорок лет летевший впереди иранских войск, теперь точно превратился в курицу; голос его охрип, перья вылезли и ослабла стальная крепость лап. Пятую неделю шла осада; но ворота стояли нерушимо, и нерушимо стояли гранитные стены, за бойницами которых хоронились армянские стрелки. Они посылали в лагерь Хосрова тучи стрел и лили на головы нападающих горящую нефть и горячую смолу.

Город был неприступен.

Хосров исходил яростью и топил нетерпение в вине, а Бузург-Умид не спал ночей, разгадывая, что случилось с непобедимым воинством, которое точно разучилось или не хотело побеждать.

Что ни вечер иранские воины собирались у костров и слушали рассказы стражников. Они пели песни о Фархаде и подолгу говорили о вещах, о которых не слышал до того ни один иранский воин. Если Бузург-Умид приближался к костру, песни смолкали. Но, едва ве- зирь возвращался в свою палатку, за его спиной вновь вставала песня. Слова ее было не разобрать, но лучше бы воинам не петь таких песен; воин должен побеждать, а песня о чудесном каменотесе славила мир и силу непобежденной любви.

Пять ночей не спал Бузург-Умид, а на шестую к нему вошел племянник шаха, кривой Шируйе. Это был завистник и трус, и ненависть его к шаху могла сравниться только с ненавистью шаха к своему племяннику.

— Фархад на свободе, — сказал Шируйе, — и если он останется жив, крепости не взять. Воины про него кричат: нам бы такого шаха. Человек из крепости носит Фархаду письма Ширин. Если ты подаришь мне своего коня, я буду стеречь гору, и пусть шах прочтет сам, что пишет Ширин своему возлюбленному.

Бузург-Умид велел отвести к Шируйе своего коня; но племянник шаха стал вдобавок к коню просить и золотое седло. Бузург-Умид отдал и седло, и не прошло двух часов, как Шапур, схваченный племянником шаха, уже лежал связанный у ног везиря, а в руках его было письмо Ширин. Бузург-Умид хотел вырвать письмо, но художник разорвал и проглотил послание любви. Бузург-Умиду осталось рассказать шаху лишь то, что уже давно ждал каждый иранский воин: чудесный каменотес освободился от цепей; армянская царевна шлет к нему письма, а иранские воины поют про него песни и считают святым, и, пока чудодей жив, ни одна иранская стрела не причинит городу никакого вреда.

— Надо убить Фархада, — сказал Бузург-Умид, — но так, чтобы ни один волос не упал с его головы. Войско наше поредело, а войска хакана не перечесть. Если до Согдианы докатится весть о смерти наследника, каждый подтвердит, что Фархад умер своей смертью, и нам не будет от того никакой беды.

Бузург-Умид тут же рассказал шаху о своем замысле, и шах молча наклонил голову. Бузург-Умид поспешно оставил палатку и велел разыскать женщину, которая ездила во все походы вместе с воинами Хосрова, варила для них еду и торговала вином, а если какому воину становилось скучно, она входила к нему в палатку, и воин больше не жаловался на скуку.

Этой женщины боялись и знали в каждой палатке, и каждый называл ее просто «тетка».

4.

«Тетка» выслушала везиря и сразу поняла, чего хочет шах. Она надела платье поплотнее, взяла в руки четки, измазала лицо и руки сырой глиной и, пошатываясь, направилась к горе, где изнывал, ожидая письма, Фархад.

Он был молод, несраженный витязь любви; но, когда он склонил голову, приветствуя странницу, седина его в волосах блеснула, как серебро. Он был силен, как лев, любимец могучего согдийского народа, но, когда он поднялся с камня, иссохшие ноги его едва поддерживали тело, похожее на связку высохшего тростника. Он был несчастен, как Меджнун, но, когда само несчастье в образе путницы приблизилось к пещере, Фархад забыл о своей беде. Он оставил камень и протянул руки навстречу «тетке».

— Бедная женщина, — сказал он, — я вижу свет страдания в чертах твоего благочестивого лица. Скажи, какое горе иссушило твое тело и тропа каких бедствий изранила твои ноги. Я сделаю все, чтоб облегчить твои муки.

Каким он был, таким и остался, заступник невинных, Фархад.

Однако «тетка» не стала ничего просить. Она опустила на камень и стала перебирать четки, точно посылала молитвы небу.

— Расскажи мне о своих страданиях, — повторил Фархад, — и я, может быть, сумею тебе помочь.

«Тетка» посмотрела на Фархада и покачала головой.

— Как мне помочь. Будь ты сам Искандер, и то бы ты не избавил меня от душевных мук. Вон болтали, будто Фархад-царевич убил Ахримана — духа зла. Пустая брехня. Ахриман жив, только зовут его теперь не Ахриман, а Хосров.

Она сказала и пять камешков, нанизанных на льняную нитку, перекинула с правой стороны ладони на левую. Фархад молчал и ждал. А старуха уронила на сухой камень три холодных слезинки, из которых каждая была порождением лжи и притворства, и стала бормотать дальше:

— И еще брешут люди, будто Фархад убил змея, порождение ада. Истинно сказано, кто слушает людских врак, тот сам себе на шею завязывает аркан, а конец аркана кидает чорту. Взгляни на змею, что жила во дворце под серебряной крышей, и слепой скажет: жива змея. Всех заступников города Хосров предал смерти, когда взял крепость, а она пляшет в палатке шаха на утеху кровавого пса. А послушать ее песни, так срам.

«Тетка» скосила глаза и из-под платка кинула быстрый взгляд на Фархада. Глаза несчастного пылали, как огонь, и, скажи «тетка» еще одно слово про Ширин, Фархад одним пальцем вышиб бы из старухи весь ее зловонный дух. Он уже сжал кулаки. А «тетка» надвинула платок на глаза и продолжала бормотать, точно ничего не слыша.

— Одолея Хосров армянский город, наложила Ширин на себя руку, а царьца напелвала на свой народ. Племянница в гробу лежит, а тетка, как площадная девка, пляшет в палатке шаха. Да останься в живых сладчайшая Ширин, она бы не посмотрела, что — тетка, — своими бы серебряными ручками задушила змею. Ушла Ширин в землю, закатилась ясная луна, не дождалась своего золотого сокола, не захотела видеть зла, обнажила жемчужную грудь и заколола себя в чистое сердце...

И тут лживые слезы градом полились из теткинских глаз; она не могла больше придумать ни одного слова, только трясла головой и повторяла через равные промежутки времени, как сова: «Не видать соколу луны; не подняться Ширин из могилы. Погубил Хосров невинную душу...»

Фархад все еще стоял, вскинув руки, когда бормотание старухи дошло до его сердца.

«Ширин умерла, — услышало ухо Фархада, и мозг, покорный уху, тоже услышал: «Умерла Ширин». «Проколола ножом чистое сердце», — услышали его уши, и то же услышал мозг. А потом кровь устремилась к сердцу, и каждой частице тела кровь шептала страшную весть: «Нет больше Ширин». Кровь добежала до пальцев руки, — и кулаки

Фархада разжались, руки перестали жить и, бессильные, опустились. Кровь добежала до пальцев ноги и тоже прошептала: «Умерла Ширин». Пальцы ног перестали жить, и Фархад рухнул наземь. А кровь бежала дальше и достигла глаз: «На что вам смотреть теперь, глаза, — сказала кровь, — раз нет на свете Ширин». И глаза Фархада потухли. А кровь струилась дальше и, добравшись до сердца, прошептала всем своим прибором: «Умерла Ширин, Хосров победил, и нет больше той, кого ты ждало, сердце, столько лет. Остановись, застынь, на что тебе, сердце, кровь и жар и волнение жизни: раз умерла Ширин, умри и ты». — И сердце Фархада, покорное голосу крови, стало вздыхать все реже и затем, как сраженный орел, только еле вздрагивало, поднимая подбитое крыло, но там уже набегала новая волна крови, она тоже шептала: «Ширин умерла» — и крылья сердца падали без сил.

Фархад как стоял перед «теткой» с поднятыми руками, так и рухнул на камни. Сердце его не захотело биться, но кровь еще обегала последний круг по телу и теперь кричала в последний раз:

— Мечь, мечь. Гибель невинных вызывает о мести. Ветер, летящий с гор, донеси до Согдианы вести из Армении. Пусть согдийский народ соберет войско и двинет его на Хосрова. Прости меня, отец, что я не слушал твоих советов. Прости, добрая мать, что я ковром печали устлал половицы твоей опочивальни. Прости меня, лучший из друзей, Шалур. Простите все, кому я причинил столько горя. Простите, верная кирка и острый резец, я поднял вас, чтоб сделать добро, а принес всем на земле только гибель и печаль. Прости и ты, земля, какую я изранил до боли ударами своих ног. Будь проклят твой закон, несущий гибель каждому, кто хочет счастья и отвергает зло. Рассыпсья на куски, лукавое зеркало, не за то, что ты скрыло мою гибель, а зачем ты скрыло от меня гибель справедливости и смерть Ширин. Да не взглянет пусть никто никогда в твое лживое стекло...

Тут уста Фархада закрылись. Но кровь еще хранила остаток жара, и, до-

бежав последним прибоем до мозга, кровь в последний раз открыла веки героя и в последний раз шевельнула его языком:

— А вы, кто услышите песню о бедном Фархаде, не смейтесь над Фархадом. Он хотел поднять скалу и погиб, раздавленный ее тяжестью. Он боролся со злом и любил Ширин. Не забудьте, что...

С этими словами кровь Фархада застыла, и он умер.

А «тетка» закрыла ему глаза и пошла прочь, пошатываясь от горя и разрывая на себе платье, и крича во всю глотку:

— Горе моей старой голове, умер бедный витязь Фархад. Разорвалось его сердце, осиротела моя старая голова.

Она плакала и причитала даже после того, как Бузург-Умид отблагодарил ее богатым подарком, и не прошло много времени, как весь лагерь иранских воинов и все защитники крепости узнали, что сердце согдийского витязя перестало биться, и он умер.

Узнала о том и Михин-Бану, узнал и Ширин. Не узнал один Шапур. Художника бросили в глубокую яму возле палатки Шируйе, и он слышал, как племянник шаха подбивал иранских воинов задушить шаха и сделать шахом его — Шируйе. Шируйе сулил войску отдых и возвращение домой. Он не станет тратить времени и разбивать лоб о каменную крепость. Он уведет войско в Иран, а если воинам мало богатств, взятых в Армении, он поведет их на Йемен и, вернувшись из йеменского похода, каждый воин подарит своей красотке целый мешок жемчуга...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1.

Ширин твердила одно: «Я должна его видеть и, пока не увижу, не поверю, что Фархад умер». — А как было не верить, когда иранские воины стали перебегать в город, и они рассказали, что человек, который нес письма, брошен в яму, а тело Фархада лежит на горе и ни один иранский воин не смеет приблизиться к горе, опасаясь мести небесных сил.

— Я поеду к Хосрову, пусть он от-

даст мне тело Фархада, — твердила Ширин, — он тигр, но он и человек. Он сам хотел быть моим мужем. А если шах захочет меня убить, пусть убьет.

Михин-Бану послала к Хосрову гонцов с просьбой выдать тело Фархада, и Хосров согласился.

Ширин уже сидела на коне, одетая как простой армянский воин, когда вдруг оглянулась и спросила: «А где Шапур? Почему я не вижу Шапура? Пусть мой брат Шапур едет вместе со мной: любовь и дружба должны привезти в город тело Фархада».

А Шапур лежал в глубокой яме в лагере Хосрова.

И опять Бану послала гонцов к старому шаху и сказала: пусть шах отпустит пленника Шапура. Если шах согласится, кто знает, может быть, Ширин не захочет, чтоб лилась кровь, и станет женой шаха; только пусть Хосров подождет год.

Хосров дал согласие, и художник вернулся в город.

Когда Ширин, Шапур и Бану двигались к горе Фархада, уже весь иранский лагерь был охвачен волнением. Шируйе исполнил свою мечту, и часть иранского войска признала его шахом. Иранские стрелы летали от одной палатки к другой, но Ширин, Шапур и Бану беспрепятственно доехали до горы, на вершине которой была пробита пещера, похожая на склеп.

Фархад лежал возле камня, где упал, и светлое лицо его, устремленное ввысь, было похоже на серебряный диск.

Ширин тоже взглянула туда, куда глядел Фархад, и вскрикнула: небо было черное. Она перевела взор на золотую гору, и гора ей тоже предстала черной. Тогда она взглянула на Бану, и Бану была чернее негра. Мир стал черен, и только лицо Фархада сверкало в этом мире мрака, как горный снег. Ширин стало страшно в этом мире темноты, она поднесла к лицу ладони и не увидела ладоней.

Тело Фархада положили на носилки, а Ширин, Шапур и Бану сели на коней и поехали в город. В лагере иранцев стоял шум, летели стрелы вкривь и вкось, и тут и там вскидывались мечи

и раздавались смятенные крики; но Ширин не видела ничего, точно глаза ее были закрыты.

Потом она велела поставить носилки в своей спальне и всем велела уйти. Ощупью она нашарила покрывало на носилках и сдернула его. Все осветилось от блеска, какой шел от лица Фархада.

— Что же ты спишь, мой Фархад, — сказала она и положила свои черные руки на лоб Фархада. Руки стали светиться, точно внутри каждого пальца зажглось по огню.

— Как ты крепко заснул, Фархад, — сказала Ширин, — ты спишь и не слышишь, что говорит твоя верная раба. — Если ты устал, спи. Я буду сидеть тихо.

И, улыбнувшись, она села к изголовью Фархада. Мухи, жужжа, вились над головой спящего и мешали сну. Тогда Ширин подошла к окну, чтоб выгнать мух. Но, едва она распахнула ставни, звон мечей, крики угроз и вопли ужаса из лагеря Хосрова ворвались в комнату и прогнали тишину.

Ширин поскорее захлопнула ставни.

— Может быть, ты уже отдохнул, Фархад? — сказала она и приложилась губами ко лбу Фархада. Лоб был холодный.

— Озяб, — сказала Ширин и, чтоб согреть сердце Фархада, прильнула к его телу всем своим телом.

И тут холод, не оставлявший ее с той минуты, когда Михин-Бану сказала: «Умер Фархад», — покинул ее жилы. Она прижалась к Фархаду тесней, и пылающий жар залил ее с головы до пят. В этом жаре спoreли все тревоги, все опасенья, и глаза Ширин закрылись сами собой.

Так и лежала она рядом с Фархадом, как молодая жена лежит рядом с молодым супругом, и сон, который объял их обоих, уже чельзя было нарушить ничем.

Не мог нарушить его и Шапур, когда он вместе с Михин-Бану вошел к Ширин, чтоб сказать, что иранский лагерь снялся со своих мест, ворота открыты и гроб Фархада можно поставить на скалу в каменном замке, построенном руками Фархада.

## 2.

Так их и положили рядом в хрустальный гроб на скале, и Шапур каждый день стоял над гробом и рисовал тонкими кисточками на бумаге то лицо Фархада, то лицо Ширин. И трудно было сказать, чье лицо прекрасней.

В песне, что обещала весь земной круг, обоих их называла солнцем красоты. Песня дошла и до Согдианы. Хакан уже был совсем стар и ноги отказывались исполнять его приказания. Но, прослушав песню, он собрал остаток сил, спустился в подвал и ударом меча разбил хрустальный ящик, а с ним и зеркало, запертое на рубиновый замок. Потом он вызвал молодого Бахрама, сына верного Мульк-Ара, и сказал ему:

— Что проку в раковине, если жемчужина выскользнула из пальцев и потонула в пучине. Ловец снова прыгает в море, а пустую раковину топчет ногой. Горе растоптало меня своей стопой, но ты, Бахрам, новая жемчужина. Собери войско и отомсти за Фархада. Может быть, тебя ждет победа, а может быть, и ты умрешь, как Фархад. Нет такого зеркала, какое бы показало человеку его судьбу. Иди туда, куда тебя ведет долг, и сделай так, как тебе велит сердце.

Сердце Бахрама велело ему наказать Хосрова. Но, когда Бахрам пришел в Армению, Хосров уже был мертв. Кривой Шируйе задушил дядю и теперь правил страной и добивался руки Михин-Бану. Бахрам без труда разбил иранское войско и приказал выстроить заново каждый дом, что сожгли в Армении воины Хосрова. Шируйе подчинился, — и вот уже тысячи каменотесов и пленных воинов с кирками в руках поднимаются в гору, чтобы наломать гранит для новых домов. В руках у них лопаты и кирки, а за спиной надсмотрщики и у каждого надсмотрщика с локтя свисает кнут. Бахрам сидел на коне, а каменщики проходили по луку, покрытому тюльпанами, и скрывались в тени горы. Позади всех шел, спотыкаясь, седой старик; в руках его была кирка, а на спине явственно проступали следы давних рубцов. Старик поклонился Бахраму и пошел дальше, но, поровнявшись

с горой, на вершине которой чернела каменная дыра, он остановился, и улыбка осветила его изможденное лицо. Воинам Бахрама не было времени ждать, они подняли нагайки, каменотес вздрогнул и вскинул кирку за плечи.

То, что разрушено, поднималось на глазах. И стояло долго, — пока не пришел новый Хосров и не разрушил то, что было восстановлено. Много шахов и хаканов лили кровь возле золотой горы, и от пролитой крови тюльпаны на лугу цвели особенно ярко.

Но ни один шах и ни один хакан не осмеливался приблизиться к скале, на вершине которой висел замок наподобие орлиного гнезда. Каждый на земле слышал песню про разрушителя гранита, и каждый насильник боялся, что гром битвы пробудит каменотеса, Фархад откроет глаза, взмахнет киркой и начнет обрушивать скалы на головы тех, кто несет людям несправедливость, разорение, смерть. .

1941—42 г.,  
Москва.



# Шкатулка

А. СОФРОНОВ

Рассказ

★

Время в госпитале тянется медленно. День похож на день: термометры, обходы врачей, перевязки. Все это однообразно и утомительно. И когда в палате появится человек веселый, душевный, он становится любимцем раненых, нетерпеливо ожидающих выздоровления.

Таким человеком в нашей палате оказался Игнат Шкатулка. Он не был очень остроумным человеком, но все, что он рассказывал, было интересно и приобретало какую-то приятную смешную окраску. Украинец по национальности и по месту рождения, Игнат, однако, почти всю жизнь прожил в Москве. Но свою Полтаву, которую он не помнил, любил страстно и с особым вкусом выговаривал:

— Ах, хлопцы, от у нас в Полтаве...

Смешные истории свои он обычно рассказывал всерьез. Товарищи по палате пытались уличить его в том, что он выдумывает их, но он пропускал такие замечания мимо ушей. А историй было много. Разве не смешно было, когда Шкатулка рассказывал о том, как он, в то время повар ресторана «Савой», пришел с подружкой в «Метрополь» и заказал бефстроганов. Принесли ему бефстроганов, но картошка была не строганная, тогда он, оставив подружку скучать за столиком, пошел на кухню, надел халат и колпак, приготовил бефстроганов как полагается, снял поварские доспехи, вызвал на кухню официанта и сказал:

— От це, теперь подавай, — и направился к своей затомившейся подружке.

— Ай, хлопцы, тож был бефстроганов! — закончил Шкатулка рассказ.

Было это так или нет — неизвестно. Известно то, что Шкатулка любил свою поварскую профессию и мог часами говорить о том, как надо превращать овощи в салаты, а из «глупого сырого мяса» делать отбивные и пожарские.

Раненный в левую руку, он нетерпеливо ожидал, когда опять начнут двигаться его пальцы. Мы много раз спрашивали, при каких обстоятельствах он был ранен, но Шкатулка всегда отнекивался и повторял только:

— Хлопцы, та я ж вам говорил, ранен я в бою, в индивидуальном бою.

Но однажды история ранения Шкатулки стала известна всей палате. К нему приехал с фронта гость. Это был старшина-сержант, рослый, голубоглазый. Он вошел к нам в палату, и все заметили, что халат был ему мал, рукава по локоть.

— Скажите, здесь товарищ Шкатулка?

— Сережка Сазонов? — закричал Игнат и бросился обнимать пришедшего. — Хлопцы, это ж геройского характера человек, Сергей Сазонов. Уже получил?

— Получил, — смущенно ответил Сазонов и приоткрыл халат. Мы увидели на его груди орден Красного Знамени.

Шкатулка и Сазонов сели около койки, и у них завязалась беседа. Сазонов что-то оживленно говорил, а Игнат здоровой рукой шлепал себя по коленке и восклицал:

— Ну, и ну! Ну, и хлопцы!

Беседу их прервала сестра, она потребовала Шкатулку на перевязку. Игнат был недоволен, но госпиталь — это госпиталь, и он, поручив нам Сазонова, ушел.

Сержант поднялся, оглядел палату взглядом знакомого с больничной обстановкой человека и произнес:

— А ведь он сам герой — Шкатулка... Боевой кашевар. Вы ему не говорите, пусть из газет прочтет — он представлен командованием полка к медали «За отвагу».

Все стали просить Сазонова рассказать, за что же Шкатулка должен получить медаль.

— Он вам не говорил... Скромничает... Узнаю почерк. Бывало, кулеш на фронте сварит — ложку проглотит! Все его хвалят, а он сылается на продукты хорошие, да на какого-то повара, который научил его варить кулеш.

— Так его за кулеш наградили? — нетерпеливо спросил боец, лежавший около окна.

— Не за кулеш, за героизм, — строго ответил Сазонов и рассказал нам историю шкатулкиного ранения...

... Было еще темно, когда Игнат запряг в походную кухню свою рыжую Белку и мелкой трусцой направился в лесок, где собирался приготовить любимый кулеш с салом.

Стоял сентябрь. В сырых болотистых местах под Смоленском ночи были уже холодными, пронизывающими. Игнат сидел на кухне и зябко поеживался. От земли и от протекающей невдалеке речки поднимался холодный туман, в темноте он был не виден, но сырость заползала за воротник, в рукава. Шкатулка сидел на кухне и думал о том, что вот хорошо было бы сейчас поспать в своей маленькой комнате в Замоскворечье.

В лесочке он растопил кухню, залил водой котел, засыпал пшено, потом побросал заготовленные еще с вечера щед-

рые куски сала. Из непромокаемого мешочка он достал соль, посолил, поперчил в меру, бросил лавровый листик и, пожалев, что нельзя поджарить лучок, бросил в котел крупно разрезанные луковицы. Затем, довольный тем, что в утреннем тумане дым от его «каланчи» почти незаметен, он сел на пенек и закурил.

Вокруг стояла редкая для войны тишина, не было слышно ни орудийных выстрелов, ни частого татаканья пулемета. Только чуть слышно шумели высокне сосны, да около потрескивали дрова в поддувале. Докурив, Игнат оставил кухню и, пробираясь между соsen, вышел на полянку. Занималось сырое, мгlistое утро. Шкатулка сладко потянулся всем телом. И в это мгновение раздался оглушительный залп.

Игнат пожалел, что не захватил с собой винтовку: «Война — все может быть». Потом он прогнал эту мысль — наши части были в наступлении, а здесь был уже тыл, пять километров от линии фронта.

Кулеш был готов. Шкатулка прикрыл поддувало, снова запряг Белку и легко вскочил на сиденье.

— Но, Белочка, крупнокалиберным шагом в расположение!

Ему предстояло проехать вброд речушку, затем небольшую деревеньку и, круто свернув по проселочной дороге, выехать в расположение полка.

Стало светлее, но туман не рассеивался. Перебравшись через речку, он проехал мимо стайки березок и въехал в деревню. Недавно оставленная немцами, она была пуста и наполовину выжжена.

«Ишь, натворили, колбасники», — подумал Игнат и вдруг увидел едущую навстречу походную кухню.

— Откуда, хлопцы? — крикнул Шкатулка и в то же мгновение увидел на коленях у повара немецкую винтовку.

— Немец! — крикнул он и, как был с ковшом в руке, спрыгнул на землю.

Немец сделал то же самое, и следом в воздухе прогремел выстрел. Над головой Игната взвизгнула пуля.

— Русс, сдавайся! — закричал немец и снова выстрелил.

Безоружный Игнат укрылся за кух-



ней. Он слышал, как пуля пробила котел. «Вытечет кулеш», — подумал Игнат и ругнул себя — как мог не взять винтовку... Ему было видно, как немец осторожно выглядывает из-за своего котла. И здесь Шкатулке стало обидно до слез. Попасть в плен к немецкому кашевару? Игнат всегда был горд своей профессией. Он считал, что приносит пользу широким массам трудящихся. И вот в этот момент он со злостью представил себе, что идет под конвоем немецкого кашевара... Русский повар под охраной немецкого кашевара? Да ни за что! Лучше смерть! И, взмахнув широко медным ковшом, он выскочил из-за кухни и бросился к немцу. В тот же миг ему ожгло левую ладонь. Слепленная медным ковшом, лошадь немецкого кашевара рванулась вперед, и Шкатулка прямо перед собой увидел полного немца, замахающего на него прикладом винтовки. Но враг промахнулся, бросил винтовку под ноги Шкатулке, повернулся и пустился бежать. Игнат с ковшом в руках вдогонку за кашеваром! Немец бежал по огородам, подпрыгивая на кочках, отступаясь. Шкатулка увидел на спине его прожженное пятно и подумал: «Не иначе, как из поддува». Он бежал, чувствуя, как немеет левая рука, но ковша из правой руки не выпустил.

— Не уйдешь! Не уйдешь! — кричал он вслед немцу.

Около колодца немецкий кашевар поскользнулся, упал в лужу и проехал шага три на животе, затем поднялся и продолжал убегать, направляясь к видневшейся вдалеке изгороди. Изгородь была высокой, и немец, видя, что ее не перепрыгнуть, бросился в лаз. Но лаз был узкий, и немец застрял в нем. Здесь его и догнал Шкатулка. Кашевар лежал на земле, тоже застряв в лазе и болтая ногами. Сразмаха Шкатулка ударил медным ковшом немца по ногам, тот сразу перестал дрыгать. Но тут на мгновение Шкатулке стало не до немца, он почувствовал, как деревенеет рука и увидел около себя лужицу темной крови. Он разорвал индивидуальный пакет и перевязал себе ладонь. Затем опять взялся за немца, правой рукой вытянул

его из лаза и стянул ему ремнем руки за спиной. Теперь надо было подумать о немецкой коняшке. Привязав «немку» к своей кухне, он не утерпел и попробовал немецкую кашу. Игнат гордо улыбнулся: его кулеш был лучше.

— Нехай убедятся хлопцы, — сказал он.

Самым тяжелым делом было взвалить немца на котел. Кашевар все еще не мог оправиться от удара. Наконец, поддев немца доской, Шкатулка втащил его на котел, положив поперек крышки, и скомандовал:

— Но, Белочка, крупнокалиберным шагом в расположение энской части!

Туман уже рассеялся, из-за тучи выглянуло солнце, и, сверкая под его лучами, Шкатулка въехал в расположение своего полка. Первым, кого он увидел, был командир полка. Шкатулка, предупредив его вопросы, спрыгнул с кухни и отпортовал:

— Товарищ майор, разрешите доложить, боец Шкатулка прибыл в расположение своей части с опозданием на двадцать минут ввиду непредвиденных обстоятельств, выразившихся в принятии индивидуального боя с противником. В результате боя захвачены трофеи: одна кухня с кашей немецкого производства, одна лошадь, одна винтовка и один пленный, находящийся сейчас в неподвижности ввиду получения травмы медным ковшом по телу. С нашей стороны потерь нет. Красноармеец Шкатулка ранен в левую ладонь. Разрешите раздать бойцам кулеш с салом?

В это время к кухне уже подходили бойцы с котелками. Шкатулка наливал им кулеш, который не вытек из котла, так как был густой и жирный.

— Хлопцы, может, кто хочет попробовать немецкой каши? — предлагал Шкатулка. — Трофейная каша!

Несколько охотников нашлось. Но они сейчас же сплунули — пресная водянистая каша не шла ни в какое сравнение с русским кулешом.

Так Шкатулка был ранен и за это представлен командованием полка к награждению медалью «За отвагу».

... Сазонов сидел на табурете и с

большим увлечением закончил свой рассказ о боевом кашеваре Игнате Шкатулке. В это время открылась дверь и вошел Игнат.

— Хлопцы! — крикнул он. — У меня же радость, хлопцы! Большой палец начал работать, как настоящий. Кончится война, приезжайте ко мне, хлопцы, в Полтаву... Нет, знаете, меня можете там

не застать. Лучше, хлопцы, после войны заходите ко мне в Замоскворечье. Я вам такой домашний бефстроганов приготовлю...

Он стоял перед нами — невысокий, немного предрасположенный к полноте, кареглазый боевой кашевар, боец Красной Армии Игнат Шкатулка.

---

# Год отечественной войны и международная обстановка

И. ЛЕМИН

★

## 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

22 июня 1941 г. в 4 часа утра немецко-фашистские войска внезапно вторглись в пределы Советского Союза. Германская авиация одновременно подвергла бомбардировке ряд советских городов, в том числе Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Уже после совершения этого неслыханного по гнусности и вероломству нападения германский посол в Москве граф фон Шуленбург в 5 часов 10 минут утра 22 июня передал тов. Молотову сообщение о том, что германское правительство решило начать войну против СССР.

Германские фашисты в течение долгих лет готовили удар против СССР. Фашистские бандиты и убийцы, поставленные у кормила власти наиболее империалистическими, шовинистическими группировками германского финансового капитала, перенесли на международную арену те кровавые методы провокации, разбоя и вероломства, которыми они до того пользовались внутри страны для порабощения германского народа.

16 марта 1935 г. германские фашисты самочинно отменили военные ограничения Версальского мира и начали открыто готовиться к переделу мира вооруженной рукой.

2 октября 1935 г. Италия напала на Абиссинию, и отсюда начинается вра

сближения между фашистской Германией и фашистской Италией, до того едва не передравшихся на почве борьбы за Австрию.

16 марта 1935 г., отменяя военные ограничения Версаля, Гитлер заявил, что он намерен соблюдать постановления, касающиеся демилитаризации Рейнской зоны, а также Локарнский договор 1925 г. 21 мая 1935 г. Гитлер вновь подтвердил это обязательство. В конце января 1936 г. германский министр иностранных дел Нейрат еще раз заверил английского министра иностранных дел Идена, что Германия останется верной Локарнскому договору, как подписанному добровольно Германией. А 7 марта 1936 г. Германия расторгла Локарнский договор и ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону.

В том же году 18 июля Германия и Италия совместно организовали фашистский мятеж в республиканской Испании и начали интервенцию против испанского народа.

24 октября того же года во время свидания итальянского министра иностранных дел Чиано с Гитлером было заключено соглашение между Германией и Италией и создана «ось Берлин — Рим».

Через месяц, 25 ноября 1936 г., Гер-

мания заключила с Японией так называемый «антикоминтерновский пакт». Пакт содержит три пункта: 1) взаимная информация о деятельности Коминтерна и консультация насчет необходимых мер борьбы, 2) приглашение третьим государствам присоединиться к пакту, 3) установление срока действия договора на 5 лет. Кроме того, в протоколе подписания предусматривается создание постоянной комиссии для осуществления сотрудничества и обязательство обоих государств «применять совместные действия против Коминтерна как внутри страны, так и за границей(!)». Под флагом борьбы против Коминтерна договор широко открывал путь к развязыванию агрессии на всех континентах.

Через год, 6 ноября 1937 г., Италия присоединилась к «антикоминтерновскому пакту», причем было оговорено, что она имеет одинаковые права с основателями, т. е. считается одним из «основоположников» антикоминтерновского пакта.

В начале 1935 г., добившись присоединения к Германии Саарской области, Гитлер объявил, что Саар — это последнее территориальное требование Германии в Европе. Однако после соответствующей военной и дипломатической подготовки фашистская Германия вступает на путь территориальных захватов, перекраивая вооруженной рукой карту Европы.

11 июля 1936 г. Германия заключила договор с Австрией, обязавшись соблюдать независимость и неприкосновенность этой страны. А 11 марта 1938 г. Германия вторгается в Австрию и насильственно осуществляет «аншлюсс» (присоединение Австрии к Германии).

В дни захвата Австрии (11 и 12 марта) Гитлер заверил английского посла в Берлине, что Германия не имеет никаких территориальных притязаний в отношении Чехословакии. Прошло немного месяцев, и Германия предъявила грубые аннексионистские требования в отношении Чехословакии. Затем, после мюнхенского соглашения четырех держав (29 сентября 1938 г.), Герма-

ния, не довольствуясь этим, 15 марта 1939 г. оккупировала и расчленила Чехословакию, превратив эту страну передовой европейской культуры в колониальный «протекторат Чехия и Моравия» и в «независимое Словацкое государство, находящееся под покровительством Германии».

С Польшей Германия была связана с 1934 г. пактом о ненападении. 20 февраля 1938 г. Гитлер заявил в рейхстаге: «Польша и Германия оставили мысль о войне не только на 10 лет, но и навсегда». Однако, покончив с Чехословакией, Гитлер предъявил аннексионистские требования к Польше и 1 сентября 1939 г. напал на нее, уничтожил как самостоятельное государство, присоединил к Германии ряд коренных польских территорий, а оставшиеся превратил в «генерал-губернаторство».

Фашистские заправилы Германии неоднократно заверяли скандинавские страны, а также Бельгию и Голландию, что они не посягают на их независимость и не намерены нападать на них. 31 мая 1939 г. Гитлер заключил договор с Данией, по которому Германия обязалась «ни в коем случае не прибегать к военным или другим насильственным действиям друг против друга». Не прошло и года, как Германия 9 апреля 1940 г. неожиданно вторглась в Данию и оккупировала ее. В этот же день произошло вероломное нападение германских фашистов на Норвегию.

В отношении Бельгии Германия 13 октября 1937 г. дала обязательство соблюдать ее территориальную неприкосновенность и ее нейтралитет. В начале мая 1940 г. германский посол в Бельгии торжественно заверял, что Германия не намерена нарушить нейтралитет Бельгии и Голландии. 10 мая 1940 г. фашистские орды вторглись в Бельгию и Голландию.

Точно так же Гитлер неоднократно заявлял, что он не хочет войны с Францией и Англией, что между Германией и Францией нет никаких спорных вопросов, что он отказался навсегда от Эльзас-Лотарингии. Это не помешало ему после окончания кампании на За-

падном фронте (май — июнь 1940 г.) аннексировать Эльзас-Лотарингию.

Подручный германского фашизма — итальянский фашизм точно так же вероломно нарушал собственные обязательства и договоры. Италия была связана с Абиссинией договором 1928 г. о «вечной дружбе». Это не помешало Италии 2 октября 1935 г. напасть на Абиссинию и покорить ее. Италия была связана с Албанией рядом договоров, по которым Италия обязалась уважать неприкосновенность и независимость этой страны. 7 апреля 1939 г. Италия напала на Албанию и оккупировала ее. 22 мая того же года был заключен военный союз между Германией и Италией.

Германия и Италия неоднократно заверяли Грецию, что не намерены нарушать ее нейтралитет. 26 октября 1940 г. итальянский посол в Афинах давал обед в честь греческих министров и общественных деятелей, желая этим продемонстрировать «миролюбивые» намерения Италии. А 28 октября в 2 часа ночи Греции был предъявлен итальянский ультиматум и срок для ответа на него был дан... лишь до 5 часов утра. За это время невозможно было даже созвать заседание правительства. Но в этом и не было нужды: итальянские войска уже давно перешли греческую границу.

В апреле 1938 г. германское министерство иностранных дел заявило правительству Югославии, что югославская граница останется неприкосновенной. Гитлер неоднократно заявлял, что он не имеет территориальных притязаний на Балканах. Это не помешало Гитлеру 6 апреля 1941 г. напасть на Югославию, расчленив ее и некоторые территории присоединить непосредственно к Германии.

Вероломство и провокация возведены фашизмом в принцип, в политическую систему. Фашистская дипломатия давно уже была известна как дипломатия вероломства. Однако масштабы гнусности и вероломства, проявившиеся в нападении фашистской Германии на Советский Союз, превзошли все до сих пор известное. Гитлер 23 авгу-

ста 1939 г. заключил договор о ненападении с СССР. Он после этого неоднократно заявлял, что не намерен прибегать к войне, что сохранение добрососедских отношений с СССР стало основой его внешней политики. Но Гитлер ни на одну минуту не прекращал подготовки к войне против СССР. Он напал неожиданно и вероломно на СССР не только для того, чтобы заставить врасплох Советский Союз, но и для того, чтобы оглушить собственный народ, повести, как быка на бойню, в водоворот развязанной войны на Востоке.

Весь мир был потрясен не только вероломством Гитлера, но и его авантюризмом. Все вдумчивые наблюдатели и политики не только в Англии, Америке и нейтральных странах, но и в самой Германии говорили: «Это больше, чем авантюра, это самоубийство».

Они понимали, что здесь, на Востоке, будет сломлено могущество Гитлера, как в свое время было сломлено могущество Наполеона. Все чувствовали — на полях СССР Гитлер и его клика найдут свою могилу.

Сам Гитлер в ряде своих последних речей, в частности в речи 9 ноября 1941 г., говоря о походе против СССР, заявил: «Это было самое трудное решение всей моей жизни». Преступник чувствует, что именно здесь, на советской земле, его ждет суровая и неотвратимая кара.

Что же толкнуло фашистских выродков на преступную антисоветскую авантюру? Могло казаться, что одно время они как будто обнаруживали понимание силы и мощи Советского Союза, догадывались, что Советский Союз — это не Польша Рыдз-Смиглы и Беков, это не Франция Лавалей и Фланденов. Можно привести следующие свидетельства: в книге лорда Лондондерри, бывшего английского министра авиации, описывающего переговоры, которые он вел с Гитлером, Герингом и другими во время своих посещений Германии в 1935 и 1937 г.г., автор передает весьма показательный разговор с Гитлером. Последний указывал на силу Советского Союза, подчеркнув следующие

обстоятельства: 1) неисчерпаемые людские ресурсы СССР, 2) огромная территория, на которой погиб уже не один завоеватель («Россия обладает территориальным иммунитетом»), 3) невозможность взять СССР блокадой, 4) безопасность советских промышленных центров, находящихся на Востоке, от воздушного нападения, 5) сила Красной Армии, 6) сила большевистской идеи, под которую подведена могучая индустриальная база, наконец, 7) трудность мобилизации германского народа на войну против СССР («Мне очень трудно, — сказал Гитлер, — убедить германский народ в правильности антисоветской политики»)\*.

Накануне «великого решения», осенью 1939 г., когда Гитлер решал, куда двинуться в первую очередь — против СССР или против западных держав, он выбрал второй путь, несомненно, и потому, что это было наиболее безопасным направлением агрессии. Французская «Желтая книга» (сборник дипломатических документов 1938—1939 г.г., относящихся к происхождению войны) приводит интересное донесение из Берлина французского посла Кулондра. Кулондр сообщает, что Гитлер решил избежать войны против СССР, «дабы не обречь на гибель свою страну, свою партию и самого себя»\*\*.

Что же произошло за эти два года — с лета 1939 г. до лета 1941 г., когда гитлеровская клика все же решилась напасть на СССР? Какова была международная обстановка, сложившаяся к моменту этого преступного нападения?

Для внешней политики гитлеровской Германии, как и для ее военной стратегии, характерна одна и та же черта: тактические успехи и стратегические поражения. Гитлеровцы достигают иногда частных, порой эффектных успехов. Но эти успехи в конечном счете не только не приближают к цели, а, наоборот, отдаляют от нее, ухудшают общее положение Германии, ускоряют неизбежную катастрофу.

Гитлеровцы понимают, что их сумасбродные планы установления германской гегемонии во всем мире наталкиваются на сопротивление всех свободлюбивых народов мира и что главным препятствием в деле осуществления этих кровавых планов являются в первую очередь три державы — Советский Союз, Великобритания и США. Вот почему фашистская дипломатия строила все свои расчеты на игре противоречий — противоречий между капиталистическими странами и страной социализма, противоречий между Англией и Америкой и т. д. Не допустить создания большой антигитлеровской коалиции считалось основной задачей фашистской дипломатии. В своей гнусной книжонке «Моя борьба» Гитлер объясняет поражение Германии в 1914—1918 г.г. тем, что у Германии не было сильных союзников, ее союзники были слабы и немощны, в то время как против Германии действовала коалиция могущественных держав.

Гитлер, разумеется, не раскрыл своего внешнеполитического плана, но контуры его были ясны: союз с Англией для разгрома СССР, затем использование ресурсов СССР и Европы для разгрома Великобритании, наконец, использование ресурсов Европы и Британской империи для разгрома США.

Внешнеполитическая схема Гитлера, основой которой на первом этапе был союз с Англией против СССР, не была осуществлена, несмотря на Мюнхен и другие веши пресловутой политики «невмешательства». Заключив 23 августа 1939 г. договор о ненападении с СССР, Гитлер вынужден был в ходе развития международных событий изменить свою внешнеполитическую тактику. Но идея осталась та же самая, произошла только порядковая перестановка. Мысль о том, чтобы бить противника поодиночке, оставалась неизменной.

1 сентября 1939 г. нападением на Польшу фашистская Германия развязала войну в Европе — вторую мировую войну. При нападении на Польшу гитлеровская клика исходила из двух возможных вариантов развития междуна-

\* См. лорд Лондондерри «Мы и Германия», Лондон, 1938.

\*\* «Желтая книга французского правительства», издание на нем. языке, стр. 186.

родной обстановки: Англия и Франция либо вовсе не выполняют своих обязательств по договорам о взаимной помощи с Польшей\*, либо после разгрома Польши умоют руки и не будут продолжать войны. И в том и в другом случае разгром Польши должен был быть мостом для сближения на антисоветской основе между Германией, с одной стороны, Англией, Францией и Америкой — с другой. И так, разгром Польши, затем союз с Англией и Францией против СССР и, наконец, осуществление завоевательных планов в отношении западных держав.

Либо другой вариант:

Англия и Франция продолжают войну после поражения Польши. В этом случае Германия, мобилизовав все свои силы, разгромит французскую армию на континенте, а после разгрома Франции неизбежно капитулирует и Англия. Германия, таким образом, овладеет всеми ресурсами Европы и добьется поддержки Англии против Советского Союза. Следующим этапом должно было быть использование ресурсов Западной Европы и Советского Союза для полного разгрома Англии и США.

Все эти стратегические и внешнеполитические планы фашистской Германии потерпели крах в ходе войны. Англия и Франция вступили в войну непосредственно вслед за нападением Германии на Польшу. После разгрома Польши Гитлер уж во всяком случае был убежден, что с Англией и Францией за счет СССР ему удастся сговориться. 6 октября 1939 г. в своей речи в рейхстаге Гитлер обратился в предложением «мира» к Англии и Франции. Он заявил, что Германия не предъявляет никаких требований ни к Франции, ни к Англии:

«Разве Германия предъявила Англии какие-либо требования, в той или иной

мере угрожающие Британской империи или ставящие под вопрос ее существование? Нет, наоборот. Война на Западе не разрешает никаких проблем».

Гитлер потребовал только предоставления Германии колоний и в первую очередь возвращения бывших германских колоний, подчеркнув при этом, что «германское правительство не видит больше никаких причин и никакого повода для какой-либо дальнейшей ревизии».

«Мирная» акция Гитлера осуществлялась не только через эти официальные заявления, она шла и по разным неофициальным дипломатическим каналам. В частности, по утверждению американских «умиротворителей», в октябре 1939 г. в США были переданы официальные германские мирные предложения. Эти предложения огласил нефтепромышленник Вильям Девис, посетивший в сентябре — октябре Германию и ведший переговоры с официальными фашистскими деятелями, в том числе с Герингом\*.

После капитуляции Франции Гитлер был уверен, что война с западными державами окончена. Он так и заявил: «Война на Западе кончена». Гитлер не сомневался в том, что Англия прекратит войну и пойдет на соглашение с Германией.

После капитуляции Франции Гитлер в своей речи в рейхстаге 19 июля 1940 г. вновь обратился «с последним» мирным предложением по адресу Англии и заявил, что «не видит оснований к продолжению этой войны».

За месяц до этого Гитлер в беседе с американским журналистом Вигандом\*\* повторил свое предложение, сделанное при нападении на Польшу: гарантировать неприкосновенность Британской империи вооруженными силами Германии (вот уж, поистине, лисе сторожить кур!).

Положение Англии после капитуляции Франции действительно было исключительно трудным. Но германское наступление на Западном фронте 10 мая

\* Известная американская журналистка Дороти Томпсон утверждает со слов человека, беседовавшего с Гитлером за несколько дней до германского нападения на Польшу, что Гитлер был уверен в том, что Англия не выступит вместе с Польшей («Нью-Йорк Геральд Трибьюн», 12 февраля 1941 г.).

\* «Нью-Йорк Таймс», 31 декабря 1940 г.  
\*\* «Правда», 16 июня 1940 г.

1940 г. нанесло потрясающий удар по мюнхенским, прогерманским группировкам в Англии. 11 июня 1941 г. к власти пришло правительство Черчилля. Англия решила продолжать борьбу и после того, как капитулировала Франция. Решение правительства было одобрено всеми доминионами.

То, что Гитлеру удалось во Франции, «правители которой, дав себя запугать призраком революции, с перепугу положили под ноги Гитлера свою родину, отказавшись от сопротивления» (Сталин), — не удалось ему в Англии.

Во-первых, англо-германские противоречия всегда носили исключительно глубокий, острый характер. В Англии, в противоположность Франции, не было политических деятелей, которые открыто выступали бы с программой отказа от роли великой державы, превращения Англии в «провинциальную страну» наподобие Голландии или Дании и подчинения Британской империи германскому империализму. Политика «невмешательства» по мысли ее незадачливых изобретателей должна была привести не к ущемлению Англии и ослаблению ее позиций, а лишь к организации столкновения между Германией и СССР, чтобы таким образом ослабить не только СССР, но и Германию.

Во-вторых, профашистские, прогерманские элементы не имели в Англии такой силы, как во Франции. Доморощенный английский фашизм (группа Мосли) всегда был ничтожной политической величиной. Ему ни разу не удалось завоевать хотя бы одно место в парламенте.

В-третьих, политику Чемберлена последовательно и до конца поддерживала лишь группа из нескольких десятков консервативных депутатов. Оппозиция мюнхеновской политики «умиротворения», возглавляемая Черчиллем, Идемом, лейбористами и т. д., не говоря уже о коммунистах, всегда была исключительно популярна в стране.

В-четвертых, правящие классы Англии чувствовали себя крепче в седле, чем правящие классы Франции. «Умение управлять», большой исторически

накопленный политический опыт, способность маневрировать, приспосабливаться к обстановке, проявлять здравый смысл — всегда было отличительной особенностью правящих классов Англии, как на это указывали классики марксизма — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. К тому же перед их глазами стоял печальный опыт Франции.

В-пятых, — и это самое главное — английский народ полон ненависти к фашизму и в условиях буржуазной демократии всегда мог оказывать определенное влияние на направление внешней политики.

Правительство Черчилля после опыта войны с Германией не дало запугать себя германским жупелом «большевицкой угрозы». Гитлеровская игра на противоречиях между Англией и СССР потерпела провал.

Обанкротилась и гитлеровская игра на противоречиях между Англией и Америкой. К каким только выкрутасам ни прибегали фашистские пропагандисты из вельможства Геббельса! Они запугивали англичан американской гегемонией во всем мире, угрозой перехода британских владений в руки Америки. Они кричали на всех перекрестках, что Черчилль «распродает Британскую империю», что Америка собирается воевать против Германии «до последнего британского солдата» и т. д. Точно так же они раньше убеждали французов, что Англия угрожает Франции, хочет ее поглотить, собирается драться «до последнего французского солдата». Гитлеру не удалось ни запугать англичан, ни нейтрализовать Америку. Кровожадные планы германского фашизма, направленные к установлению германской гегемонии во всем мире, к уничтожению всех устоев англо-саксонского мира, к разделу Британской империи, к установлению своего господства на Западном полушарии, объединили против Германии демократические страны — Англию и Америку. Большое значение имело при этом то обстоятельство, что во главе этих государств в критический момент оказались такие выдающиеся деятели, как Черчилль и Рузвельт.



Таким образом, генеральный внешне-политический план Гитлера, состоявший в том, чтобы в соответствующий момент заключить соглашение с Англией и Америкой, направленное против СССР, потерпел неудачу. С другой стороны, потерпели неудачу и германские планы вовлечения Советского Союза в войну или в активную борьбу против Англии и Америки. Такие попытки со стороны Германии тоже делались не раз. Достаточно вспомнить ее предложение Советскому Союзу присоединиться к тройственному берлинскому пакту. Достаточно напомнить кампанию, которая велась фашистской прессой, приглашавшей СССР направить экспансию в сторону Индии, Ирака и т. д. Советский Союз, стремившийся к сохранению мира и к укреплению своей безопасности и обороны, давал решительный отпор всяческим попыткам втянуть его в войну или свести с пути строгого нейтралитета. Тов. Молотов в своем докладе на VI сессии Верховного Совета СССР 29 марта 1940 г., говоря о приписываемых Советскому Союзу планах похода на Индию и т. д., заявил: «Приписываемые же Советскому Союзу фантастические планы каких-то походов Красной Армии «на Индию», «на Восток» и т. п. — такая очевидная дикость, что подобной нелепой брехне могут верить только люди, совсем выжившие из ума».

Таким образом, игра в противоречия, проводимая гитлеровской дипломатией, оборачивалась против самой Германии. Гитлеровская Германия оказалась в значительной мере изолированной. Она завоевывала союзников — «завоевывала» не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, оккупируя территории тех или иных европейских стран, вроде Румынии, Болгарии, Венгрии. Но ее внешнеполитические резервы были ограничены.

На военном поприще германская армия за полтора с лишним года одержала ряд успехов.

Однако, несмотря на все эти успехи, Германия не разрешила главной стратегической задачи — она не добилась победы над Англией. Германии не удалось

сорвать английскую морскую блокаду; ей не удалось принудить Англию к капитуляции при помощи грандиозного воздушного нападения. Сорвались и большие стратегические планы Германии, связанные с наступлением на Египет, Суэц и Ближний Восток с тем, чтобы сокрушить «Британскую ближневосточную империю». Наступление на Египет, предпринятое в сентябре 1940 г., закончилось плачевно для итальянской армии. Под ударами англичан рухнула, как карточный домик, «Восточно-Африканская империя» — Эритрея, Итальянское Сомали, Абиссиния. 19 мая 1941 г. капитулировали остатки армии герцога Аоста, насчитывавшей в свое время 325 тысяч человек, в том числе 125 тысяч итальянцев (из которых 100 тысяч было взято в плен, а 19 тысяч убито; кроме того, было взято в плен 60 тысяч туземцев).

Начавшееся в апреле 1941 г. новое наступление немецко-итальянских войск в Ливии привело к очищению англичанами занятой ими территории, но потери англичан были ничтожны, и армия Роммеля не удалось развить свой успех. Не вышло ничего и из попыток гитлеровцев проникнуть в Сирию и Ирак. Произошедший в Ираке 1 апреля 1941 г. переворот, организованный гитлеровским агентом Рашид Али Гайлани, к началу июня был ликвидирован. Английские войска заняли Ирак. Точно так же английские войска в июне—июле 1941 г. вышибли из Сирии гитлеровских агентов и их петэновских холопов. Фашистские планы на Ближнем Востоке потерпели крах. Позиции Англии укрепились.

Такова была стратегическая ситуация, сложившаяся к лету 1941 г.

Гитлер на протяжении 1940 — 1941 г.г. провел целый ряд явно анти-советских акций, отвлекавших его военные силы. Готовясь к нападению на СССР, он держал на восточной границе большое количество войск, что не могло не отразиться на его военной активности и маневренности на Западе.

В дальнейшем, уже после вероломного нападения на СССР, Гитлер выдвинул живой тезис о том, что СССР якобы

готовит Германии «удар в спину» и поэтому он не может обратить свои силы против Англии или против Ближнего Востока. Лживый тезис об «ударе в спину» призван лишь скрыть гнусность и вероломство гитлеровской клики. Гитлер сам признал уже после нападения на СССР, что балканская кампания и ряд других его внешнеполитических и военных шагов на севере и на востоке Европы были непосредственно связаны с подготовкой войны против СССР. Свою каннибальскую декларацию, произнесенную в день нападения на СССР, Гитлер с того и начал, что наконец-то он может высказать свои истинные чувства к Советскому Союзу, которые ему с таким трудом приходилось скрывать в течение долгих месяцев.

Как известно, немедленно после окончания советско-финляндской войны германский фашизм, вопреки советско-германскому договору о ненападении, ввел свои войска в Финляндию. Гитлер в одной из своих последних речей признался, с каким трудом ему приходилось насиловать самого себя и воздерживаться от открытой помощи белофинским войскам, которых громила Красная Армия. Еще бы, нелегко было Гитлеру смотреть, как ломалась линия Маннергейма, которую Гитлер давно уже облюбовал в качестве исходной позиции для наступления на Ленинград! Германия, вопреки пакту о ненападении с СССР, в 1940-41 г. концентрировала свои войска в Финляндии.

Фашистская Германия сделала все, чтобы сорвать дружеские отношения между СССР и Болгарией, не допустить дружественного договора между обеими странами. 1 марта 1941 г. германские войска оккупировали Болгарию, несмотря на то, что советское правительство категорически высказывалось против этого нового акта агрессии.

Фашистская Германия 6 апреля 1941 г. неожиданно и вероломно напала на Югославию, с которой советское правительство за день до того заключило договор о дружбе и ненападении. Вся балканская кампания Германии была тесно связана с подготавливавшимся нападением на Советский Союз. С этим

были в значительной мере связаны попытки германского проникновения на Ближний Восток, в Ирак, Сирию, Иран, а также непрекращавшиеся германские интриги в Турции и та гнуснейшая кампания антисоветской клеветы, которую ведомство Риббентропа и Геббельса развернуло вокруг вопроса о проливах.

В свете этих неоспоримых фактов гитлеровский тезис об угрозе «удара в спину» со стороны СССР вырисовывается лишь как обычная уловка развернутой фашистской философии предательства и вероломства.

Антисоветская ложь гитлеровской дипломатии давно разоблачена как советским, так и британским правительствами. Советский Союз лояльно выполнил заключенный им 23 августа 1939 г. договор о ненападении с Германией. Он исходил из интересов народов СССР, из интересов международного мира.

Как уже указывалось выше, летом 1939 г. вопрос о развязывании войны в Европе был решен Гитлером окончательно и бесповоротно. Никакие бумажные соглашения между другими государствами не могли остановить одержимого фюрера от выполнения его кровавых планов. Стоял лишь вопрос — пойдет ли Гитлер на запад или на восток. В условиях, когда Польша под руководством Рыдз-Смиглы и Бека срывала достижение соглашения между Англией, Францией и СССР и категорически отказывалась в случае германской агрессии пропустить советские войска на помощь ей; в условиях, когда от правительства Чемберлена нельзя было ожидать реальной помощи, а еще меньше можно было ожидать этой помощи от Америки, где изоляционизм был еще господствующим в правящих кругах течением, — вся тяжесть германского удара обрушилась бы на Советский Союз.

Как указывал тов. Молотов в своем докладе 31 августа 1939 г., во время переговоров, которые велись между Англией, Францией и СССР в Москве, не удалось достигчь соглашения по самым кардинальным вопросам военного отпора германскому агрессору: «Решение о заключении договора о ненападении меж-

ду СССР и Германией, — сказал тов. Молотов, — было принято после того, как военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу указанных непреодолимых разногласий\*. Следует указать, что советское общественное мнение не склонно было рассматривать даже наличие формального договора как гарантию действительной активной помощи со стороны Англии и Франции, тем более, что во Франции тогда уже решающий тон задавали капитулянты и предатели, а в Англии у власти стояло правительство Чемберлена, проводившее политику «невмешательства».

Советский Союз верен своему слову и своим обязательствам. Он лояльно и честно выполнял свои обязательства по договору о ненападении с Германией; он относился серьезно к этому договору, стараясь остаться вне второй мировой войны, развязанной фашистскими агрессорами. Советскому Союзу удалось обеспечить нашей стране мир в течение еще полутора годов. За эти полтора года произошли большие сдвиги на внутриполитической арене Англии и Америки, многому научившихся на примере поражения Франции.

Самое главное то, что эти полтора-два года были использованы Советским Союзом для неустанный укрепления обороны СССР против фашистской агрессии, о возможности которой никогда не забывало Советское государство.

Так обстоит дело с советско-германским пактом о ненападении. Гитлеровская клика, как она это сама признает, относилась к пакту о ненападении с СССР не как к серьезной политике, а как к кратковременному маневру. Хитрость и мелкое жульничество фашистских политиков являются у них эрзацем ума. Отношение гитлеровцев к советско-германскому пакту о ненападении разоблачило близорукость, политическую мелкотравчатость и авантюризм нынешних хозяев Германии. Германские фашисты запу-

тались в сетях, которые они предназначали другим.

Такова была международная обстановка накануне нападения Германии на СССР. Гитлеровская Германия зашла в тупик. Ее военное производство достигло наивысшего уровня, но дальше поднимать его не было возможности; запасы были еще велики, но пополнять их нельзя было. Политика мародерства и беспощадного ограбления оккупированных стран пришла к своему логическому концу.

Главная стратегическая задача — сокрушение Англии — не была решена. В то же время Гитлер очутился перед перспективой длительной, затяжной войны против Англии и Америки. Соревноваться с растущим производством Англии и разворачивающимся в огромных масштабах военным производством Америки Германия не могла. Стал вопрос о дополнительных ресурсах для Германии, как сырьевых, так и промышленных. Но Европа уже вся была ограблена. И Гитлер обратил свои жадные взоры на Восток, в сторону нашей цветущей родины, с ее огромными сырьевыми и продовольственными ресурсами, с ее огромным военно-промышленным потенциалом.

Принято думать, что грабительские планы Гитлера в отношении СССР ограничивались только стремлением получить сырье и продовольствие. Но не в малой мере Гитлера интересовали и наши заводы, шахты, наши танковые, авиационные и артиллерийские заводы. Накануне нападения Германии на СССР иностранная пресса была заполнена всяческими слухами по поводу ультиматумов, которые Германия якобы предъявила к Советскому Союзу и в которых она требовала предоставления ей определенных больших контингентов сырья, в первую очередь нефти и продовольствия, а также предоставления ей значительной части продукции военных заводов СССР. В этой же прессе велась дискуссия о том, пойдет ли Советский Союз в кабалу Германии или предпочтет военное столкновение с ней. Все эти сообщения и дискуссии в иностран-

\* В. М. Молотов. О ратификации советско-германского договора о ненападении, стр. 8. См. интервью т. Ворошилова, «Правда» от 27 августа 1939 г.

ной прессе являлись выдумкой. Как известно, Гитлер не предъявлял никаких требований к Советскому Союзу, опасаясь, что предъявление такого требования насторожит СССР и затруднит внезапное нападение (о том, что он готовил внезапное нападение, Гитлер сам признал в своей речи 9 ноября 1941 г., заявив, что для Германии было важно использовать преимущество внезапности и что преимущество даже в несколько дней играет решающую роль). Но действительной базой для всех досужих измышлений об ультиматумах и требованиях Германии к Советскому Союзу был тот неоспоримый факт, что без получения советского продовольствия, сырья (нефти) и продукции советских военных заводов у Гитлера не было шансов на выигрыш того соревнования в военном производстве, которое ему предстояло с Америкой и Британской империей на длительный период. Фашистская клика решила поправить свои пошатнувшиеся дела за счет Советского Союза. Это было одной из главных причин, побудивших ее неожиданно и вероломно напасть на СССР.

К тому же военные успехи гитлеровской клики в Западной Европе вскружили голову фашистским лидерам. Они зазнались, зарвались, несмотря на то, что кое-кто в их собственной среде, в особенности среди генералов, предупреждал против опасности нападения на СССР.

В последний момент перед нападением на СССР гитлеровская клика сделала еще одну попытку договориться с Англией за счет Советского Союза, т. е. получить мощного союзника в войне против СССР. 8 мая 1941 г. весь мир был поражен сенсационным сообщением: заместитель Гитлера по фашистской партии, самый интимный друг Гитлера и его доверенное лицо Рудольф Гесс на самолете прилетел в Англию, спустился с парашютом и направился к герцогу Гамильтону, — видному английскому аристократу, не раз бывавшему в Берлине и имевшему знакомства с фашистскими деятелями в Германии. Гесс предложил мир англичанам для совместной борьбы против СССР. Переговоры, ко-

торые вел Гесс, закончились провалом. Английское правительство отказалось обсуждать условия мира с Германией. Об этом недвусмысленно заявил Черчилль. Американский посол в Лондоне специально выехал в Вашингтон, чтобы информировать Рузвельта о предложениях Гесса. Рузвельт выступил с заявлением о том, что ни о каких переговорах с Германией не может быть и речи. Состоявшаяся 3 июня 1941 г. конференция лейбористской партии подавляющим большинством голосов (2.430 тысяч против 19 тысяч) отвергла предложение о мирных переговорах с Гитлером и заявила о решимости английского рабочего класса продолжать войну до полной победы.

Тем не менее Гитлер считал, что, начав войну против СССР, доказав свою «добрую волю» к борьбе против «коммунизма», он сможет добиться перелома в английской и американской политике, в первую очередь путем внутренних переворотов. Имеются точные сведения из весьма осведомленных американских источников, что определенные мюнхенские круги в Англии обещали Гессу, что, если Германия действительно начнет войну против СССР, в Англии удастся скинуть Черчилля, изменить внешнеполитический курс Англии и обеспечить приход к власти мюнхенских политиков. Уже позднее, в своей речи 27 января 1942 г., Черчилль, коснувшись случая с Гессом, заявил: «Когда Гесс прилетел в Англию, он был твердо убежден, что достаточно ему получить доступ в некоторые круги общества, чтобы то, что он описывал как черчиллевскую клику, было отброшено от кормила правления и было бы создано правительство, с которым Гитлер мог бы вести переговоры о великодушном мире».

Политические расчеты незадачливой гитлеровской дипломатии полностью провалились. Гитлеровская Германия начала войну против СССР, не закончив войны на Западе; она начала войну против СССР, не заручившись поддержкой ни Англии, ни Америки; она начала авантюрную войну.

22 июня 1941 г. гитлеровские пол-

чища двинулись на Восток. Началась новая глава второй мировой войны — решающая борьба демократических

стран, возглавляемая Советским Союзом, за полное уничтожение гитлеровской тирании.

## 2. БАНКРОТСТВО ФАШИСТСКОЙ СТРАТЕГИИ И ДИПЛОМАТИИ И СОЗДАНИЕ МОГУЩЕСТВЕННОЙ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз круто повернуло все течение войны, ее масштабы, ее характер. Необычайно расширился размах войны. Англо-германская война превращалась в мировую. Участие Советского Союза — страны социализма — отчетливо демонстрировало перед всем миром характер этой войны, как справедливейшей освободительной войны всех свободолюбивых народов против мрачных сил фашистской реакции, варварства и разбоя. Образовавшийся на востоке Европы советско-германский фронт, растянувшийся на три тысячи километров — от Ледовитого океана до Черного моря, — стал решающим фронтом мировой борьбы. Сюда, на этот фронт, переместился центр международных событий всемирно-исторического значения.

Все мыслящее человечество с затаенным дыханием следило за событиями на советско-германском фронте. Гитлер создал чудовищную военную машину и двинул ее против СССР. Около 200 кадровых дивизий, в том числе не менее трети танковых и моторизованных, пяти-или шестимиллионная бронированная фашистская орда, имевшая за своими плечами опромный опыт по части военного разбоя, упоенная мифом о своей якобы непобедимости, вооруженная всеми новейшими достижениями военной техники, в том числе многочисленной авиацией, двинулась против СССР. Выдержит ли Советский Союз или его ждет судьба Польши, Франции и всех других жертв гитлеровской агрессии, — вот вопрос, волновавший весь мир.

Ведь Советскому Союзу надо было выдержать удар один-на-один, поскольку второго фронта в Европе не было. В прошлую мировую войну Германия дралась против России, Франции, Ан-

гли и Италии, причем в течение четырех с лишним лет вела войну на чужой территории. Советскому Союзу фактически одному, без чьей-либо военной помощи, надо было выдержать удар фашистской Германии, усиленной по сравнению с прошлой войной благодаря поддержке Италии, Финляндии, Румынии и др. и благодаря использованию ресурсов Франции и ряда других европейских стран.

Народы СССР грудью стали на защиту своей родины, на защиту мировой культуры и цивилизации от фашистских орд.

Гитлер делал ставку на блицкриг, на молниеносную победу. Он и его сподвижники открыто заявляли, что в течение шести—восьми недель они расправятся с Советским Союзом и ликвидируют Восточный фронт. Именно «ликвидируют» (в и д и р у ю т). Никакие частные победы, как бы значительны они ни были, не могли удовлетворить Гитлера, — он великолепно понимал, что затяжка войны на Востоке равносильна для него проигрышу войны. Ему необходимо было быстро завоевать Россию, ликвидировать Восточный фронт и получить свободные руки для последующей атаки против Англии и Америки. Начиная свой преступный поход против СССР, Гитлер рассчитывал на быстрый разгром и разложение Красной Армии, на непрочность советского государства, на непрочность колхозного строя, на разжигание противоречий между рабочими и крестьянами СССР, на драку между народами СССР.

Красная Армия сорвала немецко-фашистский план молниеносной войны. Немецко-фашистские войска, используя преимущества внезапности, имея танков в несколько раз больше, чем у Красной

Армии, обладая перевесом в авиации, захватили значительные советские территории. Но, временно отступая, Красная Армия изматывала силы врага, наносила ему сокрушительные удары, накапливала силы для перехода в наступление. Лучшие отборные дивизии немецко-фашистской армии перемалывались, уничтожались. Рассеивалась, как дым, легенда о непобедимости германской армии. Мощное партизанское движение дезорганизовывало тыл врага и тоже наносило огромные потери его живой силе и технике. К осени даже фашистскому командованию стало ясно, что его планы молниеносной победы сорваны героическим сопротивлением Красной Армии и советского народа.

Красная Армия сорвала гитлеровский генеральный стратегический план окружения и взятия Москвы. Гитлеру пришлось к осени уже переменить сроки. Он решил добиться победы на советско-германском фронте хотя бы до наступления зимы, окружить и захватить Москву, взять Ленинград, пробиться к Кавказу. Наступление немцев на Москву в октябре—ноябре 1941 г. было решающей ставкой отчаявшихся фашистских ипротов, собравших огромные силы для достижения успеха. Историческое сражение на подступах к Москве и у ворот Кавказа, под Ростовом, закончилось поражением немецко-фашистских войск. Лозунг партии «под Москвой должен начаться разгром врага» был претворен в жизнь. Под гениальным руководством товарища Сталина был осуществлен великий перелом на фронте отечественной войны. Красная Армия перешла в контрнаступление и начала гнать на запад фашистских захватчиков. Сражение за Москву явилось поворотным пунктом Великой Отечественной войны. Как раз в тот момент, когда враг ближе всего подходил к воротам Москвы, когда немецкие генералы хвастали, будто они уже видят в бинокль центр Москвы, когда германский министр хозяйства Функ публично выступил с широкообещательной программой включения всей Европейской России («Остраум») в систему германской

экономики\*, когда немецко-фашистская пресса ратовала за включение в эту систему также... Урала, товарищ Сталин произнес свои исторические речи в дни XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Многим иностранным наблюдателям казалось, что германская армия находится на вершине своей военной славы и могущества. Товарищ Сталин указал на близкий поворот в ходе войны. Прошло несколько недель, и весь мир убедился в силе и правоте сталинского предвидения. Сражение под Москвой войдет в историю как одна из самых замечательных вех в борьбе человечества против угрожавшего ему нашествия фашистских варваров.

Красная Армия сорвала и немецко-фашистские планы зимней кампании 1941—42 г. Эти планы состояли в том, чтобы закрепиться на прочной линии фронта, организовать оборону сравнительно ограниченными силами, отвести часть потрепанных и измотанных войск в тыл для пополнения и перестроения, собрать в тылу все резервы живой силы для формирования новых частей и таким образом подготовиться к наступлению весной и летом 1942 г. Но и в суровых условиях лютой зимы Красная Армия не выпускала из рук инициативы. Гитлеру не удалось в течение зимы получить передышку. Ему не только приходилось сохранять все, что у него было на фронте, дабы любой ценой покрывать потери в людях и технике, но и посылать на фронт свежие части из глубокого тыла, предназначенные для весеннего и летнего наступления. Таким образом, зимние сокрушительные удары Красной Армии сорвали немецкие планы передышки, заставили Гитле-

\* Распоясавшийся фашистский министральный бандит Функ, выступая 12 октября 1941 г. с речью на Кенигсбергской выставке, предлагал не более и не менее, как: 1) включение прибалтийских стран в «германское пространство», 2) использование натуральных ресурсов России для повышения германского военного потенциала, 3) индустриализацию восточных районов Германии за счет СССР, 4) включение Европейской России в германскую экономическую систему.

ра бросать стратегические резервы из глубокого тыла на фронт, и в результате часть этих резервов была уничтожена еще до наступления весны.

Где причины провала гитлеровского блицкрига на советско-германском фронте?

Генеральный стратегический план Гитлера оказался гигантским напромождением военных и политических просчетов. Гитлеровцы просчитались в оценке силы советского государства, в оценке силы колхозного строя, в оценке национальных отношений в Советском Союзе. Они сами вынуждены были признать свои просчеты. Уже 20 августа 1941 г. «Фелькишер беобахтер», неоднократно до того объявлявший, что «большевизм чужд русскому народу», говоря о причинах моральной устойчивости и боеспособности советского солдата, писал: «Неоспоримая твердость обороны объясняется в значительной мере также и тем обстоятельством, что большевизм за 25 лет своего существования успел стать в стране такой властью, которая для широких народных масс является не подлежащей никаким сомнениям». В сентябре 1941 г. в немецко-фашистской прессе начали появляться стыдливые признания, что «украинский вопрос» не оправдал возложенных на него надежд, так как «централизующие тенденции на Украине оказались сильнее центробежных». Под этой туманной формулировкой скрывалась констатация того факта, что лицемерная и гнусная фашистская игра на «украинском вопросе», как и вся их ставка на драку между народами СССР, оказалась битой.

Гитлеровцы просчитались в оценке силы Красной Армии. Лондонский «Таймс» в начале мая 1942 г. передавал содержание беседы одного нейтрального лица с высоким немецким чиновником в Стамбуле. Последний заявил, что немецкие дипломаты и военные атташе неверно информировали Берлин о Советском Союзе. Они доносили, что советский строй развалится, что Красная Армия плохо вооружена и т. д. На плохую информацию плохих дипломатов и плохих чиновников всегда, конечно, можно сослаться. Каков поп, таков, говорят, и приход! Германское командова-

ние «ошибалось» в оценке Красной Армии не только до войны и в ходе войны. Гитлер уже в речи 3 октября 1941 г. вынужден был признать, что «единственно», в чем он ошибся, это в том, что «недооценил силу Красной Армии»! Так фашистская унтер-офицерская вдова сама себя высекала.

Наконец, гитлеровцы совершили грандиозный внешнеполитический просчет: они надеялись изолировать СССР и создать против него единый фронт иностранных держав с участием Англии и Америки. Им не удалось изолировать СССР. Наоборот, против гитлеровской Германии была создана могущественная коалиция великих держав. Фашистская дипломатия полностью обанкротилась в советско-германской войне.

Гитлеровская клика исходила из того, что после нападения на СССР усилятся влияние мюнхенских политиков, клайвденской клики — в Англии, «умиротворителей» и изоляционистов — в Америке. Получилось наоборот: их влияние быстро пошло на убыль.

Гитлер, напав на СССР, решил разыграть свои старые дипломатические карты: игра на противоречиях между СССР, с одной стороны, Англией и Америкой — с другой, игра на противоречиях между социализмом и капитализмом. Отсюда широкоवेशательная постановка гитлеровскими дипломатическими комедиантами «крестового похода» против коммунизма. Неоднократно битые карты фашистской дипломатии оказались битыми и на сей раз.

Решающее значение в начале войны имела позиция Англии как в силу того, что Англия являлась, в отличие от Америки, страной, воюющей против Германии, так и в силу тесного сотрудничества Англии и США в основных вопросах стратегии и политики. Неудивительно, что Гитлер обратил свои дипломатические удары в первую очередь против Англии. Блицкриг на Восточном фронте сопровождался «дипломатическим блицкригом», новыми «мирными» предложениями Германии по адресу Англии.

На следующий день после нападения Германии на СССР, 23 июня 1941 г.,

германский посол в Анкаре фон Папен (по сообщению «Палестайн Пост» от 27 июня 1941 г.) передал английскому послу новые предложения Германии. С таким же пробным шагом по адресу Англии выступил известный гитлеровский агент, испанский министр иностранных дел Суньер несколько позднее, 1 августа 1941 г. Он заявил, что Англия напрасно «упорствует», продолжая войну с Германией, и что «все спорные вопросы можно было бы урегулировать в тот момент, когда Германия начала войну против СССР». Заявления Суньера, повидимому, было связано с более конкретным дипломатическим зондажем немецко-фашистской дипломатии в конце июля — начале августа 1941 г. О содержании немецких предложений неоднократно сообщала иностранная пресса («Нью-Йорк Таймс» от 28 июля 1941 г., «Норд Чайна Гарольд» от 13 августа 1941 г. и др.). Германия предлагала мир Англии за счет Советского Союза на следующей основе: 1) восстановление независимости западноевропейских стран, в том числе Франции (без Эльзас-Лотарингии), 2) предоставление «автономии» оккупированным странам на Востоке с тем, чтобы в военном и экономическом отношении они оставались в рамках Германской империи, 3) гарантии неприкосновенности Британской империи, 4) совместное участие в эксплуатации России, 5) предоставление Германии колоний и т. д. По сообщению «Журналь де Женев» от 1 августа 1941 г., германские предложения были отвергнуты Англией, и именно их имел в виду Иден, говоря о германском «дипломатическом блицкриге» и о том, что «нельзя верить ни слову Гитлера». Германия пожинала плоды своего вероломства.

Гитлер, пытаясь завязать переговоры с англичанами, не только хотел использовать жупел «большевистской угрозы», но хотел играть на «исторических противоречиях» между Англией и Россией. Германская пресса с первого дня войны утверждала, что союз между Англией и СССР абсолютно невозможен. Еще до нападения на СССР пропагандистский аппарат Риббентропа и Геббельса на все лады разыгрывал тезис о непреодоли-

мых исторически сложившихся англо-русских противоречиях; в частности немцы широко использовали старую фальшивку — мнимое «завещание Петра Великого», согласно которому Россия должна якобы стремиться к завоеванию Индии и всего мира. Тезис о непримиримых англо-русских противоречиях тоже был явной исторической фальсификацией. Достаточно указать на англо-русский союз в войне против Наполеона, на англо-русский союз в войне против вильгельмовской Германии.

Что касается фашистской спекуляции на «непримиримых противоречиях» между капиталистической Англией и Советским Союзом, то и она тоже была обречена на провал. Всем известно, что внешняя политика Советского Союза строилась на принципе сосуществования двух систем, что Советский Союз никогда не ставил своей задачей «экспорт революции», что он всегда придавал важнейшее значение установлению дружественных отношений с Англией.

Господствующие классы Англии тоже исходят всегда из своих интересов и не склонны заменять деловые отношения ипррой в «идеологию». Это неоднократно сказывалось и на англо-советских отношениях. Англия была страной, которая принимала активное участие в антисоветской интервенции 1919—1920 г.г., но Англия же была страной, которая первая вступила на путь отказа от интервенционистских методов. Да и во время интервенции влияние английских кругов, враждебных интервенции, сыграло крупную роль в деле ослабления общего интервенционистского фронта Антанты. Английская делегация на Парижской мирной конференции порой проявляла достаточно много здравого смысла и пыталась противодействовать вынесению сумасбродных решений, направленных к ущемлению законных прав и интересов России. Достаточно вспомнить выступления Ллойд-Джорджа и предложения английской делегации в 1920 г. об установлении советско-польской границы примерно по той линии («Линия Керзона»), по какой она была



впоследствии установлена Советским Союзом в 1939 г. Англия была первой из великих капиталистических держав, которая заключила с Советским Союзом торговое соглашение 1921 г. и признала де факто Советскую Россию. За этим признанием последовала целая эра признаний де факто. Англия была первой крупной капиталистической державой, которая признала де юре Советский Союз в 1924 г. За этим последовала целая серия признаний де юре со стороны других капиталистических держав.

Возрождение германского империализма под знаком фашистской свастики, угроза всем свободолюбивым народам со стороны гитлеровской разбойничьей клики создали реальную почву для сближения между Англией и СССР. Наиболее дальновидные политические деятели Англии выступали за союз с СССР. Черчилль в 1933 г. с исключительной энергией и последовательностью выступал за решительную антигитлеровскую политику, за военный союз между Англией и СССР против немецко-фашистской угрозы.

В связи с пребыванием в Москве Идена (тогда лорда—хранителя печати) и его беседами со Сталиным и Молотовым 1 апреля 1935 г. было опубликовано совместное коммюнике, в котором констатируется: «В результате исчерпывающего и откровенного обмена мнений представители обоих правительств констатировали, что в настоящее время нет никакого противоречия интересов между обоими правительствами ни в одном из основных вопросов международной политики и что этот факт создает прочный фундамент для развития плодотворного сотрудничества между ними в деле мира. Они уверены, что обе страны, в сознании того, что целостность и преуспевание каждой из них соответствуют интересам другой, будут руководствоваться в их взаимных отношениях тем духом сотрудничества и лояльного выполнения принятых ими обязательств, который вытекает из их общего участия в Лиге наций».

Народы Советского Союза и Британии всегда были связаны тесными узлами взаимных симпатий.

Фашистские выродки исходили из теории о невозможности англо-советского союза. Они всю свою политику основывают на предпосылке устрашения противников и на предположении об их «неполноценности». Они всегда предполагают, что их противник сделает наилучший ход! Им казалось, что стоит поднять потрепанное и замызганное знамя «крестового похода против коммунизма» и поманить англичан и американцев посулами своих лживых «мирных предложений» и лицемерных «гарантий», как Англия и Америка будут у них в кармане! Но в Англии и Америке великолепно понимали, что за предложениями Гитлера скрывалось не что иное, как попытка изолировать Англию и США, бить своих противников поодиночке, обеспечить свой тыл для вторжения на Британские острова и для последующей агрессии против американского континента. В Англии и Америке не могли не понять, что успех Гитлера в СССР был бы решающим этапом в деле установления мировой гегемонии германского империализма. В Англии и Америке не могли не понять, что Россия стала центральным звеном в деле отпора бредовым планам мировой гегемонии гитлеризма, что на советско-германском фронте в значительной мере решается судьба Англии, Британской империи, США, американского континента.

Фашистская дипломатическая офензива в отношении Англии скандально провалилась. Поход Гитлера в Россию рассматривался в Англии, как прелюдия к непосредственному вторжению на Британские острова, к проникновению в Индию, Китай, Ближний и Средний Восток. В первый же день германского нападения на СССР, 22 июня 1941 г., Черчилль произнес речь, в которой заявил о полной поддержке Советского Союза в его борьбе против гитлеровской Германии.

12 июля 1941 г. было подписано соглашение о совместных действиях правительства СССР и правительства Великобритании в войне против Германии. Это соглашение гласит:

«1) Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и

поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. 2) Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия».

Вслед за англо-советским союзом было заключено 18 июля соглашение между СССР и Чехословакией о взаимной помощи и поддержке в войне против гитлеровской Германии, а 30 июля — аналогичное соглашение между СССР и Польшей. Соглашения с Чехословакией и Польшей предусматривают организацию национальных польских и чехословацких воинских частей на территории СССР. (В дальнейшем 22 января 1942 г. советское правительство согласилось также предоставить Польше и Чехословакии специальные займы для организации и содержания польских и чехословацких частей на территории СССР).

Активное сотрудничество СССР и Англии — военных союзников в борьбе против гитлеровской Германии — и совместные согласованные действия этих двух стран предотвратили превращение Ирана в плацдарм гитлеровской агрессии. Тысячи агентов держав оси, орудовавших на территории Ирана и пользовавшихся покровительством реакционного режима Реза-шаха, собирались превратить Иран в послушного вассала Германии. Требования СССР и Англии о высылке этих агентов из страны не удовлетворялись иранским правительством. 25 августа СССР вручил Ирану ноту, в которой, ссылаясь на свое законное право, закрепленное за СССР советско-иранским договором 1921 г.\*, объявил о временном введении на территорию Ирана советских войск. Одновременно в Иран были введены британские войска. 16 сентября шах Реза

Пехлеви отрекся от престола. Новое иранское правительство стало на путь укрепления дружественных отношений с союзниками. 29 января 1942 г. в Тегеране был подписан договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном.

Англо-советский союз пользуется исключительной популярностью в народных массах обеих союзных стран. Вряд ли история дипломатии знает пример договора, который был бы встречен с таким энтузиазмом, с каким, например, в Англии был встречен договор о союзе с СССР.

Особые надежды Гитлер возлагал на усиление изоляционистских, «умиротворительных» тенденций в США. То обстоятельство, что с нападением Германии на СССР непосредственная опасность вторжения в Англию и Западное полушарие временно отодвинулась, по его мнению, должно было стимулировать и без того довольно сильные настроения изоляционизма и умиротворительства, создать почву для активизации многочисленной гитлеровской агентуры в Америке. Эта агентура действительно активизировалась как в Англии, так и особенно в Америке.

Однако именно нападение Германии на СССР было мощным фактором, выбивавшим почву из-под ног изоляционистов и умиротворителей. Солидарность широчайших масс английского и американского народа с Советским Союзом явилась одним из решающих факторов, определявших политику этих стран. Дальновидные политики Америки, как и Англии, после нападения Германии на СССР во весь рост увидели весь масштаб чудовищной угрозы гитлеризма, нависшей над Англией и Америкой.

24 июня 1941 г. было опубликовано заявление Рузвельта об оказании полной поддержки Советскому Союзу в его борьбе против вооруженной агрессии. 30 и 31 июля товарищи Сталин и Молотов имели беседы с приехавшим в Москву личным представителем Рузвельта г. Гарри Гопкинсом. В обмене письмами между заместителем государственного секретаря США Сомер Уэллесом и советским послом в США

\* Пункт 6 советско-иранского договора 1921 г. предусматривает право СССР временно ввести свои войска в Иран в случае опасности превращения иранской территории в базу для выступлений против СССР. Этот пункт договора был сохранен в силе и последующим советско-иранским договором о гарантии и нейтралитете 1927 г.

т. Уманским 2 августа 1941 г. было установлено, что США оказывают Советскому Союзу всяческую помощь в деле снабжения СССР товарами и материалами, необходимыми для обороны, и что закон о передаче взаймы или в аренду вооружения странам, воюющим против агрессоров, распространен на Советский Союз.

15 августа 1941 г. товарищу Сталину было передано личное послание президента Рузвельта и английского премьера Черчилля, принятое во время свидания Черчилля с Рузвельтом в Атлантическом океане\*. В этом послании Черчилль и Рузвельт предложили созвать в Москве совещание для обсуждения вопросов, связанных с распределением общих ресурсов демократических стран в соответствии с нуждами войны.

Конференция трех держав состоялась в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 г. В течение весьма короткого срока было достигнуто соглашение по всем интересующим СССР, Великобританию и США вопросам. Англию представляла делегация во главе с лордом Бивербруком, Америку — делегация во главе с Гарриманом. В работе конферен-

\* 14 августа 1941 г. Белый Дом (правительство США) опубликовал декларацию, подписанную Рузвельтом и Черчиллем после их встречи в Атлантическом океане (так называемую Атлантическую хартию). В этой декларации указывается, что США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям, что они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить. Они стремятся к восстановлению суверенных прав народов, ставших жертвами агрессии. Англия и США стремятся к полному сотрудничеству между всеми странами в экономической области. После окончательного уничтожения нацистской тирании должна быть обеспечена безопасность для всех стран и возможность для всех людей во всех странах жить, не зная ни страха, ни нужды. Будущий мир должен обеспечить свободу мореплавания. Все государства должны отказаться от применения силы. Впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей безопасности страны, зарекомендовавшие себя агрессорами, должны быть разоружены.

Советский Союз присоединился к декларации Рузвельта — Черчилля.

ции активное участие принимал товарищ Сталин. Конференция продемонстрировала полное единодушие и наличие тесного сотрудничества трех великих держав в общих усилиях по достижению победы над гитлеровской Германией. Дело оказания реальной военной помощи Советскому Союзу оружием, снаряжением, стратегическим сырьем и т. п. было поставлено на деловую ногу.

Сближение между СССР и США встречает исключительное сочувствие в народных массах обеих стран. Известно, что между этими странами никогда не было каких-либо серьезных территориальных или иных внешнеполитических противоречий. Народы этих стран связаны традиционными узами дружбы. Достаточно вспомнить позицию России в американской войне за независимость, поддержку, оказанную Россией Северным Штатам в гражданской войне против рабовладельческого Юга, дружеское послание Вильсона Всероссийскому Съезду Советов в 1918 г., позицию Америки в последний период интервенции на Дальнем Востоке и ее противодействие захватническому плану Японии.

Сближение между СССР и Америкой в ходе советско-германской войны сопровождалось общей внешнеполитической активизацией Америки. 8 июля 1941 г. американские войска высадились в Исландии, и здесь были устроены базы для американского флота и авиации. Вооруженные силы Америки приблизились к европейскому театру войны. 16 сентября, после многочисленных нападений германских подводных лодок на американские корабли, Рузвельт издал приказ: стрелять без предупреждения по появляющимся в Атлантическом океане подводным и надводным рейдерам держав оси. 18 ноября 1941 г. был отменен американский закон о нейтралитете, т.-е. американские корабли получили возможность заходить в порты воюющих стран. По образному выражению Черчилля, Америка с возрастающим гневом подходила к самой грани войны.

Фашистская дипломатия полностью обанкротилась в советско-германской

войне. Начав войну против СССР, гитлеровская клика, как уже указывалось выше, заявила, что никакое соглашение между Англией и СССР невозможно. Она надеялась, что, прежде чем закончатся переговоры, Восточный фронт будет ликвидирован. Но Восточный фронт существовал, переговоры завершились быстро и успешно. Когда между Англией и СССР был заключен союз, фашистские пропагандисты попросту объявили его несуществующим: «Если факты против, тем хуже для фактов». Они продолжали твердить, как попугаи, что, прежде чем союз вступит в действие, не будет существовать ни Восточного фронта, ни России. Так писала 20 июля «Фелькшер Beobachter». 17 августа 1941 г. Гайда в связи с намеченной конференцией трех держав писал: «Война окончится в ближайшие дни — это будет ответ оси на предполагающуюся конференцию Англии, США и России». Но союз вступил в действие, Московская конференция состоялась, немецко-фашистская армия изматывалась и истекала кровью на советско-германском фронте. Фашистские пропагандисты начали утверждать, что никакая помощь не дойдет до СССР, так как все пути — морские, сухопутные и воздушные — якобы блокированы Германией. Однако эти пути оказались свободными. Более того, открылись новые пути связи между Англией и Америкой, с одной стороны, и СССР, с другой.

Конец 1941 г. — начало 1942 г. ознаменовались дальнейшим укреплением и консолидацией коалиции демократических держав. 3—4 декабря в Москве происходили переговоры между товарищем Сталиным и товарищем Молотовым, с одной стороны, и посетившим Советский Союз председателем совета министров Польской республики генералом Вл. Сикорским, с другой стороны. В результате этих переговоров товарищем Сталиным и генералом Сикорским была подписана декларация о дружбе и взаимопомощи.

Новым и важным шагом в деле консолидации сил антигитлеровской коалиции явилось посещение Москвы министром иностранных дел Великобритании

Антони Иденом и его беседы с товарищем Сталиным и товарищем Молотовым по вопросам, касающимся ведения войны и послевоенной организации мира и безопасности в Европе. Опубликованное 29 декабря 1941 г. в результате этих бесед коммюнике между прочим указывает:

«Беседы, происходившие в дружественной атмосфере, констатировали единство взглядов обеих сторон на вопросы, касающиеся ведения войны, в особенности на необходимость полного разгрома гитлеровской Германии и принятия после того мер, которые сделали бы повторение Германией агрессии в будущем совершенно невозможным. Обмен мнений по вопросам послевоенной организации мира и безопасности дал много важного и полезного материала, который в дальнейшем облегчит возможность разработки конкретных предложений в этой области. Обе стороны уверены, что московские беседы знаменуют собой новый и важный шаг вперед в деле дальнейшего сближения СССР и Великобритании».

Двадцать шесть демократических государств 1 января 1942 г. в Белом Доме в Вашингтоне подписали декларацию борьбы до полной победы против диких и зверских сил агрессии, стремящихся покорить мир. Каждое из подписавших декларацию государств обязалось использовать все свои ресурсы против тех членов Тройственного пакта, с которыми оно находится в войне, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. Декларацию подписали США, Великобритания, СССР, Китай, Австралия, Бельгия, Индия, Канада, Коста-Рика, Куба, Люксембург, Чехословакия, Доминиканская республика, Эль-Сальвадор, Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Голландия, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Польша, Южно-Африканский союз и Югославия (14 июня 1942 г. к этой декларации присоединились Мексика и Филиппины).

Могущественная коалиция демократических держав, возглавляемая Советским Союзом, Великобританией и США, обладает огромным перевесом в материальных силах по сравнению с фашистским блоком агрессоров.

Антифашистская коалиция обладает громадным политическим перевесом над фашистским блоком агрессоров, ибо она ведет справедливую освободительную войну, в то время как агрессоры ведут реакционнейшую, несправедливую, захватническую, разбойничью войну. Значение этого факта чем дальше, тем сильнее будет сказываться в ходе войны.

Блок фашистских агрессоров в Европе раздираем внутренними противоречиями. Некоторые участники фашистской пайки прельстились надеждами на легкую добычу. Некоторые силком загнаны Гитлером в фашистский блок. В экономическом отношении европейские вассалы Гитлера мало чем могут облегчить положение Германии, а некоторые из них, например, Италия, фактически перешли на военно-экономическое иждивение берлинского хозяина.

В конце ноября 1941 г. немцы организовали большой дипломатический балаган в Берлине. 25 ноября 1941 г. был подписан протокол о продлении и расширении «антикоминтерновского пакта 1936 г.» с участием 13 государств: Германии, Японии, Италии, Венгрии, Испании, Манчжоуго, Болгарии, Дании, Финляндии, Хорватии, Румынии, Словакии и «правительства» Ван Цзин-вэй. Первые три государства считаются основателями пакта, Венгрия, Испания и Манчжоуго присоединились к пакту в 1939 г., последние семь присоединились к пакту во время берлинской комедии 25 ноября 1941 г. Но берлинская комедия явно провалилась. Во-первых, она была задумана в ожидании захвата Москвы немецкими войсками — декорация и фон были бы тогда совсем другими. Во-вторых, получилась явная разногласица — немецко-фашистские лидеры, объявив коммунизм почти уничтоженным на Восточном фронте, обрушили огонь против Англии и Америки и выдвинули в качестве центральной задачи создание «европейского фронта против англо-саксонского мира». Получился большой конфуз, особенно среди тех государств, которые участвовали в берлинском представлении, так сказать, в добровольно-принудительном порядке.

Фашистская дипломатия пытается создать видимость «общего фронта Европы», направленного против Советского Союза и против «чуждого Европе» англо-саксонского мира. Однако ее попытки в этом направлении потерпели жалкое фиаско. Европа воюет против Гитлера, народы и законные правительства оккупированных Германией стран участвуют в священной войне против иноземных гитлеровских захватчиков. На стороне Гитлера — лишь подонки общества, презренная кучка продажных фашистских агентов, квислингов всех мастей.

Вступление Японии в войну 7 декабря 1941 г. неизмеримо расширило масштабы второй мировой войны. Ареной войны стали буквально все континенты и океаны. В экономическом отношении Япония не может идти ни в какое сравнение с ее противниками. Ее промышленная продукция меньше американской в 10 раз, добыча угля — в 8 раз, выплавка стали — в 13 раз, добыча нефти — в 35 раз, производство машин — в 70 раз, производство самолетов — в 6—7 раз, производство автомобилей — в 300 раз и т. д. Однако к началу войны конкретное соотношение военных сил на тихоокеанском плацдарме было выгодным для Японии, и за ней было обеспечено преимущество первых успехов. Англия, Америка и Голландская Индия имели к этому времени около 2 тысяч самолетов на Тихом океане, Япония выделила 4 тысячи самолетов на Тихом океане из 6 тысяч (по данным «Форрест Рипортс» от 1 января 1942 г.). Сухопутные силы союзников составляли к этому времени 300 тысяч человек, в то время как Япония имела возможность выделить по крайней мере вдвое больше. Что касается военно-морского флота, то хотя силы Японии и не превышали значительно сил союзников на тихоокеанском плацдарме, однако они обладали большим стратегическим преимуществом — многочисленными и близко расположенными базами. Используя также преимущество внезапного удара, Япония в первый день войны вывела из строя четыре линейных корабля союзников и этим закрепила свое господство в западной части Тихого океана.

Япония в течение короткого времени добилась значительных успехов. Она использовала при этом не только военные, но и политические ошибки своих противников: неспособность местного командования и властей использовать выгодную обстановку справедливой войны против агрессоров, неумение мобилизовать массы туземного населения против агрессии, отсутствие бдительности в отношении шпионской агентуры противника, неумение дать достаточный и своевременный отпор демагогической пропаганде противника.

Однако успехи Японии носят временный и весьма непрочный характер. Соотношение сил меняется не в пользу Японии. Мобилизация военных ресурсов и рост вооруженных сил США и Британской империи после нападения Японии резко убыстрились. Хотя для Англии и Америки главным фронтом войны является не Тихий океан, а Европа, однако быстрый рост вооруженных сил этих стран дает возможность выделять более значительные силы и против Японии. Вот почему перспективы войны на Тихом океане весьма неблагоприятны для Японии, несмотря на ее первые военные успехи.

Нет никакого сомнения, что выступление Японии было весьма на-руку гитлеровскому империализму. Однако германским расчетам, связанным с японским выступлением, явно не суждено было оправдаться. Немецкий нажим на Японию с тем, чтобы вовлечь последнюю в войну, был осуществлен в момент германского наступления на Москву в октябре—ноябре 1941 г. и был органически связан с этим наступлением. Можно привести бесчисленные свидетельства германской и японской печати, подтверждающей этот факт. Решение о вступлении Японии в войну и заключение военного союза между Японией, Германией и Италией (опубликованного 11 декабря 1941 г.) было принято сразу после прихода к власти правительства Тодзио, как-раз в октябре, когда немецко-фашистские армии пытались осуществить план окружения и захвата Москвы. Немцы надеялись, что Япония окажет им немедленную помощь в критический момент наступления на

Москву или что отвлечение англо-американских сил на Тихом океане и ослабление англо-американской помощи Советскому Союзу окажут решающее воздействие на советско-германский фронт. И в том и в другом варианте фашисты просчитались.

Вступление Америки в войну явилось одним из самых крупных международных событий последнего времени, определяющих расстановку сил на мировой арене и резко усиливающих антигитлеровский фронт. Характерно, что фашистская Германия вкупе с Италией и другими вассалами 11 декабря 1941 г. объявили войну Америке. В течение многих месяцев фашистская пропаганда злобно и истерично обрушивалась на Рузвельта, обвиняя его в том, что он намерен втянуть свою страну в войну против Германии через «черный ход» Тихого океана: война с Германией, мол, не популярна в Америке, война же с Японией популярна и Рузвельт воспользуется тем или иным фактом японской агрессии, чтобы заодно полностью включиться в антигитлеровскую коалицию. Однако неуклюжая германская дипломатия, если пользоваться ее собственными оценками и формулировками, не только оставила открытым «черный ход», но раскрыла для Белого Дома «парадный ход», сама втянув Америку в войну против Германии. Объявление Гитлером войны Америке войдет в историю как показатель исключительной близорукости и растерянности фашистской клики, потерявшей голову после первых неудач и поражений в войне против СССР.

Гитлеровская дипломатия была уверена в том, что с вступлением Японии в войну против США и Англии, она добьется того, что все англо-американские силы будут отвлечены на Дальний Восток и будет приостановлено оказание помощи Советскому Союзу. Получилось наоборот. «Действия Японии в Пирл-Харбор, — заявил Рузвельт в своем послании конгрессу 6 января 1942 г., — имели целью оглушить и запугать нас настолько, чтобы заставить нас направить все наши промышленные и военные ресурсы на ведение войны на Тихом океане или даже для обороны собственного

континента. Этот план не достиг своей цели. Мы не были оглушены, и нас не удалось запугать, и мы не впали в панику».

Через несколько недель после японского нападения на Пирл-Харбор первые контингенты американских войск 26

января 1942 г. высадились на Британских островах. Выступление Японии на Тихом океане ускорило появление американских войск в Европе. Гитлер вызвал духов, с которыми он не сможет справиться.

### 3. РАССТАНОВКА СИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ПОСЛЕ ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Прошел первый год Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Год войны — это уже само по себе звучит похоронным звоном для гитлеровской клики, собиравшейся завершить войну в течение нескольких недель. Главное, что характеризует положение на международной арене после года войны, заключается как-раз в том, что соотношение сил изменилось в пользу Советского Союза.

«Таким образом, год военных действий на советско-германском фронте обнаружил полный провал политических планов германского империализма — расчетов на военно-политическую изоляцию СССР и непрочность советского тыла. В результате года войны укрепилось боевое содружество СССР, Великобритании и США, укрепился тыл Красной Армии, укрепился союз рабочих, крестьян и интеллигенции, укрепилась дружба народов СССР». (Из сообщения Совинформбюро «Политические и военные итоги года отечественной войны».)

Военные итоги года войны неумолимо свидетельствуют, что в ходе советско-германской войны силы Германии непрестанно уменьшаются, а силы Советского Союза и дружественных, союзных с ним государств неуклонно возрастают.

Ослаблен германский тыл. Под ударами Красной Армии тают экономические ресурсы Германии, в особенности ее людские ресурсы. Нехватка людей принимает в Германии все более острый характер.

За четыре года и четыре месяца первой мировой войны Германия моби-

лизовала в армию почти 20 процентов своего населения — 13,5 миллиона человек, причем численность ее действующей армии не превышала 5 миллионов. Для нынешней Германии 20 процентов означают примерно 16 миллионов человек. Если исходить из численности действующей армии в 8 миллионов и если учесть, что в нынешней войне большое число военных отвлечено для обороны тыла (например, в Англии действующая армия — 2,5 миллиона, а отряды внутренней обороны — 1,5 миллиона), если прибавить сюда несколько миллионов потерь, то мы убедимся, что людские ресурсы составляют слабейшее место в германской военной машине. Расчеты показывают, что уже в ближайшее время Германия не будет иметь возможности полностью покрывать новыми мобилизациями свои огромные потери на советско-германском фронте, как ей это удавалось до сих пор.

Для того, чтобы пополнять свои огромные потери на Востоке и не сокращать общей численности армии, Гитлеру пришлось к весне — лету 1942 г. изъять большое число рабочих из военной промышленности. Но это грозит неизбежным снижением военной продукции. Насильно пригнанные иностранцы (Германия стала теперь гигантским невольничьим рынком) не заменят отправленных на фронт квалифицированных рабочих. Людские резервы Германии на исходе.

Проблема нефти становится все острее. Недаром гитлеровских вояк, как магнит, притягивает кавказская нефть, и они, как ошалелые, рвутся на юг, истекая кровью и не останавливаясь ни перед какими потерями на Южном и Юго-

Западном фронте. Накопленные ими запасы и награбленные во время западного похода ресурсы горючего иссякают. Советский Союз производит в несколько раз больше нефти, чем Германия; Америка производит в 18 раз больше Германии — и то, развернув военное производство, США вынуждены были резко ограничить гражданское потребление горючего. На исключительные трудности наталкивается Германия в области обеспечения потребностей в смазочных маслах.

Блокада оказывает все более удушающее действие на экономику гитлеровской Германии. Особенно плохо обстоит дело с снабжением германской военной промышленности хлопком, шерстью, медью, оловом, вольфрамом, никелем, молибденом. Неспособность снабдить армию зимним обмундированием уже стоила немцам 200—300 тысяч замерзших на советско-германском фронте.

Вот уже третий год германский народ сидит на голодном пайке. К весне 1942 г. Гитлер вместо обещанного в свое время улучшения продовольственного положения произвел новое снижение продовольственных норм в Германии. Хлеба выдают там теперь 285 граммов в день на человека.

Выдача остальных продуктов питания сокращена на 20—25 проц. В своей речи, произнесенной 20 мая, Геринг объявил о новом сокращении продовольственного снабжения. Костлявая рука голода начинает душить трудящихся Германии.

Транспорт, оборудование которого не возобновлялось уже несколько лет, находится в состоянии прогрессирующего расстройств. Недаром так много кричат фашистские лидеры о необходимости не допускать развала транспорта.

Фашистская газета «Национал-Цейтунг» (орган Геринга) недавно писала: «Железнодорожный транспорт становится препятствием не только в области снабжения населения, но и в деле обеспечения армии снабжением».

Военная разруха все больше дает себя чувствовать во всех отраслях германской экономики. Общее сокращение производства грозит перекинуться и на про-

изводство вооружений. События, разгравшиеся в Германии в апреле — мае 1942 г., ярко свидетельствуют о трудностях германской военной экономики. Отстранение от руководства Дарре, министра продовольствия и сельского хозяйства, видного фашистского лидера, демонстрирует провал продовольственной политики Германии. Отставка заместителя министра путей сообщения Клейнмана, тоже одного из старейших главарей фашистской клики, вызвана углублением разрухи на транспорте. Угроза сокращения производства вооружения принудила фашистское правительство прибегнуть к экстренным мерам по реорганизации всего управления промышленности. При министре вооружения и боеприпасов создан специальный комитет по вооружению, к которому перейдет все руководство германской тяжелой промышленностью. В состав комитета входят: Бюхер, Рехлинг, Феглер, Цангин, Пенсен и другие. Эта реорганизация призвана, во-первых, содействовать осуществлению программы мобилизации последних ресурсов и резервов для того, чтобы не допустить снижения военной продукции; во-вторых, осуществить новый зверский нажим на трудящихся Германии по линии повышения интенсивности труда и сокращения потребления; в-третьих, продемонстрировать «единение государства и промышленности» перед лицом грозящей катастрофы. Гитлеровская клика полностью передала управление германским хозяйством в руки виднейших плутократов — промышленных и финансовых королей, чтобы попытаться перестроить экономику в соответствии с требованиями затянувшейся войны.

Геббельс в своей статье 24 мая 1942 г. вынужден был признать: «Мы не строим себе иллюзии, мы считаемся с непреложностью таких фактов, что если, например, нужно строить транспортные суда, то это может происходить за счет сокращения программы строительства военных кораблей, или если на данном отрезке времени нужно увеличить производство танков, то это может быть достигнуто лишь за счет сокращения производства самолетов».



Получается тришкин кафтан; хотя германский тыл еще снабжает армию всем необходимым для разбойничьих походов и наступлений.

Перед лицом усиливающейся экономической разрухи, бесперспективности войны и нарастающего сознания неизбежности поражения в Германии резко обостряются все внутренние противоречия. Отсюда усиленная борьба между фашистской партией и германским генералитетом, обострение противоречий между фашизмом и определенными группировками промышленников, бурный рост католической оппозиции и т. д. И самое главное — начинает сказываться недовольство и возмущение против фашистских зачинщиков войны, стремление смыть с себя позорное пятно гитлеризма. В последних речах фашистских главарей случайно обращено внимание на борьбу с «нарушителями внутреннего фронта» и не зря Гитлер 26 апреля созвал свой марionеточный рейхстаг для того, чтобы потребовать «чрезвычайных полномочий» для расправы с «нарушителями дисциплины», с мягкотелыми судьями, со всеми «опасными» элементами.

Перелом на фронте отечественной войны и изменение в соотношении сил, происшедшие к весне — лету 1942 г., не могли не иметь далеко идущих внешнеполитических результатов. Разоблачение мифа о непобедимости германской армии приводит к дискредитации фашистской Германии и к ослаблению ее международных позиций. В этом нет ничего удивительного, ибо международная политика Гитлера основывалась на грубой силе, на культе бронированного кулака и военного разбоя.

Как немецкие фашисты вербовали союзников? В первую очередь тем, что запугивали те или иные страны угрозой своей агрессии, убеждали в «неизбежности» германской победы, ставили перед выбором: стать жертвой разбоя или его соучастником. Когда Муссолини, включившись в ось Берлин—Рим, вынужден был в 1938 г. впервые вкусить горечь своего союза с Гитлером — захват Австрии, проведенный немецкими фашистами даже без согласования с

Муссолини, последний произнес довольно откровенную речь. Он намекнул, что это весьма неприятная история, но что Италия стояла перед дилеммой — идти ли против течения, для чего у нее было мало сил, или плыть по течению вместе с Германией. Шакал, конечно, предпочел победать вслед за крупным хищником.

Но вот Красная Армия впервые практически доказала, что миф о непобедимости германской армии — это наглая выдумка фашистской пропаганды. Германия очутилась перед большими внешнеполитическими трудностями.

Фашистская Германия в свое время считала ниже своего достоинства прибегать к военной помощи своих союзников вассалов. Одним из руководящих принципов «нового порядка в Европе» она провозгласила следующее «разделение труда»: немцы — это «раса господ» и «раса воинов», военным ремеслом занимаются только они, остальным народам Европы остается лишь под сенью немецких штыков, не покладая рук, работать на Германию. Предпринимая поход против СССР и не надеясь только на собственные силы, Гитлер впервые прибег к военной помощи своих вассалов, бросив в мясорубку войны армии Румынии и Финляндии, экспедиционные части итальянцев и венгерцев. Огромные потери на советско-германском фронте побуждают Гитлера требовать от вассалов все больше и больше пополнений на фронт. Фашистский Шейлок требует фунта мяса. Чем интенсивнее идет процесс истощения людских ресурсов в Германии, тем больше усиливается зависимость Гитлера от его вассалов. В то же время, поскольку германская армия увязла на советско-германском фронте, возможности военного давления Германии на вассалов уменьшились. Это и приводит к расшатыванию фашистского блока, к непрерывным склокам и смутам среди этой шайки разбойников, обольстившихся надеждой на легкую и безопасную добычу.

Ослабление политического тыла Германии непосредственно влечет за собой еще более интенсивное расшатывание

политического тыла вассальных стран. Недовольство народов бессмысленной войной против СССР, ненависть к фашистским кликам, вовлекшим эти страны в войну, помножаются на лютую ненависть к злейшему врагу европейских народов — к гитлеровской Германии, к чудовищу Гитлеру, к иноземным оккупантам, немецким офицерам, чиновникам и гестаповцам, которые нагло хозяйничают в вассальных странах и обдирают их, как липку. Один английский политический деятель охарактеризовал настроения народов вассальных стран в следующей парадоксальной форме: «Ненависть и возмущение, которые Германия вызывает у своих противников, — сказал он, — ничто по сравнению с ненавистью, которую она вызывает у своих друзей». В Италии, например, широко распространена поговорка: «Если мы проиграем войну — это не так страшно, но если мы ее выиграем — мы проиграем все».

Италия пытается использовать военное ослабление Германии для расширения своей маневренной способности. Как только Гитлер увяз на советско-германском фронте, Италия поспешила ввести свои войска в Хорватию, закрепиться на Далматском побережье, фактически поставить Гитлера перед совершившимся фактом. Точно так же Италия пытается кое-где создать для себя самостоятельные позиции стратегического и внутривнутриполитического порядка в Дунайском бассейне и на Балканах. С этими попытками в известной мере связано и обострение в последнее время венгеро-румынских противоречий. После «военного арбитража» (30 августа 1940 г.), которым Трансильвания была разделена на две части, Гитлер использовал венгеро-румынские противоречия, чтобы поочередно шантажировать и Венгрию, и Румынию, и обоих держать в узде. Теперь эти противоречия зачастую начинают выходить за рамки германского контроля. Отставка венгерского министра иностранных дел Бардоши — верного лакея Гитлера, — последовавшая в марте 1942 г., свидетельствовала о том, что правящие круги Венгрии используют ослабление Германии для то-

го, чтобы расширить свои маневренные возможности хотя бы внутри страны и что они опираются в этом на Италию. С этим связаны и концепции венгеро-болгарского союза. С другой стороны, Румыния, заплатившая Гитлеру наиболее обильный налог кровью, и опирающаяся на Берлин, разворачивает бешеную антивенгерскую кампанию за возвращение Северной Трансильвании.

Ослабление Германии усиливает растерянность и тревогу в вассальных странах. Кое-где (например, в Финляндии) открыто раздаются голоса, призывающие, пока не поздно, соскочить с немецко-фашистской колесницы, неужержимо мчащейся в пропасть. Правящие клики — агенты Гитлера — вынуждены открыто полемизировать с этими «носителями пораженческих тенденций».

В последнее время Германия, обеспокоенная падением дисциплины и явлениями разложения среди вассалов, проявляет исключительную нервозность. Отсюда многочисленные свидания, поездки и встречи фашистских лидеров: два свидания Гитлера с Муссолини (первое — в конце августа 1941 г., второе — в конце апреля 1942 г.), поездка Риббентропа в Венгрию, поездка Антонеску в Берлин весной 1942 г., поездка болгарского царя Бориса в Берлин, визит Гитлера к Маннергейму и т. д. Главный вопрос, который обсуждался во время всех этих переговоров, — вопрос о посылке новых пополнений на советско-германский фронт.

Турецкая газета «Ля републик» от 9 февраля 1942 г. сообщила о докладной записке, посланной Муссолини командующим итальянским экспедиционным корпусом на советско-германском фронте генералом Месселем. Мессель высказывается за отозвание итальянских войск с Востока, так как половина людей уже погибла, среди оставшихся много больных и раненых, большая часть которых умирает из-за отсутствия медицинского обслуживания. Румынская армия, участвующая в войне против СССР, потеряла 40 проц. своего состава. Не меньше этого потеряла Финляндия. Словацкие части, брошенные на совет-

ско-германский фронт, пришлось отозвать ввиду начавшегося среди них разложения.

Иностранцы, бывавшие в последнее время в Италии, передают о бурном росте антивоенных настроений в стране. Об этом можно узнать и из фашистской прессы, которая полемизирует с открытыми и скрытыми «пораженцами», которая публикует сведения о политических процессах противников войны, о жестоких приговорах, выносимых за «пораженческую пропаганду». Во время последнего свидания с Гитлером Муссолини, повидимому, заручился поддержкой Гитлера в своей кампании за отторжение Ниццы, Савойи и Корсики и взамен обещал активизировать участие Италии в войне против СССР, а также оказать соответствующее давление и на Венгрию. Вот почему в Италии проводится в последнее время такая жестокая кампания против «внутренних врагов», против пораженцев, повидимому, развертывающих деятельность даже в рядах фашистской партии. С этим и связано решение об очистке фашистской партии от «недостойных элементов», принятое на экстренном заседании директории партии в конце мая 1942 г. Изголодавшееся и измученное население Италии Муссолини в своих последних выступлениях «радует» перспективой новой тяжелой военной зимы, к которой надо подготовиться. В порядке подготовки проводится сбор шерстяных и теплых вещей, подушек, одеял, матрацев. Немецко-фашистской прессе хватает еще наглости издеваться над своими незадачливыми союзниками. «Дейче Цейтунг ин Нидерланден» острит: «В Италии худеют не только люди, но и матрацы. Матрацы похудели до неузнаваемости, ибо итальянские власти запускают в них руку уже второй или третий раз». Другая газета «Дейче Альгемейне Цейтунг» пишет по этому же поводу: «Знамя фашистской Италии развеивается над ослами, впряженными в тележки, разъезжающие по городам и деревням в поисках шерсти».

Страх перед собственным народом мешал до сих пор болгарским правителям посылать свои войска на советско-

германский фронт и принять участие в войне. Антисоветская политика вызывает ожесточенное противодействие всех болгарских патриотов. Симпатии к СССР исключительно велики. В последнее время болгарские власти производят кровавую расправу с болгарскими патриотами, в частности арестовываются многие офицеры и солдаты, над ними инсценируются суды или их попросту тайно расстреливают. Активизация антигитлеровской борьбы народов вассальных стран за последние месяцы находит свое выражение в том, что в этих странах начинают применяться методы партизанской войны против гитлеровцев, устраиваются поджоги, крушения воинских эшелонов и т. д. Запугивая вассалов угрозой поражения, Гитлеру все же удалось добиться увеличения контингентов вассальных войск на советско-германском фронте к лету 1942 г.

Что касается дальневосточного союзника Германии, то возможности германского военного или экономического давления на Японию в нынешних условиях равны нулю, но Германия может оказывать на Японию дипломатическое давление. Японо-германские противоречия являются весьма существенным фактором, который может сказаться в определенной обстановке. Мы дальше покажем, что и в настоящее время эти противоречия дают себя знать в дипломатической области. Но в настоящее время Япония и Германия тесно связаны узлами совместного участия в агрессивной войне. Успехи Японии были бы немислимы, если бы главные силы Англии и Америки не были отвлечены на других театрах войны. С другой стороны, международное положение Германии было бы в настоящее время значительно хуже, если бы Япония не отвлекла английских и американских сил на Дальний Восток и Тихий океан и если бы германский фашизм пропагандистски не использовал бы японских успехов на внутриполитической и внешнеполитической арене.

Германия — руководящая сила в блоке агрессоров — еще обладает мощной армией и способна к наступлениям, но она уже прошла через зенит своей военной си-

лы. Италия, по существу, уже напоминает побежденную страну: она потеряла не менее полумиллиона солдат и офицеров, главным образом пленными, она потеряла значительную часть своего морского флота, а боевая активность оставшегося у нее флота в значительной степени лимитируется недостатком горючего. Она очутилась на иждивении у Германии в отношении угля и ряда других абсолютно необходимых ей материалов. Что касается Японии, то трудно сказать, наступил ли уже перелом в ходе тихоокеанской войны. Но несомненно, что этот перелом приближается. Дальнейшее наступление Японии связано с несравненно большими трудностями, чем предыдущие операции. Австралия и Индия — ближайшие объекты японского наступления — обладают большими военными и экономическими ресурсами. Непрерывно накапливаются военные силы Англии и особенно Америки на Дальнем Востоке, в частности военно-воздушные силы, перехватывающие инициативу у противника. Япония понесла большие потери в морском сражении в Коралловом море (в мае 1942 г.) и у Мидуэя в начале июня. За время войны Япония потеряла уже значительную часть своего флота (около 300 кораблей, в том числе 1 линкор, 4 авианосца, 18 крейсеров), а возобновлять потерянное ей значительно труднее, чем демократическим державам. Японские коммуникации и фронты чрезвычайно растянулись, что не может не влиять на ход дальнейших операций.

Что касается германских расчетов, связанных с вступлением Японии в войну, то уже первые полгода этой войны полностью подтвердили чисто тактический, кратковременный характер тех выгод, которые получила Германия. Резкая активизация военных усилий Америки — результат вступления Японии в войну — является фактором, непрерывно ухудшающим военное и международное положение Германии. Разумеется, Германия не считает, что она уже выжала из союза с Японией все, что можно выжать. Она оказывает всяческое давление на авантюристические антисоветские круги японской военщины, пытается

спровоцировать новые конфликты и вовлечь Японию в самоубийственную войну на два, вернее на три фронта.

Советский Союз основывает свои взаимоотношения с Японией на пакте о нейтралитете. В статье, посвященной годовщине этого пакта, «Правда» 13 апреля 1942 г. писала:

«Для того, чтобы пакт о нейтралитете и дальше существовал, необходимо со стороны Японии такое же отношение к договорам, какое проявляет к ним Советский Союз. Необходимо строго и неуклонно выполнять подписанные договоры и взятые на себя обязательства, не оставляя неурегулированными решенные вопросы. Необходимо, чтобы японские военно-фашистские клики, у которых голова кружится от военных успехов, поняли, что их болтовня о захватнической войне на севере может нанести ущерб прежде всего и больше всего самой Японии. Если японская сторона будет строго соблюдать взятые на себя обязательства, то и в настоящей сложной и ответственной международной обстановке советско-японский пакт о нейтралитете сохранит свое значение для народов обеих стран».

Фашистская Германия всячески старается замутить воду и в нейтральных странах, которых немного уже осталось на европейской и на мировой карте. Все страны Западного полушария так или иначе включились в фронт борьбы против агрессоров\*, за исключением Аргентины, на территории которой агенты «оси» имеют еще возможность вести довольно активную подрывную работу. В Аргентине происходит ожесточенная борьба между прогрессивными силами страны — народными массами, с одной стороны, и профашистскими элементами — с другой, поощряемыми и о. президента Кастильо.

В Европе и Азии нейтральными странами остались Швеция, Швейцария, Испания, Португалия и Турция. Все эти страны сумели до сих пор сохра-

\* Исключительно большое значение для всего Западного полушария имело объявление Мексикой войны державам осей 2 июня 1942 г.

нить свой нейтралитет лишь потому, что вооруженные силы фашистской Германии прикованы к советско-германскому фронту. Во всех этих странах германский фашизм старается развернуть активную подрывную работу, широко используя излюбленное оружие — ложь и провокацию. Франкистская Испания тесно примыкает к фашистскому блоку. Испанская «Голубая дивизия», собранная с бору да с сосенки, из уголовных преступников и тому подобных элементов, была разгромлена на советско-германском фронте. В Испании мало находится охотников отправляться на войну против СССР, чтобы сложить голову за Гитлера. Зато генерал Франко торжественно обещает послать чуть ли не миллион человек на защиту... Берлина.

Особую активность немецко-фашистская агентура проявляет в Турции. Известно из документов, опубликованных советским правительством в конце июля 1941 г. (эти документы были захвачены при разгроме 15 июля немецкого химического полка), что фашистская Германия готовит нападение на Турцию. Турецкий нейтралитет не дает покоя гитлеровской клике. О своем нейтралитете в советско-германской войне Турция объявила в самом начале войны. Турция связана договором о взаимной помощи с Англией, заключенным предварительным 12 мая 1939 г. и окончательным — 19 октября 1939 г., Турция декларирует свою верность этому договору. 18 июня 1941 г. Турция заключила договор о дружбе с Германией. Она декларирует верность также и этому договору. Она получает военную помощь из Англии и Америки. 3 декабря 1941 г. Рузвельт распространил на Турцию действие закона о передаче взаимы или в аренду вооружения. Значительное количество вооружений и промышленного оборудования прибывает в Турцию из Англии. Так, например, в феврале англичане передали Турции всминец, построенный для Турции на английских верфях. В то же время, по сведениям иностранной прессы, Турция размещает военные заказы и в Германии. В конце мая 1942 г. Турция заключила с Германией новое торговое соглашение, пре-

дусматривающее поставки германского вооружения для Турции.

Германские фашисты не останавливаются ни перед какой гнусностью и ни перед каким преступлением для того, чтобы вести Турцию с пути нейтралитета, взорвать изнутри турецкую самостоятельность, вовлечь Турцию в орбиту своей политики, спровоцировать конфликты между Турцией и ее подлинными друзьями. Германская фашистская пресса старается прельстить Турцию участием в грабеже, обещая присоединение к Турции ряда британских и всяких иных территорий. Фашистские лидеры не перестают распространять лживые сообщения и фальшивки насчет проливов, хотя эти фальшивки уже полностью были разоблачены, а авторы их пригвождены к позорному столбу. Советский Союз и Великобритания 10 августа 1941 г. заявили турецкому правительству о том, что они готовы полностью уважать территориальную неприкосновенность Турции, соблюдать ее нейтралитет и готовы оказать Турции всякую помощь и содействие в случае, если бы она подверглась нападению со стороны какой-либо европейской державы. Германские фашисты с провокационной целью топят турецкие суда и приписывают потом эти действия советским подводным лодкам. Анкарский процесс о так называемом покушении на фон Папена тоже был делом рук германских фашистов.

Незачем говорить, что кровные, жизненные интересы народов нейтральных стран связаны с интересами коалиции демократических держав, борющихся за свободу, независимость, национальное существование народов всего мира, и что жизненным интересам этих стран непосредственно угрожает кровавый гитлеризм, отрицающий за малыми странами даже право на самостоятельное существование, стремящийся всех загнать в ярмо разбойничьего «нового порядка» и в предчувствии поражения старающийся потянуть с собой на дно как можно больше стран и народов.

Европейский тыл фашистской Германии становится все более и более непрочным. Усиление Красной Армии и

ослабление фашистской Германии вдохновляют народы оккупированных Германией стран на борьбу против гитлеризма. Западная Европа уже имеет долгий опыт фашистского «нового порядка», несущего разорение, голод, рабство и смерть народам.

Фашистские захватчики принесли с собой голод, разорение, опустошение. Они посадили Европу на голодный паек. Вот сколько хлеба получают под «немецким руководством» жители стран Западной Европы:

Дневные рационы хлеба в Европе  
(в граммах)

Германия . . . . .	285
Дания . . . . .	280
Норвегия . . . . .	232
Швеция . . . . .	260
Голландия . . . . .	280
Бельгия . . . . .	200
Франция . . . . .	200
Польша . . . . .	196
Греция . . . . .	180
Италия . . . . .	150
Финляндия . . . . .	150
Испания . . . . .	80

Тысячи людей умирают ежедневно от голода «в организованной» немцами Европе, особенно в Греции, Польше, Франции.

В своей речи, во время берлинского балагана, посвященного возобновлению и расширению «антикоминтерновского пакта», 25 ноября 1941 г. Риббентроп, касаясь взаимоотношений Германии с народами оккупированных стран, утверждал, что в Европе никогда не произойдет революции против германского господства. Чем же объяснял Риббентроп невозможность такой революции: умелым ли управлением немцев, выгодами ли «нового европейского порядка» для народов Европы? Отнюдь нет. Риббентроп указывал только на один фактор, мешающий революции: мотомеханизированные силы германской оккупационной армии. Он так и заявил: «В век моторов, танков и пикирующих бомбар-

дировщиков исключены восстания на территориях, где население разоружено\*».

Таким образом, немецкие фашисты сами признают, что они держатся только на штыках. Нужно ли лучшее свидетельство об их политической бедности.

Европа — вулкан, готовый взорваться и похоронить под собой кровавый режим гитлеровского фашизма.

Таково международное положение фашистской Германии, ее союзников и вассалов, окруженных ненавистью и презрением всех свободолюбивых народов мира, надеющихся на мощь и активность всех стран могущественной антигитлеровской коалиции.

Советский Союз — решающая сила в борьбе против гитлеризма. Война — великая проверка. Что было бы с нашей страной, если бы не проводившаяся под руководством товарища Сталина политика индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, неустанного укрепления обороны, беспощадного подавления агентуры фашизма, врагов народа всех мастей. Мудрое предвидение товарища Сталина обеспечило в последние годы такие сдвиги в географическом размещении промышленности, в результате которых на Урале, в Кузбассе, в восточных районах нашей родины создана могучая база тяжелой промышленности и военных производств. Несмотря на временную оккупацию некоторых наших промышленных областей немецко-фашистскими захватчиками, военно-промышленные ресурсы Советского Союза растут. Эвакуированными на восток заводами налажено производство оружия и боеприпасов. Советский тыл снабжает фронт все большим количеством техники, все лучшего качества. Советский Союз показывает поразительный пример великого патриотизма, творческого энтузиазма людей, сталинской дружбы между народами.

Как никогда, велик международный авторитет и влияние Советского Союза. Советско-германский фронт — решаю-

\* «Нее Цюрихер Цейтунг» 27 ноября 1941 г.

щий фронт борьбы свободолюбивых народов. Советский Союз возглавляет освободительную борьбу всего мира, он является величайшим фактором международной политики.

Исключительный рост международного веса Советского Союза и укрепление сил антигитлеровской коалиции основное, что определяет международную обстановку к годовщине отечественной войны.

Великобритания и США превратились в мощный военный фактор. Положение в этих странах характеризуется следующими моментами.

1. Военный потенциал этих стран превращается в реальную военную силу. Английский профессор Буллок в середине марта 1942 г., делая доклад о военных потенциалах воюющих стран, привел следующее соотношение, если Германию принять за 100: США — 200, Великобритания — 80, доминионы и Индия — 30, Германия — 100, Италия — 20, оккупированные Германией европейские страны — или находящиеся под ее контролем — 25, Япония 40. Таким образом общий потенциал «оси» составляет 185, потенциал США и Британской империи — 310. Если прибавить сюда Советский Союз, то мы увидим, что военный потенциал демократических держав значительно больше чем вдвое превосходит военный потенциал держав оси. Военный потенциал не является чем-либо стабильным. В странах оси происходит проедание народного богатства, разрушение основного капитала и т. д., т. е. уменьшение военного потенциала. В Англии, Америке и СССР идет строительство новых заводов, создаются новые сырьевые и продовольственные ресурсы, т. е. военный потенциал увеличивается. Но самое главное заключается именно в быстро происходящем процессе реализации военного потенциала демократических стран, наших союзников — Великобритании и США. Отставание в этом отношении на протяжении последних лет было важным моментом, в значительной мере определявшим расстановку сил на международной арене и на многих фронтах второй мировой войны.

2. Быстрый рост вооруженных сил и военных производств в Англии, доминионах и США изменяет соотношение сил между этими странами и их противниками. В течение долгого времени Германия обладала большим превосходством в воздухе по сравнению с Англией и Америкой. Она производила больше самолетов, чем все ее противники на Западе. К лету 1942 г. Великобритания и США производят значительно больше самолетов, чем все их противники, вместе взятые. Численность воздушных сил этих стран также значительно превосходит численность воздушных сил противников. Великобритания и США завоевывают господство в воздухе. По заявлению Форда (21 мая 1942 г.) антигитлеровская коалиция производит в настоящее время не менее 8 тысяч самолетов в месяц по сравнению с 4100, производимыми всеми державами оси. Уже к концу 1941 г. одна британская авиация, согласно заявлению Черчилля, по своей численности сравнялась с германской, превосходя ее значительно по своему качеству. В области военно-морских сил державы оси никак не могут равняться с Англией и США. По данным английского морского справочника «Джейнс Файтинг Шипс», Англия и США находятся в периоде беспрецедентного расцвета военно-морского строительства. В одной Америке строятся 17 линкоров, 6 из них уже спущены на воду, а два уже вступили в строй. В декабре заложен первый из шести линейных крейсеров. В Англии строятся 6 линкоров. Если исключить из этого числа уже вступившие в строй, то окажется, что в Англии и США в процессе строительства находятся 22 линкора, постройка многих из них близка к завершению. Эти масштабы военно-морского строительства обеспечивают сохранение господства демократических держав на морях и отвоевание тех морских плацдармов, на которых временно захватила господство Япония. Точно так же быстро растут сухопутные армии союзников, особенно Америки.

3. Политические сдвиги в Англии и

США происходят под знаком объединения всех прогрессивных сил, борющихся за скорейшую мобилизацию всех сил и ресурсов и за переход в наступление. Отсюда — явный упадок влияния прогитлеровских течений и группировок, рост влияния и консолидации всех прогрессивных сил, в частности передовых организаций рабочего класса, небывалый рост симпатий к Советскому Союзу и его Красной Армии.

Британские острова являются теперь боевым плацдармом для англо-американского наступления на западе. Английская военная промышленность дает сейчас богатую продукцию, причем высокого качества. Вступили и вступают в строй многочисленные военные заводы, строительство которых началось в 1939—1940 г. и позже, в том числе огромные подземные заводы. Весной 1942 г. английское правительство впервые позволило иностранным журналистам посетить некоторые из этих подземных заводов, построенных в расчете на германские воздушные бомбардировки. Они построены, главным образом, в заброшенных шахтах и рудниках, иногда тянутся на несколько километров, прекрасно оборудованы. По данным иностранной прессы, в Англии выпускается теперь 2200—2500 самолетов в месяц. О размахе английского авиапроизводства можно судить по тому, что в 1941 г. из Англии было вывезено около 10 тысяч самолетов (главным образом на другие британские фронты). Англия уже догнала Германию в области производства самолетов, в отношении же качества идет впереди Германии.

В отношении танков Англия начала с весьма малых величин. В январе 1942 г. производство танков было на уровне примерно 1200—1300 штук в месяц. В 1942 г. Англия осуществляет программу получения 30 тысяч танков, включая сюда и танки, поставляемые США и Канадой. На Англию придется, по видимому, 1500—1800 танков в месяц.

Англия в 1941 г. построила 480 военных кораблей. Она осуществляет в 1942 г. обширную программу морских вооружений.

На внутривосточной арене Великобритании также произошли значительные сдвиги. Огромную активность проявляют массы, в первую очередь рабочий класс. Мюнхенские, прогерманские, «умиротворительные» течения и группировки все больше теряют влияние. Разумеется, они не складываются в оружие. В связи с неудачами на Дальнем Востоке эти группировки открыли атаку на правительство Черчилля, обвиняя правительство в том, что оно, якобы увлеклось оказанием помощи СССР, слишком много внимания обращало на Европу, не перенесло центра тяжести военных приготовлений на Тихий океан. Однако эта вылазка мюнхенских элементов и попытка сбросить правительство Черчилля закончились для них плачевно, только подчеркнув их изоляцию. Перемены, которые произошли в английском правительстве в феврале — марте 1942 г., означали поражение этих элементов и укрепление позиций и руководящего влияния тех общественных слоев, которые понимают необходимость суровой и жестокой мобилизации всех ресурсов страны и империи для нужд войны, а также необходимость перехода к активной стратегии на фронте. Интересно отметить, что во время опросов, проводившихся в последнее время Институтом общественного мнения, более двух третей всех опрошенных высказываются за скорейший переход к наступлению и только одна десятая — за оборону. На дополнительных парламентских выборах, происшедших в последнее время, был обеспечен успех кандидатам, высказывавшимся за скорейший переход в наступление.

Вступление США в войну 7 декабря 1941 г. означало резкий перелом во всей жизни этой страны. Гитлеровские дурачки рассуждали так: Америка и без того является невоюющим союзником Англии, так что ее формальное вступление в войну не ухудшит дела для Германии. На деле же разница между «неформальным» и «формальным» состоянием войны оказалось решающей. Америка из «арсенала демократии», отдаленного от театров войны обширными океанами, превратилась в боевой ла-



герь, в крупнейшую военную силу антигитлеровской коалиции.

До своего вступления в войну Америка наталкивалась на большие трудности в деле развертывания вооружений, на сильную оппозицию внутри страны, особенно в промышленных кругах. Вот почему замедлялось осуществление больших программ Рузвельта. Промышленники неохотно шли на строительство новых предприятий для нужд войны, а еще менее охотно переводили старые предприятия на военные рельсы. Гражданское производство поглощало основную массу имеющихся в наличии ресурсов. Изоляционисты и «умиротворители» развертывали бешеную кампанию против мероприятий правительства и, имея связи в промышленных и банковских кругах, всячески тормозили осуществление программы вооружений.

Нападение на Пирл-Харбор было набатом, пробудившим всю Америку. Одним ударом в значительной мере были сняты рогатки, стоявшие на пути к осуществлению программы Рузвельта. Гражданское производство было резко сжато. Переход промышленности на военные рельсы осуществлен при помощи ряда жестких государственных мероприятий. И, когда грандиозный промышленный аппарат США переведен на военные рельсы, когда возможности противодействия со стороны тех или иных лиц и групп были сведены на-нет или во всяком случае сильно ограничены, сама инерция массового производства, сам гигантский масштаб американской промышленности дали свои плоды.

Германские фашисты до последнего времени упражнялись в своем тупом берлинском остроумии, издеваясь над «фантастичностью» рузвельтовской программы, над ее нереальностью и т. д. В начале войны Рузвельт, как известно, изменил свою «фантастическую» программу в сторону ее дальнейшего повышения. Согласно этой программе в 1942 г. должно быть построено 60 тысяч самолетов, в том числе 45 тысяч боевых; в 1943 г. — 125 тысяч самолетов; в том числе 100 тысяч боевых. Танков должно быть построено 45 тысяч в 1942 г. и в 1943 г. — 75 тысяч.

Зенитных орудий в 1942 г. — 20 тысяч и в 1943 г. — 35 тысяч; торговых судов в 1942 г. — 8 миллионов тонн и в 1943 г. — 10 миллионов тонн. И вот эта новая программа, которую немцы называли «сверхфантастической» и «архинереальной», не только выполняется, но и перевыполняется. Уже в апреле 1942 г. в США было выпущено 3300 самолетов, больше чем во всех странах оси. В июне 1942 г. производство самолетов шло на уровне 5.000 в месяц. Танков также было выпущено, по заявлению помощника военного министра Паттерсона, больше, чем во всех странах оси. В огромном масштабе развертывается производство артиллерийских орудий. По официальным данным, только на одном крупнейшем новом артиллерийском заводе будет производиться в скором времени больше орудий в месяц, чем Англия выпустила за всю войну. Начальник артиллерии американской армии генерал Уэссон в речи, произнесенной 18 мая, заявил, что американские танковые и авиационные заводы достигли таких масштабов производства, «которые удивят и приведут в ужас державы оси».

Надо отметить новый момент в осуществлении программы военного производства США. По сообщению «Нью-Йорк Геральд Трибюн», официальные руководящие круги отдали распоряжение произвести серьезный пересмотр программы военного производства, исходя из возможности добиться победы в войне в ближайшие 6—12 месяцев. Нельсон, назначенный после вступления США в войну главным руководителем по осуществлению программы вооружений, неоднократно подчеркивал задачу дать максимальное количество продукции именно в 1942 г. «Итти вперед сегодня, не дожидаясь завтрашнего дня» — этот лозунг, данный в речи государственного секретаря Халла 21 апреля 1942 г., начинает господствовать во всей американской жизни.

Очень быстро растут вооруженные силы Америки.

Поворот, происшедший в общественном мнении США, был настолько разителен, что многие изоляционисты, по-

няв свое заблуждение, отдали свои силы делу укрепления обороны, некоторые изоляционистские организации прекратили свою деятельность и т. д. Однако профашистские элементы не складывают оружия, они только изменили тактику, всячески стараются скрыть свои истинные цели и намерения, но продолжают вести подрывную работу в пользу держав оси. Теперь они стараются убедить общественное мнение, что главный враг это не Германия, а Япония, что Америке незачем вмешиваться в европейские дела, а надо сосредоточить усилия на отпоре Японии. Наконец, они ведут кампанию против оказания помощи Советскому Союзу.

События последнего года — нападение Германии на Советский Союз, нападение Японии на США и Англию — выбили почву из-под изоляционизма, разоблачили до конца отвратительную гитлеровскую агентуру в Америке. Скорейший переход в наступление против держав оси, — этого требуют массы, этого требуют многие руководители вооруженных сил, этого требуют все дальновидные и честные люди Америки. Примечательно, что республиканская партия 22 апреля 1942 г. тоже приняла резолюцию о необходимости перехода к наступательной стратегии.

Таким образом, мы видим, что все развитие в странах, являющихся союзниками СССР, — Англии и Америке, — шло под знаком приближения второго фронта на европейском континенте против гитлеровской Германии.

Объективные предпосылки к созданию второго фронта назрели:

1. Неудачи и потери Англии и Соединенных Штатов на тихоокеанском и средиземноморском театрах войны настоятельно выдвигают проблему перехвата инициативы у держав оси. В Англии и Америке отдают себе ясный отчет, что главный фронт — это Европа. Именно потому, что на Тихом океане или в Ливии трудно добиться быстрого перелома, надо скорее бить по главному врагу. После потери американцами Ба-

таанского полуострова Рузвельт получил телеграмму от конференции профсоюзов западного побережья следующего содержания: «На потерю Батаана нужно ответить сокрушительным наступлением, которое раздавит гадину в Берлине».

2. Изменилось соотношение сил между Англией и Америкой, с одной стороны, Германией, с другой стороны. Германия вообще ослабла, и девять десятых ее сил увязли на советско-германском фронте. Силы Англии и Америки быстро растут. «Нью-Йорк Таймс» поместил 23 марта 1941 г. карту Европы с нанесенными на ней данными о численности германских оккупационных войск на западе Европы. Тогда их насчитывалось 2,4 миллиона человек. 5 ноября 1941 г., по данным той же газеты, их было уже 1,5 миллиона. С того времени численность оккупационных войск уменьшилась, повидимому, еще больше, причем эти войска растянуты по всему побережью от крайнего севера до Бискайского залива. На Балканах к 23 марта 1941 г. насчитывалось 1 200 тысяч немецких войск (включая войска, сосредоточенные для вторжения на Балканы). 5 ноября 1941 г., по тем же данным, на Балканах было только 300 тысяч немецких войск, в настоящее время еще меньше. Англия и Америка для создания второго фронта обладают господством на море и господством в воздухе (ни того, ни другого не было у Германии в 1940—41 г.г., когда шла речь о возможности германского вторжения на Британские острова). Выросли вооруженные силы Англии. После Дюнкерка, по заявлению Идена, в Англии не было ни одной боеспособной дивизии. Из 2 тысяч артиллерийских орудий, которые Англия имела вообще, свыше 1 тысячи было оставлено на французском берегу. Уже к началу 1942 г. английская армия насчитывала 2,5 миллиона человек, американская — 3 миллиона. Создание второго фронта может быть осуществлено общими силами Англии, США и Канады. Они обладают для этого крупнейшими военными ресурсами, что видно из следующей таблицы:

## Вооруженные силы Англии, США и Канады

	Англия	Канада	США	Итого
Численность сухопутной армии . . . . .	2 500 000	500 000	3 000 000	6 000 000
Число самолетов в строю	12 000	2 000	12 000	26 000
Производство самолетов в месяц . . . . .	2 200	400	5 000	7 600
Число танков . . . . .	6 000	1 000	6 000	13 000
Производство танков в месяц . . . . .	1 300	300	1 500	3 100
Производство артиллерий в месяц . . . . .	3 000	500	4 000	7 500

Данные, приведенные в этой таблице, весьма приблизительны; они отстают от жизни, поскольку быстро растет производство вооружений, в особенности в Америке. Но и из этих данных видно, что для создания второго фронта может быть снаряжена мощная экспедиционная армия.

3. Политическое положение в оккупированных странах Европы значительно облегчает создание второго фронта в Европе. Выступления представителей ряда оккупированных Германией стран — генерала Сикорского, Пьера Кот, политических деятелей Чехословакии, Норвегии, Дании, Голландии — требуют скорейшего создания второго фронта, причем каждый из представителей прибрежных стран настаивает на том, чтобы второй фронт был создан в его стране, где для этого вполне подготовлена почва, где союзным войскам окажут мощную поддержку народные массы, где патриоты уже теперь разрабатывают подробные планы своего взаимодействия с войсками союзников.

4. Героическая борьба Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков значительно облегчает создание второго фронта. Во-первых, она приковывает германскую армию к востоку. Во-вторых, она уменьшает так называемый «риск». До сего времени главным доводом против создания второго фронта было то, что в случае неудачи Англия, понеся большие потери, не сможет защищаться против германского вторжения. Сейчас всем ясно, что Красная Армия «всерьез и надолго» сдерживает все силы германской армии, что она не даст покоя немецко-фашистским захватчикам, что она лишает гитлеровскую Германию возможности втор-

гнуться на Британские острова. Тем важнее поддержать Красную Армию созданием второго фронта. Этого требует, как указывает целый ряд деятелей Англии и Америки, политический престиж этих стран в Европе и во всем мире.

5. Создания второго фронта настойчиво требуют народные массы, прогрессивные силы, дальновидные политические деятели Англии и Америки.

Если раньше руководящим лозунгом англо-американской стратегии было: «в 1941 г. — продержаться, в 1942 г. — догнать и перегнать Германию в области вооружений, в 1943 г. — разбить», то в настоящее время лозунг сосредоточения максимальных усилий в достижении победы в 1942 г. завоевал умы в Англии и Америке.

Коалиция демократических держав обладает решающим перевесом над блоком агрессоров. Дело сейчас в том, чтобы мобилизовать все ресурсы быстрыми темпами на путях войны, превратить военный потенциал в реальную военную силу и своевременно ввести в действие эту силу для нанесения сокрушительного удара по общему врагу.

Для фашистской Германии международная обстановка к годовщине ее разбойничьего нападения на Советский Союз складывается крайне неблагоприятно. Фашистская клика знает это, она мечется, как зверь в горячей клетке.

Всякая аналогия относительна. Тем не менее небезынтересно напомнить о политической линии поведения правителей вильгельмовской Германии на рубеже 1917—1918 г.г.

К чему сводилась тогда стратегия — военная и политическая — вильгельмовской Германии? С одной стороны, она предпринимала «наступление отчаяния»,

надеясь достичь хотя бы частных военных успехов, для того, чтобы этим попытаться изменить международную обстановку в свою пользу. Во-вторых, она лихорадочно пускала в ход дипломатическое оружие, пытаясь расколоть фронт союзников, заключить с кем-нибудь сепаратный мир.

Людендорф, выступая перед следственной комиссией рейхстага в ноябре 1919 г., указывал, что уже на пороге 1917 г. положение Германии было исключительно серьезным и «нельзя было рассчитывать на победу одних только армий». Германия, таким образом, к этому времени потеряла надежду на выигрыш войны военными средствами или хотя бы на то, чтобы избежать разгрома. Она в значительной мере перенесла центр тяжести на дипломатические средства. Отсюда бесчисленные мирные предложения, которыми Германия забрасывала союзников, начиная с 1916 г. Теперь мы уже знаем, что скрывалось за этими предложениями. В то время можно было подумать, что Германия хочет только «инкассировать» свои победы. Теперь уже доподлинно известно из показаний и из мемуаров руководящих деятелей австро-германского блока, что за каждым мирным предложением Германии скрывалось стремление избежать разгрома, стремление расколоть своих противников и на таких путях достичь успеха. «Нужно заключить мир какой угодно ценой. Сила Германии, как и наша, пришла к концу, чего не отрицают ответственные политики Берлина. Для нас, как и для Германии, новая зимняя кампания невысказана», так писал в докладной записке императору министр иностранных дел Австро-Венгрии Чернин 12 апреля 1917 г. Вот что было подоплекой той мирной акции, которая была предпринята со стороны австро-германского блока в начале 1917 г. через князя Сикста Пармского, вот что лежало в основе и мирной резолюции германского рейхстага летом 1917 г.

Фашистские заправилы нынешней Германии тоже знают и чувствуют теперь, что их планы провалились, что соотношение сил сложилось не в их

пользу, что добиться победы одними только военными средствами им не под силу. Вот откуда та «мирная офензива», то дипломатическое наступление, которое они предприняли, пытаясь расколоть фронт антигитлеровской коалиции. Уже с середины августа 1941 г., когда гитлеровцы поняли, что планы молниеносной войны на советско-германском фронте провалились, они начали пускать пробные шары в разные стороны. В японской прессе появились соответствующие предложения по адресу СССР и даже выражалась готовность Японии посредничать. В швейцарской прессе немцы также пытались позондировать почву, обращаясь к СССР. Говоря об одном из таких «мирных прощупываний», «Правда» 10 декабря 1941 г. писала: «Мир с Германией может быть заключен и будет заключен только после того, как немецкий народ прогонит Гитлера и его банду, мир будет заключен совместно с Англией и США».

В последнее время иностранная пресса полна всяких сообщений о новой гитлеровской «мирной офензиве», о многочисленных мирных предложениях, исходящих из Берлина и переданных через различные нейтральные центры. В начале мая Белый Дом специально предупредил представителей американской прессы о необходимости во всеоружии подготовиться к встрече германского «мирного блицкрига».

На чем пытается спекулировать гитлеровская клика, обращаясь к Англии и Америке с лицемерными предложениями мира? Во-первых, она пугает Англию и Америку... угрозой поражения Германии. Фашистские пропагандисты вновь вытащили на свет старые потрепанные идеологические доспехи, насчет «борьбы против большевизма», насчет «защиты европейской цивилизации» и т. д.

Гитлеровские разбойники сами понимают, что на одном лозунге «борьбы против большевизма» далеко не уедешь. Поэтому они вытащили на свет божий еще один лозунг—лозунг «борьбы против желтой опасности». Может показаться диким и невозможным, чтобы гитлеровская клика, которая так распинаятся в любви и верности своим то-

кийским союзникам, которая так широко использует японские успехи, для того, чтобы «поднять дух» населения Германии, могла по тайным дипломатическим каналам использовать лозунг борьбы против Японии и предлагать свои услуги для нападения на своего вернейшего союзника. Но такова уже природа двурушнической, беспринципной и вероломной немецко-фашистской дипломатии. Когда Гитлер в 1939 г. предлагал Англии «гарантировать» своими вооруженными силами Британскую империю, он намекал в первую очередь на опасность для Британии со стороны Японии. Теперь мы также являемся свидетелями ряда выступлений, инспирированных из Берлина, на тему о необходимости объединения всех держав против японской угрозы. В турецкой прессе появляются такого рода статьи, исходящие от кругов, близких к Германии. Такие же нотки звучали в выступлении гитлеровского агента в Голландии Муссерта в его речи, посвященной падению Голландской Индии. Наконец, известный гитлеровский агент в Америке Линдберг, выступая на заседании общества «умиротворителей» («Америка — прежде всего»), выдвинул следующий тезис: «Для Англии и Америки существует только одна опасность — желтая опасность со стороны Японии и Китая. Единственно, кто может спасти от этой опасности, это Германия».

Никто не верит теперь изолгавшимся и обанкротившимся фашистским разбойникам. Их предложения с презрением отвергаются. Выступая 9 мая 1942 г. с речью в Эдинбурге, Иден коснулся обманчивых надежд Гитлера на то, что в Англии имеются люди, которые готовы заключить с ним мир. Иден заявил: «Когда же эти руководители Германии поймут, что миллионы людей в Англии и Британской империи, а также во всех объединенных странах, единодушны в своей решимости не иметь каких-либо сделок с Гитлером или национал-социалистским режимом?»

«Мирная офензива» Гитлера, провал которой мог бы предвидеть даже политический младенец, является еще одним доказательством растерянности в рядах

фашистской клики. Отсюда и тот безнадежный пессимизм, который чувствуется в последних речах Гитлера, Геринга и других. Недаром говорят у нас: Германия стала не та и Гитлер стал не тот. Как, бывало, скачет он и играет, стоит ему только появиться на трибуне. Какие победы он только ни обещает. А теперь даже не смеет обещать победу в весенне-летнем наступлении, а призывает готовиться к новой зимней кампании.

Отсюда и значительная перестройка всей пропаганды как внутри страны, так и за границей. Раньше немецкие фашисты базировали пропаганду лишь на мифе о непобедимости германской армии, на неотвратимости германской победы, на обещании богатой добычи. Теперь они также запугивают население страны угрозой поражения, «новым Версалем» и т.д. Теперь они запугивают своих вассалов угрозой поражения Германии и тем, что правящим кликам этих стран придется разделить судьбу гитлеровской клики. Теперь они, действуя через свою агентуру в Англии и Америке, тоже «запугивают» угрозой поражения Германии.

Гитлеровская клика, несомненно, будет прибегать и ко второму средству, к которому прибегала вильгельмовская Германия, — «к наступлениям отчаяния». Германская армия еще сильна. Гитлер имеет еще возможность использовать ее как орудие своих кровавых авантур. Гитлеровская клика именно потому, что чувствует приближение своего конца, звереет, отчаянно дерется, способна наносить еще опаснейшие удары. Но как бы ни бесновались фашистские мерзавцы, какие бы наступления они ни предпринимали, как бы озверело они ни оборонялись, — им не уйти от того факта, что соотношение сил изменилось не в их пользу, что сложившаяся военная и международная обстановка в конце первого года Великой Отечественной войны благоприятна для Советского Союза и неблагоприятна для фашистской Германии.

Триумфом советской внешней политики и выражением полного банкротства немецко-фашистских дипломатических планов явилось посещение тов. Молотовым Лондона и Вашингтона в мае—июне

1942 г. и подписание 26 мая 1942 г. в Лондоне договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и сотрудничестве и взаимной помощи после войны, а также подписание 11 июня 1942 г. в Вашингтоне соглашения с США о принципах, применимых к взаимной помощи в войне против агрессии.

В официальном англо-советском коммюнике о посещении Лондона тов. Молотовым, а также в англо-американском коммюнике о посещении Вашингтона тов. Молотовым указывалось, что при переговорах «была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 г.».

Договор между СССР и Великобританией является развитием соглашения от 12 июля 1941 г. и направлен к укреплению боевого союза в войне против гитлеровской Германии. Договор этим не ограничивается. Он предусматривает объединение усилий обеих стран для обеспечения безопасности и создания после войны прочного мира на основе принципов, изложенных в «Атлантической хартии» от 14 августа 1941 г. Оба государства обязались в течение 20 лет оказывать друг другу военную помощь и поддержку, если кто-либо из них подвергнется вновь нападению со стороны Германии или ее сообщников в Европе. Они обязались оказывать друг другу всяческую экономическую помощь, не принимать участия во враждебных коалициях, направленных против другой стороны, и т. д. СССР и Великобритания при установлении мира будут руководствоваться двумя принципами: не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Соглашение между СССР и США тождественно по своему содержанию с англо-американским соглашением, заключенным в феврале 1942 г. Условия оказания помощи не связаны с какими-либо узкими экономическими мотивами — они всецело определяются общностью цели обоих государств в деле скорейшего до-

стижения победы и в деле установления мира и безопасности для свободолюбивых народов после победоносного окончания войны. Как заявил Рузвельт 16 июня 1942 г., поставки союзникам «являются поставками материалов в общий резервуар, с помощью которого ведется общая война». Общая сумма американских поставок определена в размере 3 миллиардов дол. (в ноябре 1941 г. было намечено 1 миллиард дол.). Англо-Советское соглашение от 27 июня 1942 г. устанавливает, что предметы вооружения из Англии и Британской империи передаются СССР без оплаты.

В исторической поездке тов. Молотова в Лондон и Вашингтон воплотились те огромные сдвиги, которые произошли за истекший год во всей международной обстановке. Договор с Великобританией и соглашение с США означают укрепление боевого содружества между СССР, Великобританией и США, консолидацию сил антигитлеровской коалиции. Военным, стратегическим выражением этой консолидации является соглашение о создании второго фронта в Европе в 1942 году. Гитлеру не дано будет сейчас «вести войну по одиночке» — его будут бить сообща на море, в воздухе и на суше объединившиеся три величайшие державы мира.

Договор СССР с Англией и соглашение с США ускоряют все процессы развала и разложения в лагере врага, вдохновляют поработанные народы Европы на активизацию национально-освободительной борьбы, суживают маневренные способности фашистских агрессоров в нейтральных странах. Они открывают перед человечеством горизонты будущего прочного мира, охраняемого коллективными усилиями главных демократических держав, гарантированного от повторения германской агрессии, основанного на невмешательстве во внутренние дела других государств, на уважении к независимости малых стран и народов. Экономическое сотрудничество между СССР, Великобританией и США обеспечит быстрое залечивание кровавых ран войны, нанесенных проклятым гитлеровским фашизмом многим странам, в том числе и Советскому Союзу.

Таковы итоги года отечественной войны. В сообщении Совинформбюро, подводящем политические и военные итоги года отечественной войны, констатируется полный провал политических планов германского империализма. Точно так же год войны обнаружил полный провал военных планов германского империализма. Немецко-фашистская армия понесла громадные потери: 10 млн. человек (из них не менее трех с половиной миллионов убитыми), свыше 30.500 орудий, 24 тыс. танков, 20 тыс. самолетов. В сообщении указывается: «За авантюристическую политику гитлеровской клики немцы расплачиваются миллионами убитых на советско-германском фронте. В немецком народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Тыл немецкой армии начинает трещать по швам. День вероломного нападения империалистической Германии на СССР, в целях порабощения и истребления наших народов, захвата и разграбления нашей родины — явился днем начала конца гитлеровской Германии».

Год войны прошел. Год величайшей борьбы советского народа, изумительного героизма советских людей, гигантских

трудностей и опасностей. Впереди еще много испытаний. Враг еще силен. Он напрягает все силы, чтоб добиться успеха. Не останавливаясь ни перед какими потерями, нагромождая гекатомбы трупов своих солдат, он озверело рвется на Восток, к жизненным центрам и магистралям нашей страны. Угроза свободе, независимости, самому существованию народов СССР не устранена. Но мы знаем: победа будет за нами, нас ведет к ней уверенно и твердо великий Сталин. Соотношение сил на нашем фронте, расстановка сил на международной арене дают возможность добиться выполнения сталинского лозунга насчет того, что «1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев». Претворение в жизнь этого боевого сталинского лозунга зависит от всех нас, советских людей, на фронте и в тылу, от нашей самоотверженности и мужества, решимости и упорства, от нашей готовности идти на все лишения и жертвы для защиты любимой родины от ненавистного и презренного врага — проклятого немецкого фашизма.

# Роман о Чингиз-хане, о судьбах государств и культур

В. КИРПОТИН

★

Книга В. Яна «Чингиз-хан» посвящена одной из самых драматических и вместе с тем наименее исследованных эпох мировой истории. Ее главный герой — жестокий и неутомимый завоеватель, полчища которого, после покорения Китая, прошли, как смерч, по полям и городам Средней Азии, Кавказа, Черноморья и русских княжеств.

Время оставило мало памятников о Чингизе, о его сподвижниках, об организации монгольских племен, из среды которых они вышли, о достаточно сложных политических, экономических и культурных взаимоотношениях между государствами, ставшими добычей полугенерального полководца. Обстоятельства эти создают большие трудности для историка, не меньшие препятствия ставят они и перед историческим романистом. В. Ян превосходно справился с этими препятствиями. Специалисты подтверждают историческую верность написанного им романа. «Роман заполняет тот зияющий пробел, — говорится в предисловии к нему, — который существует не только в художественной, но и в научной литературе, не имеющей советской книги о Чингизе и завоеваниях монголов. Автор делает это с большим знанием истории и с полным уважением к исторической правде». В. Ян нередко подтверждает описываемые им события эпиграфами, взятыми из сочинений древних историков и писателей или из фольклорных произведений, хранящих память о повествуемом в книге.

Писатель нигде не прибегает к излишествах стилизации. Он не обременяет языка чрезмерной цветистостью, нагромождениями непонятных слов, утомительным нанизыванием наименований экзотических предметов и восточных эпитетов. Руководимый чувством меры, он стилизует ровно настолько, чтобы дать почувствовать дух времени и страны и чтобы в то же время не затруднить чтения.

В описании организации монгольского войска, в воспроизведении отношения кочевника к коню, к степи, к добыче, в донесениях полководцев своему повелителю и во многих других важных деталях повествования В. Ян верен духу фольклора монгольских племен, являющегося не только поэтическим, но и историческим свидетельством об эпохе.

Вот описание ставки Чингиза накануне выступления монгольских орд против царства хорезмшахов. «В верховьях Черного Иртыша, у подножья одинокого кургана, среди зеленой степи, стоял желтый шелковый шатер. Он был отобран Чингиз-ханом у китайского императора... Перед шатром на площадке горели огни на сложенных из камней жертвенниках. Между этими огнями должны были проходить все, являющиеся на поклон к великому кагану: «Огнем, — как объясняли шаманы, — очищаются преступные помыслы и отгоняются приносящие несчастье и болезни злые «дивы», вьющиеся невидимо вокруг злоумышленника».



С одной стороны шатра стоял привязанный к золотому приколу белый жеребец по имени «Сэтэр». У него были огненные глаза и серебристая белая шерсть по черной коже. Он никогда не знал седла, и ни один человек не садился на него во время походов Чингиз-хана, — по объяснению шаманов, на этом белоснежном коне ехал невидимый могучий бог Сульда, покровитель войска монголов, и вел их к великим победам.

По другую сторону шатра был привязан всегда оседланный широкогрудый «Найман», любимый боевой конь Чингиз-хана, саврасый с черными ногами и хвостом и черным ремнем вдоль хребта — потомок диких степных лошадей.

Рядом с конем Сэтэром было прикреплено высокое бамбуковое древко со свернутым белым знаменем Чингиз-хана.

Вокруг кургана расположились дозором телохранители, «тургауды», в бронях и железных шлемах... Поодаль, в степи широким кольцом рассыпались черные татарские юрты и рыжие шерстяные тангутские шатры. Это был личный «курень» Чингиз-хана, стоянка тысячи избранных телохранителей — всадников на белых конях...»

Картина эта несомненно воссоздана и путем скрупулезного изучения фольклорных памятников. Такой она сохранилась в исторической памяти монгольских певцов и сказителей.

События романа охватывают период от завоевания Хорезма и заканчиваются битвой на Калке и смертью Чингиз-хана. От страницы к странице перед читателем проходит жизнь «великого Хорезма», в котором царствовал славолюбивый, но неспособный Мухаммед, первое появление неизвестных дотолемонголов, покорение и разрушение Хорезма, поход на Русь, битва при Калке, татарский пир на костях плененных русских князей — и последний час великого владыки. Исторические деятели, ханы, князья и полководцы, Чингиз и его сыновья являются действующими лицами романа. В умелом сочетании с историческим сюжетом в книге разворачивается еще сюжет частный, романти-

ческий. Основу его составляют жизнь и скитания дервиша Хаджи Рахима и история любви разбойника Кара-Кончара к Гюль-Джамал.

Кара-Кончар — мститель. Шах Мухаммед замучил его отца. Братья его бежали, спасая свою голову. Сестры его были похищены кипчакскими всадниками — гвардией Мухаммеда. Возлюбленная его, прекрасная Гюль-Джамал, была взята в гарем шаха. Заподозрив Гюль-Джамал в неверности, Мухаммед приказал бросить ее на растерзание барслюдоеду. Кара-Кончар спас ее от смерти. Тогда Мухаммед заточил ее в каменную «Башню вечного забвения», из которой никто не выходил на свободу.

Среди потрясений и бурных событий Кара-Кончар, бившийся уже не только против Мухаммеда, но и против непрощенных пришельцев, разыскивает и освобождает прекрасную узницу.

Романтический сюжет этот выдержан в духе и стиле восточных легенд и восточных литературных произведений. Гюль-Джамал была пастушкой. «Когда она проходила мимо быстрыми шагами, краем своей одежды она коснулась меня». Так возникает любовь. Удрученный горем разлуки, джигит затягивает песню:

Мне ветер поет, как дальний привет  
любимой...

Возможно ль внимать приветам таким  
бесстрастно?

Пускай впереди, за каждой скалой, погибель, —  
На каждом пути она сторожит безгласно...

Романтический сюжет романа искусно превращается в сказку, рассказываемую дервишами и маддахами (народными рассказчиками).

В час, когда грозные войска Чингиза штурмовали Гургандж, столицу Хорезма, Кара-Кончар на руках вынес свою возлюбленную из темницы.

Маддах заканчивал сказку описанием разлива реки, смывшей славный и богатый Гургандж. В этот поток разбушевавшихся вод попал Кара-Кончар. Некоторые люди видели, как он отчаянно боролся с волнами, чтобы спасти Гюль-Джамал, но оба исчезли в бурных потоках... В одном месте, где обнажилась

возвышенность, нашли два тела: Гюль-Джамал и Кара-Кончар лежали друг около друга, и маленькая ручка туркменки была зажата в могучей ладони Кара-Кончара...

Магдах заканчивал сказку поучением: «Любовь по истинному влечению — это та любовь, которой нет конца иначе, как только со смертью»... Но если при этом девушки плакали, то магдах говорил: «Знающие люди мне передавали также иное, будто бы известие о смерти Кара-Кончара в волнах Джейхуна неверно, — он выплыл из потоков реки на своем вороном коне и спас Гюль-Джамал. Он увез ее в глубину Кара-Кумов, в свою юрту близ колодцев Бала-Ишем. Там они прожили счастливо много лет, чего и вам всем желаю!»

Таким образом и романтическая линия романа имеет в известном смысле исторический характер: она знакомит читателя с лирическим и сказочным элементом устной и письменной литературы народов Средней Азии.

Роман В. Яна удовлетворяет прежде всего любознательность читателя. В допустимой и увлекательной форме В. Ян приобщает его к грандиозным и трагическим событиям, наложившим неотвратимую печать на весь ход мировой истории, но сведения о которых обычно носят смутный и отрывочный характер.

Однако не только этим интересен роман В. Яна.

Он написан не бесстрастным летописцем, равнодушно взирающим на добро и зло, с одинаковым спокойствием регистрирующим злодеяния и подвиги. Книга о Чингиз-хане написана человеком взволнованным, потрясенным страшной картиной истребления народов, падения царств, крушения цивилизаций. Слог ее внутренне напряжен и стремителен, в соответствии с кровавым и трагическим характером содержания.

Роман Яна создавался в годы, когда над Европой простерлась тень Гитлера. Фашизм пошел походом против свободного человека, против независимых народов, против разума, против цивилизации. Когда Ян писал свою книгу, орды Гитлера уже были построены в

боевой порядок, чтобы ринуться на соседей.

От романа В. Яна тянутся незримые нити к современности. Его материал заключен в определенные границы места и времени, и автор нигде не покидает этих границ. Но скрытое волнение, чувствуемое в ней, вызвано не только страданием к бедам и мучениям давно отшумевших поколений, но и страстной заинтересованностью в судьбе нашего теперешнего мира.

Автор не вгоняет событий в насильственно сконструированную схему. Он не одевает прошедшее в маскарадный костюм. Он только исходит из правильной предпосылки, что исторический опыт поучителен для ныне живущих поколений, как бы хронологически ни был этот опыт отдален от нас и как бы ни изменились формы человеческого существования. И в этом он совершенно прав. История потому и такая увлекательная наука, что она во многом объясняет настоящее и помогает находить пути в будущее.

Беспристрастно и объективно описывает Ян участь покоренных. Многолюдная и богатая Бухара поверила Чингизу, сдалась на милость победителя. Прежде всего последовал приказ сдать припасы и ценности. Напуганные жители приносили мешки с зерном, груды материй, одежды, ковры, ценные сосуды и другие вещи и продукты. Третью всей этой добычи шла монгольскому владыке.

В бухарской цитадели с горстью храбрецов засел военачальник Ихтиар-Кушлу. Монголы согнали тысячи молодых и старых бухарцев для засыпки глубокого рва, окружавшего крепость. Бухарские плотники по приказу новых хозяев города изготовили много длинных лестниц. «Тогда монголы набросились на толпу, свирепо стегая ее плетью.

— Чего вы ждете? На что смотрите? Ставьте лестницы и полезайте на стены.

Никто из бухарцев не решался подойти к стене, откуда летели кирпичи и лилась кипящая вода и смола.

Но монголы, выхватив мечи, стеснили конями толпу упирившихся бухарцев и,

наконец, начали безжалостно бить их по головам. Бухарцы бросились вперед, закрываясь руками. Монголы продолжали их рубить, отсекая пальцы и ладони...»

После падения цитадели последовал новый приказ: «Все жители, вместе с женщинами и детьми, должны выйти из города в поле, оставив дома все имущество и не имея с собой ничего, кроме одежды».

Сначала монголы отобрали из толпы горожан ремесленников и мастеров, потом молодых и сильных мужчин и, наконец, стали отделять красивых женщин, девушек и детей.

«Тут все поняли, что они разлучаются со своими родными и, вероятно, навсегда. Поднялись крики и вопли, и полились слезы отчаяния.

Как мясники на базаре равнодушно отбирают мычащих коров или жалобно блеющих коз и гонят их ударами на бойню, так и новые хозяева Бухары били плетью упирившихся, набрасывали им на шею арканы и, погнав коня, вырывали из толпы.

Некоторые мужья и отцы при виде своей дочери или жены, волочившейся в пыли за монголом, бросались к ним, обезумев от горя, пытались спасти близкого человека. Но монголы топтали их конями или, ударив по голове палкой с железным ядром, опрокидывали на землю...

Это был ужасный день, когда слышались только крики, стоны умирающих и плач женщин и детей, навсегда расстававшихся с их отцами, мужьями и братьями. Мужчины были бессильны чем-либо помочь, и вспоминались слова поэта: «Кто не захотел крепко держать черную рукоять меча, на того повернется острый клинок его...»

Монголы вернулись в покинутые населением пустынные улицы. Когда они разбрелись по домам и выючили на коней награбленные вещи, город загорелся сразу со всех концов. Огненные языки и черный дым поднялись над древней Бухарой, закрыв солнце. Постройки были легкие, из дерева и глины, и город быстро обратился в огромный костер. Сохранились от разрушения только

главная мечеть и стены некоторых дворцов, построенные из кирпичей.»

Перемените в этом ледящем кровь описании географические названия, и перед вами предстанет картина поведения гитлеровских орд в оккупированных ими странах и областях. Разве гитлеровские генералы не издавали приказов о создании «зоны пустыни»? Разве Гитлер, подобно Чингизу, не хвастал публично, что русские, возвращаясь в освобожденные ими города и деревни, находят пустое место там, где были улицы, дома, школы, театры? Еще более зверски, нежели монголы Чингизхана, орды Гитлера угоняют жителей, бросают женщин и девушек в публичные дома, грабят и предают огню города и села, употребляют пленных на военные работы. Но при этом нельзя забывать, что Чингиз-хан был, действительно, дикарем, хотя и наделенным громадными военными и организационными способностями, а Гитлер—изувер, мракобес, поставивший себе целью уподобиться варвару и дикому зверю, в программу которого входит уничтожение культуры, возврат во тьму времен, к невольничеству, к искусственно созданным кровавым мифам нового язычества.

Наиболее интересным в романе Яна является объяснение причин беспремерных по размерам и темпам успехов завоевателя. Успехами своими Чингиз-хан был обязан не столько числу и мощи собственных орд, сколько внутреннему состоянию тех государств, на которые он совершал свои набеги. Во главе Хорезма стоял шах Мухаммед. Он считал себя продолжателем великих дел Александра Македонского. Чрезмерное тщеславие шаха находилось, однако, в разительном противоречии с действительностью. Войско его состояло из отрядов враждовавших между собой феодалов. Кипчакская гвардия не повиновалась ему и грабила коренных жителей. Двор и семья шаха раздирали интриги и заговоры. Крестьяне и ремесленники нищали от помещичьей эксплуатации и фискальных поборов. Кто-то из духовенства и купечества, вроде выведенного в романе Махмуд-Ялвача,

вошли в тайные сношения с монголами. Энергия правительственного руководства была подточена изнеженностью жизни, разложением, слепым высокомерием. «Врага нельзя считать ничтожным и беспомощным», — говорит древняя иранская песня. После первого столкновения с монголами сын Мухаммеда, храбрый Желалъ эд-Дин, советовал отцу принять меры для выяснения размеров опасности и для обороны. «Ты рассуждаешь, как неопытный юноша, — ответил Мухаммед. — Монголы никогда больше не решатся напасть на меня!..» Когда нагрянула беда, шах избрал самую губительную тактику. Он приказал каждому городу, каждому району обороняться отдельно. Военачальники, предоставленные сами себе, соперничавшие и враждовавшие между собой, сдавались врагу, чтобы быть перерезанными вместе со своими воинами, как овцы.

Все произошло по изречениям мудрецов и поэтов. «В то время, когда нужна суровость, мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязания» (Саади). «Кто не защищает отважно оружием своего водоема, у того он будет разрушен» (арабская пословица).

А, между тем, возможность сопротивления монголам была. Бухарская цитадель держалась двенадцать дней. Сами монголы поразились, узнав, что защищали цитадель от большого монгольского войска всего четыреста человек. Они погибли, но не покорились. Если бы все жители так же стойко защищались на высоких прочных стенах города, монголам не удалось бы взять старую Бухару ни в полгода, ни в год, и бухарцы не испытали бы той ужасной участи, которую они сами себе уготовили.

Желалъ эд-Дин, непокорный сын Мухаммеда, разбил монголов при Перване. Устрашенный монгольский отряд, осаждавший крепость Балх, немедленно снял осаду и ушел на север. В некоторых городах жители восстали и перебили монгольские гарнизоны. Но действия Желалъ эд-Дина были связаны губительной тактикой отца, кипчаки и афганцы, входившие в его отряды, пере-

дались на сторону Чингиза — и мужественный воин уже не мог спасти страны, для характеристики которой автор романа использовал слова поэта:

Все — жертвы вашего распутства и

веселья,

На пальцах рук у вас не хенна, нет, то  
кровь!

Прошли столетия, изменилась жизнь народов, — но Франция пала перед Гитлером так, как некогда пал Хорезм перед Чингизом: не вследствие отсутствия сил для сопротивления или недостатка в оружии и храбрости у французов, а вследствие губительной изменнической политики руководителей правительства и армии, вследствие преступной доверчивости к посулам кровожадного агрессора, вследствие страха правителей перед собственным народом, большего, чем страх перед завоевателем.

Поражение на реке Калке было результатом феодальных междоусобиц, раздиравших русскую землю. Не помогло страстное слово обличения и увещания безымянного патриота, автора сказания о походе Игоре: «Вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую, из-за распри ведь стало насилие от земли половецкой... Загородите Полю ворота своими стрелами острыми за землю Русскую, за раны Игореви буйного Святославища!» Недальновидные, враждовавшие между собой князья не пожелали соединить свои отряды в единое русское войско. Не помогли ни подвиги богатырей, ни беззаветная храбрость воинов, бившихся до последней капли крови за родную землю. Татары били русские отряды порознь, обещаниями склоняли отдельных князей к покорности — и пировали потом, положив доски на тела неразумных и легковерных.

Гитлер в химерических своих планах покорения мира делал ставку на то, что он называет «германской хитростью», или, попросту говоря, на вероломство и обман. Больше, чем на военную силу, он рассчитывает на разложение, на предательство, на легковерие в стане своих противников. Его стратегическая доктрина зиждется на том, чтобы бить народы порознь, один после другого, со-

средотачивая против каждого из них всю совокупность своих сил. Заключив договор с СССР, он напал на нас врасплох, как вор. Гитлер ожидал, что первые же удары вызовут распадение Советского Союза на отдельные национальные области и распря между различными слоями населения. Франция воевала против него, как Хорезм против Чингиз-хана; он очень надеялся, что организация сопротивления русских будет напоминать организацию похода русских князей на реку Калку. Гитлер жестоко просчитался.

«Немцы рассчитывали, — говорил товарищ Сталин, — ... на непрочность советского строя, непрочность советского тыла, полагая, что после первого же серьезного удара и первых неудач Красной Армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнется драчка между народами СССР, пойдут восстания и страна распадется на составные части, что должно облегчить продвижение немецких захватчиков вплоть до Урала. Но немцы и здесь жестоко просчитались. Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР. Более того, — они превратили семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь, самоотверженно поддерживающий свою Красную Армию, свой Красный Флот. Никогда еще советский тыл не был так прочен, как теперь. Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным строем».

Гитлер рассчитывал в каждой принятой им военной кампании иметь свой тыл свободным. Между тем угроза «второго фронта», в котором и Бисмарк, и Мольтке при любых условиях видели смертельную опасность для воюющей Германии, принимает все более и

более реальные очертания. История не повторяется. Времена чингизхановых успехов миновали. В политических, экономических, социальных и культурных условиях XX века мрачный безумец, вознамерившийся вновь пронестись над миром монгольской грозой, может принести много бед, пролить много крови, но его ждет поражение.

Книга Яна заканчивается тягостной картиной гибели культур. Опустели дороги, где в течение многих столетий проходили торговые караваны. Высохли сады, поля превратились в пустыни, некому стало проводить воду, очищать арыки. Дикие звери бродили по улицам разрушенных городов. «Много искусства и мысли было положено зодчими, построившими эти стройные здания и еще больше труда внесли неведомые рабочие, сложившие из больших квадратных кирпичей и красивые дворцы, и внушительные медресе, и стройные минареты. Монголы все это обратили в покрытые копотью развалины».

Объединенные в сплошные массы, движимые страстной жадной грабежа и разрушения, варвары потопили все — и земледелие, и ремесло, и торговлю, и науки, и искусства.

Мечтая о роли завоевателя вселенной, Гитлер именует себя в откровенных беседах «варваром». «Мы варвары и хотим быть варварами», — говорит он. Слова о варварстве сказаны Гитлером и его кликой всерьез: слишком общезвестна их ненависть к науке, к разуму, к независимой мысли, к интеллигенции; их опустошительная практика, превзошедшая времена Батая и гуннов, у всех на глазах. В сокрушении современной цивилизации, в искоренении культур свободных народов Гитлер видит необходимое условие для установления немецко-фашистского господства над миром.

Сомневаться в решимости преступной и извращенной гитлеровской клики приостановить культурный процесс человечества не приходится. Но время для завоеваний, подобных чингизхановым, миновало. В лице СССР фашистская Германия встретила не совокупность враждующих уделов, не государство, раз-

еженное безысходными противоречиями классов, а государство невиданной никогда сплоченности, сформированное монолитным народом, воля которого к жизни, к творчеству, к победе несокрушима. Теперешняя Германия, несмотря на отдельные печальные исключения, имеет дело не с народами, которые можно разбить по одиночке, один вслед за другим, а с единовременно действующим Союзом свобододобивых стран. Обречены на неудачу попытки современных чингизов и атилл оснастить разбой и набеги электричеством и мотором. Час падения Гитлера уже взвешен на весах исторической Немезиды.

Нет такой силы, которая могла бы остановить навсегда процесс культурного творчества современного человечества.

В истории каждого народа, каждого государства бывает, что отдельные группы населения теряют способность к обществу и культурному творчеству. Причины этого истощения носят, однако, не биологический, а социальный характер. Нечто подобное произошло с современной Францией. Но Франция же свидетельствует, что народы не хотят погибать по воле своих разложившихся, выродившихся, коррумпированных верхов. Есть силы возрождения, есть народ, способный сохранить великие традиции прошлого и продолжить их в новом культурном творчестве.

Конечно, ничто не проходит бесследно. Народы, не находящие сил, чтобы противостоять нашествию, чтобы защитить свою национальную независимость, чтобы охранить внутренние истоки своего культурного творчества, отбрасываются назад. На передовые места в историческом процессе выдвигаются новые, энергичные и стойкие народы. Но, с другой стороны, национальное и общественное воодушевление в борьбе с грозной опасностью развязывает и стимулирует творческие силы народов. Так Отечественная война 1812 года, победа над Наполеоном, ускорила вызревание политической мысли, науки и искусства в русском народе.

Современная историческая жизнь характеризуется не угасанием старых культур, а преемственностью культур-

ных традиций и пробуждением новых народов к культурному творчеству, не соперничеством, а содружеством культур.

СССР обязан многими и решающими своими успехами дружбе народов, сочетанию усилий более передового русского народа с энергией и трудом в прошлом отсталых народов, вступивших под руководством своего старшего собрата на путь интенсивного культурного подъема. Социальное и культурное содружество, ускорение культурного творчества, культурный подъем народов станет неизбежным результатом победы над рабистским дурманом. Безумна и обречена грандиознейшая попытка человеконенавистнических реакционных сил повернуть историю назад, уничтожить творческие результаты веков и тысячелетий. Уверенность в разгроме фашизма вселяет в сердца веру в будущее, веру в разум, волю к борьбе за идеалы справедливости и независимости. Верой этой пронизана и книга Яна о Чингиз-хане. Эпопею смерти и наступления пустыни он кончает следующими прочувствованными словами, в которых герой романа дервиш-вольнодумец Хаджи Рахим подводит итог всему, чему он был горестным свидетелем:

...«Мой истертый калям дописал последние строки повести о набеде беспощадных монголов на цветущие долины нашей родины... Запыленный опилками усердия, составитель этой книги хотел бы сказать еще много о тех малодушных людях Хорезма, которые не решились самоотверженно выступить на борьбу с жестоким губителем мирных племен, свирепым Чингиз-ханом...

...Если бы все хорезмийцы твердо и единодушно подняли меч гнева и, не щадя себя, яростно бросились на врагов родины, то высокомерные монголы и их краснобородый владыка и полгода не удержались бы в Хорезме, а навсегда бы скрылись в своих далеких степях...

...Монголы одолевали больше вследствие несогласия, уступчивости и робости противников, чем силой своих кривых мечей... Смелый Джелаль эд-Дин показал, что с небольшим отрядом отчаянных джигитов он умел разбивать монгольские банды...

...Но калям выпадает из моих холодящих пальцев... Силы дервища-ски- тальца слабеют, а дни бегут, прибли- жая день расплаты... И я могу начер- тать лишь несколько строк из стихотво- рения поэта\*:

Подобно весеннему дождю,  
Подобно осеннему ветру,  
Исчезла моя молодость!  
Я задержался в этой жизни,  
А вожак каравана  
Уже нагрузил верблюдов  
И торопит двинуться в путь...

...Скажу на прощанье моему неведо- мому читателю: надменные имамы и раздувшиеся от важности улемы меня

\* Хосревани (X в.).

упрекают в неверии! Злобна и тупа их близорукость! Неверие, такое как мое, не легкое, и не пустое дело\*. Нет твер- же и пламеннее моей веры: в победу ско- ванного мыслителя над тупоумным па- лачом, в победу угнетенного труженика над свирепым насильником, в победу знания над ложью!.. Я знаю, настанет лучшая пора, когда правда, забота о че- ловеке и свобода поведут нашу родину к всеобщему счастью и свету!.. Это придет, это будет!..»

Как и все повествование В. Яна, стро- ки эти, полные надежды, звучат свежо и поучительно в дни великих битв про- тив гитлеровских орд во имя свободы, чести и творчества.

\* Абу Али Ибн-Сина (известен в Европе под именем Авиценны — X в.).

# О латышской литературе

Я. НИЕДРЕ



После первого вторжения полчищ немецких захватчиков в Латвию в XII столетии латыши более 700 лет были экономически и духовно закабалены немецкими баронами-помещиками. Это отодвинуло возникновение латышской национальной литературы. Лишь с начала прошлого столетия, когда в Латвии, с ростом промышленности и городов, было отменено крепостное право, латыши стали громко заявлять о себе в латышской национальной литературе. В напечатанных тогда на латышском языке стихотворениях, рассказах и драматических произведениях слышится подлинный народный язык, находит некоторое отображение жизнь латышского народа, раскрываются его мысли и чувства.

Между тем латышская письменность и книгопечатание возникли значительно раньше. Первая книга, напечатанная на латышском языке (католический катехизис), помечена 1585 годом. После нее за три столетия было издано около сотни печатных латышских книг. В XVIII веке появляется немало книг светского содержания.

Первые книги на латышском языке создавались в то время, когда немецкие бароны пытались с помощью пасторов-«златоустов» сломить мужественный дух сопротивления латышского народа и заставить латышей, под идеологическим давлением, стать послушными рабами помещиков-крепостников.

Не взирая на беспощадность, с которой немецкие бароны расправлялись с латышским народом, истребляя население целых районов, — дух мужественного сопротивления и открытой борьбы пламенел в массах на протяжении веков. Вооруженные дубинами, косами и смоляными факелами, латыши нападают на каменные гнезда своих поработителей-баронов и выкуривают оттуда немецких гадюк. Для духовного противодействия этому немецкие угнетатели — каста господ — в течение почти двух с половиной столетий усиленно насаждали удобные им книги на латышском языке.

В XVI столетии пастор Юрис Манцелис, составитель латышско-немецкого словаря, в своих проповедях и произведениях угрозами и запугиваниями стремится удержать крестьян от революционного восстания против помещиков вроде того, которое произошло в XVI веке в Германии: «Покоряйтесь вашим господам, высшим и низшим, не сопротивляйтесь им, дабы избежать господней кары», — пишет он.

Все же было бы ошибочным полагать, что подлинная латышская литература родилась только в начале XIX столетия. Как все народы, поработенные, но органически не воспринявшие идеологии своих поработителей, так и латышский народ богато выразил свой идейный мир в фольклоре. 470 тысяч народных песен, около 500 тысяч сказок и преда-



ний, около 10 тысяч пословиц и поговорок, несколько тысяч анекдотов, заговоров, — вот в чем отразилась жизнь латышского народа, все, что его тревожит, волнует и радует.

«Песенку сложил я из дуновенья вод речных». Так говорится в латышской народной песне. Этим подчеркивается, что даже будничные мелочи достойны найти выражение в песне.

Латышские народные песни воспевают труд, усердие, любовь к родной природе, свободолюбие, дружбу народов, они исполнены лютой вражды к немецким угнетателям. Латышский народ в своих песнях призывает другие народы к миру и содружеству:

Среди русских и литовцев  
Всюду ждут друзья, родные.

Но тут же в резких словах, звучащих, как удары бича, слышится накопившаяся веками грозная ненависть к угнетателям-баронам:

Всем прощу я все обиды,  
Только немцу не прощу я.

★ ★ ★

Немец, чортово отродье,  
Чтоб ты умер, не родившись,  
Чтобы прах твой по колючкам  
Ветры в поле разносили.

Таким же гневом против немецких господ проникнуты сказки и предания латышского народа, в которых германские рыцари-завоеватели названы «псоголовыми кровопийцами».

Воззрения и чувства, нашедшие отражение в фольклоре — восхваление труда, любовь к свободе и родине, дружба народов и ненависть к немецким угнетателям — и в дальнейшем остаются основными мотивами латышской национальной литературы.

Таким образом, в середине прошлого столетия в период так называемого «национального пробуждения», когда новорожденная латышская интеллигенция в роли руководительницы всего народа выступила против хозяйственных и идеологических притязаний немецких баронов, — создавалась литература латышского народа. В ней он решительно провозглашал на весь мир непоколебимость своего национального

сознания и, бросая в лицо немецким баронам черный список их многовековых злодеяний, требовал своих законных прав в области хозяйственной и культурной жизни.

Естественно, что писатели, вышедшие из народной среды, вначале придерживались манеры письма, выработанной немецкими пасторами, однако, вкладывая в нее уже новое содержание. Самой яркой фигурой в литературе той эпохи является поэт Андрейс Пумпурс, автор прославленного латышского эпоса «Лачплесис».

В творчестве А. Пумпурса (1841—1902) объединяются традиции латышской народной песни и современный строй стиха. Многие произведения А. Пумпурса написаны в форме народных песен. В таком виде они запечатлелись в памяти народной, в то время как эпос Пумпурса «Лачплесис» и его проза уже созданы в манере современной литературы.

В сказании о Лачплесис поэт показал историю завоевания Латвии, вторжение в XII столетии в родную страну немецких рыцарей. Так Лачплесис стал символом борьбы за свободу латышского народа. Поэт изобличает предателей и называет немецких рыцарей разжиревшими насильниками, убийцами и грабителями. Поэт говорит о них:

«Но первая цель у них завоевать эту землю  
и превратить все народы в рабов своих».

(Песня VI).

Пумпурс писал, что латышский народ может обеспечить свое независимое существование, только идя рука об руку со славянскими народами.

Современник Пумпурса — Аусеклис (1850—1879) разрабатывает форму латышского стиха, доводя ее до совершенства. В своих стихотворениях он тоже клеймит насилие, совершавшееся немецкими завоевателями, будит народное сознание, призывая к борьбе.

Весь этот период национального пробуждения, период экономического укрепления и борьбы латышей против класса немецких господ ярко отобразили братья Каудзитес (Рейнис 1839—1920, Матис 1848—1926) в основном произ-

ведении латышской прозы: «Времена землемеров». Хотя авторы, создавая роман, не преследовали этой цели, сама жизнь заставила их показать в художественной форме развал патриархально-крепостнического уклада и возникновение нового, капиталистического способа производства, как в деревне, так и в городе. Выведенные в романе типы стали в народном сознании синонимами представителей целых общественных групп.

В 90-х годах прошлого века в латышской литературе наблюдается новое веяние: возникает литература, возмущающая начало социальной борьбы, направленной не только против немецких баронов, но также и против собственной латышской буржуазии, которая завоевала к тому времени некоторое влияние в области экономики и в той или иной степени нашла общий язык с немецкими помещиками и бюргерством, отказавшись от борьбы. В Риге, Лиепаяе, Вентспилсе возникли крупные промышленные предприятия, на которых работали десятки тысяч рабочих, в деревне энергичный латышский кулак эксплуатировал батраков. Рабочие объединяются в нелегальные кружки, зревают социальные конфликты, вспыхивают забастовки. В этот период появляются латышские писатели, осуждающие существующий строй, направляющие свои нападки на барина, пастора и местного бюргера. Они призывают весь народ на борьбу за свободу и справедливость. Поэт Эдуард Вейденбаумс (1867—1892) раскрывает в своем творчестве самые острые социальные противоречия. Он стоит на распутьи между старым и новым. Поэт видит, какова жизнь латышского рабочего и трудового крестьянина, видит, как темные силы гнетут малочисленную латышскую интеллигенцию, и понимает, что рабство должно быть сметено, однако пути борьбы Вейденбаумсу еще не ясны.

Существующий порядок поэт критикует исключительно остро, снова и снова подчеркивая, что такой общественный строй является строем грабежа и

обмана. Поэзия Вейденбаумса сыграла крупную роль в выработке сознания латышских трудящихся. Социал-демократические организации еще накануне 1905 года нелегально распространяли среди своих членов стихи Вейденбаумса.

В 1905 году вековая ненависть к угнетателям широким потоком захлестывает всю Латвию, вплоть до самых отдаленных уголков страны.

В канун революции 1905 года, во время самой революции и в послереволюционный период в центре литературы стоит латышский народный поэт Райнис (1865—1929). Поэзия Райниса — это целый мир мыслей, чаяний. Каждое стихотворение Райниса непосредственно связано с жизнью народа. Накануне 1905 года Райнис призывает народ собирать силы, готовиться к борьбе, \*указывает путь:

Каждый должен приложить свой труд,  
Чтобы великое дело продвинуть вперед.

Во время революции 1905 года поэзия Райниса вдохновляет борцов. «Все переменится в мире до самых корней», — так призывает поэт довести революцию до конца. После поражения революции 1905 года, в годы глубокой реакции, Райнис учит народ не падать духом, не уступать, не отчаиваться, а очистить ряды борцов, копить ненависть для возмездия, готовиться к новым победоносным боям.

Поэзия Райниса — вершина латвийской поэзии. В произведениях Райниса объединяются художественное творчество и народное мировосприятие. Форму народных песен поэт мастерски сливает с классической формой западноевропейской и русской поэзии, насыщая ее широчайшим социальным содержанием. Поэзия Райниса подобна сверкающей хрустальной горе, где в каждой грани переливаются всеми цветами радуги мотивы латышского творчества.

Одновременно с Райнисом работают видные прозаики-реалисты. Они изображают подлинную жизнь латышского народа, продолжая традиции, созданные романом братьев Каудзитес. Про-

зайки Персиетис, Доку Атис, отчасти Саулиетис, так же как поэты и новеллисты молодежи Судрабу Эджус и Бирзниекс — Упитс, крупный латышский новеллист и драматург Р. Блауманис, романисты Августс Деглавс и Анна Бригадерс представляют латышскую классическую литературу.

Р. Блауманис (1863—1908) в своих новеллах и пьесах изображает глубокие переломы в жизни латышского народа, вызванные бурным периодом борьбы 1905 года. Распадается патриархальный семейный уклад, между различными социальными группами обостряются противоречия, но явно ощущим общий подъем народной жизни. Р. Блауманис известен как великий мастер латышского языка. Он — активный борец против онемечения, против тех, кто отрицает за латышским народом право на самостоятельное существование.

Великие события 1905 года в жизни латышского народа стимулировали литературную деятельность крупнейшего мастера современной латышской прозы — Андрея Упитса (1877). Его романы, новеллы и пьесы — своеобразная мозаика, сложенная из мельчайших сверкающих самоцветов.

При чтении произведений Упитса кажется, что он раскрывает широкое окно в мир, через которое врывается свежий и сильный ветер. После поражения революции 1905 года, когда латышская буржуазия, ее интеллигенция и писатели погрязли в пессимизме, символизме и, подобно Янису Поруксу, не нашли ничего иного, кроме бегства в мечту о потустороннем, о цветах и духочной жажде, совершенно забывая и даже пугаясь реальной жизни, А. Упитс срывает лживые покровы, скрывающие истину, и, подобно молодому пытливному исследователю, всесторонне показывает деревенский люд, рабочих, немецких бар, изолированных пасторов и ренегатов. Серия романов «Робежниеки» изображает жизнь латышского народа с 1905 года до конца буржуазной Латвии. Если не считать фольклора, еще никогда в художественных произведениях латышских писателей немецкие угне-

татели не были изображены так реалистически и отталкивающе, как в исторических романах Упитса «Первая ночь», «На рубеже эпохи» и в романе из времен оккупации «Под железной пятой».

Упитс — писатель с огромной эрудицией.

На его литературных, научных и критических трудах воспиталось и выросло целое поколение новейших латышских писателей. При советской власти А. Упитс, правдиво изображая историю и жизнь латышского народа, на образцах полноценных художественных произведений учит молодых латышских писателей.

Период, начавшийся за несколько лет до первой мировой войны и заканчивающийся примерно к 1923 году, является в латышской литературе временем острого перелома. Буржуазные писатели погрязают в глубоком мистицизме, в импрессионизмах, модернизмах и прочих измах. Поэт Фрицис Барда во всеуслышание заявляет: «Я не реален и таким хочу и быть». У него плеяда последователей. Но наряду с этим возникает течение старых писателей, критических реалистов, не закрывающих глаз на действительность, видящих жизнь такой, какова она на самом деле, и не пугающихся правды. В последующие годы существования буржуазной Латвии это литературное течение все резче начинает выступать против буржуазной правящей клики.

Наиболее видным представителем этой группы писателей является Павел Розитс (1889—1937). В его поэзии объединяются утонченность формы и актуальность содержания. В его прозе преобладает скепсис и острая сатира. Герои Розитса — люди с нездоровыми страстями, лицемеры — порождение новой буржуазной Латвии. Ярче всего талант Розитса проявляется в его новеллах «Узлы» и в романе «Кирпичный завод».

В это же время окончательно выявляет себя молодая латышская литература. Она открыто выступает против существующего порядка, призывая латышский народ к непримиримой борь-

бе за свободу, справедливость, братство народов. Это революционная литература. Писатели этого направления были отрицателями прошлого и глашатаями нового. У них не было ничего общего с расслабленными мистиками, погрязшими в мире бредовых идей. Эти писатели протягивали руку советским народам, учились у советской литературы, восхваляли советские идеалы. За это их, разумеется, преследовали и пытали. Некоторые из них, как, например, Арайс-Берце и Леонс Паэгле (1890—1926) пожертвовали жизнью за свои идеалы. Ярчайший талант — поэт и прозаик Леонс Паэгле — своим творчеством призывает рабочую молодежь умножать свои силы для низвержения ненавистного народу строя.

Буржуазные тюрьмы оборвали жизнь Паэгле.

Последователей и товарищей Леонса Паэгле и Арайса-Берце буржуазия беспощадно преследовала. При созданном в 1934 г. фашистском режиме Ульманиса писателям было воспрещено писать про трудовой народ, упоминать о Советском Союзе, писать о русской литературе, зато всячески поощрялась пропаганда идеологии фашистской Германии. Вопреки исконной ненависти к немецким угнетателям, вожак буржуазной Латвии Ульманис хотел силой заставить латышский народ полюбить фашистов. Во времена буржуазной Латвии в тюрьмах сидели многие молодые латышские писатели: Андрейс Балодис, Жанис Спуре, Индрикис Леманис, Мейнхардс Рудзитис, Янис Ниедре, чьи произведения печатались главным образом в нелегальных изданиях и за распространение которых грозила суровая кара.

Все же в период буржуазной Латвии вырос целый ряд любимых народом, близких ему писателей. В совершенно новом виде показал жизнь латвийских рыбаков, портовых рабочих и трудового люда Вилис Лаулис, сильнейший латышский прозаик после А. Упитса. Мастером поэзии показал себя Янис Судрабалс. Появились видные поэты, драматурги и прозаики — Юлийс Ванас, Фрицис Рокпелнис, Арвидс Григулис, Янис

Плаудис, Александрс Чакас, Павелс Вилипис и другие. С момента установления советской власти в Латвии в 1940 г. вся эта группа писателей во главе со старым мастером А. Упитсом является коллективом, создающим новую, подлинно народную латышскую литературу. Наконец, в литературе смогли свободно проявить себя те высокие идеалы латышского народного художественного творчества, которые в течение столетий лежали под спудом в творениях латышского фольклора: преклонение перед трудом, любовь к свободе и справедливости, дружба народов. Латышский народ вздохнул с облегчением. Над ним уже не висел топор немецкого палача. В этом частично заложена причина глубокой любви латышского народа к Красной Армии, к великому вождю народов товарищу Сталину.

В Советской Латвии одинаково активно развивались и поэзия, и проза, и драматургия. Как в оригинальных стихах, так и в переводах поэтов советских народов высокого мастерства достигли Арвидс Григулис, Янис Плаудис, Фрицис Рокпелнис. В прозе высшим достижением явился роман Анны Саксе «Трудовое племя», изображающий события в латышской деревне в период революции 1905 г. Только при советской власти талант А. Саксе смог вернуться во всей полноте. Тем самым она вышла в первые ряды латышских советских прозаиков. Один год существования советской власти в Латвии дал латышской литературе больше десяти художественных произведений.

Писатель А. Упитс в Советской Латвии наряду с несколькими томами художественных произведений опубликовал первую часть своего капитального труда по истории литературы «История романа». Идеал дружбы народов, воспетый в латышских народных песнях, особенно бурно проявился в литературе. Были переведены книги более чем 40 народов Советского Союза, главным образом русских писателей. В течение всего этого года было переведено почти все самое замечательное, что есть в советской литературе. Переведены такие капитальные произведения, как «Тихий

Дон» Шолохова, сочинения М. Горького и Н. Островского.

С началом Великой Отечественной войны, после вероломного нападения германских фашистов на Советский Союз латышские советские писатели эвакуировались в СССР. Шестнадцать прозаиков и поэтов с первых же дней войны находятся в Красной Армии и борются в ее рядах. Поэт Андрейс Балодис сражался на эстонском участке фронта, участвовал в обороне Ленинграда. Новеллист Карлис Фимберс участвовал в истребительном батальоне и был командиром партизанского отряда; новеллист Адольфс Талис сражался на Эстонском и Северо-Западном фронтах; в рядах латышских стрелковых частей, принимавших активное участие в боях под Москвой и позже на Северо-Западном фронте, находятся: Валдис Лукс, Фрицис Рокпелнис, А. Григулис, Ю. Ванагс, И. Леманис, К. Краулиньш, Эдгарс Дамбургс. На фронте работают также Женис Спуре и Мира Крупникова. Между сражениями, в часы отдыха они пишут стихи, рассказы, очерки. Они руководят фронтовыми газетами, газетами частей, пишут для радиопередач и посылают твердые ободряющие слова через линию фронта своему, временно поработанному, народу.

За время Великой Отечественной войны латышская поэзия заметно выросла. Поэзия С. Рокпелнис, А. Григулис и В. Лукса далеко переросла уровень латышской поэзии прошлых лет. Стих стал более гибким, мысль более отточенной и теснее связанной с формой.

Надо отметить также достижения прозы в изображении борьбы латыш-

ского народа, как против германских оккупантов в самой Латвии, так и в рядах Красной Армии. Упомянем здесь новеллы Ванагса, Саксе, Лациса, Леманиса, Фимберса и Ниедре.

Без преувеличения можно сказать, что период отечественной войны является новым расцветом в творчестве А. Упитса. В течение неполных 8 месяцев он закончил пьесы «Спартак» и «Партизаны», написал две новеллы и заканчивает роман «Стеклянные бусы». А. Упитс отдал всю мощь и многогранность и глубину своего таланта делу разгрома германских фашистов.

В оккупированной фашистами Латвии латышская литература перестала существовать. Те славные идеалы, которые свято чтит целые поколения латышских писателей, втоптаны в грязь железным каблуком вместе с латышским языком и самим именем латыша (для немецких фашистов не существует латышей, имеются только «жители Остланда, говорящие на местном наречии»). Латышская литература существует и развивается вне своей страны, здесь, на отдаленных территориях братского Советского Союза. Существование и дальнейшее развитие латышской литературы зависит от успехов борьбы с фашизмом. То обстоятельство, что в эту борьбу включилась вся семья эвакуированных латышских писателей, что нет ни одного литератора, чей талант изо дня в день в той или иной форме не служил бы этой возвышенной цели— усиливает несокрушимую веру в дальнейшее существование латышской литературы и ее самое широкое и мощное развитие в будущем.

# Библиография

## ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ УКРАИНЫ\*

Великий художник знаменует своей деятельностью крупный шаг в общественном и художественном развитии. Для Украины конца XIX и начала XX века таким великим художником и общественным деятелем был Иван Франко. Нет такой сферы общественной или литературной жизни, на которой не отразилось бы влияние Франко. Революционер и публицист, талантливый писатель и критик, философ, экономист, историк, этнограф, Иван Франко во всех областях деятельности предстает перед нами подлинным народным политическим трибуном. Общественная мысль Украины имеет в лице Франко крупнейшего демократического деятеля, оказавшего серьезное влияние на формирование революционного сознания нескольких поколений.

Обстановка, в которой вырос будущий писатель, воспитала в нем чувство неразрывной, кровной связи с украинским народом. И в сознании этого единства писателя со своим народом кроется сила его творчества. Это составила прочную основу правдивости, реализма произведений Франко.

Сейчас родина Франко захвачена фашистскими погромщиками. Львов — любимый город писателя — разорен оккупантами. Стонет от горя, но не сдастся никогда Украина. В непримиримой борьбе с фашизмом Франко, как и Шевченко, является нашим соратником. Его голос певца свободы звучит против порабощения, вдохновляет к борьбе; поэзия беспредельной любви к родине зовет к уничтожению фашистских захватчиков.

Еще при жизни Франко австрийские угнетатели для оправдания своих насилий над украинцами твердили о неспособности украинского народа к самостоятельной государственной жизни.

Сын народа — Франко высоко ценил мудрость своего народа. Человек ломоносовского склада, выходец из низов, достигший вершин культуры, всегда остро чувствовал свои обязательства перед народом, его вырастившим:

\* Иван Франко. «Стихотворения». Гослитиздат. 1941. Перевод с украинского украинского под редакцией М. Рыльского и В. Турчакова.

«Как сын украинского крестьянина, — говорил он, — вскормленный черным крестьянским хлебом, трудом твердых крестьянских рук, считаю себя обязанным барщиной целой жизни отработать те гроши, которые выдавала крестьянская рука для того, чтобы я мог вскарабкаться на высоту, где виден свет, где пахнет свободой, где сияют общечеловеческие идеалы».

Австро-германские насильники старались разведнить украинский народ, посеять раздор между украинцами и русскими. Они объявляли Западную Украину не имеющей ничего общего с Восточной.

На самом деле западные украинцы являлись и являются неотделимой частью украинского народа, спаянного единой судьбой, единой культурой, едиными историческими интересами. Еще в древнейшем и величайшем памятнике народного творчества «Слово о полку Игореве» Галицкая земля, современная Западная Украина, рассматривается как неотъемлемая часть Киевской Руси! «Галичка Осмомысле Ярогавле! — восклицает неведомый народный певец-автор «Слова». — Высоко сядши на своем залятокованном столе, подпер горы угорскии своими железными плахи, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, мяча бремены черз облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут; отворяеши Киеву врата; сгояеши с отыа злата стола салтани за землями. Стреляй, господине, кончака поганого Кошца за землю русскую, за раны Игореви, бугго Святославовска!» Еще древнерусское сказание говорит о мощи и единстве русского народа. Русский и западноукраинский трудовой народ жил единими интересами, несмотря на разделявшие его государственные границы.

Под влиянием мощной проповеди Чернышевского и Шевченко формируются идейные и литературные взгляды молодого Ивана Франко. Именно здесь началось знакомство Франко с социалистическими учениями. Показательно в этом смысле увлечение Франко романом Чернышевского «Что делать?» Влияние этого великого русского мыслителя сыграло решающую роль в идейном формировании писателя. Впоследствии Франко с волнением писал о первом:

своем знакомстве с социалистическим учением великого русского крестьянского революционера:

Кольсь в однім шановнім руським домі  
В дні юности, в дні щастя і любови  
Читали мы «Что делать?» і розмови  
И шли про часи будущі, невідомі.  
(«Тюремні сонети», 1889)

Франко страстно призывал к борьбе против австрийского и всякого другого гнета. В стихотворении «Наймит», обращаясь к своему народу, он писал:

Паши, паши и пой, титан, забитый в цепи  
И нищеты, и тьмы!

Исчезнет черный мрак, твои глухие крепки  
Навеки уничтожим мы!

Недаром в злые дни, униженный врагами,  
Ты силу духа воспевал,

Недаром ты легенд волшебными устами  
Его победу прославлял.

Он победит, прервет твой плен, пусть  
крепко спаян —

И над землей один  
Ты плуг свой поведешь, своих трудов

В своем жилище — властелин!  
хозяин,

(1876)

Различные предатели старались воспитать в украинцах националистическую нетерпимость к русской культуре и языку, стремились натравить украинский народ на русский. Ленин указывал в работе «Критические заметки по национальному вопросу», что разобщение украинского народа с великорусским народом мешает делу его национального и социального освобождения. Именно единство украинского и русского народов явилось базой подлинного освобождения и равноправия этих народов. Франко настойчиво выдвигал и защищал идеи братского содружества народов, особенно тесно исторически связанных между собой — русских и украинцев.

Но поэт понимал, что к национальному освобождению народ сможет прийти только путем упорной борьбы. Обращаясь к рекруту Грицу Турчину, Франко советовал ему учиться владеть оружием, ибо недалек день борьбы:

В неволю черную и рабство,  
В извечный и позорный гнет,  
Во все то зло, какое жадно  
Кровь человечества сосет,  
Стрелять придется, и немало  
Голов поляжет в той борьбе,  
Учись же, рекрут!..

А обращаясь к угнетателям народа, Франко трезво пророчествовал: «Если же война кровавая поднимется — не наша будет в том вина». И в стихотворении «Покой» гневно обрушивался на тех, кто в годину решающих битв пыгается остаться в стороне от схватки: «Кто в час войны и боя стал глашатаем покоя — трус или предатель тот».

Разобщение населения Западной Украины со своими родными братьями, народами Восточной Украины и России, мешало делу освобождения. Именно единство украинского и русского народов является базой подлинного освобождения и

равноправия этих народов. И Франко, боясь за национальное освобождение Украины, последовательно защищал идею демократического единства братских, исторически связанных народов России и Украины. Отвечая на националистическую статью Л. Юркевича, Ленин писал:

«Стремясь разделить и тем ослабить действительно демократическую силу, при победе которой было бы невозможно национальное насилие, г. Юркевич изменяет интересам не только демократии вообще, но и своей родины Украины. При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи»\*.

Франко является деятелем большого общественного размаха: каждая его новая статья, художественное произведение находили горячий отклик в среде украинского общества.

Значение творчества Франко в том, что он не только создал первоклассные художественные произведения, но и прочно связал украинскую литературу с народной жизнью, пропитал ее передовыми демократическими идеями. Писатель расширил тематические границы литературы, оплодотворил ее живым народным языком.

Франко показал в украинской литературе рабочий класс, рост в среде трудящихся Украин революционных настроений: «Бориславские рассказы», повести «Борислав смеется», «Воа constrictor», сборник стихов «Вершины и низины» открыли новую страницу в истории украинской литературы.

Сфера творчества Франко чрезвычайно широка. Первые годы своей поэтической деятельности он выступает как творец революционных гимнов, полных призыва к борьбе, песен общественного гнева. Лирика его посвящена политическим темам. Из стихов такого рода составлен сборник «Вершины и низины». С течением времени, наряду с боевой политической поэзией, Франко создает цикл лирических стихов, передающих тончайшие интимные переживания и размышления. Интимная лирика Франко дополняет политические стихи поэта, способствует более широкому художественному освещению действительности. Облик поэта-борца проявляется более многогранно, во всей полноте человеческого чувства. В рецензируемой книге представлены произведения Франко, собранные в книгах «Вершины и низины», «Галицийские картинки», «Увядающие листья», «Мой изумруд», «Semper Tigro» и др. Все это — образцы высочайшего и оригинальнейшего поэтического мастерства.

Творческая энергия Франко-поэта изумительна. Он не топтался на месте, как многие его современники, и все время искал новых поэтических форм, обогащал ими украинскую поэзию. Стих его чрезвычайно разнообразен: в нем встречаются новые в украинской поэзии стиховые формы, как сонет, терцины, октавы.

Наиболее полно в книге, изданной Гослитиздатом, представлен цикл лирических стихов, впоследствии собранных в книге «Вершины и низины». Здесь поэт призывает к борьбе и

\* Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 141.

победе (цикл «Думы пролетария»). Знаменитая<sup>2</sup> песня «Товарищам из тюрьмы» и песня «Вечный революционер» в дальнейшем стали популярнейшими произведениями украинской поэзии после революционной лирики Т. Г. Шевченко. Революционным вызовом старому миру звучат слова стихотворения «Товарищам из тюрьмы».

Естественно, что австрийская жандармерия преследовала свободолюбивого поэта-патриота. Он три раза подвергался аресту и тюремному заключению.

Франко не ограничивается литературно-художественной и общественной деятельностью. Писатель отдается еще ученым занятиям. Профессорская коллегия Львовского университета избрала его доцентом кафедры украинской литературы.

Австрийский наместник в Галиции, граф Казимир Боден, отказался утвердить Франко в должности доцента, сказав, что профессор не может быть человек «в потертом пиджаке» и «три раза сидевший в тюрьме».

В условиях тягчайшего угнетения трудящихся Украины панской шляхтой и австрийским правительством призывы Франко к свободе, гуманности и справедливости соответствовали народным стремлениям, были передовыми лозунгами национально-освободительного движения.

Тяжелый труд и лишения подорвали здоровье писателя. В 1908 году он тяжело заболел. Последние годы жизни великому писателю земля украинской пришлось доживать в тяжелом материальном и духовном состоянии.

В 1913 году был отмечен общественными кругами Украины сорокалетний юбилей общественной, научной и литературной деятельности Франко. Это был всеукраинский праздник. Популярность Франко в массах украинского народа к тому времени стала настолько значительной, что и буржуазные украинские газеты принуждены были отмечать юбилей писателя.

Но силы писателя уже были надломлены. 26 мая 1916 года он умер в военном госпитале во Львове.

Народы Советского Союза в тяжелое время Великой Отечественной войны с признательностью вспоминают своего поэта. И величайшее общенародное уважение к памяти великого писателя украинского народа является одним из показателей нерушимости дружбы народов нашей страны.

После Шевченко Иван Франко самый крупный украинский писатель, мастерски владеющий сокровищами живого народного языка, создавший галерею незабываемых художественных образов. Как и Шевченко, он щедро и умело пользовался сокровищами народного творчества, придавал им новую силу и совершенство. Первый из украинских поэтов познакомил он украинский народ на его родном языке с бессмертными творениями мировых поэтов Западной Европы, России, Востока и античности.

Реалистическое народное творчество И. Франко наметило основной путь развития прогрессивной украинской литературы. Влияние Франко на последующее развитие украинской литературы огромно. Он направил западно-украинскую литературу по новому пути, на который его предшественники ступали неуверенно и робко. Франко связал ее с революционной традицией реалистической поэзии Шевченко, с идеями Чернышевского и Добролюбова.

В рецензируемом сборнике, как сказано в предисловии, представлена преимущественно «гражданская лирика» Франко. К сожалению, в нем не нашло себе места наиболее значительное и одно из наиболее совершенных поэтических произведений поэта поэма «Моисей». Это тоже гражданская лирика высочайшего художественного мастерства и общественного пафоса. Направлена она против малочерв, сомневающихся в силах народа, его способности сбросить иго угнетения. И в наши дни боевых испытаний поэма «Моисей», несомненно, служила бы мощным источником патристического вдохновения.

В. Ш.



### УДАЧНАЯ КНИЖКА \*

Толчком к появлению брошюры Н. К. Гудзия послужили бесчинства, произведенные фашистами в Ясной Поляне в прошлом, 1941 году. Перед автором стояла очень трудная задача: на небольшом количестве страниц дать широкому читателю понятие об основных этапах долгой жизни и богатой творческой деятельности великого писателя. И Н. К. Гудзий успешно справился с этой задачей. Из его книжки читатель получит общее представление о главнейших шедеврах Толстого: «Детство», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Плоды просвещения», «Воскресение», «Хаджи Мурат».

Автор показал не только национальное, но

и международное значение произведений Толстого. В самом начале своего очерка он приводит отзывы о Толстом Флобера и Мопассана и говорит о влиянии Толстого на западно-европейских писателей. Далее Н. К. Гудзий справедливо указывает на то, что в своих «Севастопольских рассказах» Толстой первый в мировой литературе начал правдиво изображать войну. Переходя к «Войне и миру», автор характеризует это произведение как роман, «равного которому по силе таланта, по глубине и самобытности содержания, по высоте проникающей его идеи не знает ни одна литература». «Войну и мир» и «Анну Каренину» автор считает «высочайшими во всемирной литературе достижениями, когда-либо сделанными в изображении настоящей, невымышленной, реальной жизни». О повести «Смерть Ивана

\* Н. К. Гудзия и Л. Лев Толстой. Гослитиздат. 1942.



Ильича» Н. К. Гудзия говорит, что «никто до Толстого с такой правдивостью не показал душевную и физическую муку человека, жизнь которого в его собственных глазах не имеет никакого нравственного оправдания».

Такие краткие и точные характеристики составляют одно из достоинств брошюры Н. К. Гудзия.

В брошюре имеются некоторые мелкие неточности. К их числу относится, например, упоминание о том, что Толстой после Севастополя приехал в Петербург «в начале декабря» 1855 года (стр. 8). Как теперь вполне точно установлено по недавно опубликованному письму Толстого к его сестре, он приехал в Петербург 19 ноября 1855 года. Далее автор говорит, что в Петербурге Толстой «сближается с несколькими русскими писателями» (стр. 8). Если мы вспомним, что в числе тех писателей, с которыми Толстой познакомился в то время, были Тургенев, Некрасов, Гончаров, Чернышевский, то, конечно, придем к выводу, что во всяком случае некоторых из этих «нескольких» писателей следовало назвать. Не совсем точно указание на то, что жена Толстого была «дочерью придворного врача» (стр. 8). Отец С. А. Толстой А. Е. Берс был не придворным врачом, а врачом придворного ведомства, и на его обязанности лежало лечить не только великих князей, когда они приезжали в Кремль, но и их курьеров и лакеев. Это имеет некоторое значение в том отношении, что с понятием «придворный врач» мы соединяем представление о большом казенном вознаграждении и большом достатке,

между тем как относительно А. Е. Берса этого совсем нельзя сказать.

Нельзя согласиться с утверждением автора, что за ротмистром Василием Денисовым из «Войны и мира» «скрывался действительный герой партизанской войны поэт Денис Давыдов» (стр. 11). Несомненно, что как некоторые черты внешнего облика Денисова, так и отдельные эпизоды его биографии и свойства его душевного облика были навеяны Толстому жизнью и личностью знаменитого поэта партизана; однако и здесь, как и везде у Толстого, поэтический образ далеко не вполне соответствует своему прототипу. Уже одно то, что Василий Денисов, хотя и поэтическая натура, но все-таки не поэт, составляет его очень существенное отличие от Дениса Давыдова.

Как видит читатель, все наши возражения касаются деталей.

Небольшая по размеру, но очень содержательная книжка Н. К. Гудзия может быть рекомендована для общего краткого ознакомления самого широкого круга читателей с творчеством великого писателя.

Появление книжки Н. К. Гудзия особенно своевременно теперь, когда со стороны немецких фашистов раздаются наглые утверждения о том, что «никакие культурные ценности на Востоке не имеют значения». Брошюра Н. К. Гудзия является одним из ответов на эти дикие и гнусные заверения фашистских мракобесов, подлинных врагов всякой культуры и всякого просвещения.

Н. Гусев

★

### НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ \*

Большее половины книги Аргутинской занимает «Рассказ Ольги Звягиной» — медсестры, комсомолки, побывавшей в немецком плену и видевшей чудовищные зверства, которым подвергают советских людей фашистские изверги. Многие товарищи Звягиной погибли в плену от рук коричневых варваров, такая же участь ждала девушку, но ей удалось убежать из плена и пробраться к своим. Рассказ Ольги Звягиной — это длинная цепь потрясающих фактов, столь хорошо известных нам по газетным сообщениям, по нотам Народного комиссара иностранных дел товарища В. М. Молотова.

Читатель со вниманием прочтет «Рассказ Ольги Звягиной». Он поблагодарит Аргутинскую за то, что она точно и обстоятельно записала этот рассказ, но вместе с тем у него возникнет чувство некоторой неудовлетворенности. Советская писательница столкнулась с забываемыми жизненными фактами, о которых можно и нужно говорить в полную силу своего творческого голоса, самыми вескими и

значительными словами. Почему же Аргутинская ограничилась информационной ролью, самоустранилась как писатель от того, чтобы сделать рассказ участника еще более ярким, глубоким и выразительным?

Чем дальше знакомится читатель с книгой Аргутинской, тем больше растут его претензии к писательнице. Три коротких вещи, составляющие вторую половину книги, названные автором рассказами, но это рассказы лишь в общепринятом житейском, а не литературно-жанровом смысле. По существу это такое же изложение фактов, как и рассказ Ольги Звягиной. В «Горячем сердце» повествование ведет старый колхозник, в очерке «Любовь» — комиссар, в «Мальчике из Башкирии» автор излагает события от первого лица, но вся фактура очерка свидетельствует о том, что и здесь мы имеем дело с протокольной записью рассказа самого его участника — героического советского летчика.

Когда Аргутинская в последовательном порядке передает определенный ряд фактов, читатель еще может мириться с той ограниченной ролью, которую отводит она себе, как

\* Л. Аргутинская. «Люди большого сердца». «Советский писатель», 1942.

художник. Но стоит автору коснуться таких поступков и дел советских людей, за которыми кроются большие чувства, сложные психологические переживания, как творческий подход Аргутинской к явлениям жизни обнаруживает свою неполноценность.

Очерк «Любовь» начинается словами рассказчика-комиссара: «Любовь — великое дело. Любовь преобразует человека. Не верите? Я вам докажу». Читатель внимательно следит за рассказом комиссара. Он ищет обещанного доказательства, но так и не находит его. Утверждение о великой силе любви оказывается лишь сформулированным, но художественно, образно совершенно не раскрыто в рассказе.

В часть прибыл новый боец Семен Фомин. Молодой, здоровый, косяя сажень в плечах, но неповоротливый, как медведь». Фомин замкнут, неразговорчив, малоактивен. «Все, что приказывают, выполняет, а огонька не чувствует».

Но вот в тыл к врагу во главе с комиссаром посылают отряд лучших бойцов. Случайно, заменив заблудшего товарища, среди них оказывается Фомин. Комиссар недоволен этим. «Зло взяло — навязали мне обузу».

Группа смельчаков попадает в окружение, на нее надвигаются танки. Надо уничтожить вооружение машины. Комиссар вызывает охотников пойти на это опасное дело. Неожиданно Фомин предлагает послать его. Комиссар удовлетворяет просьбу бойца. Вооружившись гранатой и бутылкой с горючим, Фомин выходит на бой против танков. Он с честью, победителем возвращается из неравного поединка. Комиссар радостно обнимает бойца.

В конце рассказа один из слушателей комиссара — политрук задает вопрос: «А где же тут любовь?» — «От голова, — рассердился комиссар. — А что же Фомина

другим сделало? Любовь к родине все делает. Ты это запомни, политрук, крепко!»

Политрук это запомнит, знает и помнит это и наш читатель, однако читатель мог бы это понять и из простой газетной информации. А художественно в рассказе это не показано. Комиссар обещал доказать, как любовь преобразует человека, но он только рассказал случай из своей боевой практики, эпизод, за которым большое внутреннее содержание лишь угадывается. Опрямные волнующие чувства героического сына родины Фомина, их источник, их самобытность, обусловленная характером данного героя, — все это вне рассказа.

А показать это необходимо, иначе для читателя остается необъяснимым, почему вначале Фомин был так пассивен, ничем не проявлял себя как боец. Было ли это следствием некоторой растерянности его в новой обстановке, недостаточно внимательного подхода к нему со стороны товарищей? Трудно поверить, чтобы сам комиссар не побеседовал с Фоминим после совершенного им подвига, не постарался ближе узнать этого человека. Но автору кажется, что об этом можно не говорить. Завершив рассказ комиссара эффектной и выразительной, как ему кажется, репликой, автор считает свою задачу выполненной.

Книга Аргутинской не может удовлетворить нашего читателя. За год Великой Отечественной войны он уже не раз слышал о многочисленных проявлениях героизма и мужества со стороны советских людей. Задача писателя не только передать внешний образ жизненных фактов, но и вскрыть глубокое внутреннее содержание, лежащее в их основе. Эту последнюю задачу книга Аргутинской выполняет в очень незначительной степени.

Вл. Афанасьев

★

## ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ \*

Автор этой маленькой книжки стихотворений до сих пор выступал только как литературный критик.

А. Тарасенков хорошо знает, что отточенная, насыщенная содержанием стихотворная форма способна глубже и заразительнее передать полноту чувств и мыслей, чем обычная прозаическая речь. Это и есть та очевидная для всех польза от поэзии, от которой сейчас не мешает напомнить. Война нуждается в поэзии. Музыкальная природа стиха, лаконичность поэтического мышления, сгущенность и сила всех выразительных средств, свойственных поэтическому роду, делают его немаловажным литературным оружием. Тарасенков понимает это совершенно ясно. Иначе не могли бы обнаружиться в небольшом запасе его поэтических средств такие, совершенно обнаженные по своему смыслу, сравнения, как:

Ты путь его прокладывал по карте,  
Как будто точные слагал стихи.

И обратно:

Ты поверял размер стиха таблицей.  
Суровую таблицей артстрельбы.

(«Памяти Алексея Лебедева»).

Герой стихотворения, командир корабля Лебедев, не индифферентно, а действительно выступает после вахты как поэт, пишущий стихи на морские темы, в том числе и о Колумбовых бригантинах; то, что Лебедев в самом деле поэт, об этом говорит и другая строка, где Тарасенков клянется отомстить «и за блокнот его живых стихов», погибших в морской пучине. Однако в стихотворении не передано живого ощущения от незаурядной личности Лебедева, храброго командира и поэта, любимого краснофлотцами. Такой поэт был в Балтфлоте, он сражался за родину и погиб. Образ такого человека требовал от Тарасенкова теплоты, лирической взволнованности и, по крайней мере,

\* Анатолий Тарасенков. «Балтийцы». Стихи. «Советский писатель». 1942.

характеристического описания. Получилось же нечто совсем иное: автор в первую очередь как бы решал в стихотворении свою личную задачу разобраться в новом для него деле поэзии. Поэтому все то, что говорится им о Лебедеве, как поэте, не создает нужного впечатления.

И тут оказалось, что профессиональная привычка воспринимать окружающее через словесное стеклышко может увести поэта в сторону от избранной им самим темы. В стихотворении А. Тарасенкова «Балтийский комиссар», например, последняя строфа совершенно неожиданно и, так сказать, самозванно посвящается слову, — читается она так: «Славься, наше огненное слово, вдохновенный и высокий дар!» По этому поводу вспоминается запись Сумарокова: «Пропади такое великолепие, в котором нет ясности». Похвала слову, увенчивающая стихотворение, по своему характеру относится к описанному великолепию и, конечно, прежде, чем возникнуть, она нуждалась в осмыслении, чтобы потом уже появиться, как вывод, как лирическое заключение. Содержание же этого стихотворения не дает для такого заключения никакого повода.

Таким же преувеличенным, чисто словесным «великолепием» звучат и некоторые иные строки у Тарасенкова.

С другой стороны, прозаически-повествовательный строй большинства стихотворений рецензируемой книжки убеждает нас в том, что именно рассудочное желание, а не непосредственное влечение писать в поэтической форме было решающим стимулом обращения А. Тарасенкова к стихам. Опыты получились негибкие, бесстрастно-громогласные и подчас просто скучные. Автор много видел и пережил как фронтовик-литератор, знакомый с дедами героического, уже овеянного легендами Краснознаменного Балтфлота. Но передать хотя бы небольшую часть пережитого и передуманного ему, к сожалению, не удалось. Грозные испытания и незабываемые картины борьбы, свидетелем которых был автор, не нашли адекватного поэтического воплощения. Единственно, что могло бы скрасить несовершенство формы первых опытов Тарасенкова в стихотворстве, это непосредственность и теплота чувств. Только в одном случае это ему удалось — в стихотворении «Письмо».

Мне хочется, чтоб утренняя птица  
Присела завтра на твое окно,  
Воробушек, малиновка, сянница,  
В конечном счете это все равно.

Пусть принесет она тебе на крыльях  
Короткий, безыскусственный привет.  
Ты разберешься без больших усилий, —  
Ведь проще птичьей песни в мире нет.

Здесь есть воображение, есть интимность, есть чувство, нужное поэзии. Через это чувство мир окрашивается красками человеческой души. Такая интимность ничего общего не имеет с субъективизмом, противопоставлением себя миру. Именно через нее поэт находит путь к сердцу читателя.

Все остальные стихи Тарасенкова — о чем бы они ни повествовали: о летчиках ли, о морской ли пехоте, о радистах — отмечены однообрази-

ем, сухостью, словарной бедностью и мнимой эпичностью, — ни одна тема стихотворения не развита и, как правило, исчерпывается общими местами. Особенно часто повторяется мотив клятвы. Известно; что от частого повторения слов не становится крепче. Боец дает присягу однажды, и она врезывается в его сознание до конца дней. Неумеренно часто Тарасенков обращается также и к будущему:

Пройдут года, пройдут столетья, —  
Прочтут в учебниках своих,  
Быть может, наших внуков дети,  
Как мы боролись ради них.  
(«О будущем»)

И, школьниками тесно окруженный,  
Покажет им седой экскурсовод  
Последний «Юнкерс» — взорванный,  
сожженный,  
В канун победы сбитый самолет.  
(«Ленинградские ночи»).

Пройдут и сгинут горести и беды  
И будет день...

(То же и в другом стихотворении: «Мы прошли и горести, и беды...»).

Стихи эти достаточно тусклы и однообразны. Нанизывать стихотворение такими заключительными мотивами можно без конца. Следы необработанности видны повсюду. В «Балтийском комиссаре» так до последней строки остается неизвестным, кто же герой стихотворения: летчик или пехотинец. Кто нанес «стремительный удар» по самолету врага? Комиссар. Кто вел отряд на «штыковой удар»? Тот же комиссар. Между тем, совершить стремительный удар по самолету можно ведь только с воздуха... В одном из многочисленных авторских восклицаний (следы «великолепия»), посвященных на этот раз преобразенному войной городу-герою, дается, сейчас же вслед, маловыразительная и слишком будничная иллюстрация этой преобразенности:

Он запахнул на светлых окнах шторы  
Руками наших матерей и жен.

Почему-то мимо автора прошли множество действительно выразительных примеров героической преобразенности города. Неужели в простом затемнении жилища есть что-нибудь поражающее воображение?

Следовало бы обратить внимание автора (а также и его редактора) на то, что строка «Песком вчера еще играли дети» находится в некотором разладе с духом русского языка: дети играют в песок. У нас, к сожалению, еще пишут: «на целый запад и восток», тогда как надо говорить: на весь запад. Стих не может жить в разладе с филологией, так же как с живым ощущением речи и ее законов.

Не для всех в книжке Тарасенкова будут ясны без соответствующего картинного раскрытия и балтийские «законы боя»: «В море — держись! На земле — дерись!» Если понимать это буквально, то закон «держаться» явно для наших отважных моряков недостаточен. Летчик лейтенант Мироненко ночью обстреливает немецкую пехоту, засеянную, повидимому, в избах (он ее «гонит на мороз»), и вот

автор преподносит читательскому воображению такую картину:

И бросают храбрецы оружие,  
Падают, зарывши в землю нос.

Не ради придинок к мелочам мы допустили тут ряд критических замечаний. Чистота намерений и столь же чистые побудительные мотивы, толкнувшие Тарасенкова к стихосложению, не могут быть недооценены и тем более обойдены. Случай с «Письмом» говорит в пользу того, что автор может неплохо послужить делу поэзии отечественной войны. Но не следует выпускать в свет еще сырые стихи, обре-

менные к тому же прозаическим великолепием или просто не обремененные ничем поэтическим, вроде следующей строфы:

И пока у парня сердце бьется,  
Руки целы и глаза глядят,  
Будет мстить он, будет он бороться,  
Не отступит, не уйдет назад, —

Тарасенкову и многим другим литераторам следует запомнить, что о ярких и сильных событиях и людях надо писать сильными, яркими и простыми словами. Война требует от любого оружия, прежде всего, превосходного качества.

Н. Замошкин

★

### ИЗ ЗАПИСОК ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА \*

Правдивые фронтовые записи, заметки или безыскусственный рассказ красного бойца, партизана, колхозника, политработника, горожанина, стоящего на посту во время воздушной тревоги, — все это документы нашей эпохи. Их нужно кропотливо сохранять. Они составят тот материал, на котором вырастут большие произведения о нашем времени.

Более строгие требования нужно предъявлять к очеркам военных корреспондентов — профессиональных писателей и журналистов. То, что дает такой автор, должно сохранять всю полноту и достоверность документа и в то же время возвышаться до глубокого и тонкого анализа, до широких обобщений, до ярких картин, убедительных, запоминающихся образов. Писатель должен внимательно и любовно раскрывать сложность душевных побуждений, диктующих советским людям те или иные их поступки и действия, толкающих их на подвиг и героизм. Писатель не имеет права ограничиться простой регистрацией фронтовых дней и дел. Он обязан донести их до читателя силой мастерства, чтобы они врезались в читательскую память, кричали в его сердце голосом слез, любви, гордости и восхищения.

Перед нами книжечка фронтовых очерков Л. Славина — «Боевые будни». Их пять: «Душа и отец», «В рабочем батальоне», «Наш Ленинград», «Черноголовые», «Два тарана».

Л. Славин не рядовой литератор и журналист. Это широко известный писатель. И читатель вправе ожидать, что в этой своей книжке Славин осветит потрясающе нас в настоящее время события ему одному присущим углом зрения, свяжет нас, людей тыла, с бойцами фронта живыми нитями, заставит нашу мысль и чувство шаг за шагом идти вместе с ними через их «боевые будни», по их трудному и доблестному пути.

Так ли это, на самом деле? К сожалению, не совсем.

Все, о чем пишет в своем сборничке Л. Славин, безусловно интересно и нужно. Язык книжки хороший, ясный, простой. Попадаются, — и не раз, — зерна настоящего писательского мастерства в описаниях, определениях, вроде, например, отрывка из очерка «Два тарана»:

«Летчика можно угадать среди сотен других людей именно по глазам. В них есть, помимо чисто птичьей зоркости, холодноватый и глубокий отлив неба, который образовался, быть может, от постоянного вглядыванья в небесные просторы».

Удачен очерк «Черноголовые», описывающий боевой эпизод на Карельском перешейке. А короткий очерк о боевом Ленинграде 1941 года — один из лучших в книжечке. В нем налицо творческая человеческая взволнованность. Он хорошо передает боевой облик города Ленина, самый дух его повседневной фронтовой и трудовой жизни, его улицы, его людей, его суровую героику. В других очерках есть выразительно сделанные отдельные эпизоды.

И, тем не менее, перевернув последнюю страницу сборника, чувствуешь, что в нем многого недостает.

На всех вещах, вошедших в сборник, включая и лучшие, лежит печать какой-то безглой сухости, деловой газетной торпливости. Вероятно, очерки были написаны для фронтовой печати, в разгаре событий, в боевой оперативной обстановке, когда такой, несколько однотонный, упрощенный пересказ, почти без показа, оживляемый только краткими репликами или монологами главных действующих персонажей, — был неизбежен. И затем автор соединил их чисто механически воедино, — почти, а быть может, и вовсе не прибегая к последующей, более тщательной литературной обработке. А между тем такая обработка совершенно обязательна, когда вещи объединяются в сборник. И тут читательского чутья не обманешь. Потому что подобные очерки, механически извлеченные из оперативной фронтовой печати и собранные по чисто формаль-

Л. Славин. «Боевые будни». (Из записок военного корреспондента). Профиздат. Москва. 1942. стр. 32.

ным признакам в книжку, без внутреннего, объединяющего их, крепкого стержня, теряю, с одной стороны, нечто от своей злободневной остроты и действительности, а с другой — не приобретают той полноценной весомости, которая заставила бы читателя твердо и радостно выделить их из обильного потока сырого и полусырого материала об отечественной войне.

Вероятно, Л. Славин и сам не мог не ощущать этого коренного недостатка своей книжки. Не случайно к своему заглавию — «Боевые будни» — он прибавил пояснительное: «Записки корреспондента». Подчеркивая этим документальную достоверность своих очерков, он одновременно снижает их до простых записей и тем самым как бы заранее огораживает себя от упрека ему, — зрелому и умелому беллетристу, — в газетной сухости.

Наиболее показателен очерк: «В рабочем батальоне». Он представляет собой простое перечисление входящих в рабочий батальон людей. Перечисление это усилено краткими их характеристиками и указаниями на основную профессию. Никаких событий не происходит. Очерк похож на литературно оформленную справку.

Торопливая беглость изложения особенно заметна на самом большом очерке сборника — «Душа и отец». (К слову сказать, заглавие вызывает некоторое недоумение, — не ясна заключающаяся в нем мысль.)

Надо сознаться, — начало этого очерка очень хорошо. Появление главного персонажа, батальонного комиссара Овчаренко, дано лаконично и ярко, несколькими скупыми штрихами. Приведу всю сцену целиком:

«Малочисленный гарнизон наш, отстреливаясь, отошел в лесок за городом.

Желтое песчаное шоссе огибает этот лесок. Внезапно на дорогу выбегает легковая машина. Это было очень неожиданно: в двух шагах от только что захваченного финнами городка — вдруг увидеть нашу черную, заурядную, немного потрепанную «эмочку». На дороге вались снаряды. Минометы мурлыкали, как гигантские кошки. А «эмочка» как ни в чем ни бывало катала себе, сохраняя деловитый и даже степенный вид.

— Ребята, так это же Овчаренко! — крикнул один из бойцов.

И по всей опушке леса, по деревьям, по кустам, где залег небольшой наш отряд, побежала весть: «Комиссар Овчаренко приехал...»

На переднем сиденьи рядом с шофером сидел плотный, повидимому, физически очень сильный человек. Лицо решительное и строгое. Круглая коротко остриженная голова. Орден Красного Знамени. Петлицы старшего баталь-

онного комиссара. На секунду лицо его осветилось улыбкой, и оно сразу стало добрым и милым.

Овчаренко высунулся из окна машины и крикнул:

— Товарищи, за мной!

Рукой, в которой был зажат автомат, он сделал широкий, как бы пригласительный жест.

— Куда?.. — сказал кто-то.

— То-есть как это куда? — с грозным удивлением переспросил Овчаренко. Он указал рукой вперед, где бушевало пламя: — На штурм города Э!

Это сделано по-настоящему! Из небольшой сценки, из двух-трех реплик сразу отчетливо вырисовывается и общее положение отряда, и боевая обстановка, и образ комиссара.

Но первоначального художественного запала автору нехватало до конца.

Только что приведенная горячая сцена прерывается сухим, чисто информационным перечислением главных фактов из биографии Овчаренко, его деловой, — а не художественной, — характеристикой как организатора, указываются методы проводимой им политработы. Затем в повествование снова вклинивается более живой эпизод о взятии одной высоты во время финской кампании 1940 года. Эпизод этот, в свою очередь, после нескольких выразительных, художественных строк снова переходит в сухое статейное изложение. В конце Л. Славин возвращается, наконец, к прерванному рассказу о штурме городка Э.

Начатый с первых строк одним дыханием, рассказ этот в дальнейшем не принял законченного вида. Нарастающая напряженность событий разрядилась, показ взятия города получился бледным и сниженным. Рассказ о боевых героических буднях носит характер случайных, беглых зарисовок.

Как ни грустно, но приходится констатировать, что печать торопливости лежит на многих очерковых сборниках писателей. Когда читаешь в «Правде» или «Известиях» краткое сообщение Советского Информбюро, — внутренняя творческая работа по его осмыслению, по восстановлению сопровождающих его обстоятельств производится читателем самостоятельно, каждым — лично для себя.

Если же эту творческую работу взял на себя писатель, к тому же еще и квалифицированный, то хочется, чтобы он это проделал полноценно и до конца, используя все присущее ему литературное мастерство, которое с большой силой проявилось в последней повести Л. Славина «Мои земляки».

*Вера Ильина*

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

A50295. 16 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 837.

Подписано к печати 1/VII — 10/VII. 1942 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.